

Русская литература

№ 1

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л

1967

Г о д и з д а н и я д е с я т ы й

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Я. Эльсберг. Ленинское наследие и проблемы социалистического реализма (сплочение масс и рост личности)	3
М. Уманская. «Роман судьбы» или «роман волн»? (Проблема фатализма в «Герое нашего времени»)	18
Ф. Евнин. Достоевский и воинствующий католицизм 1860—1870-х годов (к генезису «Легенды о великом инквизиторе»)	29
С. Бобров. Русский тонический стих с ритмом неопределенной четности и варьирующей силлабикой (опыт сравнительного описания русского вольного стиха)	42
В. Еремина. Об основных этапах развития метафоры в народной лирике	65
С. Дмитриев. Именословие русских исторических журналов	73

Т Е К С Т О Л О Г И Я И А Т Р И Б У Ц И Я

А. Зимин. Спорные вопросы текстологии «Задонщины»	84
Р. Дмитриева, Л. Дмитриев, О. Творогов. По поводу статьи А. А. Зимина «Спорные вопросы текстологии „Задонщины“»	105
В. Баскаков, Н. Никитина. Салтыков-Щедрин в советских изданиях	122

П У Б Л И К А Ц И Я И С О О Б Щ Е Н И Я

Г. Моисеева. Из истории изучения русских летописей в XVIII веке (Герард-Фридрих Миллер)	130
А. Татаринцев. Вокруг Радищева	137
Н. Моренец. Новые материалы для биографии И. А. Крылова (правда о кончине Крылова)	142
Л. Светлов. Крамольная книга	144

(См. на обороте)

А. Кузьмин. Неизвестное письмо Ф. Миклошича	148
Вильям Эджертон (США). И. С. Тургенев и спорный вопрос о Якушкиных	149
П. Пустовойт. К вопросу об отношении А. Ф. Писемского к А. И. Герцену	154
Ю. Пищулин. Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в пропаганде революционных народников (к постановке вопроса)	160
Ф. Прийма. Забытая статья Бернарда Шоу о С. М. Степняке-Кравчинском	163
В. Базанов. Еще об одной тетради стихотворений Сергея Синегуба	169
Н. Травушкин. Художественно-пропагандистская повесть о жизни ткачей	176
Л. Фризман. В. Я. Брюсов — исследователь Е. А. Баратынского	181
П. Куприяновский. Забытая повесть Д. А. Фурманова (о «Записках обывателя»)	185
В. Курганов. К творческой истории романа А. Н. Степанова «Порт-Артур»	190
В. Малышев. Новые поступления в собрание древнерусских рукописей Пушкинского дома	195

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

С. Осовцов. Из истории эпиграмматических дуэлей Пушкина	198
Б. Саннинский. Две реплики автору статьи «О реально-исторической основе сюжета „Мертвых душ“»	200
М. Теплинский. К истории публикации «Пира на весь мир»	202
И. Смирин. У истоков военной темы в творчестве И. Бабеля (И. Бабель и Гастон Видаль)	203
В. Ковалев. Оружием литературы	204

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Л. Поляк. О неизвестном и забытом наследии советских писателей	206
К. Ровда. Книга о судьбах формализма и формалистов	211
В. Комарова. После шекспировского юбилея	216
Л. Кулакова. Книга, зовущая к спорам	221

ХРОНИКА	228
-------------------	-----

Редакционная коллегия:

В. Г. БАЗАНОВ (главный редактор), А. С. БУШМИН,
Б. П. ГОРОДЕЦКИЙ, В. А. КОВАЛЕВ, К. Д. МУРАТОВА, Ф. Я. ПРИЙМА,
В. В. ТИМОФЕЕВА

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: Ленинград, В-164, наб. Макарова, д. 4. Тел. А 2-42-24

Журнал выходит 4 раза в год

ЛЕНИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

(СПЛОЧЕНИЕ МАСС И РОСТ ЛИЧНОСТИ)

Огромно и неисчерпаемо жизненное, историческое, духовное содержание ленинского наследия.

Взгляд Ленина охватывает самые различные пласты жизни и истории: политику и повседневный быт масс, передовую мысль и народную страсть, великие идеи прошедших веков и психологию людей настоящего, пережитки прошлого и зародыши будущего, борьбу классов и прогресс всего человечества. Поражающие своей смелостью и размахом теоретические обобщения сочетаются с не менее удивительной конкретностью оценки общественной практики во всех ее особенностях, противоречиях и красках и определением практических организующих выводов. Ленинское наследие — сокровищница знаний о той жизни и том человеке, которого изображает литература социалистического реализма, о революционном развитии в XIX и XX веках, об историческом опыте советского народа и человечества, о путях к будущему.

Революционный, полный самых резких и катастрофических переделов и поворотов характер общественного развития на переломе XIX и XX веков и особенно в последующие десятилетия таков, что он стал мучительной загадкой и для ряда больших художников современности. В этом одна из величайших трудностей, вставших перед виднейшими писателями критического реализма XX века.

Эта полная противоречий сложность и быстрота развития, неотвратимым образом поднимающая вопрос о его перспективах и направленности, ведет к насущно жизненной проблеме изменчивости мира и человека, т. е. к центральной проблеме идейно-художественной борьбы современности.

Великие художники социалистического реализма уже давно с непревзойденной решимостью и смелостью вдумывались в бури, катастрофы и беды общественной жизни XX века, переживая их как героическую драму своей собственной жизни.

А какую могучую помощь именно ленинские идеи оказали мировоззрению и творчеству художников социалистического реализма, быть может, особенно наглядно доказывают взаимоотношения Горького и Роллана, отразившиеся в их многолетней и столь обильной переписке. Ведь пессимистические настроения, охватившие обоих писателей в первые годы после Октября, были изжиты прежде всего благодаря влиянию, оказанному Лениным на Горького, признавшего правоту своего великого друга и увидевшего ленинскую мысль практически воплощенной в жизни советской страны. Горький же своими письмами, особенно начиная со второй половины 20-х годов, помог Роллану стать за рубежом пропагандистом того великого всемирно-исторического дела, того практического осуществления социализма, которое впервые творилось в Советском Союзе. Конечно, Роллан, по его же словам, шел «своими собственными

путями», он не только прислушивался к Горькому, но основывался на всем своем опыте, на показаниях очевидцев, на документах, на том «облике Ленина» (так названа им одна статья), который вставал и со страниц ленинских статей, и из всей общественной практики Советского Союза.

Ленинское слово и дело предостерегало и предостерегает литературу от всякого рода догматических представлений, «освобождающих» от творческого осмысления новых задач и от поисков новых путей и смелых решений, соответствующих каждому новому периоду в истории и жизни данной страны, предостерегает от «революционной фразы», от недооценки трудностей и нежелания видеть отсталые, темные стороны революционной действительности и от бесплодного скепсиса.

Ленин учит творчески продумывать стоящие перед литературами социалистического реализма великие задачи, а не следовать заученным и запомнившимся лозунгам как чему-то бесспорному при всех обстоятельствах.

Недаром Горький в «Беседе с молодыми» (1934) говорил о том, что «в глубоко ответственной работе литераторов аксиоматичность, догматизм и вообще „кустарное“ производство бесспорностей неизбежно ведет к ограничению, к искажению смыслов живой, быстро изменяющейся действительности».¹ В тяге к «бесспорностям», к догматизму Горький видел стремление найти для своей мысли спокойную пристань, отказ от исследования, а также недостаток сознания самостоятельности, уверенности в творческой силе своих исканий. В 1923 году Горький писал Рошлану, что люди, которые «щут непоколебимого», это те, у которых внутри «все непрочно».

В ленинском наследии выступают в неразрывном единстве две черты, столь редко сочетающиеся даже у великих революционных деятелей.

Это, с одной стороны, неслышимая, направленная вперед идеологическая целеустремленность, способность практически поднимать и организовывать массы на борьбу за будущее, за социализм. Это, с другой, — точнейшее и конкретнейшее, научное и полное страсти познание действительности, народной жизни, воззрений и социальной психологии человека и масс в каждый данный исторический момент во всех противоречиях этих процессов, и в их поступательном движении, и во всем том, что мешает этому движению.

Эти особенности ленинской мысли имеют величайшее значение для литературы социалистического реализма, которая всегда исходит из данной конкретной действительности, из духовного мира реально существующего человека и вместе с тем ищет для этого человека «пути к будущему».

* * *

Социалистическая революция, ее подготовка и осуществление, социалистическое строительство были для Ленина гигантским движением масс, возглавленных революционным пролетариатом и его партией. Поэтому в ленинских трудах получили такую глубокую разработку задачи и пути организации масс, сплочения трудящихся, их воспитания. Для Ленина разум, духовная мощь масс, совершающих социалистическую революцию, строящих новое общество, были великими творческими силами. *Организовать массы* означало, по Ленину, давать простор народному творчеству во всех областях жизни, простор мысли, инициативе, самосознанию, самостоятельности масс, способствовать пробуждению и рас-

¹ М. Горький. О литературе. «Советский писатель», М., 1935, стр. 670.

прямлению человека, раскрытию бесчисленных талантов, в особенности организаторских.

Продолжая и развивая учение Маркса, Ленин говорил, что оно «прямо служит просвещению и организации передового класса современного общества».² В классовой борьбе Ленин видит путь к организации, к единению масс. «Пролетарская революция невозможна без сочувствия и поддержки огромного большинства трудящихся...» И это сочувствие, эта поддержка *«завосвывается»* длинной, трудной, тяжелой классовой борьбой» (т. 39, стр. 220).

Для Ленина призыв к «организованности, порядку, деловитости» означал и призыв к «стройному сотрудничеству всенародных сил» (т. 36, стр. 80).

Ленин видел в социализме — в противовес капитализму, собственничеству — могучие организующие творческие силы, сплачивающие народ и человечество в созидательной деятельности во имя общих задач. «Собственность разъединяет, а мы объединяем и объединяем все большее и большее число миллионов трудящихся во всем свете» (т. 40, стр. 241), — сказал Ленин на IX съезде РКП(б) в марте 1920 года.

Понятие «организовать» означало в устах Ленина поднимать массы на громадные творческие дела, помогать каждому найти себя в процессах социалистического строительства.

Имея в виду «толщину широких трудящихся масс», Ленин в разговоре с Кларой Цеткин сказал, что искусство «должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их».³ Такое определение несомненно находится в соответствии с ленинским пониманием роли революционного авангарда, партии в организации масс.

Ленин подразумевает нечто большее, чем то «свойство соединять в одном чувстве всех людей»,⁴ о котором Лев Толстой писал в своем эстетическом трактате «Что такое искусство?». Прежде всего Ленин говорит не только о чувстве, но и о *мысли и воле*, что само по себе имеет огромное значение; цель же искусства он видит в таком объединении, которое *подымало бы* массы.

В одном из своих писем к Горькому Н. К. Крупская дала следующую характеристику задач, стоящих перед советской литературой: «Растить люди должны и умом и сердцем. И на базе этого индивидуального роста каждого в наших условиях сложится, в конце концов, какой-то новый по типу мощный социалистический коллектив, где „я“ и „мы“ будут сливаться в неразрывное целое. Вырасти такой коллектив сможет лишь на основе глубокого идейного сплочения и столь же глубоко эмоционального сближения, взаимопонимания.

И тут искусство, и литература в частности, могут сыграть совершенно исключительную роль».⁵

Эти мысли органически примыкают к ленинским словам, сохраненным для нас Кларой Цеткин. И здесь и там ставится проблема сплочения и всестороннего роста, развития массы. Но вся глубина мысли Н. К. Крупской не будет правильно уяснена, если не иметь в виду, что процессы «идейного сплочения» и «эмоционального сближения», достижение единства которых является высшей целью социалистического воспитания, сами по себе не тождественны.

«Эмоциональное сближение» в социалистическом коллективе является чем-то гораздо более личностным, даже в известном смысле личным, чем идейное сплочение, оно требует длительнейшей и терпели-

² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 17 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

³ В. И. Ленин о литературе и искусстве. Гослитиздат, М., 1957, стр. 583.

⁴ Л. Н. Толстой о литературе. Гослитиздат, М., 1955, стр. 455.

⁵ «Октябрь», 1941, № 6, стр. 25.

вейшей воспитательной работы и немислимо без самовоспитания. В каждом должна «воспитаться» способность на основе собственного духовного роста ценить других, открывать в них способности, лучшие качества.

А с другой стороны, не менее ошибочно недооценивать роль процесса идейного сплочения, в котором разум масс, коллективная мысль играют огромную роль. Между тем самое существование таких явлений, как разум масс, оспаривается не только представителями буржуазной идеологии. Один из видных французских социалистов Филипп несколько лет назад заявил о том, что, по его мнению, люди могут совместно действовать, но не способны вместе думать. Это очень характерный и распространенный буржуазный предрассудок.

Для Ленина же творчество масс, их самостоятельность неотрывны от духовного идейного роста, опирающегося и на социалистические идеи, и на собственный жизненный и исторический опыт.

Еще в 1906 году Ленин сказал о том, что «вся политика социал-демократии состоит в том, чтобы *освещать* тот путь, который *предстоит* пройти *массе* народа. . . Чем больше развивается капитализм, обостряется политическая борьба, тем большая часть народа убеждается нашими словами и этим житейским (или историческим) *подтверждением их*» (т. 13, стр. 163—164).

Тогда же в другой статье Ленин указывал на то, что «рабочая партия все надежды возлагает на массу, но на массу не запуганную, не пассивно подчиняющуюся, не покорно несущую ярмо, а массу сознательную, требовательную, борющуюся» (т. 14, стр. 230).

Художественная литература способна содействовать такой пропагандистской и организующей деятельности партии. В свое время в «Матери» Горький средствами искусства осветил «тот путь, который *предстоит* пройти *массе* народа». И вместе с тем «Мать» ясно показывает (а это порой недооценивается), каким теснейшим образом идейное сплочение людей связано с их эмоциональным сближением. Ведь духовный, идейный, революционный рост Пелагеи Ниловны неотрывен от все более овладевающего ею чувства глубочайшей симпатии и любви к товарищам сына, к участникам революционной борьбы. Именно это чувство, неотделимое от понимания революционного дела, раскрывает нам и саму Пелагею Ниловну, и тех людей, с которыми ее теперь связывает взаимная симпатия, раскрывает их как личности. А такое раскрытие является одной из важнейших задач художественной литературы, которая способна отразить и воплотить как явления массового героизма, так и душевные движения личности.

Целый ряд позднейших произведений основоположника социалистического реализма — вспомним, например, «Хозяина», «Мои университеты» — как раз и отражает трудный, порою мучительный путь к сплочению мысли и чувств людей.

Эти произведения показывают, какую огромную роль в этом процессе способна играть личность, каждым своим словом, поступком доказывающая истинность тех высоких целей, к которым она идет и зовет других. Перед нами человек, духовно объединяющий угнетенных, возбуждающий их симпатию, сочувствие, порой восхищение (и злобу, ненависть в противном лагере) и умеющий ценить каждого, деятельно симпатизировать, любить тех, кого он спланивает.

Такое изображение процессов объединения людей во имя будущего будило энергию, мысль, привлекало к борьбе за справедливое общественное устройство.

Горький стремился к тому, чтобы думали все, чтобы мысль выросла из всего человеческого существа, была бы по-своему выстрадана всей жизнью, практически, самостоятельно осуществлялась, а не остава-

лась бы отвлеченно головой. Он мечтал о том, чтобы людьми овладел «инстинкт познания», рожденный «трагическими разочарованиями» и способный — в самых запутанных и противоречивых обстоятельствах — ответить на вопрос «зачем жить».⁶

И в наше время эти процессы величайшего всемирно-исторического значения — рост сознания многомиллионных масс, формирование «инстинкта познания» — постоянно сталкиваются с огромным количеством многообразных, нерешенных или плохо, неверно решенных, в особенности новых и по-новому встающих задач.

Сейчас строительство коммунистических отношений между людьми особенно остро воспринимается и как забота общества о судьбе каждого, и как сознательно-обдуманное отношение каждого к своему жизненному пути, по которому нужно идти вместе со всеми, но каждый раз находя свою тропу, свое дело, помогая другим и рассчитывая на взаимопомощь. Именно потому воспитание способности самостоятельно мыслить в неразрывной связи с активным участием в общественной практике и созданием своей собственной судьбы является одной из важнейших задач литературы, действительно способной сопереживать личные судьбы своих героев и объединять и поднимать массы.

В этом пафос творчества Горького и ряда лучших произведений нашей литературы. Достаточно указать на «Разгром» и «Последний из Удэге» Фадеева, на «Тихий Дон» и «Поднятую целину» Шолохова. А совсем недавно о необходимости учиться мыслить в единстве со всем строем своих чувств и со всем складом и ходом жизни веско напомнила повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!».

Все выдающиеся произведения социалистического реализма творят то правдивое и возвышающее представление о борьбе за социализм, о жизни, создающей новое общество и нового человека, которое действительно способно помочь подъему, сплочению и организации масс.

Такая роль литературы неотрывна от ее познавательной функции и основывается на ней. По-настоящему глубоко любить и ненавидеть можно только то, что хорошо знаешь и понимаешь. Только поэтическое «ясное знание» (Маяковский), основанное на художественном исследовании, способно вдохновить и объединить людей.

Поэтому более или менее отвлеченная от действительности, хотя благородная сама по себе лирическая настроенность еще не становится активной силой. Она как бы «остается» при писателе, лишь чуть-чуть затрагивая читателя. А таких образцов лирической прозы у нас сейчас немало.

С другой стороны, и соблазняющая своей «всамделишностью», более или менее внешняя «информационная» достоверность изображения даже весьма острых положений и конфликтов возбуждает скорее любопытство, в лучшем случае познавательный интерес, так сказать, «справочного» характера. И таких произведений у нас хватает.

В связи с постановкой вопроса о задачах и путях организации и сплочения масс коснемся статьи В. И. Ленина «Как организовать соревнование?».

Для Ленина практическое решение политической и хозяйственной задачи неотделимо от проникновения в духовную жизнь масс, в их психологию, от умения направить стремления, таланты трудящихся на задачи социалистического строительства.

Призывая к «творческой организационной работе» (т. 35, стр. 198), Ленин подчеркивает, что Октябрьская революция «выводит трудящихся на дорогу самостоятельного творчества новой жизни» (т. 35, стр. 199); он констатирует «необыкновенное рвение, которое проявляют рабочие

⁶ См.: «Литературное наследство», т. 70, 1963, стр. 135.

в деле образования, проявляют как раз сейчас» (т. 35, стр. 198). Ленин говорит о необходимости опереться на энергию, готовность добровольно отдать свои силы и революционный энтузиазм миллионов рабочих и крестьян, «вызвать к жизни их собственные, из их среды происходящие, организаторские таланты» (т. 35, стр. 201).

Ленин всемерно подчеркивал ведущую роль партии в гигантском историческом процессе строительства нового общества, в котором он видел проявления народного творчества, величайшего напряжения созидательных сил массы, выпрямления и роста трудящегося человека. Это были организация и самоорганизация масс, воспитание и самовоспитание их, требовавшие дисциплины и самодисциплины.

Ленин писал в 1919 году: «Капитализм душил, подавлял, разбивал массу талантов в среде рабочих и трудящихся крестьян. Таланты эти гибли под гнетом нужды, нищеты, надругательства над человеческой личностью. Наш долг теперь уметь найти эти таланты и приставить их к работе» (т. 39, стр. 235).

Таланты необходимо находить, нужно «приставить их к работе», т. е. помочь каждому найти дело, соответствующее его дарованию и дающее ему удовлетворение. И чем дальше, тем большее значение приобретает самостоятельное творчество масс, их инициатива, то новое, что они вносят в жизнь. Ленин много раз говорил и о той и о другой стороне этого процесса.

Владимир Ильич в высшей степени обладал даром узнавать и ценить талант, радоваться ему, приставить его к той работе, в которой он мог проявиться особенно полно. Недаром Горький в своем портрете вождя рельефно выделил эту ленинскую черту.

Та «организация десятков и сотен миллионов людей», которую Ленин считал «первой задачей настоящей пролетарской революции» (т. 38, стр. 332), являлась в его представлении одновременно процессом изменений, происходящих в каждом человеке, процессом развития и роста людей, раскрытия их талантов.

Такое ленинское понимание организации, объединения и сплочения людей имеет громадное значение для уяснения и определения задач литературы. В частности, те пути сплочения, которые теоретически и практически нашел Ленин, по-новому освещают нам характер очень важного направления духовных исканий и в классической литературе прошлого.

* * *

Герцен еще в 1847 году гениально очертил суть проблемы: «Понять всю ширину и действительность, понять всю святость прав личности и не разрушить, не раздробить на атомы общество — самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена».⁷ Но тогда Герцен неясно представлял себе трудности борьбы за такое будущее. Июньские же дни 1848 года, поражение парижского пролетариата заставили его надолго усомниться в разуме масс, в том, что передовая мысль сумеет возглавить народ. Тем самым Герцен стал сомневаться если не в возможности, то в сколько-нибудь близкой вероятности массового социалистического переустройства общества.

Но слова Герцена, направленные и против псевдореволюционного догматизма, высокомерно и пренебрежительно относящегося к «святости прав» личности, и против анархического индивидуализма, готового, если бы это от него зависело, разрушить общество, и сегодня звучат

⁷ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. V, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 62.

остро и современно, заставляя упорно искать все новые и новые пути осуществления тех возможностей, которые социализм предоставляет человеку и обществу. Ибо такое осуществление не дается автоматически.

Могучий общественный подъем в России 60-х годов и особенно революционная ситуация этих лет явились для Чернышевского тем фундаментом, который дал ему право и возможность пойти дальше Герцена, заглянуть в своем знаменитом романе — и особенно в снах Веры Павловны — в социалистическое будущее как нечто бесспорно осуществимое, необходимое для всех и отвечающее «живому чувству личности» (Герцен).

Чернышевский проницательно предвидел, что при социализме «чистая грязь» повседневной «реальной жизни» народа подвергнется сложным изменениям, коренным образом преобразуется и из нее вырастет «здоровый колос». В социалистическом обществе даже такая погрязшая в самых грубых эгоистических расчетах обывательница, как Марья Алексеевна, станет иной, ибо в такой новой обстановке изменится и понимание ею своей выгоды.

В сущности, в романе «Что делать?» заложена мысль, которая впоследствии у Ленина подымется на уровень громадного обобщения, станет руководством к действию, укажет пути переустройства человеческих судеб в новом обществе: социализм можно строить лишь из того человеческого материала, который оставлен старым обществом, но в ходе социалистического строительства этот материал способен изменяться.

Каждый, кто наблюдал, как складывались судьбы людей после Октября, как изменялся человек в следовавшие за революцией десятилетия, убеждался в удивительной прозорливости Чернышевского, в частности в том, что разного рода Марьи Алексеевны, с детства впитавшие буржуазные, собственнические предрассудки, но привыкшие заботиться о своей семье, трудиться ради нее, честные и правдивые по натуре, по своему, непосредственно и искренне убеждались в правоте социализма.

Чернышевский предвидел, что социализм даст возможность каждому человеку стать иным, стать лучше, что в социалистическом обществе чувство коллективизма сольется со свободным, всесторонним развитием лучших черт личности.

Гениальное раскрытие Чернышевским перспективы будущего было могучим поступательным шагом реализма и проявлением небывало тесного союза литературы и идей революционного социалистического переустройства мира. Могучее влияние, оказанное этим романом на Ленина, на Дмитрова, — замечательное подтверждение тому.

В момент революционной ситуации и, что не менее важно, в момент, когда в России крепостнические пути как будто уже спадали с ног народа, а новые, более хитроумные, буржуазные средства угнетения и эксплуатации еще не казались столь могущественными и опасными, Чернышевский своим романом о будущем не вводил читателя от непосредственных задач настоящего. Наоборот, он раскрывал революционную перспективу этого настоящего, звал к преодолению всего привычного во имя разумно-человеческого и рисовал такое будущее, в котором каждый обыкновенный человек сможет стать прекрасным и все и каждый найдут свое счастье.

Достоевский, как известно, выступил против теории «разумного эгоизма» Чернышевского. Пора буржуазного хищничества раскрыла не только в дореволюционного образца «купчине толстогузом» (Некрасов) и в мпроде, но и в хозяйственном мужичке, в мещанине, в недавно еще прекраснородушничавшем интеллигенте, уж не говоря о родовитых барах, оказавшихся на побегушках у концессионеров, такую бездну непасытной алчности, сжигавшей людей и толкавшей их к уголовщине, такую изворотливость мыслей и чувств, которая извращала все лучшее

стремления, такую топкую грязь не знающих удержку темных и бешеных инстинктов и порождаемых ими жестоких и самоубийственных капризов, что теория «разумного эгоизма» могла показаться под углом зрения такого опыта несостоятельной и надуманно искусственной.

В рукописях, связанных с созданием романа «Подросток», Достоевский бросает «социалистам» следующий язвительный упрек: «Вы надеетесь прельстить человека выгодой, умственным расчетом его выгоды и думаете, что ввиду „несомненной“ выгоды он бросит все и пойдет за вами (так думали Чернышевский и Добролюбов. Четверть часа поговорить в окошко с народом, и он пойдет за вами). Господи, какой плохой расчет с вашей стороны: да когда же человек делал то, что ему выгодно? Да, не всегда ли, напротив, он делал то, что ему нравилось, а не то, что ему выгодно, нередко сам видя во все глаза, что это ему невыгодно».⁸

Исходя из этого, Достоевский и считал «человека из подполья», которому он дал слово в «Записках», «настоящим человеком *русского большинства*», чей трагизм состоит «в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!»⁹

Достоевский с непревзойденной мощью и глубиной психологического проникновения воплотил противоречия духовной жизни своего времени, в которой «сознание лучшего» столкнулось с самыми уродливыми извращениями человеческих дум и эмоций, порожденными буржуазным укладом. Он сам испугался этих противоречий, распада мира на человеческие атомы.

Поэтому Достоевский и не увидел другого спасительного пути к всенародному единству, кроме религии, долженствовавшей усмирить духовный бунт, подавить метания личности, ограничить их. Религии он и предрекал победу над социализмом.

Пропаганда религиозной веры, покорности и терпения, приписываемых народу, отказ от борьбы — все это вступило в непримиримое противоречие с тем стремлением к раскрытию сил и дарований личности, которое воплотилось в таких, например, образах, как Настасья Филипповна и Дмитрий Карамазов. Стремление к всенародному и всечеловеческому сплочению людей не мирилось с тем неизбежным ограничением богатства личности, к которому автора «Братьев Карамазовых» вели религиозные идеи. Мир, который Достоевский открывал читателю, был миром страшного духовного напряжения, самоотверженных исканий, бушующих страстей. В этом мире яркому и своеобразному человеку грозила гибель, в смирение же его нельзя было поверить. Поэтому трагическому концу Настасьи Филипповны веришь, примиряющему Дмитрия Карамазова — нет.

В чем-то сходным, но вместе с тем существенно иным было то столкновение с идеями социализма, которое отразилось в творчестве Льва Толстого. Толстой совершил невиданное в мировой литературе чудо: ни в чем не изменяя жизненной правде и критическому реализму, он поднял своих любимых героев высоко над буднями быта, над атмосферой произвола и хищничества в мир непосредственных, чистых и светлых чувств. Он как бы сосредоточил и воплотил в них лучшее, что еще сохранилось в человеке в обстановке старого мира. Поэтому-то Наташа Ростова и Анна Каренина оказываются близкими и дорогими всем людям. Но и Толстой не смог удержать их на такой высоте. В эпилоге

⁸ «Литературное наследство», т. 77, 1965, стр. 240.

⁹ Там же, стр. 342.

«Войны и мпра» Наташа уходит в узкий и привычный семейный круг, Анна Каренина же гибнет трагически.

Толстой показал тем самым, как трагически безысходен в буржуазной помещицкой России путь человека, одинокого в своем стремлении к полноте жизни и чувств, к единству с миром и людьми.

Но к концу века в романе «Воскресение» Толстой изобразил духовное пробуждение и рост Катюши в полном противоречии со своими этическими и философскими воззрениями, рупором которых выступает Нехлюдов.

Великий реалист не изменил жизненной правде новой эпохи, отразившейся в этом романе и являвшейся уже преддверием революции 1905 года.

Ведь во внутреннем мире Катюши, беспредельно униженной и оскорбленной хозяевами старой России и их слугами, происходит именно то «пробуждение человека в „коняге“», о котором, отпращивая от знаменитого щедринского образа, писал Ленин. Это «пробуждение, которое имеет такое гигантское всемирно-историческое значение, что для него законны все жертвы, — не может не принять буйных форм при капиталистических условиях вообще, русских в особенности» (т. 1, стр. 403).

Буйно протекает пробуждение Катюши, а пробудившись, она инстинктивно тянется к людям, связанным с революцией. Правда, Толстой изобразил последних так, что на первый план выступили индивидуальные нравственные искания каждого из них, а у некоторых и руководившие ими мотивы самолюбия и властолюбия. Но когда Толстой, характеризуя новые, охватившие Катюшу «интересы в жизни», отмечает: «Она поняла, что люди эти шли за народ против господ», то пробуждение Катюши приобретает тот подлинный классовый и политический смысл, мимо которого писатель пытался пройти. Здесь, как и во многих других случаях, человек, созданный великим реалистом, действует по той внутренней логике саморазвития, перед которой бессилен и его творец, сам заложивший в разум и чувства своего героя чудесную способность такого органического самодвижения.

История Катюши Масловой заставляла делать вывод, что единство с интересами народа и раскрытие дарований и рост личности могут быть найдены лишь на революционных путях, ведущих к социализму. Но вывод этот не только не был сделан Толстым, но и не мог быть принят им.

Однако беззаветные всепоглощающие поиски Толстым и Достоевским истинных решений тех вопросов, которые имели основополагающее значение для человеческих судеб в период подготовки социалистической революции, дали огромный материал именно научной социалистической мысли и литературе социалистического реализма. Эта мысль и эта литература по-новому ответили на вопросы, поставленные великими художниками.

Недаром Ленин, говоря о значении наследия Толстого, в статье, посвященной его смерти, писал о том, что пролетариат разъяснит массам толстовскую критику капитализма не для тех целей, которые преследовал сам писатель, а для того, чтобы они «научились спланиваться в единую миллионную армию социалистических борцов, которые свергнут капитализм и создадут новое общество без нищеты народа, без эксплуатации человека человеком» (т. 20, стр. 24).

Революционный пролетариат, ленинская партия, партийная социалистическая литература по-разному, но одинаково плодотворно могли воспринять и восприняли необъятный исторический, духовный, жизненный опыт Герцена, Чернышевского, Толстого и Достоевского.

И, разумеется, не только их. Ибо вопросы, которые предстояло решить русской революции, обладали жгучим интересом и непреодолимой притягательной силой для всех подлинно больших русских писателей второй половины века, каковы бы ни были их субъективные склонности и взгляды.

В этой чуткости, в этой прозорливости один из самых ярких признаков величия русской литературы.

И разве, например, в творчестве Чехова не слышится уже мечта о разумном устройстве жизни, которое вело бы и к духовному единству народа (вспомним «Студента»), и к истинному и свободному «чувству личности»? Мысль о несовместимости этого чувства с подчинением собственничеству и обывательщине, с духовной ограниченностью, дряблостью и бесхарактерностью пронизывает собою многие творения автора «Крыжовника» и «Человека в футляре».

Чехов уже не знал тех ограничений, свойственных религиозным верованиям, которые наложили на себя Достоевский и Толстой, но вместе с тем не мог связать своих надежд с революцией. Тем не менее стремление к тому, чтобы разум и культура, творческий труд и свобода личности, понимаемые в духе, прямо противоположном апологии «малых дел», мечта о «разумном и великом» восторжествовали в русской жизни, было одной из примет и предвестий революции.

* * *

Ленинская идея организации людей в социалистической революции, идея их сплочения и объединения, неотрывного от выпрямления, роста и переделки каждого, раскрытия его талантов, вытекает из всего предшествующего развития социалистической мысли и передовой литературы и имеет гигантское значение для социалистического реализма.

Эта идея столь плодотворна для этой литературы потому, что она по-новому освещает русскую жизнь, происходившую в ней борьбу за социализм и те возможности, которые эта борьба открывала перед человеком. Эта идея была подхвачена художественной литературой социалистического реализма именно потому, что кровно близкий ей взгляд на мир и человека был выстрадан самой этой литературой; лучшее тому доказательство — образ Ленина, созданный Горьким. Эта идея указывала наиболее верный путь для творческого ответа на вопросы, поставленные классиками литературы XIX века, т. е. путь преемственной верности традициям и их новаторского обновления.

В этом отношении глубоко поучительно то сложное единство, которое существовало и существует между ленинскими идеями и творчеством Горького.

Творчество Горького как основоположника социалистического реализма уходит своими корнями и в новую жизнь России, в назревавшую социалистическую революцию, и в ленинские идеи, вдохновившие на борьбу революционный пролетариат и все прогрессивное человечество. Творчество Горького изображает и отражает собою то соединение пролетариата (а позднее и народных масс) с социализмом, о котором писал Ленин.

С беспощадной трезвостью раскрывая внутреннюю жизнь русского человека во всей громадной амплитуде ее колебаний и во всех ее противоречиях, Горький, в сущности, стремился мобилизовать дарования и силы русских людей именно на свершение тех грандиозных задач, которые перед Россией и ее народами ставил Ленин. Можно сказать, что Горький, изображая человека, подвергал его испытанию с точки зрения того, насколько он пригоден для творчества новой жизни, для той всеохватывающей гигантской организации масс, для того изменения основ человеческой жизни, которое задумал и осуществил Ленин.

Горький звал человека к глубинному осознанию себя, к гордому чувству своей личности, к такому духовному росту, который неотделим от связи с народом, с его опытом и борьбой. Уже Короленко видел задачу

литературы в том, чтобы «открыть значение личности на почве значения масс».¹⁰ Горький по-своему раскрыл это значение.

Горький убеждал каждого, что лишь неустанное сопротивление среде, укладу и привычкам старого общества, разрыв с индивидуализмом, обособляющим и обедняющим человека, стремление к коренной переделке жизни, к созидательному и коллективному социалистическому творчеству открывает возможности роста человека, и показал это в автобиографической трилогии на примере собственной жизни.

Горький нашел новые ответы на те вопросы, которые мучили и Достоевского и Толстого. Как примирить могучее народное стремление к сплочению людей с интересами каждого? Как преодолеть страшные индивидуалистические привычки, которые для многих даже стали «заменой счастья», если использовать слова Пушкина? Как победить ту привычку, которая «спасла сердца от негодования, освободила совесть от упреков и во все человеческие отношения ввела проказу равнодушия»?¹¹

В «Моих университетах» Никита Рубцов, ветеран российского студенческого движения, говорит: «...надо, чтоб люди сами на себя рассердились, опровергли бы свою подлую жизнь, — во-от!.. Помяни мое слово: не дотерпят люди, разозлятся когда-нибудь и начнут все крушить — в пыль сокрушат пустыки свои!» Рубцов был убежден в том, что «людям можно научить пользоваться разумом».¹²

Все своим творчеством Горький и призывал сокрушать человеческие «пустыки», «мелочи», холопские привычки, он боролся за творческое созидание новой жизни, за торжество разума. Горький опирался при этом на стремление, рousseau в самих массах. И как подлинно великий новатор, он по-новому решал основные вопросы, поставленные предшествующим художественным развитием.

Горький совершил одно из самых великих открытий социалистического реализма, возведя в «перл создания» *необыкновенное, непривычное* в русской жизни, в русских людях. Это открытие означало решимость и возможность покончить с обыкновенным, привычным, неподвижным, старым, с властью «мелочей» в жизни масс и каждого человека. В этой своей борьбе Горький был первым великим писателем, непосредственно связанным с русской революцией, с движением самих поднявшихся масс, возглавленных пролетариатом, с этой бурей, по выражению Ленина, и с передовой революционной мыслью, с ленинскими идеями. Своим изображением жизни Горький, как и Ленин, мешал людям жить по-привычному, учил их стремиться к необыкновенному, к тому, что кажется даже невозможным. Горький умел повседневное и как будто обыкновенное изображать так, что в нем выступали черты необыкновенного, почти сказочного. Опора на массы, вера в человека, в возможность его роста позволяли автору «Моих университетов», утверждая «равноценность» каждого, изобразить его так, что в его образе проступало «необыкновенное».

Горький не идеализировал русского человека. Но он схватывал в его облике и в его «тайном» черты необыкновенного как признаки яркого, сложного и полного противоречий развития, отражавшего напряженность русской жизни, ее «кипение вперед» (Герцен). Проблема «необыкновенного», как ее понимал и эстетически решал Горький, была органически неотрывна от преодоления индивидуализма, превращающего человека в осколок общества, отъединяющего его от людей, была связана с их со-

¹⁰ В. Г. Короленко. Избранные письма в трех томах, т. III. Гослитиздат, М., 1936, стр. 21.

¹¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XV, Гослитиздат, М., 1940, стр. 552.

¹² М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 13, Гослитиздат, М., 1951, стр. 583, 568.

циалистическим сплочением и объединением, с ростом, творческим раскрытием каждой личности.

Горький искал именно творческий созидательный путь преодоления власти мелочей, тех «пустяков», о которых говорил, как мы видели, Рубцов. Он помнил об их силе и писал в 1901 году, что «мелочь» — «чудище обло, огромно, стозевно», «худшее смерти».¹³ Но творчество Горького — великое и неопровержимое свидетельство победы над «мелочью» с большой буквы. Герои Горького разрывают оковы привычного, «выламываясь» из быта.

Горький заявлял еще в 1910 году в письме к американскому социалисту Морису Хилквиту: «Сильно выросла личность на родине моей за эти годы».¹⁴ Позднее, в предреволюционные годы, Горький так характеризовал задачи литературы: «... во всю силу начать организацию новорожденных людей»,¹⁵ в которых он видел «самое ценное земли», «нашу посылку в будущее».¹⁶ А в 1924 году он писал К. А. Федину: «... в России рождается большой человек, и отсюда ее муки, ее судороги».¹⁷ И хотя в этой же связи говорится и о «возрождении индивидуализма», но весь смысл высказанного здесь убеждения Горького заключается именно в создании «нового атома» (вспоминаются цитированные выше слова Герцена), «нового психического существа», что «отнюдь не мешает коммунизму и социализму».¹⁸

Для того чтобы оттенить своеобразие постановки данного вопроса Горьким, стоит подчеркнуть, как эту же проблему в то же время ставил И. Эренбург в романе «Рвач». Здесь мы читаем: «... не одну храбрость воспитало это время: оно явилось школой, где без помощи фребеличек человеческая личность буйно и достаточно неожиданно разрослась. Борьба за Донбасс, захват Северного Кавказа, наконец, взятие Перекопа, все это было не только торжеством коллектива, но и ростом, упорством, силой скромнейших дотоле человеческих дробей. Армия побеждала без Наполеона, ибо „наполеонствование“ являлось достоянием каждого, вплоть до плюгавого фельдшера из Кимр, гордого и своим новым наименованием „помлека“, и своей классовой сознательностью, и своим правом на победу».

Конечно, «рвачей», авантюристов и чужаков, склонных к «наполеонствованию» и так или иначе,вольно или невольно, скрывавших свои буржуазные вождения, в те годы было немало. Но им не принадлежало ни настоящее, ни будущее. Личность, талант росли вместе с массой.

Для нас же существен вывод автора «Рвача». «Разрастание» личности в первые революционные годы не представляется ему качественно новым явлением, ведущим к созданию «нового психического существа», «нового атома» — нового человека, «больших людей» нового социалистического возрождения, как то думалось Горькому.

Своеобразие мысли И. Эренбурга еще больше оттеняется тем высказанным в романе соображением, что «у хороших коммунистов нет биографии», — именно они, т. е. передовые люди эпохи, представляются писателю безличными. Так, об Артеме, брате «рвача», в романе говорится «Артем... был образцовым коммунистом. Его чувства и поступки диктовались не инструкциями, но коллективной волей, пусть бессловесной, однако ошутимой волей, строящей муравьиные кучи, треугольники журавлей, циклопические сооружения и новое общество. Нам достаточно знать факт и отношение к нему десяти коммунистов, чтобы безошибочно угадать, как был он воспринят одиннадцатым, то есть в данном случае Арте-

¹³ Архив А. М. Горького, т. IV. Гослитиздат, М., 1954, стр. 50.

¹⁴ Горьковские чтения. 1959—1960. Изд. АН СССР, М., 1962, стр. 21.

¹⁵ Архив А. М. Горького, т. VII, стр. 76.

¹⁶ Там же, стр. 81.

¹⁷ «Литературное наследство», т. 70, стр. 476.

¹⁸ Там же.

мом Лыковым. Устанавливая этот ущерб индивидуального начала в Артеме, во многих и многих Артемах, мы далеки от осуждения». И в данном случае писатель придавал генерализирующее значение некоторым чертам, существовавшим в самой действительности, но истолковывавшимся одно-сторонне и преувеличенно.

Эренбург исходил из того, что «образцовые» коммунисты оказывались как бы «съеденными» идеологией. Их личность исчезает, поглощенная общими идеологическими принципами. Писатель отпирался от некоторых явлений, подмеченных в самой действительности, но не дававших оснований для таких всеобъемлющих выводов.

Именно лучшие люди социалистической революции, лично пострадавшие идеологические принципы большевизма, сохраняли вместе с тем глубочайшее и замечательное своеобразие своей индивидуальности.

«Поглощение» же идеологией было свойственно в первые годы после Октября по преимуществу людям, принявшим эту идеологию как нечто готовое. За этим могло стоять самое разное: и политическая незрелость, и юношеская увлеченность, и отсутствие собственного богатого жизненного и духовного опыта, да и приспособленчество.

Итак, «наполеонствующие» индивидуалисты, с одной стороны, аскеты, люди, потерявшие личностное своеобразие, с другой, — такова «классификация», предлагаемая в «Рваче». Нетрудно объяснить такую позицию И. Г. Эренбурга; в последующие годы писатель преодолел ее. Притом она и тогда не была лишена противоречий, ибо автор «Рвача» не мог не видеть и «торжества коллектива». Но мы упомянули о концепции, характерной для «Рвача», лишь для того, чтобы яснее выступила вся смелость и плодотворность постановки вопроса, предложенной Горьким.

Горький и доказывал всем своим творчеством и собственной жизнью, что выработка революционных социалистических взглядов у ярких, своеобразных людей — процесс органический, личностный, захватывающий всего человека. Необыкновенное революционное время порождает в России необыкновенных людей, и одна из их отличительных черт как раз и заключается в том, что каждый из них по-своему, лично, выработал революционные социалистические убеждения и выражает их своими собственными словами и подтверждает делом — такова эстетическая концепция Горького. Уяснить ее помогает «Рассказ о необыкновенном», писанный в 1923 году.

Здесь та русская жизнь, в которой уже чувствовалось назревание революции, а затем действительность эпохи гражданской войны и военного коммунизма, изображается как «необыкновенное», полное движения, перемен, неожиданных событий, ломающее все привычные представления, оценки, судьбы, заставляющее напряженно думать.

Для Горького «необыкновенное» связано с творческим созидательным даром человека; это то, что обогащает, украшает жизнь, это — плод высокой духовной и материальной культуры.

Этой концепции «необыкновенного» в интересующем нас рассказе противопоставлен его герой-рассказчик, от лица которого ведется повествование. Он — страстный ненавистник «необыкновенного».

Герой «Рассказа о необыкновенном», пришедший в революцию из низов, но случайный человек в большевистской партии, выражает такого рода взгляды и настроения в их самом крайнем и уродливом виде. Он сторонник «упрощения жизни»; по его мнению, необыкновенное выражает стремление каждого «быть особенным» — это стремление барское; «все на свете надобно сравнять, особенное, необыкновенное — уничтожить, никаких отличий ни в чем не допускать». «Книжки, игрушки, машинки» — все это необыкновенное, созданное людьми, оплело их самих, поддерживает неравенство, особенность каждого. Так он приходит к естественному

для него выводу: «бить друг друга мы будем долго, до полной победы простоты...»

Мы узнаем в этих взглядах нечто, очень похожее на те идеи, которые Шигалев развивает в «Бесах» Достоевского, но жизненная опора взглядов рассказчика — в разрухе и бескультуре, в упрощенных представлениях о равенстве, в сочетании стихийной ненависти к старому с неспособностью строить новое.

¹ Этому противостояла та «жажда знаний» и культуры, то «стремление к учению», которые, по словам Ленина, относящимся к ноябрю 1922 года, охватили «всю партию и все слои России» (т. 45, стр. 293). Однако эти слова никак нельзя понимать так, что этой жаждой, этим стремлением охвачены все поголовно. Вспомним ленинские слова о таких представителях передового класса, которые даже в момент высшего духовного подъема неспособны думать.

К герою «Рассказа о необыкновенном» правомерно будет отнести многое из того, что Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» говорил о «грубом», уравнительном коммунизме. Он как раз и отрицает «повсюду личность человека», «он хочет насильственно абстрагироваться от таланта».¹⁹

С гениальной чуткостью к внутренней логике идеи и поступков показывает Горький, что этот враг необыкновенного, всего яркого и выдающегося в человеке способен на самое произвольное, грубое и кровавое насилие ради того, чтобы устранить людей, вызывающих в нем неприязнь, зависть, сознание их превосходства, добиваться уравниательства и всеобщей «простоты», ибо ему, как и такого рода уравнителям, вообще совершенно чужд демократизм и особенно социалистический.

Горький указывает на его ум и вместе с тем оттеняет его внутреннюю слабость, беспокойство. В нем чувствуется и «духовная косоватость и недоверие существа, многократно обманутого людьми». В том-то и дело, что он не доверяет ни людям, ни жизни и сам обманывает ее.

Ленин в речи на Пленуме Московского совета 20 ноября 1922 года говорил: «В условиях, в которых мы были до сих пор, нам некогда было разбирать — не сломаем ли мы чего лишнего, некогда было разбирать — не будет ли много жертв, потому что жертв было достаточно много, потому что борьба, которую мы тогда начали (вы прекрасно знаете, и распространяться об этом не приходится), эта борьба была не на жизнь, а на смерть против старого общественного порядка, против которого мы боролись, чтобы выковать себе право на существование, на мирное развитие» (т. 45, стр. 304).

В логике старого герой горьковского рассказа мог принимать посильное участие, хотя он при этом шел гораздо дальше того, что было необходимо, уничтожая и людей, не являвшихся врагами нового строя.

Совсем другое дело — люди, в чем-то в первые революционные годы порой выходившие за пределы необходимого и неизбежного в применении насилия, но сумевшие позднее понять свои ошибки, свои слабые стороны, научившиеся строить, ценить людей. Таков Танабай из повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!». Человек же, обрисованный Горьким, выступая против «необыкновенного», в сущности давал выход своей злобе, недоверию, инстинкту разрушения и действовал обдуманно, нередко коварно.

Социализм впервые открыл возможности органического синтеза интересов общества и личности, который способствует развитию социалистического общества и дает удовлетворение и радость личностному началу.

¹⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. Госполитиздат, М., 1956, стр. 586.

Но такой синтез не является чем-то готовым и заранее данным. Задача его осуществления повседневно стоит перед обществом и составляющими его «атомами» и требует от человека и коллектива как все более глубокого познания общественных интересов, преданности им, так и внимания к каждому, к возможностям его роста, к его личным особенностям и талантам, к стремлению внести нечто свое в судьбы всех.

Ч. Айтматов на примере жизни своего героя Танабая показывает всю важность этой задачи, необходимость постоянного решения которой отрицалась в годы культа личности.

Восприятие же современного советского человека как человека необыкновенного в своем повседневном существовании — характерная черта нашей современной литературы и, что очень важно, произведений ряда даровитых писателей, выдвинувшихся в ней за последние годы.

Мы имеем в виду, в частности, Василия Белова, Андрея Битова, Анатолия Ткаченко, Василия Шукшина.

Живущий в поэтическом мире родной природы крестьянин Белова, напряженно всматривающийся в мотивы и характер своих поступков молодой интеллигент Битова, бывалый человек у Ткаченко, сильные и импульсивные люди Алтая у Шукшина — герои яркие, глубоко своеобразные. по-своему необыкновенные.

Разными художественными средствами эти писатели утверждают «необыкновенное» в том смысле, что самый воздух нашей жизни благоприятствует формированию характеров духовно богатых, ярких, своеобразных.

Но выводы идеологического характера, подобные тем, которые Танабай выстрадал всей своей жизнью, звучат у этих персонажей лишь крайне приглушенно, опосредствованно.

Корни горьковской концепции «необыкновенного» и ее традиций в современной литературе ведут к такому пониманию действительности, основы которого заложил Ленин. Это — убеждение в необычайной скорости революционного развития действительности, ее преобразования, изменчивости человека, его способности преодолеть старые привычки, выпрямиться, духовно расти, сплотиться вместе со всем народом в борьбе за высокие цели социализма.

Современная литература, отражая духовную жизнь советского общества, содействует развитию социалистической демократии, сплочению людей, помогает человеку расти, развернуть свои дарования, свое индивидуальное своеобразие, освещает нерешенные вопросы.

Ленинская характеристика объединяющей, сплавивающей роли литературы, ленинское внимание к «массе талантов», поднимающихся из народных низов, — завет непреходящего значения для литературы социалистического реализма.



«РОМАН СУДЬБЫ» ИЛИ «РОМАН ВОЛИ»? (ПРОБЛЕМА ФАТАЛИЗМА В «ГЕРОЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»)

1

В чем смысл частого обращения Печорина и самого Лермонтова к мотиву судьбы, рока? Можно ли говорить о фатализме Печорина и Лермонтова? Эти вопросы еще ждут объяснения.

На наш взгляд, в романе представлены три разновидности, три типа фатализма. Во-первых — не мудрствующий лукаво и опирающийся на народную мудрость фатализм Максима Максимыча, который верит, что с человеком случается то, что «на роду написано»; верит — хотя все с той же народной мудростью и здравым практическим смыслом, вступающим в противоречие с верой в предопределение, объясняет случаи с Вуличем тем, что «эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны, или недовольно крепко прижмешь пальцем».¹

Фаталистом в мистическом смысле этого слова является азартный игрок Вулич, верящий в предопределение, в то, что человеку «заранее назначена роковая минута», и потому он не может «своевольно располагать своею жизнью» (стр. 340).

Даже скептик Печорин, колеблющийся между верой и неверием в фатализм, часто объясняет свою трагическую роль в жизни окружающих вмешательством рока, судьбы: «Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; неволью я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?..» (стр. 301). Однако привыкший «ничего не отвергать решительно и ничему не веритьяся слепо» (стр. 344) Печорин, в сущности, не разделяет мистической веры Вулича в предопределение. «После всего этого, как бы, кажется, не сделаться фаталистом? — спрашивает себя Печорин. — Но кто знает на верное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..» (стр. 347).

Спокойное, отрешенное от земных тревог сияние звезд на темпоголубом своде наводит Печорина на мысль о заблуждении «людей премудрых», веривших «услужливой астрологии». Его внутренний монолог в «Фаталисте» — свидетельство интеллектуального мужества и зрелости: никто на небесах не печется о судьбе человека, звезды — всего лишь «светила небесные», а не лампы, зажженные, чтобы озарять битвы и торжества людей. Философское верование Печорина, возвращавшее людям вместе со свободой воли и ответственность за собственную судьбу, в тогдашнюю переходную эпоху означало глубоко выстрадавший временный отказ от высоких гуманистических идеалов, источником которых для «людей премудрых» были их религиозные представления.

¹ М. Ю. Лермонтов, Сочинения в шести томах, т. VI, Изд. АН СССР, М.—Л., 1957, стр. 347. Далее ссылки на страницы этого тома приводятся в тексте.

Мир, в который вступает Печорин, просторен, но холоден; его озаряют не лампы, зажженные теплой верой, а беспощадный и резкий свет человеческого разума, не оставляющий места никаким оптическим обманам и утешительным иллюзиям: «...мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья...» (стр. 343). В этом — одновременно и сила, и слабость Печорина, его интеллектуальное бесстрашие и нравственная уязвимость. Сила Печорина — в его трезвом реалистическом, атеистическом прозрении, в отказе от фаталистической веры предков; слабость — в неспособности выработать подлинно гуманистический нравственный идеал в условиях переходного времени с его неустоявшимися, неопределенными формами нового.

Идеал абсолютной личной свободы — свободы от общества, от его морали, от религиозных предрассудков предков, вылившийся у Печорина, как и у многих других «лишних людей», в гипертрофию чувства личности, в трагедию индивидуализма, — для лермонтовского героя — только болезнь роста, болезнь переходного возраста. Место веры заняло безверие, место романтических иллюзий — трезвое чувство реальности, место высоких идеалов общественного служения — утверждение прав собственной личности. Он не хочет больше, чтобы жизнь пеленала и баюкала его, как ребенка. Лучше — единоборство с нею, ирония, помогающая отражать ее удары, одинокая гибель...

Печорин уже догадывается, уже предчувствует возможность новой веры взамен безверия, новых гуманистических идеалов вместо погребенных под обломками религии, — предчувствует, но не делает, не может сделать им навстречу решительного шага: новое содержание, не отлившееся в адекватную ему форму, по философскому определению Беллинского, не может стать действительностью.

В романтически условной, метафорической форме своеобразный «фатализм» Печорина обнаруживает понимание им внутренней несвободы, власти эгоистических чувств и страстей, фатально, независимо от его воли, превращающих Печорина в «орудие казни» и разрушителя чужих надежд.

Печорин, наделенный остротой психологического зрения, близок к постижению того, что до конца понял только автор романа: именно утрата «благородных стремлений» — «лучшего цвета жизни», «приманки страстей пустых и неблагодарных» — обрекает его на «жалкую роль палача или предателя». «И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы!» (стр. 321).

В перспективе лермонтовского творчества Печорин завершал собой тип страдающего индивидуалиста, человека рока, который проходит через ранние поэмы кавказского цикла, незаконченный роман «Вадим», философскую драму «Маскарад», поэму «Демон». Не пренебрегая своеобразием сюжета, историческим, местным и национальным колоритом, а также социальной природой героя, Лермонтов — философ и мыслитель — стремится постичь и раскрыть прежде всего общечеловеческую сущность всех этих «детей рока», отмеченных каменной печатью проклятья и отверженья, проносащихся по жизни подобно кровавому метеору или «стреле громовой». И Измаил-Бей, и Демон, и Печорин не только «жертвы рока», но и его слепые, бессознательные орудия, люди, терзаемые пыткой Прометея и одновременно подвергающие мучительной пытке разочарованием и обманутыми надеждами всех, с кем сталкивает их судьба.

Как и Измаил-Бей, Печорин мог бы сказать о себе:

Все, что меня хоть малость любит,
За мною вслед увлечено;
Мое дыханье радость губит,
Щадить — мне власти не дано!

Неподвластные суду людей, «дети рока» не ищут оправдания, не ждут участия или снисхождения к своим порокам. Русскому офицеру, одержимому жаждой мести, Измаил-Бей отвечает:

Нет, не достать вражде твоей
Главы, постигнутой уж роком!
Он палачам судей земных
Не уступает жертв своих!

Попирая чужую волю и гордость, отнимая право на счастье и даже самоуважение, люди, подобные Печорину, способны упиваться сознанием своей безграничной власти над умами и сердцами своих жертв.

Однако состояние бесплодной ненависти и отрицания, на которое обрекает человека гипертрофированное чувство личности, индивидуалистическое мироощущение, представляется гуманисту Лермонтову насильем над его моральной природой, насильем, граничащим с самоистязанием и нравственным садизмом, настолько оно тягостно и обременительно.

Есть в «Демоне», на первый взгляд, загадочные и, кажется, никем не расшифрованные строки — крик души Демона, вырвавшийся у него при встрече с Тамарой:

Всегда жалеть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видеть,
Стараться все возненавидеть
И все на свете презирать! . .

«Старается» ненавидеть и все презирать и герою лермонтовского романа, осажденный враждебными силами жизни в своем последнем убежище, в последней цитадели духа — гордом одиночестве и презрении к миру, его окружающему. Броня напускного цинизма и иронии спасает его, внутренне плохо защищенного и уязвимого, от стрел клеветы, насмешек, ненависти чуждых ему по духу людей.

В этой борьбе с окружающей его действительностью Печорин не находит опоры в своей моральной природе. И не потому, что ему недостает мужества или решимости — Печорин решителен и смел — и уж, конечно, не в силу низких качеств души. Наоборот, в нем — вопреки голосу рассудка — неистребимы нежность и доверчивость, вера в нравственно прекрасное и высокое, а ему, герою переходной эпохи, родившемуся слишком поздно, чтобы стать декабристом, и слишком рано, чтобы быть революционером-демократом, не остается ничего другого, как коварству враждебного ему мира противопоставить коварство, жестокости — жестокость, бессердечию — цинизм и иронию, пошлости — фанфаронство и браваду достойные Грушницкого. И, может быть, именно сознание своей внутренней незащитности и слабости, проистекающей из прекрасных свойств души Печорина, и побуждает его «искушать провиденье» «неистощимой клеветой», гасить высокие порывы духа, убивать непосредственность чувства.

Именно в этом смысл эпизода погони за Верой, когда способность рефлектирующей личности видеть себя со стороны, глазами постороннего наблюдателя, побуждает Печорина осмелеть свой порыв, свои невольные слезы — знак душевной слабости и незащитности. В этом смысл напряженного ожидания Печориным ответа Грушницкого на бесчестные уговоры драгунского капитана: одно слово протеста или жест отрицания Грушницкого способны бросить Печорина в его объятия. Скальпель хирурга, производящего болезненную, но необходимую для исцеления больного операцию, дрожит и гнется в руках Печорина в сцене последнего объяснения с княжной Мери: «. . .еще минута, и я бы упал к ногам ее. . .» Вот почему ему почти изменяют привычное самообладание и твердость голоса («сказал. . . сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой») (стр. 337).

Таковы, на наш взгляд, морально-психологические и философские предпосылки своеобразного «фатализма» Печорина, готового признать себя тошором палача и орудием казни в руках судьбы.

И не трагедия ли целого поколения людей переходной эпохи, в большей или меньшей мере подверженных ее влиянию, людей, пораженных апатией, разочарованием, неверием, испытывающих глубокое недовольство собой и обществом, раскрывается на страницах лермонтовского романа: «Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом...» (стр. 297). «... Мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня...» (стр. 232).

2

«... Малого я не хотел, и лишился всего, и нечем помянуть юность. Назад и вперед — пустыня, в душе — холод, в сердце — перегорелые уголья... Я один в мире, мое сердце ни для кого не бьется, потому что для него не билось ни одно сердце... Я очерствел, огрубел, чувствую на себе ледяную кору; я знаю, что живому человеку тяжело пробыть со мною вместе несколько часов сряду. Внутри все оскорблено и ожесточено... Я никого, впрочем, не виню в этом, кроме себя самого и еще судьбы».²

Что это? Продолжение дневника Печорина? Вновь найденные и извлеченные из архива варпапты его записей? Нет. Мы привели лишь выдержку из письма В. Г. Белинского Н. А. Бакунину от 6—8 апреля 1841 года, и, если бы не упрямая сноскa, принадлежность ее Белинскому, а не Печорину могла бы вызвать у нас сильное сомнение.

Итак, перед нами — другая исповедь сердца, другой «журнал», точнее письма современника Лермонтова, невыдуманного героя, который уж, конечно, без малейшей прощипки может быть назван героем своего времени.

В нашем представлении он и Печорин — два противоположных полюса: высокий идеал общественного служения («Я в мире боец») — и индифферентизм в общественных вопросах; душевная цельность — и развешающий яд рефлексии; самоотвержение во имя долга, дружбы, любви — и зловещая мета судьбы — всеразрушающий индивидуализм; пафос социальности — и, казалось бы, антисоциальные, антиобщественные стремления; тесный круг друзей-единомышленников — и полное гордого отчаяния одиночество. Таковы (допустим хотя бы на миг возможность такой неожиданной и рискованной параллели) Печорин и... Белинский.³ Казалось бы, никаких точек соприкосновения даже в потенции, в возможности. Демократ-разночинец, поднявшийся к вершинам революционной мысли своей эпохи, — и, пожалуй, для подавляющего большинства исследователей — аристократ, погибающий от скуки и пресыщения,⁴ типичный «лишний человек», открывший вместе с Онегиным галерею обломовых в русской литературе. Но не будем торопиться с выводами и терпеливо перелистаем страницы писем В. Г. Белинского, которые по глубине философской мысли и проникновения в психологию поколения 30-х годов

² В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XII, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 40—41. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

³ Известное, признанное еще Белинским, психологическое сближение автора романа и Печорина («изображаемый им характер... так близок к нему, что он не в силах был отделиться от него и объектировать его») (IV, 267) позволяет в данном случае, с рядом оговорок, видеть в Печорине реального человека 30-х годов — не только литературного героя, но и героя (тип) самой жизни.

⁴ Характерно, что именно в таких выражениях отзывались об авторе Печорина современники, мало знавшие его или находившиеся с ним во вражде.

не знают себе равных, кроме мемуаров, публицистики и писем А. И. Герцена и лучших страниц лермонтовского романа.

Мысли, высказанные Беллинским в письме к Н. А. Бакушину, варьируются им и в письме к В. П. Боткину от 9 апреля 1841 года: «Жизнь бежит от меня — в сердце пусто, в душе холодно, а извне словно кора ледяная лежит и не пропускает сквозь себя ни свету, ни теплоты солнечной» (XII, 43). Горькие сетования в духе признаний Печорина встречаем и в письме к тому же адресату от 27—28 июня 1841 года: «...мы зеваем, толчемся, суедемся, всем интересуемся, ни к чему не прилепляясь, все пожираем, ничем не насыщаясь» (XII, 49). «Я во всем разочаровался, ничему не верю, ничего и никого не люблю...» (XII, 52). «...Внутри ношу смерть и пустоту», — читаем в письме от 20 апреля 1842 года (XII, 106). «Это общая наша участь», — говорит Беллинский по поводу лермонтовской «Думы» (XI, 556).

Как и герой лермонтовского романа, Беллинский порывается из «мирной и тихой пристани» «туда, где только волны да небо, предательские волны, предательское небо!», навстречу борьбе и опасности. Как и Печорин, Беллинский стоит «на рубеже... двух великих миров»: «Я столь же мало внутренний человек, как и внешний», и избыток внутренней жизни, не находящей проявления вовне, создает «мир пустоты, миражей, мечтаний», становящийся в силу этого источником «одних мучений, холода, апатии, мрачной и душной тюрьмой» (XII, 76, 77). Выход из состояния мечтательности — выход в действительную жизнь, ведущий к духовному возмужанию личности. Рефлексия, оценка которой менялась вместе с эволюцией общественно-философских взглядов Беллинского, признается знаменем времени и едва ли не самым существенным симптомом болезни героев переходной эпохи.

Преодоление рефлексии и мечтательности — необходимый, хотя и трудный переход от жизни призрачной к жизни действительной, тернистый путь, ведущий к «разуму и сознанию», к очеловечению общества (XII, 72), и потому высшая фаза развития человеческого духа, проба его на зрелость.⁵ На этом пути одним из «моментов» духовного, философского развития Беллинского явился скепсис, признание относительности целого ряда понятий, освященных вековыми традициями. Отметая законы формальной логики, освобождаясь от гипноза слов и понятий «людей премудрых», Беллинский, как и Лермонтов, восстает против сплывшей инерции и рутины в сфере человеческого мышления: «...для моего же сознания жизнь равна смерти, смерть — жизни, счастье — несчастью и несчастье — счастью, потому что все это — призраки, создаваемые субъективной настроенностью нашего духа в ту или другую минуту, а сами мы — исчезающие волны реки, тени преходящие» (XII, 76).

Все эти мысли, рассеянные на страницах писем Беллинского 1840—1841 годов, собраны воедино в письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 года: «...мы же — люди, для необъятного содержания жизни которых ни у общества, ни у времени нет готовых форм. Я... нигде не встречал людей с такой ненасытимой жаждою, с такими огромными требованиями на жизнь, с такою способностью самоотречения в пользу идеи, как мы... Форма без содержания — пошлость, часто довольно благовидная; содержание без формы — уродливость, часто поражающая трагическим величием... Но эта уродливость — как бы ни была она величественна — она содержание без формы, следовательно, не действительность, а призрачность» (XII, 67).

⁵ Ср. у Лермонтова: «В первой молодости моей я был мечтателем... Но что от этого мне осталось? — Одна усталость, как после ночной битвы с привидением...» (стр. 343).

Так Белинский определил трагедию передовой личности в переходную эпоху, еще не выработавшую для «необъятного содержания» новых идей и соответствующих ему новых форм. Это философское определение, сформулированное здесь с такой полнотой и законченностью, проливает яркий свет и на трагическую судьбу и «призрачность» существования Печорина с его роковым противоречием между «глубокостью натуры» и «жалкостью действий». Несомненная связь письма Белинского к В. П. Боткину со статьей о «Герое нашего времени», писавшейся несколькими месяцами раньше (цензурное разрешение статьи датируется 14 июня 1840 года), является объективным свидетельством того, что Белинским признавалась известная общность судьбы его единомышленников и «фатальной» участи Печорина. Приводим выдержку из статьи, в которой философско-психологическая характеристика «героя времени» как человека переходной эпохи превосхищает цитированные строки письма к Боткину в выражениях, близких не только по общему смыслу, но и текстуально: «Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем» (IV, 253).

В ряде случаев обращает на себя внимание прямая (иногда — почти текстуальная) близость признаний Белинского в письмах к друзьям к исповеди Печорина, едва ли объяснимая только условиями переходной эпохи, наложившей неизгладимую печать на духовный облик целого поколения.

Упоминания Печорина о «силах необъятных» и неугаданном «высоком назначении», та «ненасытимая» жадность, с которой он поглощает чужие чувства, страдания и радости в тщетной надежде утолить свой духовный голод, — мысль, вылившаяся у Лермонтова в развернутое метафорическое сравнение, — все это с некоторыми вариациями и с большей или меньшей текстуальной близостью повторяется и на страницах письма Белинского. Не только мысль, но и интонация Лермонтова без труда угадывается хотя бы в таком признании Белинского: «Право, мне страшно начинает казаться смешным, а смешное — страшным» (XI, 561) (ср. запись в дневнике Печорина: «Печальное нам смешно, смешное грустно...» (стр. 270)).

Не случайно все цитированное выше было написано Белинским в 1840—1841 годах и притом, очевидно, под сильным впечатлением лермонтовского романа, в котором великий критик видел не только факт выдающегося историко-литературного значения, но и нечто близкое собственной биографии, «исповедь собственного сердца» всякого, кто «мыслит и чувствует» (IV, 269).

Апатия и душевный холод, скепсис и рефлексия, разочарование и безверие Печорина обычно служили основанием для его зачисления — часто безоговорочно, иногда с оговорками — по ведомству «лишних людей». В лучшем случае Печоринанисходительно прощали и оправдывали, а в худшем судили по всей строгости законов военного времени 1920-х годов и изрекали суровый приговор в назидание современным печориним. Однако черты эти, как мы видели, не были исключительной принадлежностью «умных ненужностей», а разделялись передовыми людьми переходных 1830-х годов, буквально пострадавшими к 1840-м годам свои революционно-демократические убеждения.

Характерно, что фактом личной биографии и «исповедью сердца» роман Лермонтова стал и для другого революционера-демократа — А. И. Герцена. Для Герцена, как и для Белинского, Лермонтов был поэтом, в чьи раны, по словам Белинского, можно было «влагать персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать их» (XI, 528). Однако Герцен с большей последовательностью видит в Печорине не литературного,

«книжного» героя, а тип «истинный», выражавший собою «действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни». ⁶ Герцен сопоставляет судьбу Печорина с судьбой своего поколения. «Когда мы возвратились из ссылки, — пишет Герцен, — уже другая деятельность закипала в литературе, в университете, в самом обществе. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Белинского, чтений Грановского и молодых профессоров.

Не то было с нашими предшественниками. Им раннее совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая; они были слишком молоды, чтоб участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтоб быть в школе после него. Их встретили те десять лет, которые оканчиваются мрачным „Письмом“ Чаадаева... И это были десять первых лет юности! Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова...» (IX, 161—162).

Полемически заостряя свою мысль в споре с «желчевиками» об оценке «лишних людей», Герцен заявляет: «Мы сами принадлежали к этому несчастному поколению и, догадавшись очень давно, что мы лишние на берегах Невы, препрактически пошли вон, как только отвязали веревку» (XIV, 318).

Трагедия лермонтовского Печорина была близка Герцену, писавшему в октябре 1842 года в статье «По поводу одной драмы» о «болезни промежуточных эпох» (II, 49). Статья эта, точнее ее начало, как и ряд писем Белинского, несомненно написана под впечатлением мыслей и философских раздумий дневника Печорина, полна невольных ассоциаций и параллелей между состоянием «лишнего человека» Печорина и умонастроением передовой части русского общества 30-х годов.

Намек, вскользь брошенный Лермонтовым в «Фаталисте», в котором много неясного, не договоренного до конца, развит Герценом в стройную нравственно-психологическую характеристику современного общества. Но и у Лермонтова, и у Герцена мысль развивается в одном и том же русле и в сходной образной форме: в прошлом — борьба с «привидениями», мечтательностью, «средневековым» романтизмом, авторитарным мышлением, фатализмом, освобождавшим человека от чувства ответственности за свою судьбу; в настоящем — горький осадок от «напрасной борьбы», истощившей «жар души и постоянство воли», чувство усталости, неспособность к «действительной жизни» (стр. 343). У Герцена: «упреки стали злее грызть совесть. Сделалось тоскливо и страшно... И вместо того, чтобы наслаждаться жизнью — мы мучимся» (II, 50).

Как и Печорин, противопоставивший наивному фатализму «людей премудрых» трезвое прозрение и нагую истину безверия и сомнения во всем («...Мы неспособны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что... равнодушно переходим от сомнения к сомнению...» (стр. 343)), Герцен дает нравственно-философскую характеристику двух поколений, близкую лермонтовской: «...люди увидели, что вся ответственность, падавшая *вне их*, падает *на них*; им самим пришлось смотреть за всем и занять место привидений... Ясное, как дважды два — четыре, нашим дедам — исполнилось мучительной трудности для нас... Нас преследуют неразрешимые вопросы» и т. д. (II, 50).

Итак, отказ от наивного фатализма «дедов» или «людей премудрых» с их «услужливой астрологией» и Лермонтовым, и Герценом признается одной из характернейших примет рефлектирующего поколения 30-х годов, утратившего вместе с верой в фатум и душевной целостностью.

⁶ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIV, Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 118. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

непосредственностью чувства готовность к «великим жертвам для блага человечества».

К Лермонтову ведут и синтаксис начала статьи Герцена, и чисто лермонтовская интонация, и форма философской исповеди от лица всего поколения, вложенной в уста одного из «героев времени» (ср.: «Нас преследуют неразрешимые вопросы» (Герцен); «А мы, их жалкие потомки... мы не способны более» и т. д. (Лермонтов)).

Не назвав ни имени Печорина, ни имени Лермонтова, Герцен, в сущности, развивает во введении к статье именно лермонтовский круг мыслей — по-видимому, под непосредственным впечатлением новеллы «Фаталист».

3

«Фаталистом» в «Герое нашего времени» является и сам Лермонтов. В споре о предопределении решающим является его тихий и ненавязчивый голос, нигде не вторгающийся в спор открыто, но воздействующий на читателя всей внутренней логикой образной ткани романа, всем его эмоционально-художественным строем, создающим, часто средствами пейзажа, глубокий внутренний подтекст.

Прекрасна в своей первобытной, первозданной красоте природа Кавказа: голубое и свежее утро в день дуэли, радужные брызги росинок, трепещущих на виноградных листьях. Так остро и свежо может увидеть природу человек, чьи чувства обострены предстоящей дуэлью и возможной гибелью («в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу»). Но краски тускнеют и меркнут, колорит резко меняется, ласкающие и радостные бирюзовый, золотой и серебряный цвета уступают место зловещему синему в тот момент, когда природа становится сопричастной судьбе Печорина: в туманной дали, сквозь которую жадно старался проникнуть взор Печорина, едущего к месту дуэли, «путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемой стеной» (стр. 323, 324). «... Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозой и временем, ожидали своей добычи» (стр. 327).

В объяснении судьбы Печорина Лермонтов, образно говоря, оставался «фаталистом» в метафорическом значении этого слова: ему были ясны ее социальная преддрешенность, неизбежность трагического финала, необходимого в своей кажущейся случайности. «Непроницаемой стеной» встают на пути Печорина враждебные, роковые обстоятельства; все уже становится его путь. Сквозь даль, подернутую романтической дымкой, не различаются конкретные обстоятельства жизни героя, сформировавшая его среда, детали быта... Социальные истоки характера Печорина менее прояснены, чем социальный генезис Онегина, не говоря уже о героях русского романа второй половины XIX века, характеры которых формируют социальный быт, среда и воспитание.

Судьба Печорина — его прошлое и трагический конец — погружены в романтический мрак и тайну. Какие обстоятельства биографии Печорина вызывают у него ассоциацию с «ночной битвой с привидением»? О какой «напрасной борьбе», истощившей «жар души» и «постоянство воли», прибегая к намекам, умолчаниям и нарочитой недоговоренности, упоминает Печорин в «Фаталисте»? Что послужило причиной его высылки на Кавказ? При каких обстоятельствах он умирает и каковы причины его смерти? Болезнь? Но ведь Печорин молод и физически крепок. Мечь горцев русскому офицеру? Новая дуэль? Или та разъедающая душу тоска, которая подтачивает не только духовные, но и физические силы человека и торопит его гибель? Скорее всего — последнее (ведь Печорин не убит, а умер), хотя роман и не дает ответа на эти вопросы.

Идея детерминизма, исторической необходимости романтически воспринималась Лермонтовым как идея неумолимого рока, неизбежной судьбы, в том самом смысле, в каком употреблялись эти образы-символы А. И. Герценом и другими современниками Лермонтова для обозначения роковой, губительной власти самодержавного деспотизма. «Мы с вами видели самое страшное развитие императорства. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях: мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кой-как», — писал А. И. Герцен (VI, 16).

В страданиях «лишних людей», положение которых признавалось Герценом «одним из самых трагических положений в мире» (XIV, 320), великий сверстник Лермонтова видел нечто «фаталистическое» (XIV, 326): «Люди у нас рождаются, чтобы склонить голову перед несправедливым роком, и умирают бесследно» (VII, 228).

«Роковой лавиной», обрушившейся на Украину, называет Герцен произвол и деспотизм русских самодержцев в лице Елизаветы и Екатерины, которые ввели на Украине крепостное право (VII, 227). К этому метафорическому образу Герцен особенно часто прибегает в своей работе «О развитии революционных идей в России», где речь идет о трагической участи в условиях самодержавного деспотизма всего передового, мыслящего, прогрессивного. С предельной выразительной экспрессией эта мысль прозвучала в известном высказывании Герцена: «Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок» (VII, 208). В том же символическом значении образы судьбы и рока возникают и в ряде писем Герцена (XXIV, 290, 291, 358; XXV, 98 и др.).

Даже при беглом прочтении статей и писем А. А. Бестужева-Марлинского, особенно периода его кавказской ссылки, обращают на себя внимание часто возникающие мотивы судьбы, предчувствия (как и у Лермонтова) близкой и насильственной гибели, рокового жребия, уже наступившего двух Александров — Пушкина и Грибоедова: «Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней!.. Вот уже трое погибло, и какой смертью все трое!»⁷ Или: «...неумолимая судьба тащит из теплого уголка опять на колеса, опять на мытарства!»⁸

Характерно, что проблема фатализма занимает едва ли не главное место в статье Марлинского «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“». Различая в ней «по духу и сущности» только две литературы — периода до христианства и со времен христианства, романтик Марлинский называет их «литературой судьбы» и «литературой воли»: «Первая — лобное место, где рок — палач, человек — жертва; вторая — поле битвы, на коем сражаются страсти с волею, над коим порой мелькает тень руки провидения».⁹

Отзвуки, отголоски «литературы судьбы» мы слышим и в поэзии Лермонтова. Глубокое, обостренное интуицией понимание его поэзии подсказало Беллинскому слова, которые можно было бы избрать эпиграфом к роману Лермонтова, если не ко всему его творчеству: «...это „с небом гордая вражда“, это — презрение рока и предчувствие его неизбежности» (XII, 85).

«Цепи судьбы», «слепая прихоть рока», «удар судьбы», «воля рока», «злостный рок» — эти и близкие им поэтические образы-формулы часто возникают в лирике Лермонтова, вовсе не означая, однако, смирения

⁷ А. А. Бестужев-Марлинский, Сочинения в двух томах, т. 2, Гослитиздат, М., 1958, стр. 674.

⁸ Там же, стр. 669. Мотив судьбы и рока встречаем также на стр. 640, 644, 647—649, 651, 657.

⁹ Там же, стр. 564.

поэта перед неким мистическим неведомым. Пафос поэзии Лермонтова — в утверждении свободной воли личности, в прославлении мужества и дерзновения человека, способного черпать наслаждение «во всякой борьбе с людьми или с судьбою» (стр. 343), в его гордой решимости не быть «игралем рока и страстей» наперекор силе враждебных обстоятельств.

Эти, условно говоря, «фаталистические» настроения Лермонтова возрастают к 1840 году, а начиная с 1841 года поэт не оставляет «пророческая тоска», навязчивая мысль о скорой и насильственной смерти («Сон», «Оправдание», «Любовь мертвеца»). «Мотивы гибели, пронизывающие последние стихотворения Лермонтова, были вызваны ясным пониманием конкретных фактов, повлиявших на его судьбу», — пишет Э. Герштейн,¹⁰ запово прочитавшая последние страницы биографии Лермонтова и его друзей по кружку шестнадцати: С. Трубецкого, Д. Фредерикса, Н. Жерве, А. Долгорукого, разделивших с ним немилость коронованного деспота и погибших (кроме Трубецкого) насильственной смертью, в боях с горцами или на дуэли, почти одновременно с Лермонтовым.

«Татарская жестокость» и «восточное воображение» Николая I (по отзыву Браницкого в письме к Гагарину) невольно вызывали прямые аналогии с восточным деспотизмом и, по ассоциации, с порождением этого деспотизма — философией фатализма.

Фаталистическими настроениями окрашено и стихотворение «Валерик» 1840 года:

... Мой крест несу я без роптанья:
То иль другое наказанье?
Не все ль одно. Я жизнь постиг;
Судьбе как тузок иль татарин
За все я ровно благодарен...
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили...

Эти признания Э. Герштейн объясняет «резвым политическим анализом» современного состояния России, где все цепенеет в рабской забитости и покорности и обречено «терпеливо страдать».¹¹ Однако обращает на себя внимание сдержанно-проническая интонация поэта, вызывающая в памяти лермонтовскую «Благодарность», обращенную к богу, — стихотворение, которое, не будь последних строк, приоткрывающих его пронический подтекст: «Устрой лишь так, чтобы тебя отныне Недолго я еще благодарил», могло бы быть истолковано как выражение «примирения» поэта с небом.

Как бы не полагаясь всецело на проничательность адресата и желая быть правильно понятым читателем, Лермонтов в «Валерике» не хочет быть принятым всерьез и ищет объяснения своему невольному «фатализму» в трудных обстоятельствах боевой походной жизни, которая мешает «размышлению» и приводит «больную душу» в «первобытный вид», т. е. делает ее на какой-то миг восприимчивой к философии застоя и инерции:

... Притом
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы ночь и днем,
Все, размышлению мешая,
Приводит в первобытный вид
Больную душу: сердце спит,
Простора нет воображенью...
И пет работы голове...

¹⁰ Эмма Герштейн. Судьба Лермонтова. «Советский писатель», М., 1964, стр. 345.

¹¹ Там же, стр. 341.

В романе «Герой нашего времени» образ Печорина детерминирован, как мы видели, не конкретными социально-бытовыми условиями среды и воспитания, а лишь в самом общем, романтическом смысле слова, все тем же зловещим и неизбежным роком, предопределившим и разрушительную роль индивидуалиста Печорина, и его безвременную глухую гибель в расцвете лет где-то по дороге из Персии в Россию.

Вопреки, казалось бы, прямому смыслу «Фаталиста» идея рока у Лермонтова, как и у Герцена и Марлинского, лишена мистического оттенка, ибо все, что происходит в «Фаталисте», на наш взгляд, призвано лишь дать образное, художественное обобщение теме социальной судьбы и предопределения, как бы уходящей в глубь, в подтекст повести.

Рок в его метафорическом, романтическом толковании никак не персонафицирован в романе: он только издали бросает мрачную тень на облик и судьбу Печорина. Что кроется за ним? Фатальное предопределение в том мистическом смысле, в каком исповедует его Вулич? Роковое стечение жизненных обстоятельств или деспотическая воля одного человека? Внутренняя несвобода Печорина — палача и жертвы в одно и то же время?

Роман не дает прямого ответа на эти вопросы, но всем своим подтекстом, всей внутренней логикой эмоционально-образного строя и композиции утверждает последнее: в романтически условной форме средствами подтекста роман раскрывает социальные истоки трагедии «лишнего человека» 30-х годов XIX века и ту роковую, фатальную предопределенность гибели в условиях николаевской России всего живого и мыслящего, которая была ясна Лермонтову, Герцену, Бестужеву-Марлинскому как необходимое и только в этом смысле фатальное порождение эпохи.

Несомненно, однако, и другое: философия фатализма представляла значительный интерес для Лермонтова-романтика, вызвала одновременно притяжение и отталкивание, споры и внутреннее несогласие. Он искал в ней ответа на тревожные вопросы о нравственных правах человека, свободе воли, случайности и необходимости, невольно находил соответствия и сближения с современностью, пытался объяснить ею роковую предопределенность собственной судьбы и участи своих опальных друзей.

С тем мужеством отчаяния, которое так характерно и для героя романа, Лермонтов временами не останавливался перед крайними выводами фатализма, но лишь затем, чтобы при ярком свете разума вновь подвергнуть все сомнению, эксперименту, критическому анализу, которого не могла выдержать философия фатализма — «одно из самых мрачных заблуждений человеческого рассудка» — по определению Беллинского, отнимавшее у человека нравственную свободу.

Вот почему на страницах романа ведется открытый спор участников пари Печорина и Вулича о фатализме и в то же время спор героя романа с самим собой, «незакрытый» спор, так и не доведенный до конца Лермонтовым.

Однако, подчеркивая в характере «фаталиста» Печорина волевое, деятельное, активное начало, прямой и трезвый взгляд на вещи, мужественную решимость пред лицом рокового предопределения, способность испытывать наслаждение от единоборства с судьбой, Лермонтов бросал гордый вызов преследовавшему его «року», утверждал постоянство свободной воли человека, его право на самоутверждение и активное преобразование мира. Поистине: «презрение рока и предчувствие его неизбежности». Вот почему у нас есть все основания сказать, несколько перефразируя слова Марлинского: «Герой нашего времени» Лермонтова — не только «роман судьбы», но и «роман воли».



ДОСТОЕВСКИЙ И ВОИНСТВУЮЩИЙ КАТОЛИЦИЗМ 1860—1870-х ГОДОВ

(К ГЕНЕЗИСУ «ЛЕГЕНДЫ О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ») ¹

Общезвестно, сколь чутко реагировал Достоевский на актуальные события и проблемы современной ему действительности. С напряженным вниманием вглядывался писатель в явления и процессы общественно-политической, идейной, социальной, культурной жизни — вплоть до уголовной хроники и хроники уличных происшествий, стремясь проникнуть в их смысл и значение, найти движущие имп силы, распознать в них ростки будущего.

Не раз признавался Достоевский в своей одержимости «тоской по текущему».² Важнейшей задачей писателя он считал отыскать «нормальный закон» и «руководящую нить» в «хаосе» повседневности, «определить и выразить законы п... разложения и нового создания» (XII, 36). Степень актуальности произведения, в глазах Достоевского, — мерило одаренности автора: «Только гениальный писатель или уже очень сильный талант угадывает тип современно и подает его своевременно; а ординарность только следует по его пятам» (XI, 90). Своих собратьев по перу Достоевский обвиняет в нежелании «замечать, разъяснять и записывать» текущие факты, сообщаемые газетами, в «мелочи и изменности» воззрения и проникновения в действительность». «Мы всю действительность пропустим этак мимо носу. Кто же будет отмечать факты и углубляться в них?» — пишет Достоевский Н. Страхову в марте 1869 года.³

За сложными идеологическими построениями Достоевского, за причудливыми, «странными» характерами его зачастую стояли совершенно конкретные реалии и прототипы, почерпнутые из самой гущи жизни, хотя, пройдя сквозь «магический кристалл» писательского воображения, они порой преображались почти до неузнаваемости.

«Проследите иной, даже и вовсе не такой яркий, на первый взгляд, факт действительной жизни, — писал Достоевский в «Дневнике писателя» за октябрь 1876 года, — и если только вы в силах и имеете глаз, то пойдете в нем глубину, какой нет у Шекспира» (XI, 423). К подобной глубине и стремился Достоевский, откликаясь в своих романах на явления современности.

Связь «Легенды о великом инквизиторе» с западноевропейской общественно-политической жизнью 1860—1870-х годов до сих пор не привлекала внимания исследователей. «Легенда» воспринимается нами сейчас как «отвлеченная» идеологическая конструкция, в которой с большой смелостью и широтой поставлен ряд кардинальных социально-этических, психологических, философских вопросов. Но вместе с тем «Легенда о вели-

¹ В данной работе речь идет главным образом лишь об антикатолической направленности «Легенды» и связанных с этим реалиях.

² Ф. М. Достоевский, Полное собрание художественных произведений, т. VIII, Госиздат, М.—Л., 1927, стр. 476. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

³ Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, Госиздат, М.—Л., 1930, стр. 169—170.

ком инквизиторе» — произведение на злобу дня в прямом смысле этого слова. Обращение к историческим реалиям 1860—1870-х годов позволяет установить, сколь тесно связаны и содержание «Легенды», и самый процесс формирования ее в творческом сознании Достоевского с идеологической и политической борьбой того времени.

Резкие выпады против католицизма содержатся уже в «Идиоте» Мышкин (выражая, конечно, взгляды самого Достоевского) заявляет: «Католичество — все равно что вера нехристианская!.. Католицизм.. искаженного Христа проповедует, им же обоганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует.. Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле.. По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство. играли самыми святыми, простодушными, пламенными чувствами народа, все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово?!» (VI, 478—479).

Уже в этих строках, написанных в самом конце 1868 года, проступают некоторые мотивы будущей «Легенды»: и мысль о поругании истинного христианства и самого Христа воинствующим католицизмом; и прямое отождествление его с антихристовым учением (в «Легенде» великий инквизитор говорит Христу: «Мы не с тобой, а с ним», т. е. со «страшным духом смерти и разрушения»); и утверждение, что католическая церковь в своей борьбе за светскую власть превратила искаженную христианскую веру в демагогическое орудие господства над обманутыми народными массами. Но от этих утверждений общего порядка, конечно, еще очень далеко до той специфической постановки, которую данные вопросы получили в «Легенде». И ничто не предвещает еще претворения их в образную форму.

Отметим, что эти полные негодования строки написаны Достоевским в тогдашней столице Италии Флоренции, куда писатель переехал в ноябре 1868 года. К этому времени достигла крайнего напряжения борьба, которую папство вело против итальянского национально-освободительного движения. Цепляясь за свою власть над так называемой Церковной областью, римский первосвященник-государь отчаянно сопротивлялся, опираясь на французские штыки, передаче молодому итальянскому государству Рима. Прибегая к самой низкой демагогии, используя духовенство и иезуитов, папа призывал свою паству в странах Западной Европы оказать поддержку главе католической церкви, теснимому «безбожниками» и «узурпаторами», которые посягают на самые «священные» устои. В своих посланиях папа Пий IX не только отстаивал незыблемость своего политического господства над Церковной областью, но торжественно заявлял о принадлежащем ему как мировому пастырю всех католиков примате власти.

К оценке католицизма и папства Достоевский возвращается три года спустя в «Бесах»: «Римский католицизм уже не есть христианство... Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение (искушение властью, — Ф. Е.), и... возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и погубило весь западный мир» (VII, 205).

Примечательно, что здесь речь идет уже об искушениях Христа дьяволом, играющих важную роль в «Легенде». В «Бесах» мы находим и характерное для «Легенды» причудливое, противоестественное смешение черт теократического государственного устройства с карикатурно изображенными чертами грядущего социалистического общества — сближение

католического, папского начала с «шигалевщиной». Петр Верховенский говорит Ставрогину: «Я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: „Вот, дескать, до чего меня довели!“, и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина. Надо только, чтобы с папой Internationale согласилась; так и будет. А старикашка (папа, — *Ф. Е.*) согласится мигом» (VII, 342).

За три года (1868—1871) многое изменилось в положении папского престола. В июле 1870 года Вселенский собор торжественно провозгласил догмат о непогрешимости папы, что должно было поднять власть и авторитет римского первосвященника на небывалую дотоле высоту, поставить его в известном смысле над всеми светскими государями. Догмат придал новые силы воинствующему католицизму, вызвав среди духовенства и верующих демонстрацию религиозного фанатизма, преклонения перед «непогрешимым» заместником Христа на земле. Правда, не прошло и двух месяцев после объявления нового догмата, как со светской властью папы над Римом и Церковной областью было навсегда покончено. Как только французские войска оставили папские владения в связи с франко-прусской войной 1870 года, силы объединенной Италии без труда овладели Римом. Но это не заставило папу Пия IX изменить свою политику и отказаться от принятой на себя роли. Отклонив компромиссные соглашения с правительством Италии и отлучив от церкви всех участвовавших в освобождении Рима, папа объявил себя «ватиканским узником» — пленником богоотступников и насильников. Протесты Пия IX против лишения его светской власти ни к чему не привели. Но с тем большей силой развернулась в католических странах Европы его деятельность среди «черных легионов» — деятельность овсянного ореолом «мученичества» могущественного главы *status in statu*, вмешивающегося во внутренние и международные дела государств, плетущего сети интриг, не брезгающего никакими средствами в борьбе за возвращение утерянной светской власти.

Уже в 1871 году депутация германских католиков во главе с кардиналом Ледоховским потребовала от императора Вильгельма I принятия мер к восстановлению политической власти папы. Один ультрамонтанский орган в Германии писал по этому поводу: «Не смиренно, как милости, а повелительно, как своего права, требуем этого мы как католики. . . Или вы возвратите католической церкви все ее права, или — не устоит ни одно из ваших теперешних правительств».⁴ Епископ Регенбургский публично заявил: «Если государи не хотят знать милости божьей, то я первый готов испровергать их троны. Нам может помочь война или революция».⁵ Незадолго до того связанная с папским престолом газета «Железская корреспонденция» писала: «Если государи не посодействуют папству в восстановлении всех его прав, то оно отречется от них (т. е. от государей, — *Ф. Е.*) и прямо обратится к сердцам народов. Понимаете ли вы всю страшную силу этой перемены? Часы ваши, государи, сочтены!»⁶

В свете подобных выступлений становятся понятными, приобретают более конкретные очертания цитированные выше строки из «Бесов» о папе, «пешем и босом», оставленном без помощи государям («вот, дескать, до чего меня довели»), но находящем поддержку своим требованиям у черни.

Поползновения германских приверженцев папы встретили, как известно, решительное противодействие Бисмарка, проводшего в 1872—1875 годах ряд мероприятий против вмешательства католического духовенства в политическую жизнь Германии («культуркампф»). «Постанов-

⁴ А. Лопухин. История христианской церкви в XIX веке, т. 1. СПб, 1900, стр. 257.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

ления Ватиканского собора, — заявлял Бисмарк, — превратили епископов в орудия папы, в безответственные органы государя, который в силу догмата о непогрешимости располагает гораздо большей полнотой абсолютной власти, чем какой-либо другой монарх в мире». ⁷ Пий IX специальным письмом пытался побудить германского императора к отмене этих мер. В письме, между прочим, говорилось: «Всякий, принявший крещение, в некотором смысле принадлежит папе». ⁸ Вильгельм I отверг требования папы. Тогда Пий IX с высоты папского престола объявил проведенные Бисмарком законы недействительными, т. е. не подлежащими исполнению католиками, поскольку они «протворечат божественным установлениям церкви».

Уже все сказанное показывает, что тенденциями развития самой действительности была навеяна выведенная Достоевским в «Легенде» мрачная, но по-своему величавая фигура католического иерарха, в котором безраздельное господство над совестью, разумом, чувствами верующих сочетается со всей полнотой политической власти над ними, — иерарха, добившегося безграничного пьетета и полной покорности со стороны обманутых народных масс. В этой фигуре действительно нашла воплощение (говоря словами Достоевского) «католическая идея» в ее крайнем проявлении.

Возникновение «Легенды» (к «Идиоту» и «Бесам» можно приурочить лишь неясные зачатки, предысторию ее) связано, однако, не с процессами ультрамонтанов в Германии начала 1870-х годов, а с более поздними событиями — с монархическо-католическим заговором во Франции в 1876—1877 годах.

Именно к 1876—1877 годам А. С. Долинин справедливо относит первоначальную кристаллизацию в творческом сознании Достоевского замысла «Братьев Карамазовых». При этом исследователь с полным основанием указывает, что своеобразным «аккумулятором» «художественного сырья», собранием «заготовок» для будущего романа послужил «Дневник писателя» за 1876—1877 годы — отклики Достоевского на различные живо-трепещущие факты русской и зарубежной жизни этих лет. В романе все это было обобщено и углублено, претворено в образы и идеологические высказывания. ⁹

Но именно международно-политические фельетоны Достоевского в «Дневнике писателя» за эти годы в части, относящейся к Франции и папскому престолу (особенно в выпусках за март 1876-го, май—июнь и ноябрь 1877 года), и явились, на наш взгляд, основным первоисточком «Легенды о великом инквизиторе». Здесь уже содержится в более или менее развернутом виде многое из того, что вскоре нашло художественное преломление и дальнейшее развитие в «Легенде». ¹⁰

⁷ См.: История XIX века. Под редакцией проф. Лависса и Рамбо. Изд. 2-е, доп. и испр. под редакцией Е. В. Тарле, т. 7. Соцгиз, М., 1939, стр. 346

⁸ А. Лопухин. История христианской церкви в XIX веке, т. 1, стр. 264

⁹ А. С. Долинин. Последние романы Достоевского. «Советский писатель», М.—Л., 1963, стр. 235—242.

¹⁰ А. С. Долинин в только что упомянутой работе (стр. 241—242) связывает генезис «Легенды» с главкой о спиритизме в «Дневнике писателя» за январь 1876 года, с рассуждениями о самоубийстве акушерки Писаревой в майском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год и с письмом к В. Алексееву от 7 июля 1876 года. В этих высказываниях Достоевского действительно идет уже речь о «камнях, обращенных в хлебы» (один из символов «Легенды»), осуждаются материализм и социализм, «хлеба» и материальному благополучию противопоставляется свобода человеческого духа. Весь этот круг идей (с некоторыми вариациями фигурирующий, впрочем, и в более ранних писаниях Достоевского) бесспорно получил дальнейшее развитие в «Легенде». Однако о зарождении «Легенды» как таковой можно, на наш взгляд, говорить лишь с того момента, когда эти идеи контаминируются с идеями антикатолическими, когда у Достоевского возникает образ некоего теократического, управляемого католическим иерархом

В 1876—1877 годах внутривнутриполитическое положение во Франции все более обострялось. Это было обусловлено общей шаткостью республиканского строя, непрекращающимися происками монархистов и подрывной деятельностью черной армии воинствующего клерикализма. Связующим и объединяющим звеном для всех антиреспубликанских сил служили именно руководимые из Ватикана католические патеры и иезуиты, мутившие народ, призывавшие и к устранению «богопротивного» республиканского строя, и к освобождению «наместника Христа» из плена. В речи, произнесенной в конспиратории Ватикана в марте 1877 года, Пий IX обратился к французским католикам с открытым призывом поддержать его притязания на Рим. Это послужило сигналом к разнузданной агитационной кампании клерикалов. Особенно широко они развернули свою деятельность в деревнях, где духовенство побуждало крестьян подписывать петиции, требующие от французского правительства шагов, направленных к восстановлению светской власти папы. С большим шумом включилась в проводимую кампанию католическая пресса.¹¹

О масштабе этой кампании могут свидетельствовать выступления членов французской палаты депутатов 3—4 мая, о которых сообщала, например, «Хроника парижской жизни» «Отечественных записок» — журнала, несомненно находившегося в поле зрения Достоевского.

Республиканец Леблон заявил: «...клерикалы... решились эксплуатировать в свою пользу... затруднительное положение Франции... хотя бы это и угрожало ей гибелью. Католические комитеты составляют папистскую петицию, а епископы начинают движение, могущее вовлечь нас в войну с Италией, за которой стоит Германия... Чуть ли не все епископы только и кричат о том, чтобы папе был отдан Рим, что он принадлежит папе и Богу. На праздниках Пасхи всеобщность вмешательства католицизма в кризис, переживаемый Европой, выразилась в Англии проповедью главы ультрамонтанства в этой стране — кардинала Маннинга, который говорил: „... Папа Пий IX — узник, но грозные перевороты, должествующие наступить, принесут с собой среди катаклизмов независимость государя — первосвященника“. Не то же ли думает, не к тому ли стремится и духовенство во Франции? Орган камбрейского епископа „Эмансипатор“, редактируемый аббатом, позволил себе напечатать следующее: „Неужели Франция, благодаря республике, упала так низко, что отступит из боязни итальянских войск?.. война эта не национальная, а война католиков против врагов католицизма“». ¹² Далее Леблон процитировал подстрекательские выступления еще двух клерикальных органов — «Mémorial du Finistère» («Да раздастся же, наконец, первый выстрел из Рима!») и «Journal du Mans» («Разве ограбление святейшего отца итальянским правительством не нанесло Франции самой кровавой обиды?.. Если бы папа вздумал защитить свои права оружием, то при первом его боевом крике Франция необходимо должна начать войну») и потребовал пресечения опасной для Франции пропаганды ультрамонтанов.

Гамбетта в своей речи указал, что французское духовенство представляет собой «одну армию, умеющую своего главнокомандующего и умеющую действовать, как хорошо дисциплинированное войско». Навертывается вопрос, «не преобразилось ли в наши дни государство в церковь»? Не может быть терпимо, чтобы в то время, когда малейшая неосторожность может быть пагубной для Франции, «клерикальная партия могла затеять „римские походы“, внутренние и внешние, или присваивать себе

«царства», являющегося в то же время и «муравейником». Этого нет в указываемых А. С. Долининым источниках.

¹¹ См.: В. П. Аптюхина-Московченко История Франции. 1870—1918. Изд. Института международных отношений, М., 1963, стр. 231.

¹² «Отечественные записки», 1877, июнь, отд. «Современное обозрение», стр. 201—202.

право влиять на образ действий министра иностранных дел в интересах политики римской курии и петициями в палату, посланиями епископов и их незаконными циркулярами к мэрам стараться заставить французское правительство не признавать результатов, достигнутых светской революцией Италии, и вмешиваться во внутренние дела этой страны». Это ведет прямо к войне. Правительство обязано спасти Францию от происков ультрамонтанства. Гамбетта закончил свою речь словами: «Клерикализм — вот враг наш!»¹³

Эти слова стали девизом для прогрессивных сил Франции в развернувшейся вскоре борьбе за сохранение республиканского строя. Побуждаемый крайними реакционерами, маршал Мак-Магон не остановился перед попыткой настоящего государственного переворота. 16 мая 1877 года он, в нарушение конституции, сместил опиравшееся на парламентское большинство правительство, состоявшее из республиканцев, и сформировал новое — из деятелей монархическо-клерикального лагеря. Палата депутатов была распущена. В случае неудачного для него исхода новых выборов, назначенных на 14 октября, Мак-Магон помышлял об открытом военном перевороте силами послушной ему армии.

Несмотря на принятые чрезвычайные меры (назначение новых префектов и мэров; епископские послания верующим с наставлением голосовать за правых кандидатов, список которых был одобрен и рекомендован самим Мак-Магоном; раздача в деревнях зажигательных брошюр, в которых говорилось о «священной борьбе за веру», и т. д.), республиканцы завоевали на выборах большинство, и опасность реставрации монархии и вовлечения Франции в войну была устранена.

Но во французских событиях еще в большей мере, чем в перипетиях культуркампа в Германии, со всей отчетливостью проявилось, какую грозную силу в Европе представляет собой «черная армия», слепо подчиняющаяся приказам из Ватикана и держащая в повиновении многомиллионные массы верующих. Обнаружилось воочию, что это — целое «государство в государствах», хотя и не имеющее определенных территориальных границ, но скрепленное воедино авторитетом «непогрешимого» пастыря всех католиков. При смелом полете мысли, присущем творческому воображению Достоевского, нетрудно было представить себе, в качестве одной из потенций будущего развития, победу «черных легионов» в какой-либо из католических стран Европы и возникновение некоего теократического «царства» с всемогущим католическим иерархом во главе. Подобный прогноз и получил вскоре художественное воплощение в «Легенде о великом инквизиторе». Но до того он был четко высказан Достоевским-публицистом на страницах «Дневника писателя».

«Дневник писателя» за 1876—1877 годы свидетельствует, с каким пристальным вниманием следил Достоевский за ходом дел во Франции. Еще в выпуске «Дневника» за март 1876 года он высмеивает утверждения о том, что во Франции и в Европе в целом господствуют спокойствие и мир. Силами, которые вскоре взорвут обманчивую стабильность, по мнению писателя, явятся, с одной стороны, выступления пролетариата, требующего социальной справедливости, а с другой — происки воинствующего католицизма, добывающегося политической власти. Эти две силы, заявляет Достоевский, объединятся под эгидой папы, под знаменем «католической идеи», и подобное объединение станет страшной угрозой для всего существующего правопорядка. Не получив поддержки своим притязаниям от «царей земных», «римское католичество» «несомненно бросится к демосу» и путем самой безудержной демагогии привлечет его на свою сторону. Непогрешимость папы, окружающий его ореол «мучени-

¹³ Там же, стр. 204—205.

чества» помогут клерикалам обмануть народ, который «всегда и везде был прямодушен и добр».

Своеобразие концепции, развиваемой Достоевским, заключалось в том, что, по его мнению, клерикалы овладеют народными массами не простой игрой на религиозных чувствах верующих, но главным образом посредством изоцированной социальной демагогии — эксплуатируя и приспособляя к своим целям классовые социалистические устремления угнетенных классов. В мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год уже в гораздо более развернутом виде, чем в «Бесах», — непосредственно предваряя «Легенду о великом инквизиторе» — Достоевский рисует причудливую картину сращения «папской идеи» с социализмом, точнее — присвоения себе воинствующим католицизмом социалистических целей и идеалов (представленных в карикатурно-искаженном виде). Прислужники папы, ссылаясь на христианские заветы братства, сами благословят бедняков на экспроприацию собственности у имущих классов. Присвоенной ему властью папа освободит бедняков от моральной ответственности за совершаемое, отпустит им все их грехи: «Знайте тоже, что вы безвинны во всех бывших и будущих грехах ваших, ибо все грехи ваши происходили лишь от вашей бедности» (XI, 232).

За признание неограниченной власти папы клерикалы посулят народу настоящий рай на земле: «Только веруйте, да и не в бога, а в папу и в то, что лишь он один есть царь земной. . . Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы станете богаты, а через богатство и праведны, потому что все ваши желания будут исполнены, и у вас будет отнята всякая причина ко злу» (XI, 232—233). «Без сомнения, демос примет предложение», — уверенно заключает Достоевский (XI, 233).

Нельзя не видеть, что здесь уже намечены главные черты того общественного «устройства», которое изображается в «Легенде»: призрачное «счастье» — материальное довольство и «безгрешие», — купленное ценой отречения от самого важного и дорогого для человека — от свободы и от моральной ответственности за свои поступки. В приводимой Достоевским аргументации католических проповедников уже содержатся важнейшие звенья лукавой софистики великого инквизитора (софистики, решительное осуждаемой и отвергаемой писателем): и «детерминистическое» «оправдание» человеческих преступлений и пороков, и мысль о «хлебах» (материальном обеспечении) как главном залоге человеческой добродетели и человеческого счастья («первое искушение дьяволом Христа в пустыне»).

В выпуске «Дневника» за март 1876 года воинствующему католицизму резко вменяется в вину также то, что он прельстился и на «третье дьяволово искушение» — искушение властью. Свидетельством этого является, в глазах Достоевского, догмат о папской непогрешимости: «Рим. . . недавно. . . провозгласил свое согласие на третье дьяволово искушение в виде твердого догмата» (XI, 231). В уста Пия IX вкладывается целый пространственный монолог: «Вы думали, что я только титулом государя Папской области удовольствуюсь? Знайте же, что я всегда считал себя владыкой всего мира и всех царей земных, и не духовным только, а земным, настоящим их господином, властителем и императором. Это я — царь над царями и господин над господствующими, и мне одному принадлежат на земле судьбы, времена и сроки; и вот я всемирно объявляю это теперь в догмате моей непогрешимости» (XI, 231). Достоевский замечает по поводу сочиненной им речи папы: «Это величаво, а не смешно; это — воскрешение древней римской идеи всемирного владычества и единения, которая никогда и не умирала в римском католичестве. . . Таким образом, продажа истинного Христа за царства земные совершилась. И в римском католичестве она совершится и закончится на самом деле» (XI, 231).

«Монолог папы» обращает на себя внимание не только содержанием, но и формой. Примечательно, что здесь, а также рассуждая о социальной демагогии, которую применяют приверженцы папы, Достоевский-публицист порой незаметно уступает уже место Достоевскому-художнику: он то развивает свою аргументацию от собственного лица, говоря о папе и католических агитаторах в третьем лице, то как бы предоставляет слово им самим. Исторические фигуры как бы трансформируются в художественные образы, внутренняя сущность которых раскрывается частично в их собственной речи, от их собственного имени, а не только в авторской речи, от имени автора. Мы цитировали выше лживые посулы клерикалов, предназначенные для обмана народных масс. Но они преподнесены читателям «Дневника писателя» не как авторское обобщение, а как заключенная в кавычки речь собирательного персонажа — представителя католических «соблазнительей, премудрых, ловких сердцеведов и психологов, диалектиков и исповедников» («они скажут» народу от имени папы то-то и то-то) (XI, 232—233).

Для претворения главки из «Дневника писателя» в художественное произведение социально-философского содержания — в «Легенду» достаточно было, с одной стороны, вложить рассуждения католических «психологов» и «диалектиков» (в развернутом и углубленном виде) в уста единого вымышленного персонажа — великого инквизитора, а с другой — представить теократическое «царство», где «католическая идея» естественно сочетается с карикатурой на социалистическое устройство общества, уже не угрозой, нависшей над Западной Европой, а воплотившейся в жизнь реальностью.

Завершая главку, которую мы только что анализировали, Достоевский писал: «Я уже раз говорил обо всем этом, но говорил мельком, в романе (несомненно имеется в виду отмеченное выше место из «Бесов», — Ф. Е.). Пусть мне простят мою самонадеянность, но я уверен, что все это несомненно осуществится в Западной Европе, в той или иной форме, т. е. католичество бросится в демократию, в народ» (XI, 233). Можно себе представить, какое впечатление произвело на Достоевского дальнейшее развитие событий во Франции — вызванная происками клерикалов и монархистов попытка Мак-Магона произвести в мае 1877 года *coup d'état*: писатель должен был воспринять это как прямое осуществление его предсказаний.

Неудивительно поэтому, что «внезапному клерикальному перевороту во Франции» уделяется так много внимания в «Дневнике писателя» за 1877 год, особенно в выпусках за май—июнь и ноябрь. Достоевский уверенно заявляет теперь: «Огромнейшая идея мира, идея, выпешдая из главы дьявола во время искупения Христа в пустыне... папская идея вдруг в наши дни... разом проявила такую живучесть, такую силу, что произвела во Франции радикальнейший политический переворот» (XII, 164). По мнению писателя, «твердый и строго организованный католический заговор в видах обновления римского светского владычества» распространился на всю Европу (XII, 242), «весь ключ теперешних и грядущих событий всей Европы лежит в католическом заговоре и в предстоящем несомненном огромном движении католичества» (XII, 240).

В связи с событиями во Франции на страницах «Дневника писателя» за 1877 год вновь и вновь варьируются на разный лад идеи и образы, использованные вскоре при создании «Легенды».

Тут и мысль о постоянном, неискоренимом стремлении папства к политической власти над людьми, к созданию мирового теократического государства. В выпуске «Дневника» за май—июнь снова утверждается, что Пий IX, провозгласив тезис о своей непогрешимости, тем самым «провозгласил... и тезис, что без земной власти христианство не может уцелеть на земле, — т. е. в сущности провозгласил себя влады-

кой мира, а перед католичеством поставил, уже догматически, прямую цель всемирной монархии, к которой и повелел стремиться во славу божию и Христа на земле» (XII, 163—164).

Тут и настойчивые утверждения о неизбежности «поглощения» воинствующим католицизмом социалистического движения. В «Дневнике писателя» за ноябрь Достоевский пишет: «Католичество... в первый раз обратится к народу... Народу оно скажет, что все, что проповедуют им социалисты, проповедовал и Христос. Оно исказит и продаст им Христа еще раз, как продавало прежде столько раз за земное владение, отстаивая права инквизиции, мучившей людей за свободу совести во имя любящего Христа, Христа дорожающего лишь свободно пришедшим учеником, а не купленным или науганным» (XII, 324). Напомним, что именно эта антитеза широко развернута — уже чисто художественными средствами — в «Легенде»: с одной стороны, кроткий, любящий Христос, ищущий лишь свободного признания — идущей от сердца веры; с другой — великий инквизитор, добывающийся слепой покорности посредством физического (костры для еретиков) или духовного насилия над совестью людей. «Так или этак, а соединение произойдет, — продолжает Достоевский. — Католичество умирать не хочет, социальная же революция и новый социальный период в Европе тоже несомненен: две силы несомненно должны согласиться, два течения слиться... Измученное хаосом и несправедливостью человечество бросится к нему (католицизму, — *Ф. Е.*) в объятия, и оно очутится вновь, но уже всецело и наяву, нераздельно ни с кем и единолично, „земным владыкой и авторитетом мира сего“ и тем окончательно уже достигнет цели своей. Картина эта, увь, — не фантастическая. Я положительно удостоверяю, что ее уже прозирают очень и очень многие на Западе» (XII, 325). Эта картина, вопреки заверениям Достоевского, оказалась фантастической. Но именно она, художественно преображенная, и положена в основу «Легенды», где утомленные бунтом и извергшиеся в свободе люди обретают покой и дешевое «счастье» под ярмом великого инквизитора.

Не прошло и нескольких месяцев после написания процитированных строк, как случилось событие, которое должно было снова приковать внимание Достоевского, уже вплотную занятого в это время замыслом «Братьев Карамазовых», к воинствующему католицизму и его главе. 7 февраля (26 января по старому стилю) 1878 года на 86-м году жизни скончался папа Пий IX — живое олицетворение «католической идеи» в самых резких ее формах. Это он на протяжении десятилетий, не разбирая средств, стремился поднять влияние и авторитет папского престола на недостижимую высоту, противопоставляя свои претензии на роль светского государя воле ряда европейских народов и правительств. Это он пытался повернуть вспять колесо истории, сохранить в неприкосновенности власть средневековой идеологии над умами 200 миллионов католиков. Именно при нем Ватиканский дворец стал не только твердыней воинствующего мракобесия и верным оплотом ордена иезуитов, но и средоточием заговоров и интриг, папавлепных против Италии, Франции, Германии. Естественно поэтому, что смерть Пия IX нашла широкий отклик в русской печати, подводившей итоги его 32-летнего понтификата и задававшей вопрос о дальнейшей политике папского престола при его преемнике. Весьма важным и актуальным было, останется ли и новый «наместник святого Петра» на позициях непримиримой враждебности к идеологии и политическим установлениям новой Европы, давно сбросившей с себя путы средневекового мировоззрения, или же он пойдет на какой-то компромисс с современностью (этот вопрос неоднократно ставил в «Дневнике писателя» и Достоевский: смерти Пия IX ждали давно).

В январе—марте 1878 года Пию IX посвящали пространные (иногда передовые) статьи органы русской печати, заведомо находившиеся в поле

зрения и внимания Достоевского: газеты «Московские ведомости» (раздел передовой в номере от 28 января), «Новое время» (статья «Пий IX как политический деятель» в номерах от 31 января и 7 февраля), «Голос» (некролог «Папа Пий IX» в номере от 28 января), «Русские ведомости» (передовая в номере от 30 января). В «Русском вестнике» за март 1878 года появилась статья Н. Щербаня «Пий IX и Виктор-Эммануил». «Отечественные записки» в № 2 за 1878 год начали печатать обширный компилятивный (оставшийся незавершенным) очерк «Пий IX как папа, государь и человек».

Русская печать, как и можно было предполагать, дала в общем отрицательную оценку деятельности скончавшегося папы. Но при этом отмечались значимость его как исторической фигуры первого плана, большое влияние, оказанное им на идейно-политическую жизнь Европы в 1860—1870-е годы. «Новое время», указывая на окружавший папу «ореол мученичества», писало: «Пий IX давно уже обратился в личность чуть ли не легендарную и, во всяком случае, необыкновенную среди прочих смертных». В статье «Московских ведомостей» шла речь об «ореоле величия», «который долгою привычкою, несчастьями и замечательным характером был создан для Пия IX».

Первые из дошедших до нас записей (черновых) к «Братьям Карамазовым» относятся к апрелю 1878 года.¹⁴ В записи, датированной А. С. Долининым сентябрем 1878 года, уже говорится об искушении Христа в пустыне дьяволом.¹⁵ «Легенда о великом инквизиторе» написана Достоевским в мае 1879 года. Как и всегда у Достоевского, реалии, натолкнувшие писателя на обобщающую концепцию, «тонут» в ней — настолько она емка и глубока. В «Легенде» устами Ивана Карамазова и в его преломлении ставятся самые общие социально-философские и этико-религиозные вопросы: о природе человека и законах его поведения, о природе общества и путях его развития, о «подлинном» христианстве и католицизме и т. д. Сказанное выше об истоках «Легенды», конечно, ни в малейшей степени не покрывает всего богатства ее содержания, всего разнообразия ее проблематики. Но внутренним стержнем и внешней рамкой ее все же остается отмеченный ранее круг идей, ведущий к «Дневнику писателя» за 1876—1877 годы.

Позитивные взгляды Достоевского, которые он хочет противопоставить лжеучению великого инквизитора, в самой «Легенде» намечены только пунктиром: раскрытию их служит весь роман «Братья Карамазовы», особенно фигура Зосимы, его поучения и образ Алеши. Но символическим воплощением их является уже финал «Легенды»: молчащий Христос «тихо целует» инквизитора «в его бескровные девяностолетние уста» («Вот и весь ответ»). Все то низменное и мелкое в человеке (мечущиеся от бунта к слепому повиновению рабы), чем ограничивается поле зрения инквизитора, на чем он стремится воздвигнуть фундамент общественного здания, преодолевается, по Достоевскому, кроткой, непритязательной, идущей от самого сердца и не опосредствованной разумом любовью к людям и к жизни. Она-то и составляет, по мнению Достоевского, существо подлинного христианства — православия, основанного якобы на духовной свободе верующих и всей полноте их моральной ответственности за свои дела и помыслы. Именно за эти высшие религиозно-этические ценности ратовал (уже задолго до «Братьев Карамазовых») Достоевский — религиозный мыслитель, хотя, как справедливо подчеркивается советскими исследователями, внутреннему естеству писа-

¹⁴ См.: А. С. Долинин. Комментарии к первым наброскам «Братьев Карамазовых». В кн.: Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Изд. АН СССР, Л., 1935, стр. 350.

¹⁵ Там же, стр. 353.

теля поучения Зосимы вряд ли были ближе, чем атеистический «бунт» Ивана Карамазова в той же пятой книге «Братьев Карамазовых».

Достоевский неоднократно писал, что «Вавилонской башне» Запада (ее-то и хочет построить великий инквизитор), погрязшего в атеизме и материализме, противостоит в качестве оплота подлинной веры русский народ — «народ-богоносец», хранитель заветов православия. В тех же «Братьях Карамазовых» католической церкви, претендующей на роль государства и потому утрачивающей свое высшее морально-религиозное назначение, противопоставляется нечто противоположное: государство, «возвысившееся» до церкви, «превратившееся в церковь», т. е. устраивающее жизнь людей на началах христианской любви и братства (IX, 62—68).

Критика реакционно-утопических элементов, содержащихся в концепциях Достоевского (включая, конечно, и «Легенду»), была бы легкой задачей. Но, не желая повторять уже сказанное советскими исследователями, подчеркнем иное, еще недостаточно осознанное: тот неоспоримый факт, что мрачная, человеконенавистническая сущность «папской идеи» — воинствующего католицизма — воплощена в «Легенде о великом инквизиторе» с большой глубиной и силой.

До сих пор мы недостаточно касались важного элемента «Легенды» — «второго искушения Христа дьяволом» («чудо, тайна, авторитет»), поскольку Достоевский почти не затрагивал его в тех фельетонах «Дневника писателя», которые мы анализировали выше как существеннейший первоисток «Легенды». Нетрудно заметить, что и здесь в основе обобщенный Достоевского в первую очередь — черты идеологии и церковной политики воинствующего католицизма.

«Чудо, тайна, авторитет» как главные средства господства великого инквизитора над обманутыми массами верующих — один из центральных мотивов «Легенды». Инквизитор говорит Христу: «Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья; — эти силы: чудо, тайна и авторитет» (IX, 253). «Не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести... Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете» (IX, 254).

Тезис о спасении, достигаемом не верой как таковой, но «добрыми делами», то есть в конечном счете слепым выполнением велений церкви и клира, издавна был присущ католическому вероучению (продажа индульгенций — не более как логический вывод из него). Но именно в 1850—1870-е годы, при Пие IX, «чудо, тайна и авторитет» начинают занимать невиданное со средних веков место в идейном арсенале и демоagogической практике папства. Напомним ряд относящихся сюда фактов.

Значительно увеличивается при Пие IX число «святых». Канонизация удостаивается, между прочим, испанский инквизитор Педро Арбуэс (1442—1485). В 1854 году Пий IX с величайшей торжественностью провозглашает новый догмат, обязательный для всех верующих — нелепейший догмат о чудесном непорочном зачатии девы Марии: католиков обязали верить в то, что не только сам Христос, но и богородица была зачата помимо плотского греха. Своего рода рекорд в фабрикации чудес побивает знаменитое «Лурдское чудо» (1858) — мнимое «явление» богородицы 14-летней девочке Бернадетте Субиру. Это «чудо», широко разрекламированное духовенством и санкционированное авторитетом самого Пия IX, стало средством спекуляции на религиозных суевериях миллионов богомольцев, до сих пор посещающих Лурд, и источником неисчислимых доходов для католической церкви. Дальнейшим шагом на том же пути «credo quia absurdum» был обнародованный Пием IX в 1864 году печально известный «Силлабус» — перечень 80 «заблужде-

ний», предаваемых анафеме. В «Силлабусе» и сопровождавшей его энциклике «Quanta cura» папа пытался противопоставить всем политическим, социальным и культурным достижениям XIX века мистику слепой веры и авторитет церковного предания. Решительно осуждались свобода печати и слова, свобода совести, отделение церкви от государства и т. д. Советский историк констатирует: «В этом позорном манифесте папа отстаивал главенство церковной власти над гражданской, требовал неограниченной власти для папы, исключительных прав для католической церкви в руководстве воспитанием. „Анафема. — говорится в «Силлабусе», — тому, кто скажет: римский папа может и должен примириться и вступить в соглашение с прогрессом, либерализмом и современной цивилизацией“».¹⁶

Наконец, венцом всей деятельности Пия IX в указанном направлении явился уже многократно упоминавшийся догмат о папской непогрешимости, принятый по настоянию Пия IX Вселенским собором в 1870 году и чуть ли не обоготворивший «наместника Христа на земле».

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что триединая формула «Легенды» «чудо, тайна, авторитет» точно передает те средства, которые «святейший престол» особенно интенсивно применял для уловления душ при Пие IX.

Вопрос, не явился ли сам папа Пий IX прототипом — в обычном смысле слова — для образа великого инквизитора, был бы неправомерным. Достоевский не был фотографом-иллюстратором современной ему политической и идеологической жизни. К тому же между римским папой и персонажем Достоевского нет психологического сходства. Великий инквизитор — могучий, непреклонный поборник веры и вместе с тем тайный страдалец, совершивший, из жалости к людям, великий грех отступничества от подлинного христианства, — фигура несомненно трагическая. Римского же папу английский историк Т.-А. Троллоп, автор двухтомной монографии «История жизни Пия IX» (1877), изображает так: «Основная черта его характера — главная побудительная причина всех его действий в продолжение столь долгой, необыкновенной жизни, была страсть к отобрению, к рукоплесканиям. Руководимый этим всепоглощающим чувством, он был мелодраматическим фантом в молодости, мелодраматическим епископом в зрелые годы и мелодраматическим папой в старости. Желание порисоваться ни на минуту не покидало его до последнего времени... Рукоплескания зрителей, перед которыми он исполнял свою роль, обставив себя всевозможными театральными эффектами, составляли руководящую нить всей его жизни».¹⁷

Не может быть ничего общего и между содержанием — узко теологическим — выступлений Пия IX и «змеиной мудростью» великого инквизитора. Весь жизненный материал, обобщенный в «Легенде», идеологизирован, приподнят, претворен в глубокие социально-философские проблемы о природе человека и общества, о законах их существования и развития.

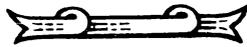
Но вместе с тем представляется несомненным, что этим жизненным материалом в большей мере послужили именно черты церковной политики Пия IX, все направление деятельности папского престола в период его понтификата. Именно он был в критический, переломный для папства период самым крупным, исторически значительным представителем той самой «католической идеи», которая в монологе великого инквизитора получила столь своеобразное этико-философское преломление. В этом смысле можно сказать, что тень от «непогрешимого» папы, каковы бы ни были его личные свойства, легла на созданную Достоевским фигуру.

¹⁶ М. Шейнман. Краткие очерки истории папства. М., 1952, стр. 105.

¹⁷ Эта характеристика приведена в упомянутой выше статье «Отечественных записок» «Пий IX как папа, государь и человек» (стр. 589—590).

Конкретный исторический прогноз Достоевского относительно будущего Западной Европы, высказанный в «Легенде о великом инквизиторе», а до того в «Дневнике писателя», оказался ошибочным. Фантастическая идея, что католицизму удастся «поглотить» политический социализм — то есть подчинить своим целям и интересам великую освободительную борьбу угнетенных масс за создание нового общества, — не могла претвориться в историческую реальность. Соотношение сил на исторической арене оказалось совершенно иным. Если папский престол на наших глазах вынуждается в последнее время к пересмотру — в той или иной мере — своей традиционной политики воинствующей реакции и ищет путей к «примирению с современностью», то это в решающей степени объясняется неизмеримо усилившейся мощью рабочего класса в католических странах Европы, все большим воздействием, которое силы социализма оказывают на всю сферу идеологии и политики в современном мире.

Но общее предсказание Достоевского, что, борясь за политическое влияние и власть, папство, оставленное государями и правительствами, «обратится к демосу», «бросится в народ» и попытается посредством социальной демагогии привлечь его на свою сторону, — это предсказание сбылось. Уже преемник Пия IX Лев XIII провозгласил основы новой социальной политики католической церкви в период империализма. В папской энциклике «*Regum novarum*» (1891) признавалась несправедливость существующих социальных отношений, угнетенное положение трудящихся. Именно католическая церковь, заявлял папа, призвана разрешить «рабочий вопрос» в духе христианских заветов братства и любви. Под завесой этих красивых фраз папа призывал к мирному урегулированию социальных конфликтов, то есть, по существу, к отказу от классовой борьбы. На новом историческом этапе «католический социализм», этот худший из «эрзацев» подлинного социализма, заявивший о себе еще в 1830—1840-е годы, расцвел в Западной Европе пышным цветом. Порождениями его являются современные «христианско-демократические» и «социально-христианские» партии, стоящие кое-где у власти, пользующиеся еще большим авторитетом среди отсталых слоев трудящихся. Через них папский престол и в наши дни оказывает в ряде случаев сильное влияние на политическую жизнь Западной Европы.



РУССКИЙ ТОНИЧЕСКИЙ СТИХ С РИТМОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧЕТНОСТИ И ВАРЬИРУЮЩЕЙ СИЛЛАБИКОЙ

(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ РУССКОГО ВОЛЬНОГО СТИХА)

1

Много лет подряд российские литературоведы, фольклористы и филологи занимаются удивительной загадкой русского народного стиха. И невзирая на громадное количество любопытных (нередко драгоценных!) частных наблюдений, невзирая на массу накопленного материала и на все многотрудные и мужественные усилия ряда достойнейших ученых (таких, например, как Востоков, Одоевский, Срезневский, Голохвастов, Цертелев, Потебня, Корш и мн. др.), общего и принципиального решения по части строения народно-былинного стиха за весь прошлый век достигнуто не было. Разумеется, резонерствовать о чужих неудачах — дело довольно неприглядное, но как-никак современнику-стиховеду безмолвно наблюдать этот странный ряд промахов кажется довольно огорчительным. . . Тем более, что изучение запутанной истории разномыслий, взаимно противоречивых терминов и концепций понемногу приводит к подозрению, что все эти неопределенности (а их немало число!) возникли, весьма вероятно, на почве двух (по крайней мере) немаловажных причин.

Первая причина заключается в том, что многочисленные исследователи народного стиха как-то забывали о существовании весьма поучительных и в своем роде очень проникательных опытов (в народном роде) наших подлинных знатоков поэтических тайностей — русских поэтов, которые изучали склад народного стиха и по-своему (в порядке подражания) добивались немало.

Вторая причина имеет скорее методологический характер; она заключается в том, что в прошлом веке понятие об экспериментальной эстетике еще не сформировалось, теоретическая статистика еще лежала в пеленках, стиховедческие исследования двигались вперед ощупью, еле-еле, а наблюдений было еще накоплено слишком мало. Именно это отсутствие исследовательских навыков и необходимость прибегать к допустимым априорно предположениям, не представляя себе, можно ли их проверить, было одной из объективных причин исследовательской разноголосицы.

Прекрасная работа покойного Михаила Петровича Штокмара (1903—1965), обзорная и как бы итоговая, рассматривая с завидным прилежанием все, что было написано со времен Тредиаковского о нашем народном стихе, перед самым своим заключением нерешительно останавливается на полуслове.¹ Все, писавшие на эту тему, согласны только в одном, что

¹ М. П. Штокмар. Исследования в области русского народного стихосложения. Изд. АН СССР, М., 1952, стр. 422. Монография М. П. Штокмара (доктор-

народный наш стих есть поистине стих, но не ремесленная «подтекстовка» для песен, но это, кажется, единственный пункт, на котором все сходится.

Общая проблема строения стиха народного склада оказалась до такой степени оригинальной, трудной и несговорчивой, что любая скольконбудь обнадеживающая аналитическая новелла должна быть использована. Анализ тонкого и глубокого критицизма М. П. Штокмара ведет к определенным заключениям, и они могут оказаться для нас полезными. Рассмотрение же некоторых замечаний Штокмара с точки зрения важных обобщений Томашевского дает также материал новый и чрезвычайно интересный. Наши собственные многолетние изыскания по поводу вольного пушкинского стиха привели нас к ряду наблюдений, которые оказываются довольно любопытными по своей близости к стиху народного склада. Находясь всю жизнь в чугунных тисках придворных вкусов и старомодных предрассудков отжившего поколения,² Пушкин вынужден был действовать крайне осторожно, но изучать народный стих даже и эти тиски не могли ему помешать. «Средь медленных трудов» его созревало глубочайшее понимание подлинного русского искусства.

Вот именно в силу этого необычайно существенного обстоятельства мы и решаемся привлечь внимание советского читателя не только к исследованиям стиха народного склада, но и к его мастерским, высоко артистическим переложениям.

Не может быть никакого сомнения в том, что Пушкин не только прекрасно знал старинный стих народного склада, но действительно внимательно, настойчиво и вдумчиво изучал его и был хорошо осведомлен о всем его «механизме» (как он сам выражался).³

ская диссертация) — крупнейшая после исследований Томашевского работа по русскому стиховедению — несомненно лучшее, что у нас есть по истории и теории народного стиха. Всевозможные метания между стихом и музыкой для Штокмара, человека, имевшего законченное высшее музыкальное образование по классу композиции, просто не существовали. Мы можем только горячо рекомендовать эту замечательную книгу каждому, кто хотел бы всерьез ознакомиться с существом нашего народного старинного стиха, которым М. П. Штокмар с достойным восхищением трудолюбиво занимался всю свою жизнь. Мы имеем в виду, что М. П. Штокмар был чрезвычайно близок к понятию переменной стопы, однако сказать в этом вопросе последнее слово все-таки не решился. Мы цитируем несколько работ М. П. Штокмара: 1) только что упомянутую его докторскую диссертацию — «Исследования в области русского народного стихосложения» (далее: Диссертация); 2) статью «Основы ритмики русского народного стиха» («Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», 1941, № 1, стр. 106—136); 3) «Народно-поэтические традиции в творчестве Лермонтова» («Литературное наследство», т. 43—44, 1941, стр. 263—352).

² Так, например, Остолопов задал Цертелеву задачу: представить ему «хотя одну песню, в которой от начала до конца выдержана принятая гармония», и Цертелев был фактически не в силах исполнить это требование и вынужден был ссылаться на не идущие к делу обстоятельства (Штокмар. Диссертация, стр. 25—26). Кюхельбекер, кстати сказать, сомневался в существовании в старинных русских стихах «настоящих стоп», имея в виду, разумеется, постоянные стопы (там же). Державин относился к сборнику Кирши Данилова более чем сдержанно (там же). Официальное отношение к фольклору в пушкинское время охарактеризовано А. Д. Соймоновым (см.: Принципы текстологического изучения фольклора. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 22—25, 34—35).

³ До какой необычайной виртуозности дошел Пушкин в своих подражаниях стихам народного склада, можно судить по тому широко известному факту, что, передавая Киреевскому свои записи песен, он обмолвился, что одна из этих песен сочинена им самим. Прошло немало времени (с 1835 года), и все-таки никому еще не удалось разгадать, о какой песне говорил Пушкин Киреевскому. Летом 1853 года известный историк П. И. Бартенев со слов П. В. Киреевского записал его рассказ о встречах с Пушкиным в 1835 году в Петербурге: «Пушкин с великою радостью смотрел на труды Киреевского, перебирая с ним его собрание, много читал из собранных им песен и обнаруживал самое близкое знакомство с этим предметом» (см.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Подготовили М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский и Т. Г. Зенгер. «Academia», М.—Л., 1935; стр. 434, курсив наш, — С. Б.).

Однако сперва приведем один очень наглядный пример, имеющий прямое отношение к «трудности номер первый».

С легкой руки Б. П. Божидара-Гордеева (1916) у нас в стиховедении принято очень много говорить о предполагаемом (или допустимом) единстве русских стихотворных размеров, так как практика последнего времени показала, как легко наши размеры смешиваются и соединяются. Однако до конца прошлого века все это почти не выходило за пределы общих рассуждений. Затем опыты по части розысков всяких новостей и небылиц в этом деле почти внезапно приняли чуть ли не катастрофический характер. Ныне все это, естественно, улеглось, однако общий вопрос о единстве стиха остается в силе и скидывать его со счета нельзя.

Начнем с очень простого примера, дорогого и близкого каждому русскому читателю. Замечательное по исключительно музыкальной точности и изяществу стихотворение Лермонтова «Русалка» (1832) в силу непостоянства анакрус считалось наиболее безошибочным доказательством того, что русские трехсложники (трехсложные стопы) ничем друг от друга не отличаются (кроме одного или двух слогов в зачине). Но если оставить на некоторое время весь этот досадный педантизм в стороне, то нетрудно заметить, что именно благодаря изумительно пронзительной игре с анакрусами это стихотворение и обладает такой исключительной привлекательностью! Эти одиннадцать анапестов, вкрапленные среди семнадцати амфибрахий, своей мягкой, по нежданной мелодией и тончайшими переборами ритма трогают читателя поистине за сердце.

Русский стих, как показывает примечательный опыт Лермонтова, воспринимает (и подхватывает) этот ритмический оборот с великой легкостью.

Этот простой и общезвестный пример показывает, что в русском стихе, кроме, во-первых, обычного нашего классического стиха с точным стопосложением (и вариациями только по части полуударений) и, во-вторых, давно оставленного чисто силлабического стиха (с равным числом слогов в каждой строке), существует особый (опять-таки тонический) стих, где наряду с игрой ударений и полуударений серьезную роль играют силлабические вариации, простейшими из которых являются вариации анакрусы (в трехсложниках). Простейшими (и легчайшими) по той причине, что, как известно, начало нашего стиха легко поддается всевозможным вариациям (ускорения, замедления, инверсии). Заметим, что эти силлабические вариации в высшей степени эстетически активны, т. е. играют роль литаврид (энергичных ритмических подчеркиваний текста).⁴ Вопросы переменной силлабики у нас почти не разбирались.⁵

Наиболее важным (и таким обманчивым!) свойством лермонтовского стиха с переменной анакрусой является то, что, читая его, мы *не замечаем* этих переборов в зачине стиха, мы слышим нечто вполне единое и органически целостное. У этого стиха есть некий свой размер, который не есть ни амфибрахий, ни анапест. Другими словами, эти два трехсложных размера под пером Лермонтова получают способность объединяться вплоть до полного слияния, хотя отдельные строки ясно

⁴ См. нашу статью в журнале «Русская литература» (1965, № 4; 1966, № 1).

⁵ Впрочем, весьма известный в начале прошлого века Евгений Болховитинов (ученый, связанный с Новиковым) писал Державину еще в 1815 году, оспаривая мнение И. Праща: «Тактовая музыка, как и равностопная Европейская поэзия, утомительны единообразием» (см.: Штокмар. Диссертация, стр. 89). Вопросов, связанных с вариациями силлабики в русском тоническом стихе, впервые как будто коснулся способный стиховед Б. И. Ярхо (см.: *Arg poetica*. Сборник статей под ред. М. А. Петровского. Вып. 2. М., 1928, стр. 177 и далее). Надо поблагодарить М. Л. Гаспарова за недавнюю его публикацию интересной работы Ярхо, отысканной в архиве («Вопросы языкознания». 1966. № 2).

отличаются одна от другой. Эта именно особенность и присуща силлабо-варьирующему тоническому стиху, в отличие от чисто силлабического и силлабо-тонического стиха.

Эта энергия слияния по мере усложнения вольного стиха становится все более и более мощной.

Определить «размер» или «метр» подобного стиха можно только описательно. Пример с лермонтовской «Русалкой» — один из наиболее простых и доступных, однако именно в силу этого принципиально чрезвычайно важны.

Итак, мы рассмотрели пример стиха с варпацями силлабического характера. Теперь нам предстоит внимательно изучить гораздо более сложный пример вольного стиха. Вернемся для этого к замечательным опытам Пушкина.

Не следует забывать, что интерес к новым, вольным формам стиха у поэтов пушкинской школы возникает в 20-х и 30-х годах прошлого века, сочетаясь с исключительным вниманием к народной поэзии и к народному, былинному и песенному, стиху. Хорошо известно, что Пушкин вместе с братьями Иваном и Петром Киреевскими, а также с братьями Языковыми (один из них — поэт, Николай Михайлович) с пылким увлечением занимался собиранием старинного нашего фольклора. Труды А. Х. Востокова, составившего первую научнообразную концепцию по строению этого стиха, также общезвестны. Это было не только литературное или литературоведческое движение, но и движение поистине демократическое. Пушкин, Языков и братья Киреевские видели здесь истоки нашей поэзии, и, надо полагать, они в этом пункте не ошибались.

Конечно, вольный стих пушкинских «Песен западных славян» во всем его замечательном своеобразии нельзя считать чем-то вроде решения загадки русского стиха народного склада. Однако этот замечательный стихотворческий опыт Пушкина создал нечто наподобие модели народного стиха, где его хитроумно упрощенная ритмическая разновидность (в некотором смысле так, как бывает с моделью и в мире математического мышления) оправдывает, если не доказывает, существование плодотворной системы и разумность всей интерпретации в целом. Пушкин, один из наших первых и величайших фольклористов, нашел в своей интерпретации такое решение этой задачи, которое даже детей-читателей породило с народным стихом. Не значит ли это, что он со своим несказанным ритмическим чутьем сумел нащупать в народном стихе то общенародное, что дорого и мило каждому русскому слуху? Не это ли так задевает нас за живое в строках «Сказки о рыбаке и рыбке», невзирая даже и на то, что теперь уже доподлинно известно, что сказка эта исходит из источников совсем не русских? Введя понятие переменной стопы и заменив жесткий периодизм обычного нашего классического стиха ослабленным, петочным периодизмом, нам удалось получить исчерпывающую картину метрики пушкинского вольного стиха. Ныне после превосходной статьи академика А. Н. Колмогорова вопрос этот можно считать решенным.⁶ Нам кажется, что именно эта концепция и могла бы

⁶ «Русская литература», 1966, № 1, стр. 98—111. Ф. Е. Корш писал (в 1880 году): «С точки зрения школьной практики эти стихи (т. е. народный стих, — С. Б.) неправильны; но они настолько определены, что их ни в каком случае нельзя смешать с прозой, потому что, хотя стопы в них неравномерны и ударения иногда не соблюдены, стопы в них есть и ритм стиха несомненен» (см. Штокмар. Диссертация, стр. 227—228). В сущности, эти слова представляют собой прямое признание существования переменных стоп. Казалось, Востоков был очень близок к представлению о переменной стопе, разрешающей вопрос о метрике вольного стиха (по крайней мере, в его литературномпечатении у Пушкина), но последователи Востокова постепенно увели исследование от изучения словесного состава совсем в сторону от метрики — преимущественно в сторону стилистическую

помочь в дальнейших работах по изучению народного стиха, ибо она в основе своей опирается на понятия, вполне общеизвестные и развитые нами только в смысле их обобщения. Несомненно, пушкинский вольный стих является частным решением важнейшей проблемы русского вольного стиха, но ведь все на свете начинается с частного случая!

Соприкоснувшись с живой стихией народного стиха, как бы припав грудью к родимой земле, чудесный гений Пушкина обрел еще новые силы.

Наш русский силлабо-тонический стих (по Н. Надеждину, 1837), т. е. пять ломоносовских стоп, никак нельзя признать чем-то исконно русским, невзирая ни на какие оговорки. Это геллертеровская, полусхоластическая примерная каталогизация наименее сложных античных стоп и не более того. Легко заметить, что привился у нас этот стих далеко не сразу: державинского замечательного дарования на него еще не хватало, и только трудолюбивые усилия «пленительно-сладостного» Жуковского и «чудотворца» Батюшкова вместе с широкой простотой «отца и командира» Давыдова подготовили почву для великой пушкинской реформы. Ряд трудностей вообще не был изжит, и сказываются они, в частности, в различных синтаксических извращениях (которые иной раз у нас, рассудку вопреки, считаются не уродствами, а подлинными основаниями нашей ритмики. . . , и нельзя не подивиться живучести пных предрассудков, восходящих именно к пушкинскому времени).

Правда, А. Ф. Гильфердинг, один из крупнейших собирателей былин и тонкий их исследователь, высказался с полной уверенностью (в 1872 году в «Вестнике Европы» (кн. 3), а затем и во всех отдельных изданиях «Онежских былин»), что «тоническое стопосложение в русском языке не есть изобретение Ломоносова, а есть изобретение самого русского народа, его коренное достояние».⁷ Однако хотя и имеются случаи полных совпадений пяти стоп Ломоносова с исконным русским стихом, отождествлять их нельзя. Надо отметить, что эти совпадения не были тайной еще и для Тредиаковского.

2

Как известно, все артистически тонкое разнообразие в двусложных размерах опирается главным образом на полуударения (ускорения-пиррихии, замедления-спондеи и инверсии, хориямбы и антиспасты, если не считать редчайших случаев внедрения нечетных стоп). В трехсложниках все основано на игре слоров (словоразделов), хотя они имеют свою долю и в двусложниках, конечно.

Однако для вольного стиха все эти чрезвычайно узкие правила решающего значения не имеют; в вольном стихе («Песни западных славян») любая ритмическая конструкция, лишь бы она соответствовала некоторому напевному течению текста, становится приемлемой, а общая свобода соседних строк скрадывает и обеляет эти вольности. То, что в классическом стихе является очень редким и трудно применимым ритмическим ходом, то в вольном стихе употребляется запросто. Поскольку еще вольный стих не знает резкого классического деления на четный и

и компаративистскую. «... Ритмическое строение русского народного стиха, которому русские филологи посвятили немало работ, остается одним из самых неясных и запутанных отделов нашей теории литературы», — писал М. П. Штокмар («Литературное наследство», т. 43—44, стр. 281). Далее в том же сочинении (стр. 326) читаем «Сведения наших историков литературы о ритме „Песни“ (про купца Калашникова, — С. Б.) скудны, отрывочны и противоречивы». А затем говорится уже без обиняков о «плачевных итогах изучения ритмики „Песни“, которые по справедливости «нельзя признать случайными».

⁷ Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 года. СПб. 1873, стр. 47. Ср. также: Штокмар р. Диссертация, стр. 28.

нечетный ритмы (двоично-четверичный в двусложниках и троичный в трехсложниках), то возникают формы, сродные и тому и другому роду ритма.

В вольном стихе, помимо переменных стоп, их внутренних связей (комбинаций переменных стоп), вариаций сплلابического характера (а сверх того, и слоров, разумеется), встречаются, во-первых, стопозаменные ходы (наподобие пиррихий и спондеев, заменяющих в полударениях ямбы и т. п.), а во-вторых, еще и особые цезуры (явно близкие к паузам).

Трехсложное ускорение — трибрахий — представляет собой редкую стопу из трех неударных слогов, которая изредка встречается в нашем классическом трехсложнике («Появляется кордебалет» — у Некрасова, «Так, что члены одеревенели» — у Блока, «Столпивенное торжество» — у Пастернака и т. п.). Общеизвестно, что такие строки в трехстопном амфибрахий можно рассматривать как четырехстопные ямбы («И кланялся непринужденно», с ускорениями на 2-й и 3-й стопе), а в трехстопном анапесте — как пятистопные хорей («Пред тобою я не виновата», с ускорениями на 1-й, 3-й и 4-й стопе). Это *амбивалентные* строки. размер которых, вообще говоря, не определен (только иногда может быть определен в зависимости от размера соседних строк).

Особые (явно паузные) цезуры отличаются от обычных (в шести-стопном ямбе, например, или в пентаметре: «Волнениям любви безумно предаваться», «Старца великого тень чую смущенной душой»), когда цезура подражает краезвучной паузе (междоколонной, междустрочной), ибо цезурованную строку шести-стопного ямба можно рассматривать как соединение двух строк трех-стопного ямба, а строку пентаметра — как две строки трех-стопного дактиля; однако цезура пентаметра резче и сильнее, так как она сопровождается столкновением двух метрических ударений (метрическим хиатусом), а это усиливает паузный разрыв двух полустихий. Однако особая цезура вольного стиха имеет другую природу, обычно это трех-стопный трехсложник, где среднее метрическое ударение (2-й стопы) замещено паузой (трибрахийная пауза, т. е. пауза, напоминающая нечто вроде ускорения-трибрахия). как у Лермонтова: «И головушка бесталанная» (но, разумеется, может встречаться и в четырех-стопном стихе, как в старинных песнях).⁸ Эта особая, «вольная» цезура, разрезающая пополам четыре неударных слога с обязательным слором *c* (дактилическим), или *трибрахийная пауза*, возникая в любом трехсложнике, не меняет своей формы: это всегда четыре неударных слога. рассеченных пополам слором *c*. В анапесте (как в приведенной строке Лермонтова) можно пользоваться и паузной схемой (с усиленной пау-

⁸ В шести-стопном ямбе цезура либо мужская, либо дактилическая — и, таким образом, течение ямбического метра не нарушается. В пентаметре цезура мужская, что ведет к столкновению двух ударных слогов, которые неизбежно усиливают паузу цезуры (что не так заметно в рифмованных стихах с однообразным краезвучием, ибо рифма смягчает этот метрический хиатус).

Допустив, что на этот принцип непрерывного течения заданного метра возможно вообще опираться, можно предположить, что женская рифма (краезвучие вообще) в ямбах, амфибрахиях и особенно анапесте создает более отчетливую паузу, чем в хорях или дактилях, тогда как мужская ближе к ямбу или анапесту. Если это так, то некоторые краезвучия в определенных размерах либо несколько выделяют строку, либо, наоборот, смягчают ее единичность. ее колоническую самостоятельность. Возможно, что подобного рода выделение строки облегчает для нее пользование некоторыми особенностями, которые в противном случае избегаются.

Более рискованно (однако в высшей степени соблазнительно!) попытаться, так сказать, примерить междоколонную (междустрочную в стихе) паузу к такой явно паузной цезуре. Если внутри стиха вполне возможна пауза, соответствующая примерно ударному слогу, то междоколонная пауза должна, по всем вероятностям, оказаться не только не меньше ее, но даже и больше (в полтора или в два раза примерно).

зой; по старому, античному счету пауза на месте неударного слога измеряется одной морой, пауза на месте ударного -- двумя морями):

u—u—u—(u)

и особо цезурной (естественно, слог с дает дактилическую цезуру, которую обозначаем двойной вертикальной чертой):

u—u—||u—(u)

Однако если та же трибрахоидная пауза встречается в амфибрахии, цезурную схему приходится строить с допущением начального усечения, т. е. усечения самого зачина (в нашей ранней работе 1915 года — «Новое о стихосложении А. С. Пушкина» — мы пользовались термином «антианакруса»). Схема эта будет такова (знак неударного слога, отделенный прямоугольной скобкой, означает усечение анапестического зачина, считая от начала строки, слева):

u|u—u—||u—(u)

Вольный стих широко пользуется всеми этими отклонениями от нашего классического стиха. В этих двух случаях, очевидно, троесловный (трехударный) стих превращается в двухударный (и двословный — в метрическом смысле). В народном стихе такого рода особые цезуры чрезвычайно употребительны, как например: «Не по-старому, не по-прежнему» (см.: Штокмар. Диссертация, стр. 107); «Со татарами, со башкирцами» (Жирша Данилов) и мн. др. Для всего строения вольного стиха очень важно, что на слух трибрахизованный стих («Пред тобою я не виновата», «Ни врагов своих, ни кровомщенья», «Топорами чуть не зарубили» и т. п.) трудно отличить от стиха с трибрахоидной паузой («С ним жена его, Катерина», «Дурачина ты, простофиля» и т. п.), и этой *терпимостью* нашего внимания к тонким отличиям ритма вольный стих пользуется постоянно.

В классическом стихе трибрахизованные строки — большая редкость, даже и в паузниках у символистов трибрахоидные паузы не так уж часты, но в вольном стихе это вещь почти обычная, а принципиально — весьма любопытная.

Однако, кроме анапестоморфной схематизации лермонтовской строки, гораздо важнее ее другая, более наглядная, а именно:

u—u—||u—(u)

в которой строка трехстопного анапеста с трибрахоидной паузой рассматривается как *четырёхстопный хорей с дактилической цезурой на 2-й стопе* и дактилическим же краевзвучием. Таким образом, и стих с трибрахоидом может (и должен) рассматриваться как опять-таки *амбивалентная* строка наряду с ускорением-трибрахией, и, следовательно, мы находим в вольном стихе по крайней мере *два типа* амбивалентных строк. А. В. Кольцов писал такие строки — в два стиха, отождествляя тем самым (с тонким пониманием дела!) дактилическую цезуру с дактилическим краевзвучием, а тем же порядком и цезурную (дактилическую) паузу с сильной паузой краевзвучия. Это полезно с той точки зрения, что, таким образом, мы получаем, может быть, возможность примерно оценить важнейшую паузу в стихе (краевзвучную). Очевидно, она и в коем случае не менее (или не слабее), чем пауза на месте ударного слога в трехстопнике. Вводить для этой цели особую стопу смысла не имеет, для общего анализа стиха вполне достаточно пяти ломоносовских стоп.⁹

⁹ Явление трибрахоидной паузы-цезуры было замечено уже давно. Так, Д. Самсонов (1817) писал о ней как о «сугубом амфибрахии», не обращая внимания на наличие постоянного слога с (дактилического) среди четырех неударных слогов.

Значение амбивалентных строк в вольном стихе, вообще говоря, весьма заметно. Стоит только в тексте появиться такого рода строке, как любое продолжение — четного ли (хореического) ритма или троячного (анapestического), безразлично — будет одинаково приемлемо и допустимо. Вот пример из песни «Янко Марнавич»:

Не боятся бей Янко Марнавич
 Ни врагов своих, ни кровомщенья.
 Но он бродит, как гайдук бездомный...

1-я строка — квазианapest, за ним следует амбивалентная строка, которая является и квазианapestом и квазихореем сразу, и 3-я строка — квазихорей. Вторая строка может быть прочитана и с четным ритмом и с нечетным, т. е. в лад и 1-й строке и 3-й. Но на самом деле при чтении (особенно «про себя») ритм получается скорее неопределенным, нечетливым, как бы поистине амбивалентным, неуловимым и неопределимым в смысле четности, т. е. более мягким, словно он лежит между четом и нечетом. Арифметически задача, конечно, не хитра: два пиррихия и один яmb составляют шесть слогов (пять неударных и один ударный), совершенно так же один трибрахий и одна стопа трехсложника составляют те же шесть слогов (пять неударных и один ударный). Разница только в том, какие слоги от начала этой комбинации (допуская, что начинается она с неударного слога) атошируются: в двусложнике это будут два слога (2-й и 4-й), а в трехсложнике один (3-й). Однако в строке «Над морями и над озерами», например, трудно решить, какие слоги надо выбрать для атонирования; кажется одинаково нелепым ставить ударение на словцо «и» или на словцо «над», откуда и ясно, что это строка существенно амбивалентная, т. е. не имеющая определенной четности. И наше ритмическое чувство, не способное к мгновенным подсчетам или иным счетно-логическим критериям, охотно допускает эту красиво запутанную вязь ритмических неопределенностей. Таким образом, амбивалентные строки являются чем-то вроде точки ритмического единства, где сходятся черты четного и нечетного ритма. А от этого уже прямой путь к гибридам-паузникам, которые осуществляют весь тончайший, гармонический, вечно колеблющийся фон вольного стиха.

Должно отметить однако, что Пушкин, по-видимому, обдуманно избегал в «Песнях западных славян» амбивалентных строк и они у него всегда даны в несколько смягченной, неопределенной форме. Так, трибрахованные строки «Пред тобою я не виновата» или «Топорами чуть не зарубили» легко прочесть почти чисто хореически, едва усиливая ударение на слове «я» или на слове «чуть». В прямую противоположность этому в стихах народного склада (как и у Лермонтова в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова») амбивалентные строки (особенно второго вида, с трибрахоидными паузами-цезурами) являются важнейшими компонентами (около четверти всех строк), которые в иных случаях непосредственно определяют чуть ли не всю ритмическую мелодику (создавая, таким образом, особую *разновидность* вольного стиха).¹⁰

Другие предлагали наименование «анapestопиррихия» и т. п. (см.: Штокмар. Диссертация, стр. 22, 79 и др.). В вольном стихе «Песен западных славян» встречаются стопы с одним ударным и четырьмя неударными, но они не пересекаются обязательно слором с и не обладают такой бесспорной паузой, как например: «Вся свечами озаренá церковь» (см. наше сообщение в журнале «Теория вероятностей и ее приложения» (1964, т. IX, вып. 2, стр. 269), ср. «Общую таблицу нравых слоров ПЗС», разбивку квинтолей по слорам, т. е. столбцы 2—6 справа). Существенно важно, что строки с квинтолями в «Песнях западных славян» неизменно несут три ударения, тогда как трибрахоидная пауза *отнимает у квазианapestической строки одно ударение* и стих становится двухударным! (Причем у него отнимается отнюдь не стопа, а только стопное ударение).

¹⁰ Впервые о трибрахоидных паузах у автора см.: С. Бобров. Новое о стихосложении А. С. Пушкина. М., 1915, стр. 32 и далее.

3

Рассуждая далее о вольном троесловном стихе «Песен западных славян», мы будем иногда в изложении придерживаться (для удобства) вполне и заведомо условной нормы — трехстопного анапеста — и, опираясь на нее, будем различать стопы: зачин, 2-ю и 3-ю стопу, или будем писать: 1-е, 2-е и 3-е положение в стихотворной строке вольного стиха. Эти обозначения никакого принципиального смысла не имеют и вводятся лишь для простоты описания. Не менее условно мы будем говорить о срединной или нормальной (наиболее частой) стопе — трехсложной, которая, впрочем, почти всегда такова в самых различных опытах, т. е. встречается в вольных стихах чаще всех.¹¹

Нет решительно никакого смысла рассматривать всю эту схему чисто формально, например утверждать, что некая исходная (скажем, анапестическая) стопа может переживать те или иные преобразования, обращаясь то в хорей, то в гибридно-паузный и пр., ибо такая постановка вопроса ничего не поясняет в самом существе строения вольного стиха. Дело отнюдь не в преобразованиях, но в совершенно особом существе вольного стиха, который просто не покоряется старинной (полусхоластической) теории постоянной стопы. Вольный стих, вероятно, много старше пяти постоянных ломоносовских стоп,¹² которые в чистом виде столь же полезны для изучения стиха вообще, как ровные танцевальные такты (XVI—XVII веков) для записи музыки. Вольный стих не переломил от четного ритма к нечетному — нет, он живет сложным четно-нечетным ритмом, тонко, затейливо и артистически смешивая их воедино. Наша задача в том, чтобы проследить, как это происходит и какими способами вольный стих для этого располагает.

Если рассмотреть последовательно, но возможно проще, как строится пушкинская строка вольного стиха, то можно прийти к такого рода схеме.

Во-первых, у нас всегда зачин (т. е. 1-я стопа) анапестический: исключения, по-видимому, относятся к литавридам, т. е. к необходимости подчеркнуть сильными, выходящими из ряда ритмическими средствами самый текст; косвенным доказательством такой непрямої ритмичности стихов с неанапестическим зачином является то, что отрицательная корреляция двух последних стоп в таких стихах очень сильно ослаблена, так что эти усеченные строки как бы выделяются из системы, соблюдая в то же время общую (среднюю) десятисложную норму длины стиха. Это единообразие зачина (отмечавшееся неоднократно и в народно-былинном стихе. см.: Штокмар. Диссертация, стр. 360, 398) сразу вводит нас в мир вполне определенного ритма; эта, так сказать, первая часть стиха всегда одна и та же (за исключением особых случаев резких литаврид) и образует как бы нечто вроде музыкального ключа ко всей строке. Ее постоянство имеет, по-видимому, довольно большую власть над нашим вниманием, заранее пастраивая нас на торжественно-ровный ход анапестической мелодии.

¹¹ Надо заметить, что доля метрических анапестов в вольном стихе у Пушкина в «Песнях западных славян» заметно выше, чем в троесловных стихах сборника Кириши Данилова (у Пушкина — около одной трети, у Кириши — меньше одной пятой), тогда как в искусственных троесловных выборках из художественной прозы их еще меньше — около одной десятой. Может быть, Пушкину не хотелось расставаться с нашими привычными размерами? Как в своих переложениях он любил точно передавать особо яркие цитаты, а в остальном довольствоваться изложением, так, быть может, гибриды у него были чем-то вроде «цитат» из живого ритма народного стиха? Однако настаивать на таких допущениях было бы трудно.

¹² Истоки стиха народного склада в так называемых духовных стихах, например, относятся некоторыми исследователями не без оснований к домонгольскому периоду русской истории (Кириличников, Богатырев и др.).

Во-вторых, далее, между зачином и краезвучием, располагается вторая часть стиха, где и сосредоточивается почти вся его ритмически-художественная активность и выразительность. У нас нет оснований в этом последнем (и важнейшем) смысле разделять 2-ю и 3-ю стопы, они, связанные коррелятивно, образуют некое ритмическое целое. Здесь ритм обретает известную свободу по сравнению с зачином, например вторая стопа может оказаться менее нашей (условно стопной, трехсложной) нормы (убыльная стопа в два слога), и тогда мы попадаем как бы в преддверие хорееподобного ритма (с 1-й и 4-й ускоренной стопой), но может быть и более нашей нормы (четыре слога) — это снова нечто вроде хорееподобного ритма (но другого типа: с 1-й и 3-й ускоренной стопой); этот тип встречается реже; речь идет о пятистопном хорее).

Раз уже упрямая прогота зачина пройдена, ритм стиха получает несомненную свободу от простоты этого постоянства, т. е. мы переходим к явлениям ритмически изменчивым (ритмически переменным), а изменчивость эта в общем нерегулярна и неточна, другими словами, она относится к тому порядку вещей, который математик называет «массовыми случайными событиями». Перед нами, как бы на выбор, появляются двусложные, четырехсложные и трехсложные стопы, и мы видим, что выбор этот определяется в большей мере игрой случая. Но эта игра случая вплотную сближается с «художественной удачей», которая (хоть она и не совсем зрячая), по-своему очень чуткая и разборчивая, ищет ясной выразительности, и здесь она как раз на самом месте. И трехсложная стопа возникает тем более просто, что в зачине мы встречаем ее на каждой строке. Но раз в дело запутался случай, то не диво, что он входит в игру по своим собственным законам и сочетает во 2-м и 3-м положениях различные стопы с некоторым собственным расчетом... А расчет сводится к тому, чтобы при изменении одной из последних стоп в ту или другую сторону (плюс или минус) против нашей средней нормы изменять другую в противоположную сторону — это и есть явление отрицательной корреляции (тесноту которой мы измеряем коэффициентом корреляции). Таким-то малозаметным образом (уследимо только статистически) корреляция двух последних стоп поддерживает неточную равностопность стихов в вольном стихе.

По части важных подробностей этой коррелятивной связи можно заметить, что уступчивость 2-й стопы, вероятно, больше, нежели 3-й, которая несет следом звонкое ударение — краезвучное, т. е. пограничное, за которым следует резко-обрывистая пауза краезвучья.

Итак, вольный стих, сколько мы можем заметить, во-первых, всегда опирается на какие-то постоянные элементы (у Лермонтова в «Русалке» — однообразие трехсложника, у Пушкина — постоянный зачин, постоянство троесловья и краезвучья), а во-вторых, утвердившись в этих постоянных элементах и не упуская случая снова и снова напомнить о них, стих этот вводит одну за другой самые разнообразные вариации, причем вариации эти поддерживаются еще и тем, что нередко они имеют лукавый и соблазнительный вид счастливых случайностей... Так ли все это происходит в стихах народного склада? Далее мы рассмотрим еще более свободные стихотворные опыты Пушкина и Лермонтова и убедимся, что ритмическая фантазия русского стиха простирается очень далеко за пределы суровой свободы «Песен западных славян». Но что же это за счастливые случайности, которые поддерживают все эти построения? Вероятно, это и есть живое впечатление тех гармонических затей, которые рождаются у поэта, постоянно и зорко наблюдающего тонкости звучаний человеческой речи... Липтавриды, в вольном стихе гораздо более резкие, чем в обычном стихе, еще отвлекают нас от ритмических сложностей.

На вопрос, как читается вольный стих, можно ответить просто: читается единообразно. Но более или менее по-разному: один читает не-

много нарастает, другой с отчетливыми временными паузами. Общего правила, по-видимому, нет, но в чтении различия между разными формациями стиха очень мало заметны, а вот это-то и есть самое существенное.

Можно сделать попытку восстановить весь замысел пушкинского вольного стиха таким образом... Ранее всего возникла необходимость в ослабленном периодизме — как первой ступени отступления от классического стиха. Это было достигнуто тем, что 2-я и 3-я стопа, не теряя своих ударений, либо отодвигали их одно от другого, либо сдвигали, так что если один безударный промежуток рос, другой уменьшался и наоборот, что вело неизбежно к коррелятивной компенсации числа неударных слогов в правых двух третях стиха (пользуясь условной схемой трех-стопного стиха!), т. е. к отрицательной корреляции. Последняя обязательно вела к определенному строению всего корреляционного поля, а из его строения немедленно вытекали неизбежные силлабические колебания. Корреляционное поле, сверх того, обязательно порождало и гибридные формы, которые являются спасительным средством для объединения четного и нечетного ритма. Следовательно, начальное стремление к ослабленному периодизму необходимо вводит весь ритм произведения в некоторый естественный круг массовых (в некотором смысле даже стихийных!) явлений.

Все эти довольно сложные ритмо-метрические колебания и хитросплетения, разумеется, не являются каким-либо изобретением Пушкина — все они (в той или иной форме) имеются в народно-былинном стихе, все они отсюда и заимствованы Пушкиным, обработаны и привнесены в систему его ритмическим гением.

Вкратце система эта сводится к следующему: 1) зачин в вольном стихе преимущественно анапестический; 2) стих в подавляющем числе случаев троесловен (не считая замедлений, т. е. сверхсхемных ударений); 3) краевушечье женское; 4) стих можно условно считать трехстопным, допуская переменную стопу, где число неударных изменяется от нуля до четырех, 5) считая первую стопу зачином, можно показать, что 2-я и 3-я стопа связаны отрицательной корреляцией (коэффициент корреляции = -0,58); 6) корреляционное поле изображается следующей таблицей:

Комбинации переменных стоп вольного стиха «Песен западных славян»¹³

В 3-м положении	Во 2-м положении					Сумма по 3-й стопе
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(5)	6	12	2			20
(4)	21	212	87	29	2	351
(3)		97	304	82	19	502
(2)		1	48	73	17	139
(1)				4	5	9
Сумма по 2-й стопе	27	322	441	188	43	1021

¹³ Таблица эта опубликована и подробнейшим образом истолкована в нашей статье «К вопросу о подлинном стихотворном размере пушкинских „Песен западных славян“» («Русская литература», 1964, № 3), куда мы и отсылаем читателя. Числа (частоты), напечатанные жирным шрифтом (6, 212, 304, 73 и 5), составляют основную диагональ таблицы, т. е. частоты десятисложных строк (стихов).

Числа в скобках указывают число слогов в переменной стопе. Первая стопа почти всегда имеет схему (○○—).

Одним из существенных преимуществ нашей концепции переменной стопы по сравнению с нашей прежней (1915), паузно-квартольной концепцией является то обстоятельство, что в последнем случае, сравнивая паузу (в убыльной стопе) с квартолью (в прибыльной стопе), приходится сопоставлять качественно различные явления, и трудно представить себе, как можно корректно организовать подобное сравнение. При концепции переменной стопы, опираясь на некоторую (возможно, даже и несколько условную) среднюю стопу (скорее срединную, медианную), каковой во многих случаях является именно трехсложная стопа (мы выбрали анапест. . . , но ведь об анапесте в стихе народного склада говорил еще в 70-х годах прошлого века замечательный собиратель онежских былин А. Ф. Гильфердинг (см.: Штокмар. Диссертация, стр. 27), а за ним в конце 90-х годов то же самое повторил и Корш о «Песнях западных славян», разве что в несколько иных выражениях), можно последовательно говорить об отклонениях от срединной стопы на один слог в ту или иную сторону (т. е. в сторону плюс или в сторону минус). Это сразу упрощает весь анализ. Надо представлять себе, что всюду в русском вольном стихе: и в искусственных троесловиях (выбранных из прозы), и у Лермонтова, и у Кириши Данилова, и у Блока, и у его соратников — трехсложная стопа самая частая. Однако это не так у раннего Маяковского (по весьма тщательным подсчетам М. Л. Гаспарова): четырехударные стихи у него составляют 55,9% (без малого 6 на 10!), тогда как трехударные только 31,8% (в общем примерно на полтысячи стихов). Однако что-то подобное наблюдается изредка и в былинах (которые очень привержены к трехударному стиху, как будет изложено ниже). Так, невзирая на то, что подавляющее большинство стихов имеет все же трехударный характер, в былинке «Первая поездка Ильи Муромца» находим 31% четырехударных стихов, в коротенькой былинке о Святогоре (всего 46 строк) — 37%. Однако всего любопытнее, что у Пушкина в «Сказке о поле и о работнике его Балде» трехударных стихов 48,4% (в былинах в общем около 70%!), а четырехударных 35,6%. Это наводит на мысль, что у раннего Маяковского было какое-то (и даже подчеркнутое) стремление к тому «скороговорочно-раешному» стиху, который Пушкин аранжировал в сказке о Балде.¹⁴

Общезвестно, что Маяковский в юности испытал влияние творчества В. Хлебникова, а Хлебников (как впоследствии и его последователь Асеев) находился под несомненным и совершенно неодолимым влиянием русского древнего стиха. Так что сопоставление стиха Маяковского со стихом пушкинской сказки не должно особенно поражать. Можно припомнить еще, что в пору символистов русская народно-солдатская драма имела немало приверженцев и что это отозвалось самым непосредственным образом на некоторых стихах М. А. Кузмина и Блока.

Впрочем, принципиально все это вовсе уж не так важно: А. Н. Колмогоров в статье «О метре пушкинских „Песен западных славян“»

¹⁴ Штокмар также склонялся к подобному же заключению; см. по этому поводу его статью в сборнике «Творчество Маяковского» (Изд. АН СССР, М., 1952), где он кстати указывает и на других авторов, близких к этой точке зрения (с основательным разбором их сочинений); это — В. Гофман (1936), С. Кирсанов (1940) и П. Степанов (1940, два выступления в печати). Отмечая значение народного вольного стиха для стиха Маяковского, в выводах своих Штокмар утверждает, что основное в этом стихе заключалось — в рифме. Конечно, Маяковский, чрезвычайно искусный стихотворец, был великим мастером по части рифмы и всего, что с ней связано, но последние изыскания показывают, что имеются и более важные и значительные особенности в стихе Маяковского (ритмического характера).

(«Русская литература», 1966, № 1) решил опустить наше предположение о модальной переменной стопе, трехсложнике и суть нашей концепции вольного стиха от этого ничуть не пострадала.

4

Как хорей, так и в особенности анапесты в «Песнях западных славян» имеют по системе своих слоров довольно своеобразное строение, и мы их называем поэтому квазихореями и квазианапестами. Общее число квазианапестов (на 1021 стих) = 304; общее число квазихореев = 212 + 29 + 73 + 1 = 315. Подробности и обильные примеры читатель найдет в наших ранних сообщениях («Русская литература», 1964, № 3; 1965, №№ 3 и 4; 1966, № 1).

Можно ли считать, что этой же системы придерживается и стих народного склада? Нет, этого, конечно, сказать нельзя, ибо стих народный допускает очень широкие колебания по всем своим своеобразным составляющим. Но схема «Песен западных славян» представляет собой, вероятно, наипростейшую схему, к которой можно свести стих народного склада. Очень важную роль в этой (сводной) системе играют стихи смешанного склада, как бы анапесто-хорейские, которые мы называем гибридами (их в общем столько же, сколько квазихореев и квазианапестов порознь, т. е. около трети общего количества). Гибриды «Песен западных славян» по ритму своему (особенно убыльные, т. е. с двусложными стопами) ничем не отличаются от паузников Блока и его подражателей. Прибегая к довольно грубому истолкованию фактов, можно было бы сказать, что Пушкин выбрал из стиха народного склада те ритмы, которые сравнительно ближе других к нашему классическому стиху, но соединил их с таким артистическим остроумием, что получился совершенно оригинальный стих, не оставляющий у читателя никакого сомнения, что он поистине читает стихи народного склада. Не значит ли это, что Пушкин сумел найти в народном стихе самое важное, самое основное? Однако нельзя забывать и о том, что в стихах (троесловных) у Кириши Данилова корреляция между переменными стопами во 2-м и 3-м положении значительно ниже, чем в «Песнях западных славян»: другими словами, весь механизм стиха народного склада (вся его система) по сравнению с «Песнями западных славян» гораздо менее упорядочен (обладает большей колеблемостью или более сложной корреляцией). Впрочем, можно допустить, что широкая свобода стиха народного склада иной раз проявляется еще и в том, что стих неожиданно отрывается и освобождается от коррелирования двух последних переменных стоп, рассматривая такое отклонение от корреляции как новую свободную вариацию на ту же неизменную тему.

В стихах народного склада встречаются, конечно, как и в «Песнях западных славян», и трехстопные анапесты («Хорошо корабль пзукрапены», или «Среди было царства Московского», или «Юо тому, ко крыльцу, ко прекрасному» и т. п.), и пятистопные хорей («Еще тут Елена возмолплася», или «Насыпали чашу чиста серебра», или «Молода княгиня испужалася» и т. п.). Но раз это так, то можно полагать, что и стих народного склада необходимо обладает, наподобие вольного стиха «Песен западных славян», собственным механизмом объединения (слияния) ритма несопределенной четности (т. е. и четного и нечетного). Ниже мы попытаемся указать, каков этот механизм, но нет оснований думать, что данный механизм должен коренным образом отличаться от того, который был создан Пушкиным, хотя о метрических строках в народном стихе можно сказать, что они там только «встречаются», тогда как у Пушкина они — «изобилуют».

Здесь снова вспомним Востокова... Нельзя ведь пренебрегать тем, что для образованных людей начала прошлого века русский стих народного склада был много ближе и понятнее, чем для нас во второй половине XX века! Именно Востоков говорил о русском народном стихе преимущественно как о трехударном стихе с не определенными точно безударными промежутками меж ударений и женским краезвучием. Востоков сам пытался писать таким стихом. Это вряд ли могло пройти незамеченным для Пушкина. Формально именно таков и есть вольный стих «Песен западных славян». Все остальные указанные выше усложнения в какой-то мере являются пушкинскими ритмо-метрическими усовершенствованиями (урегулированиями), имеющими, весьма вероятно, в первую голову, цель — сохранить в вольном стихе вполне определенные элементы стихотворного периодизма.

Рассматривая сплалбические вариации вольного стиха подробно, мы можем получить определенные данные о самом характере стиха, например: имеет ли смысл вводить в анализ чисто музыкальные критерии, т. е. существуют ли в вольном стихе реальные временные паузы или кварталы (прямое учащение слогопроизнесения)? Другими словами, осмысленно ли, заранее отказываясь от проникновения в подлинное своеобразие вольного стиха, прибегать к такого рода искусственным понятиям, которые, создавая удобную, на первый взгляд, схему, подменяют анализ наблюдаемых фактов их переводом на чужой язык тактовой (танцевальной) музыки? Независимо от того, способны мы в настоящее время полностью характеризовать это своеобразие или нет, подменять стих тактами не имеет смысла, ибо это просто способ записи, да и не такой уж гибкий, а суть дела от этого самообмана не упрощается и не раскрывается.¹⁵

Одной из довольно важных и характерных особенностей вольного стиха «Песен западных славян» является то, что этот стих в общем, исключая некоторые отдельные места, *невозможно скандировать*. Между тем понятие паузы в основе своей, конечно, опирается на скандирование; резко и четко подчеркнутые паузы (как у Маяковского или Асеева), усиливая метрические ударения, ставят скандирование чуть ли не впереди всех иных элементов стиха. Нельзя, разумеется, отрицать, что скандирование связано со стопой и что читка стихотворцев имеет в себе кое-что от скандирования. Обычный паузник символстов, вероятно, ближе к скандированию, нежели вольный стих или стих народного склада, который скорее близок к более неопределенному чтению «нараспев», что, ве-

¹⁵ Юношеская работа автора (1915), упомянутая выше, как раз грешила переоценкой этой музыкальной терминологии (хотя образами временной паузы и кварталы для пояснения и сейчас еще нет смысла пренебрегать). Другим и довольно важным недочетом этой теории было невнимание к живым пятистопным хорям (которые изъяснялись через преобразование трехстопных анапестов), что совершенно неосновательно, как легко установить, найдя в «Яныше королевиче» следующие восемь строк сплошного хора:

Поднялась царца водяная
И сказала: «Яныш королевич,
У меня свидания просил ты:
Говори, чего еще ты хочешь?»
Как увидел он свою Елицу,
Разгорелсь снова в нем желанья.
Стал мапить ее к себе на берег.
«Люба ты моя, млада Елица...»

Вполне возможно, что именно это нарочитое пренебрежение к квазихорям «Песен западных славян» и повело к резкой и односторонней отповеди Томашевского Ясно, что целых восемь строк метрического хора прочесть, таким искусственным образом преобразуя анапест, не удастся. Пример большого числа сплошных анапестов приведен был С. М. Бонди (как уже указывали в печати автор этих строк и акад. А. Н. Колмогоров).

роятно, связано с целым рядом его «вольностей» (по части неясной четности ритма, ослабленной силлабики¹⁶ и особенных цезур — о чем см. далее).

Пушкинский вольный стих несравненно сложнее стиха лермонтовской «Русалки» со свободной анакрусой. Среди стихов «Песен западных славян» мы легко находим стоящие бок о бок стихи двоичного ритма (хорей) и троичного (анapestы) — и самое странное в таком соседстве то, что оно нас нисколько не задевает своим ритмическим диссонансом. Не обозначает ли это, что наряду с чисто стопными классическими пятью ломоносовскими размерами у нас совершенно естественно существует еще иная система стихосложения? Вдумчивый Востоков по справедливости назвал эту систему системой вольного стиха.¹⁷

Разумеется, в наше время, во второй половине XX века, различия между двумя этими системами стиха в значительной мере сгладились, но это, конечно, не значит, что их вообще более не существует. Труды и опыты Блока и его соратников-символистов несомненно не прошли даром.

Когда мы в песне «Видение короля» читаем:

Край полы у султана целует,
Как холоц, наказанный *фалангой*...

то не сразу можно заметить, что первая строка — трехстопный анapest, а вторая — пятистопный хорей. Только рассматривая эти строки в их единичности, можно это усмотреть. Но тут же у нас возникает и невольный протест против такого решения, потому что, читая всю песню в целом, мы никаких резких ритмических перебоев не замечаем: стих течет плавно, мерно, изумительно красиво. Следовательно, пушкинская система стиха имеет чудное свойство — достигать полного слияния двоичного и троичного ритма. Мощь объединения различных ритмов здесь гораздо интенсивнее, чем в стихотворении Лермонтова.

Вспомним теперь, нет ли каких-либо несложных метрических причин, которые могли бы породнить четные и нечетные ритмы в «Песнях западных славян»? Самая простая причина заключается в том, что чистый квазианapest (трехстопный) и чистые квазихореи (пятистопные), как заметил еще Ф. Е. Корш (1898), включают в себя одинаково по 10 слогов

¹⁶ Музыковед Н. А. Гарбузов (работы 1948—1956 годов) ввел полезное понятие *зонного слуха*. Как вариации человеческого голоса, так и звуки традиционных музыкальных инструментов (вплоть до их тембра, динамики, темпа и ритмики) не обладают точностью или однозначностью физико-математических категорий, наоборот почти во всех своих проявлениях они связаны с заметными и явно случайными колебаниями, так что точное значение некоего звука предстает нам всегда вместе со случайными вариациями, которым, впрочем, положен некоторый предел. Таким образом, нельзя говорить о данном звуке, но лишь о некоторой области (или зоне), в пределах которой данный звук для нашего уха (т. е. в пределах различительной способности уха) сохраняет свое особое постоянство. Предполагается даже, что различия в музыкальном исполнении обязаны именно такого рода обстоятельствам. Нет почти никакого сомнения, что эти же самые явления имеют место и в области ритма стиха. Если пользоваться терминологией Гарбузова, то, вероятно, можно сказать, что вольный стих по сравнению с классическим обладает целым рядом зон, но различным признакам или параметрам значительно более широких.

Кстати сказать, именно явлением зонного слуха объясняется утомительное и малоприятное впечатление от слушания электронной «слишком точной» музыки (см. по этому поводу: Абраам Мольт. Теория информации и эстетическое восприятие. Изд. «Мир», М., 1966, стр. 338).

Явления, отмеченные Гарбузовым, по-видимому, представляют собой довольно твердые указания на вероятностный характер стихотворного искусства и связанных с ним особенностей.

¹⁷ Этой же терминологии придерживался и видный лингвист Н. С. Трубецкой в своей работе «К вопросу о стихе „Песен западных славян“», напечатанной в белградском пушкинском сборнике (Белград. 1937).

на стих, т. е. (3 + 3 + 3 + 1) или (2 + 2 + 2 + 2 + 2); и это, на первый взгляд, не очень значительное обстоятельство непосредственно ложится в основание объединения разных метров. К тому же общая средняя по числу слов в «Песнях западных славян» очень близка к 10, что довольно важно для всего строения стиха: это означает, что число строк длиннее 10 слогов *уравнивается* числом строк, которые короче 10 слогов. Именно это-то и есть явление статистического (корреляционного, как видно из приведенной выше таблицы) равновесия, а сверх того, это знаменует, что подлинной разницы (качественной в эстетическом смысле) между более длинными и более короткими строками стих «не слышит» (не замечает). И те и другие являются членами некоторой совокупности (скажем, стихотворного цикла), и в этом смысле они — равноправны.

Конечно, пушкинский стих очень (даже нарочито) скромнен по части колеблемости, в народном стихе все гораздо размахистей и менее отчетливо, но это опять-таки разница не принципиальная.

Впрочем, в случае вольного стиха вообще — надобно иметь в виду! — к нам на помощь идет еще одно обстоятельство: наше внимание с трудом различает безударный промежуток в пять слогов от безударного промежутка в четыре слога,¹⁸ другими словами, на слух не сразу можно разобрать, какая ритмическая форма перед нами, трибрахий

— — — — — (—)

как пример (приведенный выше):

Или врагов своих, ни кровомщенья...

или строка с пропуском (паузой) на месте ударного слога в средней стопе (трибрахидная пауза):

— — — — — (—)

как например:

Медвежатушки испугались...

из «Сказки о медведихе», с дактилическим краезвучием.¹⁹ К этому же

¹⁸ См. по этому поводу весьма правдоподобные рассуждения в указанной выше книге А. Моля «Теория информации и эстетическое восприятие» (гл. II, §§ 5, 6). На стр. 124 читаем: «...достаточно, чтобы одно явление повторялось 3—4 раза изохронно, для того чтобы разум воспринимающего индивидуума... настроился на понятие периодичности» (см. также далее, «Выводы», стр. 131, пункт 11). Наше интуитивное чувство гораздо менее требовательно, нежели суровая непримиримость математической логики (так, по крайней мере, утверждают опыты современной звукозаписывающей инженерии, и очень возможно, что это недалеко от истины). Надо представлять себе, что когда человеку приходится иметь дело с неизбежными законами природы, то вся победительная ясность его рассудка должна облекаться в крепкую боевую броню математической логики, где ничто не может быть ослаблено или упущено (например, в механике), но раз дело касается искусства, то перед художником стоит мягкое и податливое воображение читателя или зрителя, которое и само радуется возможности проявить живую терпимость к поэтическим вольностям и тем самым стать соучастником того цветущего праздника, который и есть искусство.

Эти различия по части *точности*, необходимой именно в физике и прилегающих к ней науках, ныне, по-видимому, осознаны и признаны многими вполне компетентными лицами. Так, В. Д. Глезер, рассматривая вопрос о восприятии изображения (в кн.: Механизмы опознания зрительных образов. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 109) и гипотетические попытки рассматривать механизм передачи в мозг зрительных ощущений с помощью некоторой системы или шифра, близкого к математическим преобразованиям, говорит: «Системы преобразования требуют такой точности связей и характеристик элементов, которые не свойственны физиологическим системам». С точки зрения нашей науки о стихе все это кажется вполне правдоподобным.

¹⁹ Любопытно, что этот пушкинский стих обладает точной симметрией, т. е. слова можно переставить без ущерба для ритма: «Испугались медвежатушки...» (из-за дактилического слора внутри стиха и дактилического же краезвучия).

ряду явлений до известной степени приближается и та форма трехстопного анапеста, где среднее ударение падает на односложное слово, которое нередко склонно становиться энклитикой или проклитикой. Отсюда ясно, что с накоплением неударных отчетливость спланической ритмики падает, а это опять-таки на руку вольному стиху. Наблюдательный Штокмар (Диссертация, стр. 237, 257 и др.) подметил в народном стихе удлинение неударных промежутков, но рассматривал его как бы независимо от сложного четно-нечетного ритма вольного стиха; в стихе «Песни западных славян» явление это очень заметно.²⁰

5

Обратимся теперь к «затруднению номер второй».

В начале нашего века Андрей Белый, думая главным образом о методологическом единстве будущей науки стиховедения и пытаясь точно наметить пути развития этой науки, с негодованием отвергал логоэдиический принцип в разборе русского стиха, который на деле сводится к подбору одинаковых названий для сходных в ритмическом отношении слов,²¹ т. е. слов с одинаковым количеством слогов и с тем же местом ударения. По этому принципу, например, строка «Когда твои младые лета» представляет собой соединение (ямб + ямб + амфибрахий + хорен) и т. п. Белый считал подобные «разложения» (которые так цепил Брюсов) совершенно беспринципными и бесцельными. Но вдумчивый и внимательный Томашевский, лучший последователь и критик Блого, взглянул на это с иной стороны, которая оказалась весьма плодотворной: Томашевский подошел к этому вопросу как статистик и задался целью выяснить, каково употребление *ритмических форм слова* в общем и целом в больших произведениях словесности?

Уже сопоставление такого словесно-ритмического материала в четырехстопном ямбе «Евгения Онегина» и в художественной прозе «Пиковой Дамы» (опубликованное Томашевским впервые в 1918 году в XXIX выпуске сборника «Пушкин и его современники», а затем в известной его книге «О стихе» (1929, стр. 104—105)) показало, что между прозой и стихом в этом отношении имеются серьезные различия. Они очевидны и характерны, однако все-таки не столь велики и отчетливы, чтобы на их основании можно было бы сделать твердые выводы о метрике стиха — раньше всего по той простой причине, что метрическое задание стиха само по себе автономно и в общем не меняет ничего в обычаях самого языка. Размер кладет некоторые ограничения словоупотреблению, иногда (в ямбах) они не так значительны, иногда же (в анапестах) они почти разительны, но все же установить, каков будет словесно-ритмический состав некоторого произведения, не зная размера, который он себе задает, невозможно. Стопный периодизм стиха непосредственно от словесного состава не зависит. Между тем Востоков (1817), пораженный исключительным своеобразием и тонкой красотой русского народно-былинного стиха, опасаясь что-либо потревожить в этих удивительных созданиях народного гения (а с другой стороны, не имея возможности схематизовать его метрику ни с точки зрения пяти ломоносовских стоп, ни с помощью той тактово-музыкальной теории, которой безуспешно пытался оперировать старинный композитор И. Прач), решил построить собствен-

²⁰ Замещение слога паузой (явление «хрупос-кеноса»), о котором говорит Белый (см. его книгу «Символизм» (М., 1910, стр. 557)), не было новостью: о том же, как о явлении давно и хорошо известном, писали в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (полумтом 74, СПб., 1903, стр. 894, в статье «Цезура»; автором заметки, возможно, был Е. Ляцкий).

²¹ И не имеет почти ничего общего с античными логоэдами, где замысловатая вязь различных стоп увязана в одно целое строфой определенного строения.

ную концепцию «просодических периодов». Концепция эта в глазах Востокова была уже тем оправдана, что не сводилась ни к школьной метрике, ни к тактовым догадкам, т. е. как будто основывалась на подлинной оригинальности пародного стиха. Действительно, эта концепция опиралась исключительно на ритмическое строение слов,²² причем под «словами» автор вынужден был разумеать и некоторые осмысленные словосочетания, напоминающие преимущественно очень широко и совершенно произвольно толкуемые энклизы и проклизы. Эта первая догадка Востокова не могла не поразить современников своим как бы систематическим правдоподобием и оригинальностью. И хотя в общем у Востокова можно заметить некоторое тяготение к понятию переменной стопы, все старания его последователей пошли по другому пути — именно по пути тщательнейшего изучения словесно-ритмического состава народного стиха.²³

Разумеется, за Востоковым остается немалая заслуга первой научно-образной постановки вопроса о размере народного стиха, но подлинная научная трагедия востоковской концепции не столько в том, что она дала очень мало прямых результатов и завела очень много всевозможной неразберихи, а в том, что избранный Востоковым путь *и не мог никоим образом* привести к разумным открытиям в области метрики, ибо он нацелен совершенно в иную сторону, в сторону изучения словесно-ритмического состава народного стиха, а от этого пункта нет и быть не может логического пути к метрике. Именно в этом пункте филологи и попали в самый непроходимый тупик (см.: Штокмар. Диссертация, стр. 102), в результате чего и начали возникать одна за другой догадки «о нефилологических примесях» как истинке неудач. М. П. Штокмар имеет в виду неудачные попытки разрешения вопроса о строении народного стиха с помощью музыкальной терминологии, однако сюда еще следует добавить и ряд иных вымыслов по части синтаксиса и прочих околичностей (с точки зрения метрики и в ее смысле).

²² Это важнейшее обстоятельство было впервые замечено и указано М. П. Штокмаром (Диссертация, стр. 59). Советуем читателю внимательно проштудировать эту страницу замечательного труда Штокмара, не упуская, кстати, из виду и то, что тонкая концепция словесно-ритмических форм не так давно привлекла к себе внимание советских физиологов (Л. А. Чистович и др.), воспользовавшихся ею при изучении артикуляции и восприятия речи (см.: Речь, артикуляция и восприятие. Изд. АН СССР, М.—Л., 1965). Разумеется, наши физиологи изучают устную речь (но не литературную, которой занимаемся мы), и надо быть осторожным в аналогизировании между этими разновидностями речи. Однако между ними немало общего, и очень важно знать, что тонкое исследовательское дарование Томашевского обнаружило статистическим путем чрезвычайно серьезную особенность нашей речи, непосредственно связанную со строением русских слов. Изучая их распределения в прозе и в различных видах стиха, мы получаем ценные указания на связи между прозой и стихом.

²³ Наш язык, писал Потебня (см.: Штокмар. Диссертация, стр. 69), представляет возможность «не только в пензи, но и в *произношении*» «уравнивать по времени неравносложные синтаксические стопы». Этим именно свойством, по мнению Потебни, Пушкин и пользовался в «Песнях западных славян». Оставляя в стороне маловероятные музыкально-тактовые и синтаксические домыслы автора, следует отметить констатацию неравносложности стоп.

Штокмар попросту называет востоковские «ударения просодического периода» *логическими ударениями*, и это как будто самое простое и дальнее решение существа востоковской концепции (см.: Литературное наследство, т. 43—44, стр. 283), а затем указывает, что ударения эти «несопоставимы» (там же), что вполне справедливо. Приведем еще несколько метких замечаний Штокмара о взглядах Востокова: «... многие песни явно различаются по ритму, а между тем состоят из равного числа „просодических периодов“»; «иными словами, принципы Востокова в некоторых случаях оказываются недостаточными для определения ритма фольклорного стиха, а в других — становятся в противоречие с последующим им материалом» (там же). По поводу попыток «музыкальных» объяснений Штокмар писал: «Русскими музыкантами... было доказано, что характерной особенностью музыкальной ритмики русских песенных напевов является отсутствие в них тактового схематизма» (там же, стр. 282).

Многочисленные последователи Востокова интересовались самыми различными сторонами народного стиха: как он произносится, как поется, сколько ему лет и т. п., но обходили молчанием вопрос о звуковом периоде этого стиха. Дабы застраховаться от «роковых вопросов» со стороны читателя по этому поводу, известный филолог Потебня попросту заметил как-то мимоходом, что у русского языка «вообще» никакого стихосложения нет, а впрочем, если и есть, то оно как будто — силлабическое... Вот как странно была истолкована востоковская «просодически-периодическая» концепция (см.: Штокмар. Диссертация, стр. 72). В дальнейшем оказалось впрочем, что этот новоявленный «силлабизм» лишен даже собственного своего слогового равенства, но и это опять-таки никого не обеспокоило. Разные внутренние противоречия вообще в расчет не принимались. Так, Ф. Е. Корш, ревностно пропагандируя музыкально-тактовую теорию, предостерегал фольклористов от такого опасного свидетеля по музыкальной части, как... фонограф (см.: Штокмар. Диссертация, стр. 95).

Показать на живом примере разницу между метрикой и изучением словесно-ритмического состава художественной речи очень просто. Если мы возьмем строку четырехстопного ямба с ускорением на 2-й стопе, как например, «Царевича младого Хлора» (Державин), и переставим в ней два первых слова: «Младого царевича Хлора», то получим вместо ямба добросовестный трехстопный амфибрахий. Нет никакого сомнения, что подобные перестановочные трансформации не были секретом и для Пушкина, ибо он сам их неоднократно употребляет в «Сказке о рыбаке и рыбке», то пишучи «Ей с поклоном старик отвечает», то — «Ей старик с поклоном отвечает», т. е. сменяя пятистопный хорей на трехстопный анапест и обратно.²⁴ На ум приходит даже подозрение, а не были ли эти трансформации возражением на востоковскую словесно-ритмическую концепцию? Ведь такая «демонстративная логика» была вполне во вкусе Пушкина.

6

Как уже было указано выше, вольный стих, кроме своей ритмической неотчетливой четности, отличается еще и заметными и довольно значительными силлабическими вариациями, которые в общем имеют вероятностный характер, т. е. при рассмотрении ряда стихов дают нам определенное распределение вокруг своей средней с некоторым рассеянием (колеблемостью). Однако сперва надобно коснуться еще вопроса о стихотворной строке как целом (колоне). Колона является наиважнейшим объединением в стихе, гораздо более значительным, чем диподия или стопа; соответственно и колоническая пауза (пауза между двумя стихами) — самая сильная и значительная. Но перед тем как обсуждать вопросы колона, надо указать, что характер стиха и его колона в большой мере определяется тем, какой задуман в данном случае колон — равнословный или разнословный. Стих «Песен западных славян» равнословен — в нем всегда три метрически значимых слова (не считая сверхсхемных ударений, замедлений вроде «Хвать коня за узду золотую», «Город белый луна озаряла», «Отец с сыном в пещере бранятся» и т. п.). Стих сказки о Балде и большинства былин не таков, число метрически значимых слов

²⁴ Обсуждая вопрос о соотношениях метрики и словесно-ритмических форм, следует знать, что даже в простейшем метрическом стихе нашем (трехстопном анапесте) соседние слова по длине (по числу слогов) и то — связаны *только* коррелятивно (см.: «Русская литература», 1965, № 3, стр. 116), причем уже в четырехстопном ямбе корреляции эти невелики (см.: «Русская литература», 1965, № 4, стр. 99, примеч. 34). Приведенные в тексте примеры из Державина и «Сказки о рыбаке и рыбке» скорее исключения; трехстопный трехсложник имеет всего 9 форм (отличающихся слорами), но отнюдь не все они способны к такого рода перестановкам.

в нем бывает различным, хотя нередко чрезвычайно тесно прилегает к некоторой средней. Троесловный вольный стих — это и есть тот самый стих о трех ударениях, о котором писал Востоков. И отнюдь не случайным Востоков отдаст так много внимания именно целому стиху, но не составным его частям. Знакомясь с былинным стихом, сразу замечаешь, какую нестремимую власть имеет над всем произведением именно «целая строка».²⁵

Возможно, что троесловие «Песен западных славян» было задумано и решено не без влияния этих замечаний Востокова, хотя в стихах Кириши Данилова довольно много троесловных строк, так что собственные наблюдения Пушкина тоже сыграли свою роль. В силлабическом стихе колон есть единственный признак постоянства, в силлабо-тоническом — он постоянен в силу постоянства стоп, в вольном стихе он, как правило, испытывает довольно широкие силлабические колебания, причем в равностопном стихе эти колебания сравнительно умеренны. Итак, в вольном стихе колон имеет варьирующий характер, но колеблется вокруг некоторой средней; в «Песнях западных славян» эта средняя очень близка к десяти слогам.

Именно колон — и только он! — позволяет вольному стиху неожиданно и внезапно переходить от квазианапеста к квазихорею, ибо отдельные части стиха не показывают никогда этой разноразмерности. Легко догадаться, что именно квазихорейческие строки вводят четырехсложные стопы в стих, а раз появившись там, они уже входят и в различные иные комбинации. Терпимость читателя к неточному периодизму переменной стопы позволяет вольному стиху многие вольности, а каждая из них придает стиху еще новую выразительность. А все вместе создает двоично-троичный ритм — и широкий, и звонкий, внезапно и угрюмо трагический. Все эти особенности вольного стиха были в руках Пушкина художественным орудием исключительной силы.

Подходя теперь к изучению силлабических колебаний, мы выберем для этого самый простой способ: будем искать и изучать *корреляцию числа слогов и числа ударений* в стихе (на одну стихотворную строку). Наш расчет очень прост: в классическом ломоносовском стихе такой ударно-слоговой корреляции нет и в помине! там всегда неизменно на каждую стопу падает одно ударение. Конечно, мы имеем в виду простейший случай классического стиха, т. е. стих из трехсложных стоп. Сколько стоп, столько и слов, все просто и ясно. В прозе колонов не имеется, но можно перейти к предложениям — и там мы попадем на другой полюс той же простоты:²⁶ у каждого слова есть ударение, сколько в предложении слов, столько и ударений, причем числа эти причудливо переплетаются, не выбиваясь, однако, из своей элементарной коррелятивной, очень тесной схемы. А что же мы должны встретить в вольном стихе (тоническом с переменной силлабикой)?

Начнем снова с вольного стиха «Песен западных славян». Если мы, по возможности упрощая нашу задачу, выберем только стихи с анапестическим зачином (а таковых подавляющее большинство — 91,5%), то мы заметим, что все эти стихи в корреляционной ударно-слоговой таблице укладываются в один единственный *строй* (столбец или строку), ибо

²⁵ Акад. А. Н. Колмогоров (см.: «Русская литература», 1966, № 1, стр. 98 и др.) строит особую схему для вольного стиха, которая, в первую очередь, опирается именно на явление колона. Схема Колмогорова особенно полезна тем, что она применима к любому вольному стиху — трехударному (или троесловному). Переменную стопу Колмогоров заменяет «переменным безударным промежуток» меж ударными слогами, но это в принципе ничего не меняет. Однако все же лучше не упускать из вида слоры.

²⁶ Где мы встречаемся с почти функциональной зависимостью (коэффициент корреляции обычно близок к +0,9).

число метрических ударений в этом стихе не меняется, меняется только число слогов. Вот это-то и есть чисто силлабические вариации. Другими словами, вместо корреляционной таблицы мы получаем кривую распределения (одного признака, но не двух). Итак, в самом простом случае вольного стиха происходит некоторое расширение того, что имело место в предельном случае обычного классического трехсложника (с каким-либо единственным краевым звуком), где все распределение укладывалось не в кривую распределения, но в одну ячейку корреляционного поля. Итак, в самом простом случае вольного стиха ударно-слоговая корреляция отсутствует. Нельзя забывать, что речь пока у нас все время идет о равнословном стихе.²⁷

Если взять в руки основную корреляционную таблицу переменных стоп «Песен западных славян» (см. приведенную выше таблицу; ср. также: «Русская литература», 1964, № 3), легко рассудить, что при постоянном анапестическом зачине и постоянном неударном слоге в женском краевом звуке, а также при условии, что в таблице активно участвуют две переменных стопы (2-я и 3-я), число слогов, которое они дают, равно сумме заглавных чисел столбца и строки, на перекрещивании которых находится ячейка таблицы. Когда столбец дает 0 неударных слогов и 1 ударный, а строка 4 неударных и 1 ударный, слогов всего, очевидно, будет 6, а добавив сюда еще три слога зачина и один неударный в краевом звуке, получаем всего 10 слогов. Ту же самую сумму мы получим по всей основной диагонали таблицы (из левого верхнего угла в правый нижний; все числа этой диагонали напечатаны жирным шрифтом). Диагональ, лежащая в таблице выше основной, даст строки с 11 слогами, лежащая ниже основной — даст строки с 9 слогами и т. д.²⁸ Таким образом, подсчет слогового состава строк по такой таблице несложен. Если начать с такой таблицы, где даны только стихи с анапестическим зачином, то мы получим следующую кривую распределения (таких строк с анапестическим зачином набирается у Пушкина 934, а строк с другими зачинами всего лишь 87, т. е. около 9%):

Строк по 12 слогов	2,78%
» » 11 »	17,56
» » 10 »	61,67
» » 9 »	17,88
» » 8 »	0,11

Десятисложных строк подавляющее большинство, но тем не менее строки одиннадцатисложные и девятисложные тоже дают показания вполне заметные. Итак, если Лермонтов в «Русалке» на 12 или на 9 слогов в общем разрешает себе отступление от этой нормы на 1 слог, то у Пушкина силлабические вариации принимают совершенно систематический (дистрибутивно систематический) и очень заметный характер

²⁷ М. П. Штокмар отмечает, как уже сказано, что ударение в стихах народного склада способно удерживать большее число неударных, чем в литературном стихе. И в вольном стихе «Песен западных славян» это заметно (т. е. не прошло мимо внимания Пушкина). Однако все же стихи с постоянным дактилическим краевым звуком (как былина) дают несколько большую среднюю длину слова в слогах (примерно на полслога), стихи с постоянным женским краевым звуком тоже превышают некую норму (если считать за норму стихи с перемежающимися женскими и мужскими краевыми звуками), но уже слабее (примерно на одну шестую, т. е. на 0,167 слога). Впрочем, стихи «Песен западных славян» дают как будто большее превышение. Близко к этому и «Похвальное слово Петру Великому» Ломоносова. Не значит ли это, что для торжественной и мерной речи избираются слова с более долгим звуком? Некоторые современные научные тексты с их размеренно-дидактической речью (по нашим наблюдениям) тоже склоняются к более длинным словам.

²⁸ Для отчетливости изложения мы не касаемся здесь редких гибридов (где участвуют односложные и пятисложные стопы), ибо принципиально они ничего нового к нашим рассуждениям добавить не могут.

Среди десятисложных стихов мы находим все квазипанapestы (100%) и почти все квазихореи (95%). Одиннадцатисложные и девятисложные строки — сплошь гибриды, первые преимущественно прибыльные (с четырехсложными стопами), вторые главным образом убыльные (с двухсложными стопами). Сама кривая несколько пикотершинна, как это нередко бывает в стихе (вершина стоит выше, чем в нормальной Гауссовой кривой распределения; по-видимому, Пушкину метрические строки нужны были в большем количестве, чем это допускал бы чистый случай). Итак, силлабика «Песен западных славян» ослаблена, но ослаблена осторожно и обдуманно. Примерно только около трети всех стихов в пушкинских «Песнях» (38%) отчетливо выражают эту замечательную особенность вольного стиха. Однако этого уже вполне достаточно, чтобы слить воедино двоякий ритм квазихореев с трояким ритмом квазипанapestов. Нашу основную диагональ десятисложных стихов можно назвать как бы «силлабическим стержнем» всего пушкинского построения. Надо заметить, что в паузниках Блока, в троесловных стихах Кирши Данилова на первое место скорее выдвигаются девятисложные стихи (т. е. убыльные гибриды).

Итак, перед нами целая система силлабических вариаций, и при этом очнь стройная. Это и есть развернутая картина «гоического стиха с варьирующим силлабическим составом». Мы уже знаем, что он связан с неполным периодизмом его стоп и с упорным постоянством зачина. Мы можем вывести из этого, что сложный четно-нечетный ритм может осуществляться, если стихотворец сумеет нащупать какое-то тонкое соотношение между постоянными и переменными составляющими стиха. Так ли оно происходит в стихе народного склада?.. Далее мы увидим, что дело происходит не совсем так, хотя нельзя сказать, что и совсем не так... У Пушкина в «Песнях западных славян», где все глубоко и тонко обдуманно и прослушано, возможно, весь секрет заключается в том, что раз мы так или иначе допускаем вариации от одного чистого метра к гибриду (промежуточной форме), то и переход от гибрида к другому чистому метру кажется довольно естественным.²⁹ А наше внимание затем уже само собой создает некий особый четно-нечетный ритм, в котором есть, как чувствует каждый читатель, своя особая прелесть. Когда мы рассматривали амфибрахо-анапестический размер в «Русалке» Лермонтова, мы имели случай заметить, что при столь близком родстве размеров слияние происходит почти автоматически (само собой!), когда же надо объединить четный и нечетный ритмы, требуются, очевидно, некоторые

²⁹ М. П. Штокмар в своей диссертации говорит, «что в народно-поэтическом языке нет ничего... условного, возникшего под влиянием стихотворного размера» (стр. 343), но с этим категорическим указанием трудно согласиться, во-первых, по той причине, что читателю совершенно неясно, о каком же размере говорит автор, и, во-вторых, все исследователи, начиная с Востокова и кончая самим же М. П. Штокмаром, не могут отрицать, что стих народного склада переполнен вставными, дополнительными словечками, которые не могут иметь к языку столь же тесного отношения, как к самому стиху народного склада. Какая-то тень метрической концепции как будто маячит у М. П. Штокмара, когда он говорит о «диалитической гармонии народной речи» (там же, стр. 355), но дальше указаний на непостоянство стопы автор не идет (там же, стр. 147 и далее); ср. также мнение Цертелева (там же, стр. 43); нечто в том же роде и у Востокова (там же, стр. 44).

Возможно, что не совсем ясное замечание М. П. Штокмара о независимости народно-поэтического языка от влияния стихотворного размера представляет собой просто невольную (т. е. естественную) констатацию того, что в стихах народного склада не бывает тех громоздких и тяжеловесных литературных синтаксических конструкций, которые нередко ощущаются читателем как досадная оплошность стихотворной техники и условность довольно надоедого типа. Но это говорит скорее о недостатках домошосовской версификации, чем об «особых свойствах» стиха народного склада. Возможно, что эта естественная простота народного син-

посредники, промежуточные формы, т. е. гибриды. Но если они пришли не из народного склада, то откуда же? А коли так, то мы не сделаем большой ошибки, допустив, что и сам народный склад в общем основан на смещениях примерно подобного же рода. Весь вопрос, по-видимому, в том ритмическом аппарате, который привлекается для установления ритмического равновесия в вольном стихе. Избранная Пушкиным система поражает своей высокой простотой.

(Продолжение следует)



гаксиста, невольно трогаящая русского читателя, и повела к переоценке роли синтаксиса в народном стихе.

К. Ф. Тарановский замечает в своей работе «Основные задачи статистического изучения славянского стиха» (в кн.: Poetics. — Poetyka. — Поэтика. II. Warszawa, 1966, s. 175), что «если в художественной литературе злоупотребление разными „ужами“ — считается недостатком, то в фольклорном стихе употребление этих частиц является законным приемом, играющим важную роль в образовании стихотворного ритма». Тарановский основательно подчеркивает именно это очень заметное отличие вольного стиха народного склада от стиха литературного, что еще раз поясняет коренное различие между двумя этими системами стихосложения.

ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ МЕТАФОРЫ В НАРОДНОЙ ЛИРИКЕ

Дошедшая до нас лирическая песня, как правило, не имеет датировок. Неизвестно точно, когда она возникла и как развивалась в ранний период своего существования — до начала научных записей. Таким образом, исследователи фольклора лишены непосредственных источников, которые позволили бы совершенно достоверно проследить развитие из века в век тех или иных стилистических категорий в этом жанре. На помощь в таком случае может прийти изучение поэтических форм как отражения определенных этапов в развитии художественного мышления. Такая постановка вопроса возможна, во-первых, потому, что в фольклоре индивидуальное сознание не играет решающей роли. Во-вторых, поэтические формулы, отражающие определенную стадию в развитии художественного мышления, не являются уникальным явлением народной лирики. Степень распространенности ранних категорий стиля, мера их сохранности и специфика проявления могут быть выяснены путем привлечения аналогичных явлений в других фольклорных жанрах.

Лирическая песня хранит следы глубокой древности. Образы ее, во многом переосмысленные, дают, однако, возможность найти и проследить исторические и познавательные основы ее стилистических категорий. В частности, для того чтобы понять, с чем связано появление метафоры, определяющей в образной системе лирики категории стиля, нужно прежде всего выяснить ее истоки, строй мысли, ей предшествующий. Анализ материала показывает, что основой для главных типов метафоры изучаемого песенного жанра послужили стилистические формы, являвшиеся отголосками мифического способа мышления.

Наиболее стойкие моменты мифического сознания, присутствующие в лирической поэзии, являются, по всей вероятности, результатом традиционного многовекового отставания формы выражения от содержания. Мифическое сознание теряет со временем основные элементы содержания (веру во всеобщую одухотворенность, в превращения и т. п.), но форма выражения этих представлений сохраняется почти нетронутой, она лишь слабо видоизменяется, а потому и живет веками. Готовые устойчивые поэтические формулы вновь осмыслиются и присутствуют в народной поэзии уже для выражения иных чувств, иных настроений.

Наличие в народной лирике некоторых элементов мифического сознания в общей форме уже отмечалось в научной литературе. Однако степень, в которой песни удерживают ранние формы мышления, может быть выяснена лишь на конкретном материале.

Анализ народных лирических песен позволил выделить стадии перехода от мифа к метафоре и дальше к сравнению. Выяснилось, что переход от стадии к стадии связан с постепенной градацией содержания (от полной веры в превращение к полному неверию в него) и соответственно с изменением форм мотивировки.

Наиболее древнюю форму мифического мышления, нашедшую отражение в народной лирике, характеризует еще полная вера в превращения.

Злое зелье крапивное,
Еще злое да люта свекра!
Люта свекра — молодой снохе:
«Ты поди, моя невестка, во чисто поле;
Ты стань, моя невестка, меж трех дорог,
Четырех сторон,
Ты рябиною кудрявою,
Кудрявою, кучерявою!»
Туда ж ехал добрый молодец;
Он стал под рябиушку,
Кудрявою, кучерявою;
Без ветру рябина зашаталася,
Без дождю рябина мокра стала,
Без вихрю рябина к земле клонится.
За черные кудри ловится.

Молодец пытается подсесть рябину:

Он раз вдарил, она охнула.
 Другой вдарил, она молвила:
 «Не рябинушку секешь.
 Секешь свою молодую жену!
 А что веточки — то наши деточки!»¹

Эстетическая ценность песни не утрачена. Перевоплощение в ней «настоящее», то есть не имеет и тени иносказания. Превращение легкое и естественное, как нечто само собой разумеющееся, оно необходимо для раскрытия семейной трагедии. Песня органична по способу передачи мысли от начала до конца, здесь все мотивировано. Человек приобретает лишь иную материальную оболочку, но духовный мир, чувства остаются прежними. Этот ранний тип превращения идентичен сказочному. В сказке он представлен широко и полно,² чего нельзя сказать о народной лирике. В песнях,³ как правило, превращение происходит не в действительности, а в воображении. Это обстоятельство дает возможность объяснить и будущее время, чаще всего сопровождающее превоплощение в песне.

*Уж я скинусь, молоденька, серым зайцом.
 Перебегу ли я своему дружку дорожку...⁴*

*Я скинуся, матушка,
 Мелкой пташкой соловьем,
 Прилечу я, матушка,
 В твой зеленый сад гулять...⁵*

Другую стадию, соответствующую более позднему способу мышления, можно показать на следующем примере:

*Я украдуся, нагуляюся,
 Уворююся, нацелуюся...
 Я приду к дружку разгорулюся:
 Уж ты, милый мой, научи меня!
 Научи меня, как домой придти,
 Как домой придти, подъявитися!
 «Ах ты, глупая, неразумная!
 Через улицу — серой уткой,
 Под воротенку ты — воробышком,
 В часту лесенку — красной девицей,
 Во высок терем — молодой жепой!»*

(Соб., т. 2, № 526)⁶

По-прежнему превращение мотивировано (в этой песне начальными строками), и это мешает выразить его сравнением. Но в мотивировке (необходимость скрыться, изменить облик) содержится уже причинное оправдание превоплощения, в осуществление которого не очень-то верят. Объяснение возможности и необходимости превращения дается для того, чтобы хоть как-нибудь оправдать собственное неверие.

В превращение не верят, оно условно и в то же время желанно, поскольку нет еще другого способа выражения, а в таком случае всегда обращаются к традиционному, устоявшемуся, привычному. Отсюда и возможная искусственность мотивировки. Если поэтическая формула, отражающая более раннюю ступень сознания, звучала без всякой натяжки и предварительного объяснения — «скинуся кукушечкой», то теперь:

*Пойду-ка я, младшенька, в город на базар;
 Куплю себе, младшенька, сизые крылушки;*

¹ Великорусские народные песни. Изданы проф. А. И. Соболевским (далее: Соб.), т. 1, СПб., 1895, № 79; ср. №№ 81, 370; см. также: Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, Песни (далее: ИРЛИ, колл. 216, папка 2, № 240).

² См.: А. Н. Афанасьев. Русские народные сказки в трех томах, т. 2. Гослитиздат, М., 1957, № 234, стр. 236; № 236, стр. 249; № 249, стр. 285; № 268, стр. 332; № 270, стр. 338, и многие другие.

³ В былинах известны лишь два близких случая превращения: в былинне «Вольга», принадлежащей к древнейшему типу былин (см.: Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом... 2-е изд., т. 2, СПб., 1896, № 91, стр. 173, 174); в былинне сказочного характера — «Добрыня и Маринка» (см.: Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, т. 2. Изд. 2-е, М., 1910, № 143, стр. 316).

⁴ Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия, вып. II, ч. 2, М., 1929, № 1927.

⁵ Там же, № 2354. См. также: Соб., т. 3, № 20; ИРЛИ, колл. 216, папка 1, № 183; колл. 216, папка 3, № 57; колл. 2, № 34.

⁶ См. также: ИРЛИ, колл. 5, папка 7, №№ 74, 190.

*Скинуся я, младешенька, купушечкою;
Полечу я, младешенька, в батюшкин во сад.*

(Соб., т. 3, № 23)

*Кабы мне, младенькой, да прежняя воля,
Прежняя волюшка воля, сизы крылья,
По закрылышкам сизы перья,
По заперышкам перышкам мелкий пушок,
Поднялась бы пташечкой да улетела.*

(ИРЛИ, колл. 3, папка 6, № 33) ⁷

И, наконец, самый последний момент этого эволюционного процесса представляет собой не только полную утрату веры в превращение, но и связанное с этим отсутствие какого бы то ни было способа объяснения. Это привело в конечном счете к формальной замене метафоры сравнением.

*Бдоль улицы в конец
Тут и шел молодец,
Соколом пролетел,
Соловьем провисстал.*

(Соб., т. 4, № 127) ⁸

Даже намска на превращение здесь нет. «Соколом пролетел» — шел гордо, с достоинством — метафорическая перифраза, которая предполагает сравнительное «как». Такие примеры легко оформляются как сравнительные конструкции (идет, как лебедь плывет). Перифраза проясняется в вариантах этой песни:

*Как из улицы в конец
Прошел добрый молодец,
Чисто-щепетко прошел,
Шляпу на ухе пронес.*

(Соб., т. 4, № 123)

*Как из улицы в конец
Шел удалый молодец;
Шибко-громко провисстал,
В терем голос подавал...*

(Соб., т. 4, № 134)

Итак, коротко рассмотрены четыре стадии постепенного видоизменения в народной лирике поэтической формулы превращения. Первой свойственна полная вера в превращение, мотивированная всем содержанием песни. Затем непоколебимость веры в осуществляемое превращение начинает колебаться, ощущается его некая условность, но формальная сторона превращения — мотивировка еще остается неизменной. Третью стадию характеризует полная утрата веры, традиционное же объяснение происходящего сохраняется, хотя натяжка не может не чувствоваться. Последняя стадия уже очень далека от своих истоков, изменяется даже внешний вид поэтической формулы: превращение заменяется оформленным или подразумеваемым сравнением.

Полученная закономерность, выведенная логически, показала относительно замедленное развитие формы по сравнению с содержанием, что и способствовало сохранению в народной лирике формальной стороны мифического превращения. Более того, указанная стадийная последовательность помогла понять не только переломный момент перехода от мифического способа мышления к метафорическому, но и дальнейший путь развития образного сознания от метафоры к сравнению.

Еще в пределах мифического мышления тождество сменяется новой фазой, для которой свойственно выделение человеческого из мира природы. Разрушение первоначального синкретизма выдвинуло новую цель творчества — раскрыть внутренний мир человека. Новая цель должна быть и по-иному раскрыта. Постепенное изменение формы выражения особенно отчетливо видно на вариантах одной и той же песни.

Выше было показано, как женщина, пытаясь вырваться из неволи, сама становится птицей и летела в родительский дом. Потом утраченная вера в возможность действительного превращения заставляла ее лишь мечтать о крыльях, которые могут дать освобождение. Окончательная, не поддерживаемая даже традицией, утрата веры в превращение изменяет и форму выражения. В той же ситуации молодая женщина уже просит птицу слетать домой и рассказать родителям на понятном всем человеческом языке о ее тяжелой доле (см.: ИРЛИ, колл. 216, папка 1, № 250; папка 6, № 146).

Новый этап в развитии художественного сознания не свободен от остатков антропоморфизма: животные, растения не только говорят, передают то, что им наказано, но и сами чувствуют, как человек.

⁷ См. также: ИРЛИ, колл. 2, папка 4, №№ 5, 98; колл. 5, папка 6, № 46; колл. 6, папка 3, № 17; колл. 6, папка 5, №№ 99, 110; колл. 216, папка 1, №№ 80, 364.

⁸ См. также: Соб., т. 3, № 176; ИРЛИ, колл. 6, папка 5, №№ 1, 107; колл. 216, папка 4, №№ 116, 241.

Ай, белая-то березонька призадумалась,
Ой, призадумалась,
Горькая осинушка призапечалилась.

(ИРЛИ, колл. 6, папка 4, № 132)

Движение духовной жизни — страдание и радость — нужно передать другим, нужно сделать их зримыми. А поскольку в период господства антропоморфизма весь природный мир ощущает и чувствует одинаково, то раскрыть внутреннее состояние человека можно и через параллель с растительным и животным миром. Психологический параллелизм чаще всего строится на сопоставлении: с одной стороны, мир человека, с другой — мир природы. Но оттенить мир человека можно также, противопоставив ему природный мир.

Сосонька во сыром бору росла, ягодка на верейошке;
Я, сирота, — на чужой стороне.
Плакать не смею, рыдать не велят,
Только велят по маленьку вздыхать.

(Соб., т. 3, № 46)

Положительный психологический параллелизм оказывается в общей системе образности народной лирики не ее начальным моментом,⁹ а одной из форм перехода от мифического мышления к метафорическому. Он мог возникнуть лишь в переломный момент в художественном сознании, когда раннее тождество было нарушено в результате отделения человеческого от остального природного мира и когда появилась возможность сопоставления. Ни сопоставление, ни противопоставление невозможны для ранних форм мифического мышления.

Психологический параллелизм есть, таким образом, своеобразное выражение произошедшего разделения в сознании.

Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о содержании психологического параллелизма, со всей полнотой и блеском раскрытом А. Н. Веселовским, а лишь о возможности или невозможности считать его истоками песенной образности.

Говорилось о двух фазах мифического мышления: для первой характерно тождество духовного и природного, вторая связана с разрушением этого тождества. Из всего сказанного можно сделать вывод: образы веры потеряли со временем познавательное значение как открывающие мир и вновь его обрели уже как раскрывающие и выражающие человека. Внутренний мир человека может быть выражен и стать явным только через образы внешнего. А выражение становится необходимым именно потому, что возникла отделенность духовного и природного.

Появление необходимости самовыражения через образы внешнего мира и есть, как мне кажется, тот переломный момент в сознании, который и привел к повому — более высокому строю мысли — метафорическому.

Рождение новой стилистической категории, изменение формы выражения никогда не бывает случайным. Оно связано с изменением, произошедшим в художественном мышлении, с его новыми завоеваниями. И если ранние формы стиля, подготовившие метафору, связаны лишь с познанием внешнего, предметного мира, то метафора — особая, неизвестная ранее форма познания и выражения внутреннего мира человека, глубинных скрытых процессов «известной» уже предметной действительности.

Коренные различия способов мышления нужно искать прежде всего в своеобразии преломления метафорой основных закономерностей, которые действуют в мифе.

Мифическое мышление связано с единством духовного и природного — отсюда его основа: закон тождества. Горе, смерть, кручина мыслят и ходят по земле точно так же, как человек. Действия, которые они производят, реальны и полностью персонифицированы.

А кручинушка по двору ходит,
А печаль ворота отворяет:
Ой, и мать у детей умирает.

(Соб., т. 3, № 524)

Уж как шло горе по дороженьке,
Оно лыками горе связано
И мочалами перпомяно;
Привязалось горе к красной девушке.¹⁰

С тенденцией тождества непосредственно связана и конкретизация, которая углубляет эту тождественную близость объектов. Горе идет так же, как человек, «лыками связано», «мочалами перпомяно».

⁹ См.: А. Н. Веселовский. Психологический параллелизм и его формы в отражении поэтического стиля. В кн.: А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. «Художественная литература», Л., 1940.

¹⁰ Песни, собранные П. В. Киреевским, № 2624.

Мифическое мышление объективно, оно непосредственно опирается на реальные основы мира. Оно показывает действительное родство между объектами.

Появление метафоры связано уже с разделенностью в сознании, которая наметилась во второй фазе мифического способа мышления. Эта разделенность приводит к изменению раннего тождества в сходство. В ином качестве выступает и тенденция конкретизации. Она в метафоре субъективна, она опосредованно, через призму сознания, выражает объективную действительность. Связь между объектами в метафоре условная, она существует лишь в данном контексте.

После предварительного рассмотрения основных закономерностей, которые действуют в мифе и которые развивает метафорический способ мышления, можно непосредственно перейти к анализу метафоры.

Отличие метафоры от рассмотренных ранее категорий стиля — в возникшей двуплановости. Второй переносный смысл стал возможным благодаря вступившему в силу принципу отвлечения, которого не знало мифическое мышление.

Сущность этого принципа покажу на конкретном примере:

Ты возьмешь себе молоду жепу,
Молоду жену — змею лютую.

«Змея лютая» — метафорическая перифраза, означающая «плохая», «злая». Здесь происходит отвлечение всех свойств от их носителя, кроме указанного признака «лютая», который и служит основой для сопоставления. Теряется и образ, связанный с данным словом, когда оно употребляется в своем номинативном значении.

Без отвлечения метафора немислима. Всякое нарушение этого принципа приводит к реализации метафоры.

Песня осталась незаконченной:

Ты возьмешь себе молоду жену,
Молоду жену — змею лютую:
Из норы ползет, озирается,
По песку ползет, извивается,
По траве ползет, мураву сушит!

(Соб., т. 2, № 179)

Метафора (вернее, ее часть — предмет высказывания — «змея») начинает сама диктовать развитие темы: она развивается по принципу метафоры и в своем развитии воскрешает потухший образ, свойства начинают выступать в полном объеме. Это — отличительный момент более раннего мифического способа мышления, при котором если говорится «возьму в жены змею», то на змее со всеми присущими ей свойствами герой и женится. Аналогичный пример в сказке: «...Иван-царевич задумался, заплакал: „Как я стану жить с лягушкой? Век жить — не реку перебрести или не поле перейти!“ Плакал-поплакал, да нечего делать — *взял в жены лягушку*. Их всех (братьев и их невест, — В. Е.) обвенчали по ихнему там обряду; *лягушку держали на блюде*».¹¹

Последний пример, на который было обращено внимание в песне, представлял собой наиболее простой и в то же время редкий случай метафорической перифразы — с названным или прозрачно подразумеваемым признаком сопоставления. Гораздо чаще метафорическая перифраза вообще исключает момент сопоставления — прямого сходства признаков между метафорически сближаемыми представляемыми нет.

Как чужая-то жепа — *лебедь белая моя*;
А своя-то жена — *попынь горькая трава*...

(Соб., т. 3, № 454)

На первый взгляд, идентичный с предыдущим случай: «жена — змея лютая», «жена — пыпынь горькая». Предположим, что постоянные эпитеты к словам «лебедь» и «попынь» — белая и горькая — являются доминирующими признаками, по которым проводится сопоставление. Но в песне признаки даны в своем номинативном значении, а цветовое и вкусовое значения не могут быть определяющими к слову «жена». Значит, предположение оказалось несостоятельным, и мы имеем дело с иным случаем метафорической перифразы. Постоянные эпитеты не являются здесь прямыми признаками сопоставления. «Белый» значит, кроме цвета, ясный, прекрасный; «горький» — употребляется не только во вкусовом, но и в моральном значении. Лишь двойственность понимания этих слов могла привести к существующей связи представлений. «Лебедь белая» — хорошая, красивая; «попынь горькая» — плохая, неприятная, то есть типичный случай метафорической перифразы, когда она покоится не на сопоставлении, а на образном замещении характеризующего признака.

Доказательством того, что в предыдущих песнях была действительно метафорическая перифраза, могут служить близкие примеры, в которых одна из парал-

¹¹ А. Н. Афанасьев. Русские народные сказки, т. 2, № 267, стр. 329.

лелей теряет метафоричность, — метафорическая перифраза заменяется признаком, выражающим отношение:

Чтой чужа мужная жена — то *разлапушка моя*;
Что и своя мужная жена — осока да мурава...

(Соб., т. 3, № 458)

Своя жена — змеюшка,
Чужа жена — *любушка*...

(Соб., т. 3, № 472)

Потеря метафорической перифразой своего иносказательного смысла могла приводить и к образованию сложных эпитетов.

Да не быть свекру супроть батюшки:
А мой батюшка — *дума крепкая*,
Слово тайное, невыносное.

(Соб., т. 2, № 578)

«Слово тайное», «дума крепкая» уже обозначает свойство (одно из свойств), принадлежащее объекту (ср.: Баба Яга костяная нога, Мороз красный нос и т. д.).

Метафорическая перифраза разделяет предмет и образ высказывания, что делает необязательным момент сопоставления. Наиболее простой тип метафор — так называемая «явная» метафора, напротив, объединяет составные компоненты метафоры в одном слове, и она не может строиться иначе, как по принципу апа-логии.

Промежду ли нас — *змея лютая*,
Люта змея гнездо свила.
Гнездо свила, детей вывела.

(Соб., т. 2, № 469)

«Змея лютая» — метафора, равная по значению «женщина-разлучница». Метафорическое развите имеет реальную основу: гнездо — дом, змееныши — дети.

«Явная» метафора может постепенно или прямо раскрываться в тексте, что делает необязательным внутреннее сопоставление, и в конечном счете, как будет впоследствии показано, приводит к исключению даже возможности такого сопоставления.

Уж я видел, повидал тело белое,
Тело белое молодецкое.
Как никто ко телу, к телу не пришатнется.
Приискался ко телу, к телу *три ласточки*,
Три ласточки, три касатые:
Перва ласточка — родна матушка,
Друга ласточка — сестра родная,
Третья ласточка — молода жена.

(Соб., т. 1, № 363)

Полностью «раскрытая» метафора — это уже самостоятельная группа метафор, для которой характерна не только разделенность предмета и образа высказывания, но и отсутствие предварительного иносказательного обобщения (типа «три ласточки»).

На степи лежит тело молодецкое;
Постель у него — мать сыра земля;
Изголовьице — бел горюч камень...

(Соб., т. 1, № 405)

Смысл и цель «раскрытых» метафор становятся очевидными, если сравнить их с метафорическими перифразами, аналогично выраженными: «чужая жена — лебедь белая» — метафорическая перифраза; «ласточка — родна матушка» — «раскрытая» метафора. Метафорическая перифраза представляет собой особый способ выражения отношений: «лебедь белая» — прекрасная, желанная. «Раскрытая» метафора не характеризует, а лишь проясняет иносказательно названный предмет. «Раскрытая» или «развернутая» метафора — это единственный тип иносказания, который наглядно показывает разделенность, произошедшую в сознании, о чем и говорит расшифровка образа. В силу традиции способ выражения мира еще старый — через предметы внешнего мира, отношение же к миру совсем иное. Это новое отношение проявляется в исключении всякого момента сопоставления между соединяемыми представлениями. Сближение оказывается чисто формальным моментом, поскольку утверждение «ласточка — родна матушка» вместе с тем подразумевает и отрицание «ласточка не есть матушка». Создание образа заведомо неправдоподобного — это уже новое завоевание мысли, так как вымысел становится художественной ценностью, а метафора для создателя песни — только художественным приемом.

«Явная» метафора соотносится и с другой группой метафор народной лирики, которые могут быть названы «скрытыми». Если в «явной» метафоре связь представлений строится на наиболее ярких, заложенных в самом объекте признаках, то «скрытая» метафора соединяет очень далекие, сопутствующие представления. «Скрытой» метафора названа потому, что содержит элемент загадки, то есть основная метафора не названа, а вытекает из иносказательного описания. Это видно на примере следующей песни. Конь, верный товарищ и слуга, рассказывает по поручению молодца:

Эх, хозяин мой — да за Уралом за рекой,
За Уралом за рекой, да сам женился на другой...
Как женила его да пуля быстрая,
Обручила его да сабля вострая...

(Соб., т. 1, № 396)¹²

Основная метафора, о которой нужно догадаться, жена — смерть, то, что дается навечно (жена — до конца дней, смерть — навсегда). Далее идет развитие этой подсознательной метафоры в форме свадебного обряда: женила (на другой — смерти) пуля, обручила — сабля. В вариантах появляются и действующие лица свадебной драмы: «Была свашка — остра шашка, шарпанель была дружком».¹³ Не делая пока никаких выводов, посмотрим и другие варианты этой песни:

Ничего ты, поле, не спородило!
Спородило, поле, част ракивов куст...
Как во этом кусту тело белое,
Тело белое молодецкое;
Во главах у него — сабля вострая,
В ретивом у него — пуля быстрая,
Во ногах у него конь воронный его.

«Уж ты, конь, ты, мой конь, ты,
товарищ мой,
Ты беги, беги по дорожке вдоль.
По дорожке вдоль, к отцу, к матери,
К отцу, к матери, к молодой жене!
Ты жене скажи, что женился я,
Что женила меня пуля быстрая,
Обвенчала меня сабля вострая...»

(Соб., т. 1, № 388)

В начале песни: пуля в сердце, сабля в головах — иносказания здесь нет. Затем реальный образ метафоризируется по аналогии: пуля в сердце — женщина в сердце; отсюда: пуля женила; в головах сабля — на голове бенец; отсюда: сабля обвенчала. В первом варианте сабля в руке — отсюда: сабля обручила.

На первый взгляд подобный анализ с выделением параллелизма образов может показаться натянутым, несколько «литературным», но и в данных песнях, и в многочисленных вариантах образный параллелизм выдержан так последовательно, строго, что не может быть случайным.

Образы в целом построены на аналогии со свадебным обрядом, но смысл каждой отдельной метафоры приводит к отрицанию этого обряда в данных песнях. Самоотрицающим оказываются и отдельные слова: «женился» — уже не сможет никогда жениться, «обручила» — некому было обручить и т. п.

Таким образом, создается контрастный ряд образов, выражающих безобразность и одиночество. Строгое соблюдение внешних форм обряда подчеркивает невозможность его осуществления, ведет к его полному отрицанию. Все это и создает особый эффект «скрытой» метафоры в данных песнях.

Последний тип метафоры показал, что момент сходства не всегда в ней явно выражен, он может быть опосредствованным и достаточно далеким. Метафора может строиться на отношении сходства и в том случае, когда нет ни близкой, ни отдаленной связи между метафорически сближаемыми объектами. Речь идет об особом типе метафор, связь представлений в котором основана на ситуативной аналогии.

Одной из главных особенностей этой группы метафор является действие. Его-то и не знали предшествующие типы метафор, где выражение отношений осуществлялось непосредственно через предмет. Метафора, основанная на ситуативном сходстве, строится трехчленно: действующее лицо, действие и объект действия. Иносказание же создает лишь второй и третий члены метафоры. Такое внутреннее строение метафоры возвращает ее как будто бы к мифическому сознанию, но это ложное впечатление. Новое качество метафоры связано со вторым переносным планом, что абсолютно исключает первичную персонификацию, так как дает полное «отвлечение» свойств. Все это приводит к субъективности понимания и подвижности самой метафоры.

Я посею горе во чистом поле.
Ты взойди, мое горе, черной чернобылью,
Черпой чернобылью, горькою польню!

(Соб., т. 3, № 214)¹⁴

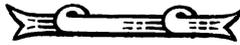
¹² Ср. варианты: ИРЛИ, колл. 2, папка 4, № 73; колл. 5, папка 6, № 103; колл. 216, папка 1, №№ 8, 64, 71; папка 8, № 195; Соб., т. 1, №№ 14, 382, 398.

¹³ См. также: ИРЛИ, колл. 216, папка 1, № 69.

¹⁴ См. также: Соб., т. 3, № 161; т. 4, № 533; т. 5, №№ 43, 68, 104, 133, 160, 636; ИРЛИ, колл. 216, папка 2, № 375; папка 4, № 156.

Приведенный пример дает возможность конкретно проследить отличие данной разновидности метафоры от предыдущих типов. Связь представлений возникает уже не из сходства явлений, не в результате образного замещения, а из аналогии ситуаций («я посею горе» так же, как «я посею семя»). Подразумеваемая аналогия действия и является внутренней формой этого типа метафор. Прояснение внутренней формы может идти разными путями: аналогия может быть представлена в форме положительного параллелизма, метафора мотивируется отрицательным параллелизмом, мотивировка может быть подготовлена предшествующими образами и т. д.

Были рассмотрены основные типы метафор пародной лирики. Единственной всеобщей связью оказался принцип «отвлечения», ибо любое его нарушение разрушает метафору. Традиционная теория метафоры, упуская этот главный для метафоры принцип, утверждает, что в основе метафоры всегда лежит сходство и только сходство. Принцип сходства является основополагающим для метафоры, но он не свободен от исключений. Как было показано, в «раскрытой» метафоре он совсем отсутствует, а в метафорической перифразе сильно видоизменяется — прямое сходство сменяется образным замещением. Выделение метафорических типов преследовало цель показать внутреннюю структуру метафоры. Это, во-первых, даст возможность определить особенности преломления основных для метафоры закономерностей в каждом из типов метафоры; во-вторых, является единственным путем для детального выяснения их соотносительности с другими формами метафоры — метафорическим эпитетом, образным сравнением и символом. Последовательное осуществление этих двух направлений исследования позволит в свою очередь определить историческое место стилистических категорий в образной системе лирики.



ИМЕНОСЛОВИЕ РУССКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

1

Научные журналы издаются в России без малого два с половиною столетия. Историки русской журналистики усматривают родоначальника наших научных журналов в «Исторических, генеалогических и географических примечаниях в Ведомостях» (1728—1742).

Исторические русские журналы имеют почти двухсотлетнюю историю. Около двух веков прошло со времени издания Н. И. Новиковым «Древней российской вивлиофики» (1773—1775) и Ф. О. Туманским «Российского магазина» (1792—1794). Если «Древняя российская вивлиофика» была скорее сборником исторических материалов, чем журналом, хотя большой знаток русской периодики XVIII века П. Н. Берков и называет ее историческим журналом,¹ то «Российский магазин», по справедливому суждению Н. А. Белозерской, «может быть вполне назван историческим журналом и по общему характеру близко подходит к типу наших исторических журналов новейшего времени».²

От изданий Новикова и Туманского и до нашего времени насчитывается примерно две сотни названий русских исторических повременных изданий. Двести названий — небольшой словарь. Последующие заметки, заметки историка, призваны положить начало разбору и изучению этих названий. Такой разбор представляет теоретический интерес и имеет практическое значение. Поэтика названий журналов, естественно, отчасти затронута в заметках. Но главное в них — историографическая и историко-культурная сторона дела.

Наши заметки посвящены именословию — терминологии названий исторических журналов. Неизбежно иногда придется обратиться и к сборникам, особенно серийным, выходящим более или менее длительное время.

Вне сомнения, что названия некоторых русских журналов возникли в России не без воздействия соответствующих названий в западноевропейской периодике. К примеру, «Magazine» породили довольно частые в конце XVIII и первой половине XIX века русские «Магазины»: «Магазин патуральной истории, физики и химии» (1788—1790), «Магазин общепользных знаний и изобретений» (1790), «Российский магазин» (1792—1794), «Магазин земледения и путешествий» (1852—1860) и др. Международные аспекты именословия русских исторических журналов — тема интересная; в последующих заметках она не затронута.

Все названия русских исторических журналов и тесно с ними связанных сборников поделим на две большие группы: названия одиночные и названия гнездовые.

Названия одиночные встречаются в словаре русской исторической журналистики, как правило, однажды. Иногда с таким однопочным названием частично соприкасаются в чем-то названия еще одного-двух изданий.

Названия гнездовые — это названия распространенные, так сказать продуктивные, основа их с разными изменениями встречается во многих повременных изданиях, нередко в наименованиях десятков журналов. Расположу их в двух перечнях. Первый перечень в алфавитном порядке. Второй — в историко-хронологическом (по времени возникновения).

По алфавиту: «... Архив...», «... Вестник...», «... Вопросы...», «... Древности...», «... Записки...», «... Известия...», «... Летопись...», «... Обозрение...», «... Старина...», «... Труды...», «... Чтения...».

По времени возникновения: «... Записки...» (в середине первой четверти XIX века), «... Труды...» (в середине первой четверти XIX века), «... Архив...» (с конца первой четверти XIX века), «... Летопись...» (с начала второй четверти XIX века), «... Чтения...» (с конца второй четверти XIX века), «... Известия...» (с конца 50-х годов XIX века), «... Древности...» (с 60-х годов XIX века),

¹ П. Н. Берков. История русской журналистики XVIII века. Изд. АН СССР. М.—Л., 1952, стр. 387.

² Н. Белозерская. Исторический журнал XVIII века. «Журнал Министерства народного просвещения», 1898, № 1, отд. 2, стр. 61—62.

«...Старина...» (с 70-х годов XIX века), «...Обозрение...» (с 80-х годов XIX века), «...Вестник...» (с 80-х годов XIX века), «...Вопросы...» (с середины 40-х годов XX века).

Заметим, что большая часть наиболее применяемых гнездовых названий возникла и закрепились в последние 100—130 лет. То же следует сказать и о названиях одиночных. Оно и понятно. Именно в это время история стала наукой, пользующейся устойчивым вниманием общественности. В это время вполне сложился и упрочился самый тип русского исторического журнала как представителя исторической журналистики — особой ветви отечественной отраслевой журналистики.

2

Остановимся на гнездовых названиях. Вначале замечу, что из выделенных одиннадцати видов этих названий исключительно историческим органам принадлежат только три: «...Древности...», «...Старина...», «...Летопись...». Один вид, именно «...Архив...», возник как название исторических повременных изданий, но затем, примерно с 60-х годов прошлого века, стал встречаться в названиях разных, преимущественно медицинских, журналов. То же произошло и с «...Временником...». Остальные шесть видов гнездовых названий: «...Вестник...», «...Записки...», «...Известия...», «...Обозрение...», «...Труды...», «...Чтения...» — широко известны в именовании русской журналистики и не являются присущими исключительно или хотя бы преимущественно историческим изданиям.

Ранее других видов гнездовых названий русских исторических повременных изданий появились «...Записки...» и «...Труды...». Эти названия уже довольно давно применялись в России научными учреждениями и обществами. Вспомним о «Трудах Вольного экономического общества» (с 1765 года) или хотя бы о «Записках деяний» того же общества (с 1802 года). Естественно было и более молодым, вновь возникавшим обществам и учреждениям обратиться к этим уже привычным для русского глаза названиям.

Едва ли не прежде всех в исторической среде такое название употребило первое русское историческое общество — Общество истории и древностей российских при Московском университете (основано в 1804 году). Ему принадлежали «Записки и труды Общества истории и древностей российских» (1815—1824). Позднее оно издавало «Труды и записки» (1826), затем «Труды и летописи» (1827—1837).

Названия «...Записки...» и «...Труды...» получили очень большое распространение в исторических повременных изданиях в капиталистический период русской истории. Очень часто они применяются и в советское время, особенно после 1945 года.

Во второй половине XIX—начале XX века эти названия охотно присваивали своим многочисленным изданиям Русское археологическое общество, Русское географическое общество (его этнографические отделы и отделения) и другие общества, например Общество истории, филологии и права при Варшавском университете, Ростовское-на-Дону общество истории, древностей и природы, Терское общество любителей казачьей старины, Одесское общество истории и древностей.

В наши дни эти названия главным образом бытуют в издательской практике высших учебных заведений и научных учреждений («Труды» и «Записки» исторических кафедр, исторических факультетов, научно-исследовательских институтов). Укажу хотя бы на известные «Исторические записки» Института истории АН СССР (с 1937 года).

В конце первой четверти XIX века возникло название «...Архив...». В общественно-бытовом и литературном употреблении слово «архив» не утратило еще тогда характера неологизма.

В 1819 году Н. И. Тургенев с друзьями обдумывал издание нового журнала. Видное место в нем отводилось истории («как главной Hilfswissenschaft всех наук, в особенности Политики»). В качестве желательных имен для задумываемого детища Тургенев облюбовал два: «Архив политических наук и российской словесности» или же «Россиянин XIX века».³

С 1822 года Ф. В. Булгарин издавал «Северный архив» — журнал истории, статистики и путешествий. Видимо, это и был первый русский журнал с названием «...Архив...». Прибавлю, что первоначально (в сентябре 1821 года) издатель дал журналу другое заглавие — «Мнемозина». Под этим заглавием журнал был разрешен к изданию. Но через месяц по получении разрешения (в октябре 1821 года) Булгарин просил дозволить ему переименовать заглавие «Мнемозина» на «Северный архив» и получил на это согласие властей.⁴

³ Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 годы, т. III. Пгр., 1921, стр. 381, 373, 183; Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 273—274, 282.

⁴ Н. Д. [Н. Ф. Дубровин]. К истории русской литературы. Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч. (Как издатели журналов). «Русская старина», 1900, № 9, стр. 561, 563—564.

В 1824 году появилось богатое издание «Белорусский архив древних актов». Оно вышло из румянцевского кружка и было посвящено графу Н. П. Румянцеву. Предисловие, подписанное издателем протоиереем И. И. Григоровичем в Гомеле 45 августа 1823 года, объясняет название тем, что издание составилось из грамот, отысканных при обозрении некоторых белорусских архивов.

Со второй половины XIX века название вида «... Архив...» получило большое хождение в русских повременных изданиях, прежде всего исторических. Достаточно напомнить издания Н. В. Калачова «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России» (1850—1859) и «Архив исторических и практических сведений, относящихся до России» (1859—1863).

Вскоре появился на свет знаменитый «Русский архив» П. И. Бартенева, оказавшийся одним из самых долговечных органов отечественной исторической журналистики (1863—1917) и первым из трех наиболее известных дореволюционных исторических журналов («Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник»).

С этого времени название вида «... Архив...» становится весьма частым. Известно множество ценных отдельных и серийных изданий и периодических органов, заключающих в своих наименованиях слово «Архив»; сорокатомный «Архив князя Воронцова» (1870—1895), вышедший под редакцией того же П. И. Бартенева, десяти томный «Архив князя Ф. А. Куракина» (1890—1902), десяти томный «Архив графов Мордвиновых» (1901—1903), «Архив братьев Тургеневых», «Остафьевский архив князей Вяземских», «Архив юго-западной России» (1859—1914) и множество других публикаций с подобными названиями.

Довольно часто встречается слово «Архив» и в наименованиях дореволюционных журналов: «Русский художественный архив» (1892—1894) (явно перекликающийся с «Русским архивом»), «Архив освободительного движения 1905—1906 гг.» (1907).

Название этого вида весьма скоро после начала издания «Русского архива» стало применяться и в других научных журналах, далеких от исторической журналистики. Появились «Архив судебной медицины и общественной гигиены» (1865—1871), «Архив ветеринарных наук» (с 1871 года), «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии» (1883—1899), «Русский архив патологии, клинической медицины и бактериологии» (с 1896 года), «Архив биологических наук» (с 1901 года), «Русский хирургический архив» (с 1902 года; один год, 1901-й, это же издание выходило под названием «Летопись русской хирургии», а в 1910—1916 годах под названием «Хирургический архив Вельяминова»), «Русский архив анатомии, гистологии и эмбриологии» (1916) и др. Именно в это время название вида «... Архив...» стало особо популярным, возможно даже и модным. Любопытно, например, что в названии одного из указанных медицинских журналов слово «Архив» на рубеже 60—70-х годов вытеснило предшествовавшее ему «Записки»: в 1846—1848 годах выходило «Записки ветеринарной медицины и скотоводства», в 1853—1868 годах — сменившие их «Записки ветеринарной медицины», но с 1871 года журнал получил название «Архив ветеринарных наук».

Название вида «... Архив...» явно упрочилось в именословии русских исторических изданий, стало одним из немногих дореволюционных названий, перешедших преимущественно к советским изданиям, и нередко встречается в наше время.

Первый русский исторический журнал с новой тематикой, начавший выходить в Советской России с 1921 года, получил имя «Архив истории труда в России» (1921—1923). Привычное название «... Архив...» приобрело здесь совершенно новое социальное содержание. Его внесла жизнь, Великая Октябрьская революция: история труда и трудящихся, рабочих и крестьян впервые утверждалась в названии этого органа как важнейшая материя советской исторической науки. Почти одновременно возник один из самых лучших советских исторических журналов — «Красный архив» (1922—1941), название которого воспринимается как преобразование «Русского архива». Эпитет «красный» зримо и выразительно засвидетельствовал революционный дух нового издания, его принципиально новую научно-идеологическую направленность. Позднее появились сборники Института истории АН СССР — «Исторический архив» (1936—1954), потом журнал под точно таким же названием — «Исторический архив» (1955—1962). Обширную и заслуженную известность приобрело, и не только среди русских читателей, много томное издание «Архив Маркса и Энгельса». В последние годы этот вид названия стал распространяться главным образом в научных изданиях собственно архивных учреждений, например информационный бюллетень «Орбургский архив» (1958), сборник «Якутский архив» (1960). Только что создан новый журнал «Советские архивы» (с 1966 года), взамен окончивших свои лета «Вопросы архивоведения» (1956—1965).

За рубежом белые эмигранты воспользовались этим привлекательным и таким, так сказать, преимущественно историческим названием: в Берлине И. В. Гессеп долго издавал сборники «Архив русской революции» (1922—1934).

Из обзора фактов видно, что это название исторических изданий, возникшее почти полтора столетия назад, оказалось выразительным, удобным, жизнеспособным и одним из наиболее любимых в именословии русской исторической журналистики.

Повременное издание Общества истории и древностей российских при Московском университете с третьей своей части приобрело, на очень, правда, недолгое время, имя «Труды и летописи». Укрепилось название вида «...Летопись...», однако много позднее, во второй половине века. Старейшее, существующее и ныне издание с таким названием восходит к 1861 году, когда в Петербурге начали появляться выпуски «Летопись занятий Археологической комиссии». Куда позднее ее начала выходить «Археологическая летопись южной России» (в 1899—1901 годах как самостоятельные отisky отдела журнала «Киевская старина», в 1903—1905 годах — как отдельное издание). Назову еще «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (1904—1915) и «Летопись Историко-родословного общества в Москве» (1905—1915).

Рано привилось название «...Летопись...» и в советских изданиях: «Красная летопись» (1922—1934), «Летопись революции», «Красная летопись Туркестана» и др. В нашем веке «...Летопись...» особенно пришлось по сердцу ведомству учетно-информационной библиографии: «Книжная летопись» (с 1907 года), «Журнальная летопись» и им подобные издания.

Название изданий солидных, серьезных, содержательных, сухих — «...Чтения...» — в большой ход пошло не ранее середины прошлого века. Употреблялось это название исключительно научными и другими обществами дореволюционной России и закономерно окончило свой век к 1917 году. Советских исторических изданий с таким названием я не знаю.

Всем русским «...Чтениям...» положили начало «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (1846—1848, 1858—1916), созданные и много лет редактируемые О. М. Бодянским, секретарем этого общества. За ними последовали «Чтения в Московском обществе любителей духовного просвещения» (в 1863—1871 годах нерегулярно выходившие сборники; в 1871—1916 годах — ежемесячник), затем «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца» (1879—1914) при университете св. Владимира в Кieve. К слову заметим, что первая книга этого издания содержала сведения о чтениях и заседаниях, состоявшихся в Обществе в 1873—1877 годах, т. е. в период от основания Общества до начала издания им своего органа. Общество это существовало еще какое-то время в начале советского периода и хотело продолжать свои «Чтения». Об этом свидетельствуют слова В. М. Базилиевича, члена Общества: «Что касается издательской деятельности О-ва, то, по недостатку средств, она остановилась в 1914 г. на 25 томе „Чтений“ и до сих пор не может возобновиться, несмотря на то, что в распоряжении О-ва имеется ряд любопытных статей и исследований».⁵ Замечу, что эти «Чтения» были первым прочным и устойчивым периодическим историческим органом на Украине, хотя они никогда не имели того значения, какое приобрела последовавшая за ними по времени «Киевская старина».

Там же, в Кieve, печатались «Чтения в Церковно-Археологическом обществе при Киевской духовной академии» (1883—1916, выпускались в качестве особых отtyсков «Трудов Киевской духовной академии»).

Прибавлю, что если «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете» и положили начало всем другим отечественным историческим «Чтениям», то началом истории повременно-издательской деятельности самого этого Общества они не были. Им предшествовало не менее пяти печатных начинаний, оказавшихся недолговечными. В нескольких параграфах Устава⁶ этого Общества, утвержденного Александром I 21 января 1811 года, говорится о деятельности Общества в части издания древних русских летописей (§ 2); о ежегодном издании «по одной книге актов, состоящих как из рассуждений, которые члены читают по временам в Обществе, так и из всех происшествий, до Общества касающихся, с описаниями заседаний» (§ 62); наконец, § 64 гласил, что «сверх актов Общество будет издавать особый журнал, в издании которого сколько возможно будет держаться хронологического порядка. В журналах будут помещаемы древние анекдоты, трактаты, грамоты, описания древних посольств, обрядов и других происшествий, не напечатанных и в архивах хранящихся».

В заседании Общества 10 ноября 1811 года было определено: «Издание Журнала поручить члену К. Ф. Калайдовичу... Журналу сему иметь название „Достопамятности Русские, издаваемые при Обществе Ист. и Др. Рос.“».⁷ Издано было три части «Русских достопамятностей» (1815, 1843, 1844). Одновременно (в 1815—1837 годах) то же Общество выпускало, как сказано, «Записки и труды», «Труды и записки», «Труды и летописи». При секретарстве М. П. Погодина в Обществе, главным образом его усилиями, издано было семь томов (каждый — из четырех выпусков) «Русского исторического сборника» (1837—1844). Но ни одно из этих изданий не достигло уровня исторического журнала хотя бы типа позднейших «Чтений» и «Временника» того же Общества. Однако первое из упомянутых названий повто-

⁵ В. Базилиевич. Киев. Историческое Общество Нестора Летописца в 1923 году. «Борьба классов», 1924, № 1—2, стр. 381.

⁶ ПСЗ, т. 31, СПб., 1830, № 24492.

⁷ П. А. Бессонов. К. Ф. Калайдович. М., 1862, стр. 13.

рилось в одном из историко-археологических изданий А. А. Мартынова и И. М. Снегирева — «Русские достопамятности» (выходившие выпусками описания монастырей и церквей; 1862—1865).

Кстати несколько слов о названии «...Временник...», чтобы более к нему не возвращаться. Около десятилетия издавался в секретарство И. Д. Беляева под редакцией этого историка «Временник Общества истории и древностей российских при Московском университете» (1849—1857). Это название также не получило распространения в исторической журналистике. Мне известен только неисторический орган — «Временник Демидовского юридического лицея» (с 1872 года в Ярославле), да нерегулярно выходящий «Византийский временник» («Byzantina chronica»), возникший в 1894 году и продолжающийся донныне.

Название вида «...Известия...» в исторических органах получило заметное распространение с конца 50-х годов XIX века и держалось довольно прочно до советского периода. Укажу для примера на «Известия Археологического общества» (1859—1884), «Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии» в Москве (с 1868 года), «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете» (с 1878 года; совсем недавно, два-три года назад, предпринята была попытка возобновить это издание), «Известия Общества любителей кавказской археологии» (1877), «Известия Кавказского общества истории и археологии» (1882—1884), «Известия Археологической комиссии» (1901—1918), наконец «Исторические известия», издаваемые Историческим обществом при Московском университете (1916). Некоторые губернские ученые архивные комиссии также выпускали свои «Известия» (например, Тамбовская, Калужская, Таврическая). Как видим, и это название применялось преимущественно в изданиях ученых исторических обществ и учреждений.

С 60-х годов пошли множиться названия вида «...Древности...», ставшие популярными главным образом в археологических изданиях. Это было вполне естественно, если припомнить историческую семантику этого слова в русском литературном языке и историю исторической науки в России. Слово «древности» ведь долго обозначало особую научную дисциплину, изучавшую материальную культуру и быт далекого прошлого. С. Т. Аксаков писал, вспоминая годы своего университетского учения (начало XIX века): «Наконец в пеходе августа все было улажено, и лекции открылись в следующем порядке: Григорий Иванович читал чистую, высшую математику... профессор Герман — латинскую литературу и древности; Эрих — латинскую и греческую словесность...»⁸

Вот главные из русских изданий с таким названием: «Древности. Труды Московского Археологического общества» (1865—1916), «Древности. Труды Славянской комиссии» того же общества (с 1895 года), «Древности восточные» Восточной комиссии того же общества (с 1896 года), «Христианские древности и археология» (1862—1878), к которым прилагались особые «Русские древности» (с 1871 года), «Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников» все того же Московского археологического общества (1907—1915). Название вида «...Древности...» в советское время не применялось, насколько я знаю. Слово «археология» вытеснило «древности».

На рубеже 60—70-х годов прошлого века возникло название вида «...Старина...». Наряду с «...Архивом...» оно завоевало наибольшее общественное признание в дореволюционной России. Самым известным и влиятельным журналом с таким названием в истории русской исторической журналистики, без сомнения, явилась «Русская старина» (1870—1918, последняя художественная книжка этого журнала за 1918 год, по счету торжественно именуемая 175-м томом, вышла в свет 3 октября 1919 года; попутно замечу, что объявлена была подписка на этот журнал и на 1919 год, но на 175-м томе издание прекратилось).

Основанная и первые двадцать три года (1870—1892) издаваемая и редактируемая М. И. Семевским, «Русская старина» стала весьма читаемым и авторитетным русским историческим журналом. Ее книжки в кирпичного цвета обложке почти столетия являлись привычной принадлежностью пыльных столов и библиотек русских интеллигентов.

По свидетельству современника, наблюдательного публициста Г. К. Градовского, каждая новая книжка «Русской старины» в годы редактирования М. И. Семевского «наводила общественное мнение на такие события в прошлом, которые представляли *живейший интерес* для всех современников, освещая настоящие события, помогая правильному обсуждению и разрешению тех или других вопросов. Вот почему „Русская старина“ при М. И. Семевском не только не отдавала архивную затхлостью, но обыкновенно называлась *живой* „Рус. Стариной“. «Русская старина» была настолько популярна, что в разговорном и литературном языке русской интеллигенции конца прошлого века, по словам Градовского, в тысячах газетных статей, в повестях и романах можно было встретить выражение: «Ну, об этом мы узнаем разве на страницах «Русской Старины», или: „Погодите, «Русская Ста-

⁸ С. Т. Аксаков, Собрание сочинений в пяти томах. т. 2, изд. «Правда», М., 1966, стр. 123.

рина» отмстит за нас...». Существовало даже выражение «попасть в „Русскую Старину“» — лестное для одних, страшное для других. Выражение это напоминало, «что есть суд потомства».⁹

Изложу сообщения о происхождении названия «Русская старина». По мнению В. В. Тимошук, которой принадлежит биография М. И. Семевского, мнению, очевидно разделяемому и Н. К. Шильдером (он редактировал ее книгу о Семевском), название своего журнала Семевский заимствовал у Н. М. Карамзина.¹⁰

В карамзинском «Вестнике Европы» (1803, № 20, октябрь, стр. 251—271; № 21 и 22, ноябрь, стр. 94—103) действительно напечатана статья без подписи под заголовком «Русская старина». Авторство Н. М. Карамзина устанавливается его собственным указанием в обращении «К читателям Вестника».¹¹ Никак нельзя отвергать возможность чтения этой статьи М. И. Семевским: с журналистикой XVIII—начала XIX века он был отлично знаком. Но нет никаких прямых доказательств знакомства Семевского с данной статьей Карамзина.

Теперь напомним другие, бесспорные факты.

Великий почитатель и пропагандист Карамзина М. П. Погодин назвал одну из своих историко-публицистических статей карамзинскими словами «За русскую старину».¹² В своей обороне русской старины от людей, представлявших Погодину ее недругами, сам Погодин исходил прямо от помянутой статьи Карамзина. Хорошо известно, что в Москве в 1855—1856 годах М. И. Семевский читал преимущественно русские журналы XVIII века, исторические книги и погодинский «Москвитянин». Тогда же и именно в этом журнале состоялось первое выступление Семевского в печати — статья «Несколько слов о фамилии Грибоедовых». Письмо к редактору журнала «Москвитянин».¹³ Допустимо предположить, что сам Погодин мог обратить внимание молодого Семевского на свою статью «За русскую старину», как он же, например, много лет спустя (31 августа 1869 года) обращал внимание П. И. Бартенева и Н. П. Барсукова на эту же статью, очевидно придавая ей важное значение.¹⁴

Прибавлю к сказанному, что в середине века появилось еще по крайней мере не менее трех исторических изданий с использованием в их названиях «...Старины...». Два из этих изданий связаны с историей Украины: шесть книжечек, выпущенных И. И. Срезневским под названием «Запорожская старина» (Харьков, 1833—1838), и пухлый том Г. П. Данилевского «Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования» (Харьков, 1866); отмечу, что в предисловии издатели этого тома называли его «Харьковской старинной». Третье издание — московское, двух историков старого быта и древностей А. А. Мартынова и И. М. Снегирева — «Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества» (1851—1857). Оно выходило как раз в период пребывания М. И. Семевского в Москве (1855—1856).

Отлично, наконец, известно, каким знатоком декабристской литературы был М. И. Семевский и как глубоко читал он декабристов. Он не мог не знать альманаха, изданного А. О. Корниловичем дважды, в 1824 и 1825 годах, под названием «Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного».¹⁵ Можно думать, что под перо Корниловича, декабриста-историка, «Русская старина» пришла от названия помянутой статьи историкографа Карамзина. А теперь напомним, что некоторые декабристы стояли, так сказать, у колыбели «Русской старины» Семевского, содействовали ей сообщением материалов, сотрудничали в ней. Ознакомившись с первой книжкой нового журнала, М. А. Бестужев писал Семевскому 27 января 1870 года о духе и направлении этого издания: «... сколько можно судить по тому, что я прочитал, оно есть пополнение „Русского Архива“. Постарайтесь же стать выше его сообщением статей более современного интереса.

На зубок новорожденному вашему сынку присоединяю к этому письму несколько стихотворений Одоевского».¹⁶

Из записи в альбоме М. И. Семевского «Знакомые» узнаем, что М. А. Бестужев посетил Семевского в Петербурге впервые 19 июня 1869 года,¹⁷ т. е. за полгода до начала издания «Русской старины». В разговоре с «многочуваемым им» (слова Бестужева из собственноручной записи его в альбоме) Семевским Бестужев мог говорить о «Русской старине» Корниловича, ибо правдоподобно считать, что в разговоре этом судили и о готовящемся журнале Семевского.

⁹ Гр. Градовский. Суд потомства. Памяти М. И. Семевского. «Новости и Биржевая газета», 1895, № 68, 10 марта.

¹⁰ В. В. Тимошук. М. И. Семевский — основатель исторического журнала «Русская старина». Его жизнь и деятельность. 1837—1892. СПб., 1895, стр. 116.

¹¹ «Вестник Европы», 1803, № 23 и 24, декабрь, стр. 283—285.

¹² «Москвитянин», 1845, № 3, «Смесь», стр. 27—32.

¹³ Там же, 1856, № 12, стр. 309—323.

¹⁴ Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. VIII. СПб., 1894, стр. 59.

¹⁵ Ник. Смирнов-Сокольский. Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX вв. М., 1965, стр. 98, 108.

¹⁶ В. В. Тимошук. М. И. Семевский, Приложения, стр. 4.

¹⁷ Знакомые. Альбом М. И. Семевского. СПб., 1888, стр. 45.

В свете приведенных наблюдений можно, пожалуй, с большей вероятностью предполагать, что названием своим «Русская старина» М. И. Семеvского (1870) восходит непосредственно к «Русской старине» А. О. Корниловича (1824), а не прямо к статье Н. М. Карамзина «Русская старина» в «Вестнике Европы» (1803). Но безусловно, что первенство во введении в нашу журналистику устойчивого словосочетания «Русская старина» принадлежит Н. М. Карамзину.

Название журнала Семеvского «Русская старина» породило множество «... Старин...» среди исторических повременных изданий России. Ему обязаны своими наименованиями, например, «Кавказская старина» (1872—1873), «Киевская старина» (1882—1906), «Живая старина» (с 1891 года).

Здесь на минуту остановлюсь, чтобы отметить любопытное суждение. Строгий критик Н. К. Михайловский сурово встретил в своих «Случайных заметках и письмах о разных разностях» первый выпуск одного из самых ранних русских историко-этнографических журналов, но одобрил резкость комплиментом: «Новый журнал носит красивое и характерное название „Живая Старина“».¹⁸

Затем последовательно появлялись перед русскими читателями «Тульская старина» (1899), «Могилевская старина» (1900), «Калужская старина» (1901), «Смоленская старина» (1909), «Минская старина» (1909), «Еврейская старина» (с 1909 года; заметим в скобках, что это, пожалуй, единственное издание с названием вида «... Старина...», которое сохранилось и в советский период: сборники под таким названием нет-нет да и появлялись до начала 30-х годов), «Псковская старина» (1910), «Тверская старина» (1911), «Полоцко-Витебская старина» (1911), «Паша старина» (1914—1916).

Памятуя о том, какое важное и видное место занимает журнал «Киевская старина» в развитии исторической журналистики на Украине, остановлюсь на показании источников касательно выработки названия этого интереснейшего органа. Мысль о пущности и желательности исторического журнала, посвященного истории Украины и издающегося на Украине, высказывалась давно, еще в начале 60-х годов. Весною 1879 года, по воспоминаниям А. М. Лазаревского, «у любителей малорусской старины» утвердилось намерение издавать в Киеве «на манер Русской Старины или Русского Архива» исторический журнал. Предполагали назвать его «Киевской стариной» или «Киевским архивом».¹⁹ В газете «Киевлянин» (1880, № 282, 18 декабря) напечатан был фельетон К. Железняка (псевдоним С. И. Пономарева) «Киевская старина и новина». Фельетонист сообщил об открытии в «Киевлянине» с 18 декабря особого отдела, отводимого «воспоминанию прошлого в киевской земле». Назначенная для открытия нового отдела дата была разъяснена: 18 декабря — день рождения «приснопамятного киевского митрополита Евгения (1767 г.)» — известного историка, археографа и библиографа Е. А. Болховитинова. Далее автор фельетона рассказывал, что уже несколько лет местные любители истории обдумывали основание в Киеве особого периодического сборника под названием «Киевская старина и новина». В 1943 году Г. А. Лазаревский, сын А. М. Лазаревского, в мемуарной статье об истории «Киевской старины» припомнил проекты названия для этого органа, которые выдвигались участниками организационного комитета, готовившего издание. По его словам, будущий журнал какое-то время думали украсить одним из следующих названий: «Украинская старина», «Запорожская старина», «Украинский архив». Но все эти проекты быстро отпали.²⁰ В конце концов из шести вариантов названия для будущего исторического журнала по истории Украины, выдвигавшихся в 1879—1881 годах («Украинская старина», «Запорожская старина», «Украинский архив», «Киевская старина», «Киевская старина и новина», «Киевский архив»), предпочтению получил один. Новый исторический журнал был назван «Киевской стариной». При нетерпимом отношении царского правительства того времени к украинской культуре такое название очевидно, казалось наиболее спокойным, более, так сказать, проходным с точки зрения учреждений, ведавших печатью.

Вероятно, отголоскам названия журнала «Русская старина» звучали для современников и такие заглавия, как «Рассказы о русской старине» С. Н. Шубинского (1871), знакомого и даже, по крайней мере до 1872 года, приятеля М. И. Семеvского, «Наширская старина» (1872) Д. В. Аверкиева, «Подмосковная старина» вышеупомянутого А. А. Мартынова (1889) и «Алатырская старина» В. Э. Красовского (1899).

После 1917 года название «... Старина...» вышло из употребления. В условиях революционной эпохи оно выглядело явно архаичным.

Название вида «... Обзорие...» сравнительно немногочисленны в исторической периодике. Возникли они с 80-х годов прошлого века. Отмечу «Этнографическое обзорие» (с 1889 года) Этнографического отдела Общества любителей есте-

¹⁸ Н. К. Михайловский, Сочинения, т. VI, СПб., 1897, стлб. 916.

¹⁹ А. Л. [А. М. Лазаревский]. Как основалась «Киевская Старина». «Киевская старина», 1897, т. LVI, март, отд. 2, стр. 63—64.

²⁰ Гліб Лазаревський. Київська старовина. (Спогади). «Українська література», 1943, № 7, стр. 97—113.

ствознания, антропологии и этнографии при Московском университете, «Историческое обозрение» (1890—1916) — сборник Исторического общества при Петербургском университете, редактором которого был Н. И. Кареев, «Византийское обозрение» (1915—1916). В именовании советских исторических изданий, кажется, не встречается.

Порядком стершееся от частого и давнего употребления в русской печати название вида «...Вестник...» в историческую журналистику пришло поздно. Распространение его несомненно обеспечено было «Историческим вестником» (с 1880 года). До появления этого журнала короткое время существовал едва ли не единственный в интересующей нас журналистике орган с таким названием. Речь идет об историко-художественном, мы бы теперь сказали искусствоведческом, издании «Вестник Общества древнерусского искусства при Московском публичном музее» (1874—1876). Но этот орган не привлек заметного общественного внимания.

С января 1880 года с педагогической аккуратностью, до того в русской исторической журналистике присущей лишь «Русской старине» Семеновского, начали каждое первое число очередного месяца являться перед читателями светло-кофейного цвета книжки «Исторического вестника» (1880—1917). Этот историко-литературный журнал издавал сперва А. С. Суворин, потом он же совместно с С. Н. Шубинским. В течение первых тридцати трех лет издания редактором журнала выступало одно лицо — историк С. Н. Шубинский. После неудачи, которую он потерпел с редактированием журнала «Древняя и новая Россия» (редактировал он ее с 1875 года до октября 1879 года), Шубинский перебрался к Суворину, этому ловкому, быстро тогда богатевшему и шедшему в гору буржуазному книгоиздателю и журналисту, «нашему „Наполеону книжного дела“,» каковым его провозгласил в конце прошлого века либеральный историк литературы А. И. Кирпичников.²¹ Настоящее значение и подлинный идейно-политический и классовый облик Суворина раскрыл В. И. Ленин в статье «Карьера» (1912).²²

Суворин был не только издателем журнала: он дал ему и название. Шубинский так вспоминал зачатие, рождение и крещение этого дитяца: «Тогда мы с Сувориным решили основать новый исторический журнал. Я составил программу, в которую, соображаясь со вкусом публики, ввел исторический роман и повесть и иностранную историографию, а Суворин придумал, нельзя сказать чтобы очень удачно, название „Исторический Вестник“».²³

Сознательно и постоянно соображавшийся «со вкусом публики», стремившийся преподнести ей занимательное чтение, богато иллюстрированный («Русский архив» не имел рисунков, «Русская старина» давала их немного, да и немногие изображения, прилагаемые к ее книжкам, были главным образом документальными — портреты, факсимиле автографов), «Исторический вестник» стал самым распространенным и читаемым в дореволюционной России научно-популярным историческим журналом. В нем деятельно печатали свои художественные произведения и мастерски написанные очерки на исторические темы известные и популярные русские писатели и историки: Г. П. Данилевский, Н. И. Костомаров, Н. С. Лесков, Д. Л. Мордовцев, Е. А. Салляс, С. Н. Терпигорев, Л. Н. Трефолев. Писателей таких Шубинский всячески привлекал, что хорошо видно из переписки его, например, с Трефоловым и Лесковым.²⁴ Окрепнув к середине 80-х годов, «Исторический вестник» стал сперва небездоходным, а вскоре и прямо доходным изданием. В первый год (1880) он имел 2400 подписчиков, в 1913 году их насчитывалось свыше 12 000.

С легкой руки этого журнала название вида «...Вестник...» получило заметное распространение в дореволюционной исторической журналистике; отдельные издания воспользовались им и в советский период. Укажу «Вестник археологии и истории» (1885—1914), «Вестник всемирной истории» (1899—1902), «Вестник истории и литературы» (1908, вышел всего один номер), «Вестник Общества ревнителей истории» (1914—1916). В наше время известны «Вестник древней истории» (с 1937 года), «Вестник истории мировой культуры» (с 1957 года), наконец, просто «Исторический вестник» (Тбилиси; на грузинском и русском языках).

Так сказать, совсем в новое время именованная русская журналистика зародилась и получила заметное хождение названия вида «...Вопросы...». Многочисленные «проклятые вопросы» начали «вставать» и «ставиться» перед русской общественностью, замелькали в общественно-литературном быту и словоупотреблении с 60-х годов XIX века. Но повременные издания с «...Вопросами...» в названии появились лишь с конца прошлого века, а мода на них пришла гораздо позднее. Возникли эти названия в журналах, далеких от истории. Назову самые ранние из них: «Вопросы дня» (1871), «Вопросы философии и психологии» (с 1889 года),

²¹ См.: Б. Б. Глинский. Среди литераторов и ученых. СПб., 1914, стр. 553.

²² В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 43—44.

²³ См.: Б. Б. Глинский. Среди литераторов и ученых, стр. 534.

²⁴ См.: С. С. Дмитриев. Сотрудничество Л. Н. Трефолева в исторических журналах. Ярославль, 1930; Н. С. Лесков, Собрание сочинений в одиннадцати томах, т. 10 и 11, Гослитиздат, М., 1958.

«Армейские вопросы» (1891, 1893), «Вопросы нервно-психической медицины» (с 1896 года), «Вопросы пола» (1908—1909).

Впервые в оборот исторической периодики это довольно чуждое ей по своему происхождению название вошло, видимо, не ранее 1908 года, когда появилась особая часть «Известий Археологической комиссии», выходявшая выпусками (вып. 1—17) и носившая название «Вопросы реставрации» (1908—1916). В настоящее время имеется немало «...Вопросов...»: «Вопросы экономики», «Вопросы географии», «Вопросы ботаники», «Вопросы философии» и много других. Большую известность имеет самый распространенный советский исторический журнал «Вопросы истории» (с 1945 года). Десятилетие просуществовали «Вопросы архивоведения» (1956—1965), на смену которым пришел журнал «Советские архивы» (с 1966 года). Чуть позже появились и «Вопросы истории КПСС» (с 1957 года), «Вопросы литературы» (с 1957 года), «Вопросы журналистики» (с 1959 года), сборники «Вопросы антропологии» (с 1960 года).

В наши дни, как видно, недостатка в «...Вопросах...» нет.

3

Совсем коротко об одиночных названиях. Совсем коротко потому, что мои заметки не притязают на библиографическую полноту, не предлагают исчерпывающий перечень, словарь названий исторических журналов и сборников на русском языке. Количество же одиночных названий в сравнении с одиннадцатью гнездовыми названиями куда более весомое. Их число превышает полсотни. Всех их в заметках просто нельзя даже бегло перебрать. Ограничусь самым малым.

Трудно сказать, был ли связан своим названием исторический журнал Ф. О. Туманского «Российский магазин» (1792—1794) с предшествовавшим ему компилятивным сборником «Исторический магазин, или Собрание различных историй» (СПб., 1780).

Если «Древняя российская вивлиофика» Н. И. Новикова приобрела широкую известность и позднее существовали некоторые издания с напоминающими о ней названиями, то другое историческое издание Новикова не получило отголосков в именословии русской исторической журналистики. Разумею «Повествователь древностей российских, или Собрание разных достопамятных записок, служащих к пользе истории и географии Российской» (1776). Правда, возможно, что это название в какой-то мере получило отражение в имени старейшего русского научного исторического общества — Общества истории и древностей российских при Московском университете (1804).

Исторических журналов со словом «сборник» в их названии, по-моему, нет. Но серийных, более или менее регулярно появлявшихся исторических изданий было и есть порядочно. Выше упоминался «Русский исторический сборник» (1837—1844) М. П. Погодина. Буквально накануне своей смерти Т. Н. Грановский, при прямом участии П. Н. Кудрявцева, задумывал издание журнального типа. Назвать издание собралось «Историческим сборником». За два дня до смерти, 2 октября 1855 года, Грановский, с неделю уже находившийся в состоянии постельного больного, диктовал жене письмо к К. Д. Кавельдну, где сообщил о намерении поехать по выздоровлении в Петербург, чтобы говорить с министром народного просвещения Поровым: «Еще нужно было бы мне поговорить с министром о затеваемом мной с Кудрявцевым Историческом Сборнике... Эластическое слово „Исторический“ дало бы нам возможность касаться самых жизненных вопросов».²⁵ «Исторический сборник» Грановского не осуществился.

Сопоставимы названия «Русский исторический сборник» (1837—1844) М. П. Погодина, «Исторический сборник» (1855), который задумывал Т. Н. Грановский, и название известного издания А. И. Герцена «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне» (1859 и 1861). Сопоставление это нуждается в исследовании.

Заслуженную известность приобрели «Сборники Русского исторического общества» (1867—1915; 147 томов). Продолжает время от времени выходить «Палестинский сборник» (с 1881 года). Десяток лет назад возник «Скандинавский сборник» (с 1956 года).

Название первого исторического журнала С. Н. Шубинского «Древняя и новая Россия» (1875—1881) несомненно восходит к знаменитой «Записке о древней и новой России» (1811 года) Н. М. Карамзина. Общественный интерес к этой записке, найденной случайно в 1836 году и впервые опубликованной за границей (Берлин, 1861), в 60—70-х годах сильно подогрела цензура: напечатанная в России в бартевском «Русском архиве» (1870) записка Карамзина была из журнала вырезана и уничтожена. По признанию самого С. Н. Шубинского, название «Древняя и новая Россия» для журнала, который затевали Шубинский, П. А. Ефремов и другие в 1872—1874 годах, предложил «в случайном разговоре» поэт и журналист В. С. Курочкин: он был близок с Шубинским и еще в начале 60-х годов рекомендовал

²⁵ Т. Н. Грановский и его переписка, т. II. М., 1897, стр. 457—458.

Шубинскому амплу историка-популяризатора).²⁶ Журнал «Древняя и новая Россия» предстал читателям всего через четыре года после нашумевшего уничтожения записки с таким же названием.

В нашем столетии возникло много новых исторических журналов с разнообразными названиями. Журналы начала века были органами обыкновенно недолговечными. Названия их почти не повторялись. Таковы, к примеру, библиографический листок «Антиквар» (1902—1903), журнал «Древний мир» (1902), нумизматический журнал «Старая монета» (1910—1912), ежемесячник для любителей искусства и старины «Старые годы» (1907—1915), «Русский библиофил» (1911—1916), журнал истории и истории литературы «Голос минувшего» (1913—1923).

Первый русский историко-революционный журнал «Былое» (1906—1907; в 1908 году — под названием «Минувшие годы»; затем возобновленный в 1917—1926 годах), кажется, не имел параллелей своего названия. Могу указать только название сборника Тульского Истпарта «Революционное былое» (начало 20-х годов).

Незначительный и претенциозный «Исторический журнал для всех» (1908—1909), «ежемесячный, живой, литературный, внепартийный», как аттестовал его редактор-издатель писатель И. И. Ясинский, неожиданно в последующем развитии русской исторической журналистики имел немало аналогов своего названия: «Научный исторический журнал» (1913—1914), «Русский исторический журнал» (короткое время в 1917 году), просто «Исторический журнал» (1937—1945), «Военно-исторический журнал» (1939—1944, возобновлен с 1959 года) и в заключение «Украинский исторический журнал» (с 1957 года).

Отмечу еще два журнала с совершенно одинаковым названием: «Борьба классов» (Л., 1924) — «марксистский исторический журнал, издаваемый Ленинградским отделением Цетрархива», и «Борьба классов» (М., 1931—1936) — научно-популярный исторический журнал, служивший (с начала и до октября 1932 года) органом Общества историков-марксистов, а затем выпускавшийся издательством «Огонек». В названии этих журналов стражено характерное для советской историографии того времени стремление прямо выразить свое новое понимание исторического процесса как прежде всего борьбы классов.

Однодневками промелькнули названия исторических журнальчиков и сборников первых лет советского периода, названия, приподнятость которых не соответствовала дурной бумаге, пестрому содержанию и краткой жизни этих изданий: «Дела и дни» (1920), «Русское прошлое» (1923), «Россия и Запад» (1923). Более солидными были академические «Анналы» (1922—1924) — «журнал всеобщей истории», вышедшие всего навсего четыре книги которого появились под редакцией Е. В. Тарле и Ф. И. Успенского.

Видимо, не имели аналогов названия «Каторга и ссылка» (1921—1935) — «историко-революционный вестник», «Архивное дело» (1923—1941), сборник «История пролетариата СССР» (1930—1935), весьма известный, содержательный, распространенный и влиятельный журнал «Историк-марксист» (1926—1941).

Зато название богатейших по содержанию и отличных по оформлению сборников «Литературное наследство» (с 1931 года) получило многочисленные отголоски в названиях подобных же сборников по другим отраслям культуры: «Научное наследство», «Художественное наследство», «Театральное наследство».

В советский период, особенно в последние годы, появились добротные, но подчеркнуто академические, явно рассчитанные только на специалистов, названия новых исторических органов, являющиеся просто наименованиями тех наук или отраслей исторического знания, которым эти органы посвящены. Таковы названия журналов — «История СССР» (с 1957 года), «Новая и новейшая история» (с 1957 года), сборников и журналов — «Этнография» (1926—1930), «Советская этнография» (с 1931 года), «Советская археология» (1936—1959 — неперiodическое издание; с 1957 года — журнал под тем же названием).

И еще одно соображение.

Довольно давно установилось в журналистской практике обыкновенно намеренно, сознательно повторять уже употреблявшиеся в истории журналистики известные названия.

Собираясь в своем будущем журнале «Архив политических наук и российской словесности» завести раздел «Описание нравов», Н. И. Тургенев в 1819 году прямо указывал на желание дать этому разделу название «Живописец», «как потому, что сие название сообразно предмету, так и для возобновления памяти старинного журнала, под сим названием выходившего».²⁷ Тургеневский замысел не воплотился в жизнь. Но Н. А. Полевой, например, выпустил издание под названием «Русская вивлиофика или собрание материалов для отечественной истории, географии, статистики и древней литературы» (1833).

Очевидно намерение и П. И. Тургенева и Н. А. Полевого освежить в русской общественной памяти знаменитые издания Н. И. Новикова.

²⁶ Б. Б. Глинский. Среди литераторов и ученых, стр. 532, 536.

²⁷ Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 годы, т. III, стр. 381.

Из подобных же соображений исходило Общество ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, когда выбрало для своих исторических сборников, которые издавались в 1897—1917 годах, название периодического сборника В. Г. Рубана «Старина и новизна» (1772—1773) и точно такое же название задуманного и даже объявленного в печати, но не вышедшего исторического и литературного сборника П. А. Вяземского (1837). Такими же побуждениями, наверное, руководствовалось Общество историков-марксистов, когда для своего массового научно-популярного исторического журнала выбрало в 1931 году название «Борьба классов», уже за несколько лет до того послужившее названием другого журнала, короткое время выходившего в 1924 году. В данном случае нужно принять во внимание и другое: понятие «борьба классов» в процессе становления молодой советской исторической науки в те годы было, пожалуй, самым лозунговым, самым ярким и кристаллически четким понятием, противопоставляемым в 20-х и начале 30-х годов идеям буржуазной историографии. Естественно было Обществу историков-марксистов, выступавшему против влияния буржуазной идеологии, остановить внимание на названии «Борьба классов».

Подробности, приведенные выше, о поисках названия для исторического журнала на Украине («Киевская старина») убеждают в том, что дело прискания названия для исторического журнала часто дело простое, даже довольно хитрое. Распутать и выяснить все обстоятельства такого дела — нелегкая задача для исследователя. Подобные же подробности можно привести из истории нескольких журналов. Разные варианты предлагаемых названий имеют различную историографическую, историко-культурную, литературно-стилистическую направленность. Избрание из нескольких вариантов названия одного всегда зависело от определенных политических, социальных, национально-культурных обстоятельств и условий того времени и места, где такое избрание происходило, зависело от взглядов и вкусов деятелей, которые выдвигали эти варианты и потом останавливались на одном из них.

В моих заметках, конечно, невозможно было досконально рассматривать происхождение и характер каждого отдельного названия.

Заканчивая свои историко-культурные и историографические наблюдения, добавлю лишь одно: именословие — терминология названий русских исторических журналов и сборников, как и всей русской общей и отраслевой журналистики, должно стать предметом размышлений как собственно историков, так и историков журналистики и филологов; история, идеологическое назначение, поэтика и стилистика таких названий ожидают исследователей.



ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

А. ЗИМИН

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКСТОЛОГИИ «ЗАДОНЩИНЫ»

Текстологическая схема Р. Якобсона и ее модификации

Среди повестей Куликовского цикла наиболее яркой в художественном отношении и глубокой по своему идейному замыслу безусловно является «Задонщина». Ее значение велико еще и потому, что в этом памятнике обнаруживаются многочисленные параллели и прямые текстологические совпадения с бессмертным произведением русской литературы — «Словом о полку Игореве».

После того как в 1852 году был опубликован один из списков «Задонщины», этот памятник вот уже более ста лет привлекает к себе внимание исследователей.¹ Текстов «Задонщины», к сожалению, сохранилось очень мало.² Это — древнейший Кирилло-Белозерский список (далее: К-Б) 70-х годов XV века, дающий краткую версию текста, два списка XVI века: полный — Исторического музея I (И1) и неполный Исторического музея II (И2), а также два списка XVII века — Ундольского (У) и Синодальный (С).³ Списки XVI—XVII веков образуют пространную версию. Оба верси резко отличаются друг от друга составом содержащихся в них фактов, различны также их идейная направленность и стилистические особенности. Все это дает повод за В. Ф. Ржигицу оснований говорить о существовании двух редакций «Задонщины»: Краткой и Пространной.⁴

Перед исследователями уже давно стояла задача выяснить, что из себя представляла «Задонщина» в ее первоначальном варианте. Один из первых издателей повести — И. И. Срезневский полагал, что «Задонщина» записывалась по памяти. А раз так, то, по его мнению, оба известные к тому времени списка произведения (К-Б и У) по-разному, но независимо друг от друга передают первоначальную «Задонщину».⁵

Но уже вскоре высказана была другая точка зрения. А. Смирнов, а вслед за ним Е. В. Барсов, М. Н. Сперанский, А. И. Никифоров полагали, что список К-Б лучше сохранил первоначальный текст «Задонщины», а У — более поздний вариант, основанный на К-Б.⁶

Наконец, в начале нашего века С. К. Шамбинаго сформулировал третью точку зрения: в списке К-Б до нас дошел сокращенный вариант первоначальной «Задонщины». В частности, он считал, что в К-Б отсутствует описание всей второй части битвы 1380 года, а рассказ искусственно обрывается.⁷ Эта точка зрения получила широкое распространение. Ее с незначительными коррективами приняли

¹ См.: Библиография научно-исследовательских работ по «Задонщине» (1852—1965 гг.). В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». Изд. «Наука», М.—Л., 1966 (далее: «Слово» и памятники), стр. 557—583.

² См. последнюю публикацию «Тексты Задонщины» («Слово» и памятники. стр. 535—556).

³ Известны еще небольшие отрывки «Задонщины», сохранившиеся как отдельно, так и в составе других произведений Куликовского цикла.

⁴ В. Ф. Ржигица. Слово Софония Рязанца о Куликовской битве («Задонщина»). «Ученые записки Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина», т. XLIII, 1947, стр. 9. Ср. также: Повести о Куликовской битве. Изд. АН СССР, М., 1959 (далее: Повести), стр. 19—20.

⁵ И. И. Срезневский. Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его Володимера Олдревича. «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. VI, вып. V, 1858, стр. 337—341.

⁶ А. Смирнов. О Слово о полку Игореве, вып. II. Воронеж, 1879, стр. 135—136, 170; Е. В. Барсов. Слово о полку Игореве как художественный памятник киевской дружинной Руси, т. I. М., 1887, стр. 437—439; ЦГАЛИ, ф. Сперанского, оп. 1, ед. хр. 270, л. 6—6 об. (на материалы М. Н. Сперанского наше внимание обратила М. Е. Бычкова); А. И. Никифоров. Слово о полку Игореве — былина XII века. Л., 1940, стр. 210—211, 213 и др. (рукопись докторской диссертации).

⁷ С. К. Шамбинаго. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906, стр. 86.

В. П. Адрианова-Перетц, В. Ф. Ржига, Д. С. Лихачев, а в последнее время Р. П. Дмитриева.⁸

Однако точка зрения С. К. Шамбинаго подверглась критике со стороны молодого чешского слависта Я. Фрчека, погибшего в 1942 году в застенках гестапо. Я. Фрчек показал несостоятельность ряда положений С. К. Шамбинаго, в частности того, что список К-Б является результатом «механического сокращения» первоначальной «Задонщины», ее первой частью: ведь в К-Б есть уже список погибших воевод, а памятник естественно заключается плачем вдов по погибшим мужьям. Развивая точку зрения А. Смирнова, Я. Фрчек высказал предположение, что Краткая редакция «Задонщины» (К-Б) появилась еще в конце XIV века, а Пространная сложилась на ее основе только после падения татаро-монгольского ига в 1480 году.⁹ К сожалению, всестороннего текстологического сопоставления отдельных списков «Задонщины» и их сличения со «Словом» исследователь дать не успел. Выводы Я. Фрчека приобрели особый интерес потому, что их широко использовал А. Мазон для доказательства позднего происхождения «Слова», которое имеет наибольшее число точек соприкосновения как раз с Пространной «Задонщиной».¹⁰ Правда, наличие элементов сходства «Слова» с К-Б, не объясненное А. Мазоном, говорило как будто против его построения.

Так или иначе, но необходимо было попытаться восстановить первоначальный вид «Задонщины», чтобы объяснить ее взаимоотношение со «Словом о полку Игореве». Попытки воссоздания архетипа «Задонщины» были предложены В. П. Адриановой-Перетц и В. Ф. Ржигой.¹¹ Восприняв мысль о том, что «Задонщину» записывали «с голоса» (что практически означало признание ее устного происхождения), В. П. Адрианова-Перетц и В. Ф. Ржига отказались от построения генеалогии сохранившихся списков памятника. При реконструкции первичной «Задонщины» они преимущественно руководствовались фактом наличия или отсутствия тех или иных чтений «Слова о полку Игореве» в ее списках. Так получалось, что тезис о первоначальности «Слова» по отношению к «Задонщине» предопределял реконструкцию этого последнего памятника, которая и должна являться одним из доказательств этого тезиса.

Тезис об устном происхождении «Задонщины», принятый А. И. Никифоровым, М. Н. Тихомировым, А. В. Соловьевым и А. В. Позднеевым,¹² во время дискуссии 1964 года о времени создания «Слова о полку Игореве» был одним из вопросов, вызвавших оживленный обмен мнениями. Так, С. Н. Азбелев показал, что признание устного происхождения «Задонщины» делает практически невозможным гипотезу о «Слове» как ее источнике. Нельзя представить себе, чтобы певцы «Задонщины» на протяжении нескольких сотен лет сохраняли тончайшие нюансы множества текстологических соответствий со «Словом». Известно также, что в фольклоре используются памятники письменной литературы, но заимствуются из них, как правило, сюжеты, а «фольклоризируются», в первую очередь, изобразительные средства. В «Задонщине» же обратная картина: содержание отлично от «Слова», а изобразительные средства сходны. Но такое взаимоотношение письменного и фольклорного памятника — вещь беспрецедентная.¹³

Стремясь отстоять первичность «Слова о полку Игореве» сравнительно с «Задонщиной», последние исследователи этой проблемы (Р. П. Дмитриева, О. В. Творогов) не склонны считать, что «Задонщина» «записывалась с голоса». Но раз так, то установление генеалогии ее текстов стало пасущим необходимым.

⁸ В. П. Адрианова-Перетц. Задонщина. Текст и примечания. «Труды Отдела древнерусской литературы» (далее: ТОДРЛ), т. V, 1947, стр. 194—224; В. Ф. Ржига. Слово Софония Рязанца о Куликовской битве («Задонщина»), стр. 12; Д. С. Лихачев. Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности. В кн.: Слово о полку Игореве — памятник XII века. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 43; Р. П. Дмитриева. Взаимоотношение списков «Задонщины» и текст «Слова о полку Игореве». В кн.: «Слово» и памятники, стр. 199—263.

⁹ J. Frček. Zadoštnina. V Praze, 1948, str. 251—252. На основе анализа синтаксических конструкций в списках «Задонщины» схему Фрчека обоспвал Л. Матейка (L. Matejka. Comparative Analysis of Syntactic Constructions in the Zadoštnina. «American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists», The Hague, 1963, pp. 383—403).

¹⁰ A. Mazon. Le Slovo d'Igor. Paris, 1940, pp. 17—40.

¹¹ В. П. Адрианова-Перетц. Задонщина. (Опыт реконструкции авторского текста). ТОДРЛ, т. VI, 1948, стр. 223—232; Повести, стр. 9—26.

¹² А. И. Никифоров. Слово о полку Игореве — былина XII в., стр. 81, 210—211; М. Н. Тихомиров. Вежды струны русской поэзии. «Неделя», 1963, № 33, стр. 17; А. В. Соловьев. Автор «Задонщины» и его политематические идеалы. ТОДРЛ, т. XIV, 1958, стр. 188—189; А. В. Позднеев. Стихосложение древней русской поэзии. «Scando-slavica», 1965, t. XI, p. 18.

¹³ С. Н. Азбелев любезно разрешил мне сослаться на его соображения, пока еще им не опубликованные.

В 1963 году схему соотношения списков «Задонщины» предложил Р. О. Якобсон.¹⁴ Он полагает, что списки К-Б и С образуют одну версию «Задонщины» в отличие от другой, представленной списками И1, И2 и У.

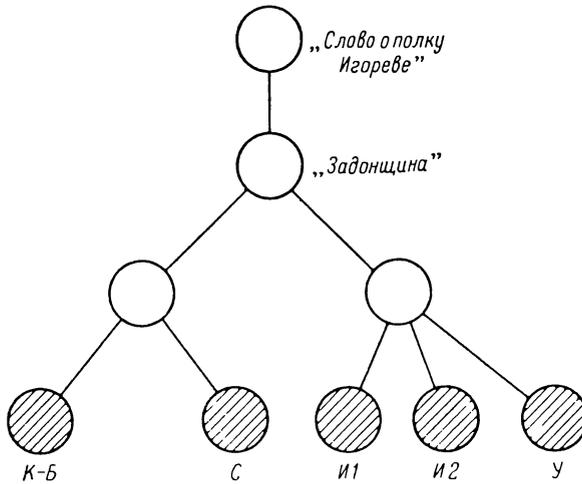


Схема Р. О. Якобсона

Эта схема крайне удобна для доказательства первичности «Слова о полку Игореве», ибо она позволяет общие чтения списков С, И1, У (иными словами — Пространной редакции) возводить к архетипу «Задонщины». А именно с Пространной редакцией «Игорева песня» имеет больше всего точек соприкосновения. Однако предложенная Р. О. Якобсоном схема не была текстологически обоснована, а только провозглашена. Поэтому при восстановлении архетипа «Задонщины» он пользовался разными списками памятника, подчас не считаясь со своей собственной генеалогией текста. Так, например, в списке И1 (в словах Осляби) читается «посеченым пасти», в У — «потятым бытъ», а в С — «посеченым быти» (в К-Б иной текст). Следовательно, по схеме Р. О. Якобсона в архетипе «Задонщины» должно было стоять «посеченым» (ибо это чтение находится в двух независимых друг от друга списках разных изводов) и «бытъ» (по тем же причинам). А между тем сам Р. О. Якобсон восстанавливает слова Осляби в своей реконструкции как «потятым пасти». Чем же тогда объясняется совпадение С с И1 (посеченым) и У (быти)? Как мы видим, при реконструкции архетипа «Задонщины» Р. О. Якобсон отказывается от своей же генеалогии текстов.

Вообще же для Р. О. Якобсона характерно вольное, если так можно выразиться, обращение с текстами. Составитель Пространной «Задонщины», например, вспоминает Софония Рязанца («я же помяну Ефония ерея резанца» — И1; «аз же помяну резанца Софония» — У; «помянем Софона резанца» — С). Это означает скорее всего ссылку на первоначальную, т. е. Краткую, «Задонщину» (ср. заголовок К-Б «Писание Софония старца рязанца»). Поскольку это противоречит представлению Р. Якобсона о К-Б как позднейшем сокращении первоначальной «Задонщины», он искусственно изменяет текст и получает «Яз же помяну, Софония Рязанец», т. е. как бы речь идет от имени «Софонии». Но так как «Рязанца», а не «Рязанец» есть в четырех списках, представляющих все версии «Задонщины», делать это исправление Р. Якобсон, согласно его же схеме, не имел никаких оснований.

Текстологическое соотношение списков, предложенное Р. Якобсоном, не может быть принято по ряду причин. Главная из них та, что общие чтения С, И1, И2 и У (т. е. Пространной редакции), которые, по схеме Р. Якобсона, должны быть архетипными, оказываются вторичными по сравнению с К-Б (т. е. Краткой редакцией). А именно они ближе всего к «Слову о полку Игореве».

Приведу лишь несколько, может быть, наиболее выразительных примеров.

Введение Краткой «Задонщины» отличается лаконизмом и ясностью: певец сначала воздаст должное вещему «гудцу» Бояну, воспевавшего древних князей, а затем приступает к восхвалению подвига князей Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича.¹⁵ В списках Пространной «Задонщины» введение крайне запутанно.

¹⁴ Sofonija's Tale of the Russian-Tatar Battle on the Kulikovo Field. Ed. by R. Jakobson and Dean S. Worth. The Hague, 1963, p. 13; R. Jakobson. Selected Writings, vol. IV. The Hague, 1966, p. 546.

¹⁵ «Восхваляя» К-Б, очевидно, описка (ср. также «поютъ» вместо «повиты»). Возможно, надо читать сходно с У, где «Аз... восхвалю», т. е. «Я же восхвалю...»

Рассказ начинается с сообщения о том, что на пиру у Микулы Васильевича князь Дмитрий услышал о походе Мамай.¹⁶ Князь обращается с призывом пойти «в полунощную страну», вспоминается «туга и печаль» Русской земли,¹⁷ затем неожиданно помещен поэтический зачин, в котором автор собирает «иными словесы» (т. е., по его мнению, отлично от Софония, составителя Краткой «Задонщины») ¹⁸ воздать похвалу русским князьям. Далее почему-то вспоминается Боян и снова говорится о желании автора «похвалить» князя Дмитрия.¹⁹ Первичность введения К-Б сравнительно с другими списками «Задонщины», на наш взгляд, очевидна.²⁰

Рассказывая в поэтической форме о выходе князей в поход, автор К-Б пишет: «Кони ржут на Москве, бубны бьют на Коломне, трубы трубят в Серпухове, звенит слава по всей земли Русьской, чудно стяжи стоять у Дону великого». Все в полном соответствии с походом на Куликово поле. Выйдя из Москвы, русские войска двигались к Коломне, а оттуда повернули к Серпухову. Слава о русском оружии гремит по всей Русской земле. Уже татарские стяги стоят на Дону, а в Новгороде, с горечью добавляет автор, все еще звонят в колокола.²¹ В списках Пространной «Задонщины» вся стройная система деформирована. Так, в С Серпухов упомянут сразу же после Москвы, а в И1 и У «слава звенит» еще до выхода войск в Коломну.

Обращаясь к собравшимся в поход князьям русским, Дмитрий Донской по К-Б называет их гнездом Ивана Калиты («гнездо есмя были едино князя великаго Ивана Данильевича»). Ольгердовичи ему как бы отвечают: «Сама есма два брата,

сега господина». В К-Б есть также механические пропуски (в разговоре Ольгердовичей) и другие дефекты списка, а не редакции. Сплошное сличение текстов и обоснование генеалогической схемы дано в моем исследовании «Слово о полку Игореве» (45 печ. листов), подготовленном к печати в ноябре 1964 года.

¹⁶ Это — мотив, известный Никоновской летописи (ПСРЛ, т. XI, СПб., 1897, стр. 51). Никоновскую летопись можно считать одним из источников и других сведений Пространной «Задонщины».

¹⁷ Если в К-Б отсчет бед, постигших Русскую землю, идет от битвы при Калке (фраза «от тоя рати» в К-Б испорчена), то в Пространной «Задонщине» добавлена и Каяла (по мотивам Ипатьевской летописи), причем получилось повторение: Русская земля после Каялы «седитъ невесела», а после Калки тоже «тугою и печалию покрывшася». Интерес к битве 1185 года появился в конце XV века (ПСРЛ, т. X, СПб., 1885, стр. 12). Раньше в летописях гибель русских богатырей в единоборстве с татарами возводилась, как и «начало всех бед» в Краткой «Задонщине», к битве на Калке, но уже в Никоновской летописи (на рубеже XVI века), как и в Пространной «Задонщине», отсчет бед ведется с поражения, понесенного от половцев в битве на Каяле (там якобы погиб богатырь Добрыня).

¹⁸ К «жалости» (К-Б) автор Пространной «Задонщины» добавляет «похвалу», беря материал из «книг» («от книг приводя. Потом же списах жалость и похвалу» — У).

¹⁹ Для того чтобы придать вводной части Пространной «Задонщины» хоть какую-то стройность, О. В. Творогов производит явную вписку текста. Он заимствует из него, кроме первой фразы, еще упоминание о Софонии («Аз же помяну... Владимира Киевскаго»). Текст «Снидимся, братия... Ярославу Володимировичю» он переставляет из середины введения в его начало, объявляя, что «все известные нам списки» «Задонщины» восходят к дефектному экземпляру, в котором «первый лист рукописи был переписан после второго листа». Отсутствие же Софония в К-Б О. В. Творогов объясняет тем, что этот (уже второй) редактор опустил упоминание о нем из-за боязни быть отождествленным «с предшествующим редактором» (О. В. Творогов. О композиции вступления к «Задонщине». В кн.: «Слово» и памятники, стр. 529, 531).

²⁰ Правда, Р. П. Дмитриева (Взаимоотношение списков..., стр. 252) считает, что в этом введении первоначальным было противопоставление Руси как «жребия Афета» татарам как «жребию Симы», т. е. в соответствии со списком У. Но почему? В списке С никаких «жребиев» нет, в И1 вводная часть вовсе отсутствует. Текст же списка К-Б вполне логичен: автор призывает пойти в жребий Афета (он в соответствии с летописной традицией назван «полунощной страной»), а оттуда взойти на Киевские горы и восхвалить Бояна. По списку У автор призывает с Киевских гор посмотреть «по всей земли Руской» и добавляет: «оттоля на восточную страну, жребий Симова». Это добавление переходит в лирическое отступление о том, какие беды принесли Русь поражения на Калке и Каяле. Таким образом, нет оснований считать текст Пространной «Задонщины» первичным по сравнению с К-Б.

²¹ По О. В. Творогову эпитет «чудно» может относиться только к русским стягам, а упоминание о «хоругви» — свидетельство того, что в К-Б речь идет о вооружении русских воинов (О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». В кн.: «Слово» и памятники, стр. 320). Однако эпитет «чудно» употребляется отнюдь не всегда с «положительным оценочным значением» (И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. III, СПб., 1903, стлб. 1550). «Адовой» могла быть и хоругвь (там же, стлб. 1388).

дети Вольярдовы, внучата Едиментовы, правнучата Сколдимеровы». В Пространной редакции реплика Ольгердовичей сохраняется, однако Дмитрий говорит уже о гнезде князя Владимира Киевского. В данном случае чтение списка К-Б первоначальное, ибо оно соответствует реплике Ольгердовичей (Калита — дед русских князей, а Ольгерд — литовских) и той конкретной обстановке, в которой жил Дмитрий Донской. Среди русских князей — участников Куликовской битвы находились многие потомки Ивана Калиты (белозерские князья). Пространная редакция свидетельствует уже о дальнейшем развитии идеи о Москве как преемнице Киевской Руси, получившей распространение в конце XV — начале XVI века.

Дмитрий Донской говорит князьям: «Досюды есмя были, брате, никуды не избыжены, ни соколу, ни ястребу, ни белу кречату, ни тому псу поганому Мамаю» (К-Б). Р. П. Дмитриева считает этот текст вторичным, ибо глагол здесь неверно согласован с дательным, а не творительным падежом. Она предпочитает список И1, У, где спорный текст читается «ни в обиди есмя были ни кречету» и т. п.²² Но как можно быть «в обиде» кречету? Текст грамматически верен, но в смысловом отношении куда менее логичен, чем в К-Б. Согласование с дательным — особенность версии «Задонщины», представленной списком К-Б. Так, в другом месте К-Б читаем: «поостриша сердца свои мужеству» (а не «мужеством», ср. И1 и др.). Это же согласование в разбираемом фрагменте могло перейти в С («не обижени... ни ястребу»), а затем в И1 и У, где составитель неудачно исправил «обижени» на «в обиде», чтобы согласовать с дополнением.

Далее списки Пространной «Задонщины» сообщают об участии новгородцев в походе против Мамая. В К-Б об этом нет ни слова. Как известно, новгородцев действительно на Куликовом поле не было.²³

В Краткой «Задонщине», предсказывая грядущую победу русских войск, диковинные звери говорят: «Земля еси Русская, как еси была доселева за царем за Соломоном, так буди и нынеча за князем великим Дмитрием Ивановичем». Перед нами фольклорная обработка темы «Русь — новый Иерусалим», известной литературе XIV—XV веков. В списках Пространной редакции фраза приобрела совсем темный смысл, ибо библейский царь Соломон превратился в захватчика и разорителя: «лисицы на костях брешут. Руская земля, то первое еси как за царем за Соломоном побывала» (У).²⁴

Если в К-Б текстом «Слова о погибели Русской земли» составитель говорил, что весть о победе русских воинов распространялась «по рожьбым землям... до Черемисы... до Устюга поганых татарь, за Дышущем морем», то в списках Пространной «Задонщины» не просто весть, а уже «слава» достигает Царьграда, Тырнова, Кафы, причем с рефреном «Русь великая одолеша Мамай на поле Куликове» (И1). Ясно, что и снимать этот рефрен и заменять Царьград «черемисой» никакой бы книжник не стал. Следовательно, К-Б дает не позднейшую обработку текста «Задонщины», а ее первоначальный вариант.

Сама Куликовская битва изображена в К-Б кратко и выразительно: «Грянуша копия харалужныя, мечи булатныя, топоры легкия, щиты московскыя, шелома немецкия, боданы бесерменскыя». Р. П. Дмитриева считает, что слово «боданы» Ефросиня осмыслил как «один из видов холодного оружия» (тогда как это рубахи из круглых колец) и включил не на место, в перечень оружия. В то же время писец списка У, по мнению Р. П. Дмитриевой, «лучше понимал это слово, обозначаящее не оружие, а боевую одежду русского воина» (ср.: «испытаем... сулиць немецких о боданы бусорманские»)²⁵ Это неверно. Гремело на поле боя не только холодное оружие, но и защитное вооружение: кольям, мечам и топорам как бы противостояли щит, шлем и кольчуга. Текст в К-Б абсолютно ясный.

В дальнейшем сходство структуры К-Б и Пространной «Задонщины» нарушается. В К-Б сначала Ослябя предсказывает гибель Пересвету и своему сыну Якову. Затем нарисована широкая картина поля боя и перечислены павшие воеводы. Произведение завершается плачем вдов по погибшим мужьям. Построение очень простое и логичное. В Пространной «Задонщине» оно нарушено. Сначала перечислены павшие герои, затем неожиданно Пересвет предсказывает гибель Ослябя, а только после этого помещены плачи вдов, которые, следовательно, оторваны от перечня павших воевод. Вторичность этой структуры более чем очевидна.

Да и в самом содержании заключительной части К-Б есть явные черты первичности по сравнению с другими списками. Так, голова Пересвета должна была пасть на «белую» ковыль, а по У и С — на «зеленую» (в И1 дефектное «землине»). Но ковыль в сентябре седеет, поэтому автор первоначальной «Задонщины» (Софо-

²² Р. П. Дмитриева. Взаимоотношение списков..., стр. 211—212.

²³ М. Н. Тихомиров. Куликовская битва 1380 года. В кн.: Повестт, стр. 357.

²⁴ М. Н. Тихомиров видит в «царе Соломоне» сына царя Баезида — Сулеймана, разорившего Болгарскую землю (Повести, стр. 375). Вряд ли, однако, автор «Задонщины» назвал бы его царем, тем более, что султаном в это время был другой сын Баезида, Мехмед I. Соломон в русской литературе XIV—XV веков именно библейский царь и никто иной.

²⁵ Р. П. Дмитриева. Взаимоотношение списков..., стр. 247.

ний Рязанец) должен был назвать ее «белой», а позднейший переписчик-северянин мог заменить странное для него определение на привычный «зеленый» цвет.

Ослябя, по К-Б, говорит Пересвету: «Уже твоей главе пасти на сырую землю, на белую ковылу — моему чаду Якову». Р. П. Дмитриева видит в этом тексте смысловую нечеткость; она считает, что «в оригинале списков К-Б и С было подробнее сказано о Якове».²⁶ Речь Осляби по К-Б совершенно логична. Составитель списка отличает Якова Ослябитина от Пересвета (ср. в списке павших воевод: «Иаков Ослебитин, Пересвет чернец»). Обоим погибшим в предсказании Осляби соответствуют два дополнения: «на сырую землю» и «на белую ковыль». Мысль в К-Б выражена излишне лапидарно («Уж твоей главе пасти на сырую землю, (а) на белую ковылу (пасти) моему чаду Якову»). Это и привело к неверному пониманию текста в С («пасти главе твоей на траву ковылу, брате чадо Якове, на зелену ковылу»). В И1 текст осмыслен правильнее («голове твоей летети на траву ковыль, а чаду моему Якову на ковыли землице лежати»; ср. У: «летети главе твоей на траву ковыль, а чаду твоему Якову лежати на зелене ковыле траве»).

Вторичный характер в И1, У и С имеет и список убитых. Его источник — Никоновская летопись,²⁷ ибо только там, в таком же списке встречается князь Федор Семенович, отсутствующий в перечне погибших воевод в Летописной повести о Мамаевом побоище и в Синодикe. Следы Никоновской летописи заметны и в плаче жен. Так, по К-Б Мария Микулина обращается к Дону со словами: «прошель еси землю Половецкую, пробилъ еси берези харалужныя, прилелей моего Микулу Васильевича». Здесь все ясно: Дон, пробивший губительные²⁸ берега, должен был прилелей погибшего Микулу.

В Пространной «Задонщине» текст дан в иной редакции: «Доне, Доне, быстрая река! Прорыла еси ты каменные горы и течиши в землю Половецкую. Прилелей моего господина Микулу Васильевича ко мне» (У). Ошибка допущена в словах «ко мне»: Дон не мог доставить тело павшего воина в Москву. Но дело даже не в этом. Гораздо интереснее то, что «берегам харалужным» здесь соответствуют «горы каменные». Первичность первого образа вряд ли может быть оспорена: в обеих редакциях «Задонщины» эпитет «харалужный» встречается еще раз («харалужные копя»), а восточное происхождение его гармонирует с образом Софония Алтыкулачевича, выходца из татар, по предположению В. Ф. Ржиги, автора памятника. «Горы каменные» не случайно попали в Пространную «Задонщину», они означают не пороги (как думал Р. О. Якобсон), а высокие каменные берега: «горы каменные» на Дону упоминает Пимен при рассказе о своем хождении 1389 года.²⁹ Из этого «Хождения», помещенного в Никоновскую летопись, «горы каменные» могли попасть в Пространную «Задонщину». Обратная замена ясного «каменные» темным «харалужные» маловероятна.

После естественного, казалось бы, конца Краткой «Задонщины» (на плачах вдов 9 сентября параллелизм К-Б с другими списками кончается) в Пространной «Задонщине» помещена вторая часть, возвращающая нас к битве 8 сентября 1380 года. Вся эта часть — вторичного происхождения. Ее мотивы близки к «Сказанию о Мамаевом побоище», первой части «Задонщины» и библейским книгам. Она содержит повторный апофеоз победе русского оружия. Замечание о том, что «земля Татарская бедамп и тугою покрывшася. Уньша бо царемъ их хотение и похвала на Рускую землю ходити» (И1), показывает позднейшее происхождение этой редакции памятника: она могла сложиться только после окончательного падения татаро-монгольского ига в 1480 году.

Можно еще обратить внимание на следующие обстоятельства: мрачный колорит, присутствующий в обеих редакциях «Задонщины», естествен в Краткой, возникшей еще в обстановке татарских набегов на Москву (сожжение Москвы Тохтамышем в 1382 году), и непонятен в Пространной, прославляющей подвиги русских воинов.

Итак, схема Р. О. Якобсона не может быть принята уже потому, что список К-Б дает более раннюю редакцию текста «Задонщины», чем И1, И2, У и С.

В настоящей статье мы отметили лишь некоторые черты первоначальности К-Б сравнительно с И1 и сходными списками Пространной «Задонщины». Полное сопоставление списков обеих редакций приводит к выводу, что Пространная «Задонщина» появилась в результате расширения текста Краткой за счет использования мотивов «Сказания о Мамаевом побоище», Никоновской и Ипатьевской летописей, псалмов, а также стилистической и идеологической переработки текста. Ни одно чтение списков Пространной «Задонщины» (за исключением нескольких явных опусков и механических пропусков в К-Б) не может быть признано первоначальным сравнительно с чтениями Краткой редакции.

²⁶ Там же, стр. 213.

²⁷ ПСРЛ, т. XI, стр. 65.

²⁸ В. Ф. Ржига. Восток в «Слове о полку Игореве». В кн.: Слово о полку Игореве. Сборник статей. М., 1947, стр. 178—183. Перевод слова «харалужный» как «черный» или «крепкий» не противоречит нашему толкованию плача.

²⁹ ПСРЛ, т. XI, стр. 96.

Стремясь подкрепить тезис Р. О. Якобсона о появлении списка К-Б в результате обработки Ефросином текста первоначальной «Задонщины» (близкой к Пространной редакции), Р. П. Дмитриева обратилась к изучению приемов редакторской правки Ефросином других древнерусских памятников. Однако результаты ее наблюдений оказались совершенно недостаточны для подтверждения этого вывода. Методически неверно уже то, что Р. П. Дмитриева изучает не всю творческую лабораторию Ефросина, а только те приемы, которые соответствуют ее представлению о характере работы этого книжника над К-Б. Она даже не ставит вопроса о том, был ли Ефросин только переписчиком (как она полагает), или он мог быть и автором тех или иных текстов. Далее, она утверждает, что «наиболее яркой и основной особенностью редакторской работы Ефросина является его стремление к краткости и лаконизму».³⁰

Этот вывод основывается только на отдельных примерах, число которых не велико, тогда как количество переписанных Ефросином произведений весьма значительно. Из факта сокращения Ефросином некоторых текстов никак нельзя сделать вывод, что он сократил и текст «Задонщины». Но дело даже не в этом. Само явление сокращения источников при их переписке ни в коей мере не является индивидуальной особенностью творчества Ефросина, а представляет собою типичную черту работы многих древнерусских книжников. Это, впрочем, вскользь отмечает и Р. П. Дмитриева. Ведь во всех списках «Сказания об Индийском царстве» есть сокращения, поэтому нельзя выяснить (за исключением, быть может, одного случая), что сделано самим Ефросином в переписанном им тексте. То же самое относится и к большинству купюр в «Хождении игумена Даниила».

Р. П. Дмитриева устанавливает три типа сокращений, которые она связывает с творческим почерком Ефросина: а) простое изъятие текста; б) сокращение с добавлением переходной фразы; в) сокращение с библиографической ссылкой (на тексты священного писания и т. п.). Два первых из этих видов свойственны, по ее мнению, и работе Ефросина над «Задонщиной». Но все они хорошо известны в древнерусской письменности и не составляют прерогативы Ефросина. Не является новшеством Ефросина и соединение двух источников воедино. Гораздо важнее для нас другое обстоятельство. Если считать, что Ефросин обработал первоначальный текст «Задонщины», то он выступает перед нами человеком с совершенно определенными приемами работы. Так, он вводит в свой текст целые новые эпизоды и факты (плачи боярских жен, завершающие К-Б, текст Пересвета, ехавшего на «вещем сивце», имена погибших воевод и многое другое). Ничего хоть сколько-нибудь аналогичного Р. П. Дмитриевой в работе Ефросина над другими памятниками установить не удалось. Она ссылается на фразу Ефросинова списка «Истории Иудейской войны» «с великаго же глады иудеи ядяху скотьскыи гнои», которой нет в других текстах этого памятника. Но слова «скотьский гной» есть в источнике Ефросина. Другой текст из «Хождения игумена Даниила» — «Христа привели к Пилату жидове судити, идеже Пилат рече умы пред народом» — также имеет соответствие в оригинале: «приведоша Христа къ Пилату, и ту рече свои умывъ Пилатъ».³¹ Слова «идеже мылася Уршина жена» имеют параллель в тексте разговора Александра Македонского с рахманами, помещенный Ефросином в его текст «Александрии». Но исследователь этого памятника Я. С. Лурье не рискнул связать текст о рахманах с деятельностью самого Ефросина, а сходный мотив есть и у Низами.³²

Итак, Р. П. Дмитриевой не удалось доказать, что при переписке произведений древнерусской литературы Ефросин «вольно» обращался с текстами, расширял и изменял их по собственному произволу. А это лишает убедительности ее тезис о сходстве приемов работы Ефросина над «Задонщиной» с принципами его подхода к другим памятникам. Характер проблематичной обработки «Задонщины» книжником Кирилло-Белозерского монастыря не имеет ничего общего с теми обычными средствами сокращения текста, которые встречаются в других ефросиновых списках литературных произведений. Другое дело, если видеть в Ефросине автора, который записал устный текст и создал на основе его самостоятельное произведение.

Схема Р. О. Якобсона рушится и по другим причинам. Еще в 1963 году автором настоящей статьи было установлено, что в «Сказании о Мамаевом побоище» обнаруживаются следы влияния Краткой редакции «Задонщины» (К-Б), т. е. чтения, отличные от общих чтений И1, С, У, хотя по Р. О. Якобсону, в протографе «Задонщины» должны быть именно эти общие чтения. Как же объяснить эту близ-

³⁰ Р. П. Дмитриева. Приемы редакторской правки книгописца Ефросина. (К вопросу об индивидуальных чертах Кирилло-Белозерского списка «Задонщины»). В кн.: «Слово» и памятники, стр. 290.

³¹ Там же, стр. 287—289.

³² Я. С. Лурье. Средневековый роман об Александре Македонском в русской литературе XV в. В кн.: Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века. Изд. «Наука», М.—Л., 1965, стр. 165—166.

зость «Сказания» и К-Б? Тем, что на «Сказание» влияли две версии «Задонщины»? Случай невероятный. Тем, что автор К-Б правил свой текст по «Сказанию»? Не менее странный вариант, ибо общие чтения «Сказания» и К-Б («славный», а не «каменный» град Москва, «уже стук стучит» и др.) первичного происхождения, а чтения И1 и др. — вторичного.³³ Общие чтения К-Б и «Сказания» практически делают неприемлемой схему взаимоотношения списков «Задонщины», предложенную Р. О. Якобсоном. По тем же причинам эта схема не может ответить на вопрос, почему в Печатной группе «Сказания», наряду с чертами Пространной «Задонщины», можно обнаружить следы Краткой (например, в сходном контексте «лепо», близкое к «нелепо» К-Б, в отличие от «добре» С и «добро бы» И1). Ведь по условиям схемы реконструкции Якобсона общие чтения С, И1 должны быть в архетипе «Задонщины» и именно они должны влиять на «Сказание».

Вопрос о соотношении «Сказания» и «Задонщины» в настоящее время не может считаться окончательно решенным. Недавно на него пытались дать ответ Л. А. Дмитриев и Н. С. Демкова.³⁴ Обнаружив следы близости между «Сказанием» и отдельными списками «Задонщины», Л. А. Дмитриев делает два вывода: а) «Задонщина» — источник «Сказания»; б) в первоначальной «Задонщине» были все те черты, которые можно обнаружить в общих местах между «Сказанием» и дошедшими до нас списками «Задонщины». Оба эти вывода автором не доказываются, а иллюстрируются многочисленными примерами. В самом деле, из факта близости «Сказания» и списков «Задонщины» можно сделать различные выводы, в частности и тот, что «Сказание» само было источником «Задонщины». Однако этот вариант Л. А. Дмитриев даже не рассматривает, что лишает его первый вывод убедительности. Не более убедителен и второй вывод, ибо и он базируется не на генеалогии текстов «Задонщины» (что совершенно необходимо), а на факте отражения разных чтений «Задонщины» в «Сказании». Таким образом, одно априорное утверждение покоится на другом.

Положение Н. С. Демковой было еще более сложным, ибо история текстов Распространенной редакции «Сказания» не изучена вовсе. Не прибавляет многого к этому и сама Н. С. Демкова. Она выявила ряд списков «Сказания», в которых есть следы влияния «Задонщины». Но вместо того чтобы установить генеалогическое соотношение текстов Распространенной редакции «Сказания», автор ограничивается констатацией близости отдельных мест выявленных ею списков «Сказания» к спискам «Задонщины» и самыми общими замечаниями о том, что они могли восходить к первоначальной редакции этого памятника или к ее поздним вариантам.

Все это делает необходимым пересмотреть заново проблему соотношения «Сказания» и «Задонщины».

Наконец, схема Р. О. Якобсона не может объяснить и его тезис о том, что «Слово о полку Игореве» было источником «Задонщины». В самом деле, если «Слово» было использовано составителем поэтической повести о Куликовской битве, то совершенно естественно, что общие места этих памятников должны были находиться в архетипе «Задонщины». Этого, однако, в целом ряде случаев нет: «Слово» совпадает с индивидуальными чтениями отдельных списков Пространной редакции, которые не могут быть возведены к ее протографу. Так, в С читаем: «ястреби и соколы и белоозерстии кречеты отрывахуся от златых и колодицы пс камени грады Москвы, обриваху шевковыя опутины». В К-Б, У, И1, И2 никаких «опутин» нет. Этот образ есть только в «Слове» («опустоша въ путины желъзны»). Но он, как правильно пишет В. П. Адрианова-Перетц, употреблен в С «не к месту: русские князья-соколы едут из родной земли, и „обрывать опутины“ им не было надобности».³⁵ Следовательно, во всяком случае, «опутины» списка С вторичны по сравнению с основным текстом «Задонщины», говорящим о ястребах и соколах. При этом слово «обрываху» варьирует предшествующее «отрывахуся», т. е. могло быть создано на его основе. «Игорева песнь», таким образом, связана не с первоначальным, а с индивидуальным вариантом одного из списков «Задонщины». Это, по схеме Р. О. Якобсона, возможно только при случайном пропуске «опутин» как в К-Б, так и в архетипе извода Ундольского. Понимая сомнительность аргумента «от случайного совпадения», Р. О. Якобсон не поместил «опутин» в свою реконструкцию архетипа «Задонщины». Если же считать, что автор «Слова» использовал один из списков «Задонщины» Синодального извода, то все становится на свои места.

³³ Ср. также: Л. А. Дмитриев. Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений. В кн.: «Слово» и памятники, стр. 394.

³⁴ Л. А. Дмитриев. Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений, стр. 385—439; Н. С. Демкова. Заимствования из «Задонщины» в текстах Распространенной редакции «Сказания о Мамаевом побоище». В кн.: «Слово» и памятники, стр. 440—476.

³⁵ В. П. Адрианова-Перетц. Фразеология и лексика «Слова о полку Игореве». В кн.: «Слово» и памятники, стр. 82—83.

В списке У говорится, что «не в обиде есмь были по рождению» (последних двух слов нет в других списках). Сходный текст есть только в «Слове»: «не было нѣ обидѣ порождено». По У получается, что русские князья «по рождению» не были обижены татарами. Это более чем странно, ибо над Русью к 1380 году татары властвовали уже около 150 лет. Отсутствие слов «по рождению» в И1, С (а также в К-Б) показывает, что их не было в архетипе «Задонщины». Здесь опять «Слово» совпадает с индивидуальным чтением списка У Пространной «Задонщины».³⁶

В «Слове» говорится: «лучше жъ бы потяту быти»; сходно в У: «лутчи бы нам потятым быть». В И1 и С употреблен глагол «посеченым» (в К-Б: «лучши бы есмь сами на свои мечи наверглися»).³⁷ Слово «посечены» употреблено в «Задонщине» и в другом случае, не только в И1, но и в С. Следовательно, именно оно и по генеалогическим и по текстологическим основаниям должно быть в архетипе «Задонщины», а не «потятым». Поэтому когда Р. О. Якобсон вставляет в свою реконструкцию слова «порожени» и «потяты», то он делает это в полном противоречии с собственной генеалогической схемой списков «Задонщины», а когда он опускает в архетипе «опутины», то он лишается возможности объяснить близость списка С к «Слову о полку Игореве».

Итак, схема Р. О. Якобсона не может быть принята потому, что она не объясняет ни наличия первоначальных чтений в К-Б (по сравнению с общими, но позднейшими чтениями И1, С, У), ни близости К-Б к «Сказанию о Мамаевом побоище» и к «Задонщине», помещенной в Печатной группе «Сказания», ни черт близости «Слова» к индивидуальным чтениям У и С.

Схему Р. О. Якобсона в последнее время пытаются модифицировать Р. П. Дмитриева и О. В. Творогов.³⁸

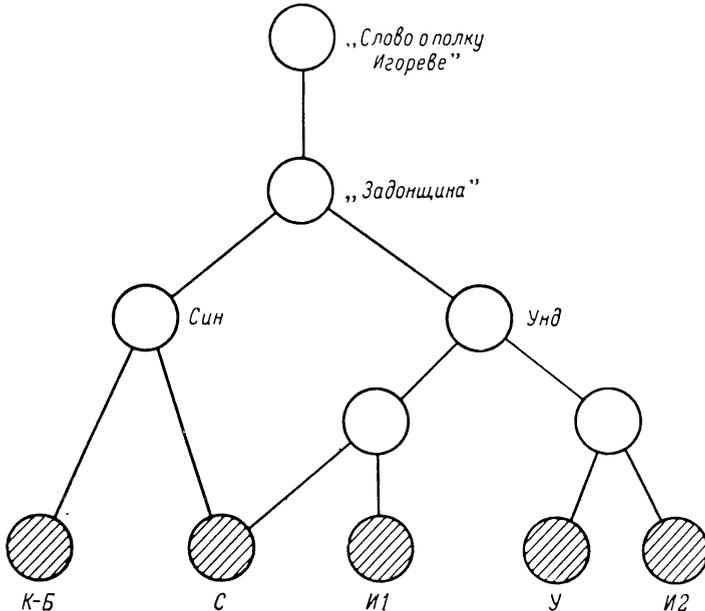


Схема Р. П. Дмитриевой

Отмечая текстологическую близость списков К-Б и С, с одной стороны, и И1 и У — с другой, Р. П. Дмитриева (как и Р. О. Якобсон) объявляет первую пару списков принадлежащими к одному (Синодальному) изводу, а вторую — к другому (Ундольского). Но, как известно, сходство С с И1 и У неизмеримо больше, чем с К-Б: если в первом случае совпадают и композиция текста, и лексика, и стиль, и содержание, то во втором можно говорить только об отдельных словах и небольших оборотах. Поэтому сначала должен быть рассмотрен вопрос, не представляет ли

³⁶ Текстологическое сопоставление «Слова о полку Игореве» с дошедшими до нас текстами «Задонщины» привело нас к выводу, что автор «Игоревой песни» мог пользоваться списком Синодального извода, правленным по списку, близкому к У.

³⁷ Текст восходит к «Истории Иудейской войны», переписывавшейся составителем К-Б Ефросином, где Елеазар призывает заколоться мечами (Н. А. Мещерский. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 462—463).

³⁸ См.: «Слово» и памятники, стр. 199—263; стр. 292—343.

К-Б первоначальную письменную (Краткую) редакцию памятника, а черты его сходства с С не объясняются ли тем, что этот последний список в ряде случаев лучше сохранил черты архетипа новой (Пространной) редакции, чем И1 и У. Этого, однако, Р. П. Дмитриевой не сделано.

Прокламиравав, а не доказав, что Синодальный (К-Б и С) извод и извод Ундольского восходят к архетипу «Задонщины», Р. П. Дмитриева объявляет одну группу индивидуальных чтений К-Б вторичной на том основании, что она отсутствует в списках С, И1, У (вторичным она считает и факт отсутствия в К-Б второй части Пространной «Задонщины».³⁹ Другую группу индивидуальных чтений К-Б она возводит к архетипу «Задонщины». Чтобы обосновать это, она допускает вторичное влияние на список С извода Ундольского (по списку, близкому к И1), предполагая, следовательно, что некоторые общие чтения С со списком И1 появились в результате позднейшей замены архетипных чтений К-Б. Таких чтений она приводит три: «посеченным» (в отличие от «потятым» — У), «в Семъвъ» (И1) и «всем» (С) (в отличие от «Симов» — У), также «от сих» (И1) и «реце отчин» (С) (в отличие от «Оке реке» — У). Но первый случай, как мы писали, — индивидуальная правка списка У, во втором и третьем У передает архетип Пространной «Задонщины», а совпадения С с И1 просто нет («Семъвъ» и «Симов» совпадают).⁴⁰

Р. П. Дмитриева ссылается также на три пропуска в С и И1 (в отличие от У и К-Б): речь идет об отсутствии слов «то ти были не орли слетешася» (совпадение И1 и С в этом случае может быть объяснено тем, что составители отдельных списков Пространной «Задонщины» часто сокращали тройную формулу отрицательного параллелизма; в И1 и У, например, опущена фраза «то ти, брате, не стукъ стучить, ни гром гремит» С и К-Б), «правнуки есми Сколомендовы» и «борзо» (во фразе «за Дон борзо перелетели»). Но совпадения в пропусках могут носить случайный или стилистический характер. Довод же Р. П. Дмитриевой, что в отдельных чтениях С ближе к И1, чем У, может свидетельствовать только о том, что С и И1 лучше передают архетип Пространной «Задонщины» (в отличие от У). Близость же первой части заголовка С («Сказание Сафона Резанца») к К-Б («Писание Софония старца Рязанца»), а второй («Похвала великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его Володимеру Ондреевичу») к И1 («Похвала великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимире Ондреевичу») может быть объяснена тем, что С лучше сохранил следы архетипа Пространной «Задонщины», чем И1. Итак, тезис об особой близости списка С и И1 (в отличие от К-Б и У) остается недоказанным. Слабость своей аргументации чувствует и Р. П. Дмитриева, когда она пишет, что «всех этих примеров может быть и мало для доказательства вторичного обращения списка С к изводу Унд.»⁴¹

Подсобное значение в схеме Р. П. Дмитриевой имеет обращение к тексту «Задонщины», сохранившемуся в Печатной группе «Сказания». Исходя из факта близости нескольких чтений Печатной группы к спискам К-Б и С (наряду с И1 и У), она делает вывод, что составитель «Задонщины», сохранившийся в извлечениях в этой группе, пользовался Синодальным изводом. А дальше все та же методика: раз в Печатной группе есть ответная речь Владимира Андреевича (Дмитрия Донского), то она была и в Синодальном изводе, а следовательно, ее отсутствие в К-Б — вторично.⁴² И здесь недоказанным тезисом, что К-Б и С составляли один извод, автор пользуется как средством решить другие текстологические трудности. Возможность использования составителем Печатной группы Пространной «Задонщины», лучше сохранившей черты архетипа этой редакции (а отсюда — известная близость к К-Б), Р. П. Дмитриева вовсе не учитывает.

Заметим и внутреннюю противоречивость апелляции Р. П. Дмитриевой к С, И1 и У для доказательства первичности их общих чтений в отличие от К-Б. Ведь автор сама же считает, что список С подвергся вторичному влиянию текста, близкого к И1. Поэтому, принимая схему Р. П. Дмитриевой, вполне можно все чтения К-Б, отличные от остальных списков «Задонщины», возводить к архетипу извода Син, а отсюда к протографу «Задонщины». Следовательно, ссылаться на общность С, с одной стороны, и И1 и У, с другой, как на доказательство первичности чтений Пространной «Задонщины» в отличие от Краткой Р. П. Дмитриева не имеет никакого права, ибо она сама же допустила вторичное влияние на С текста, близкого к И1, а отсюда первоначальными могли быть чтения К-Б, т. е., по нашей терминологии, Краткой «Задонщины».

Свою схему соотношения списков «Задонщины» Р. П. Дмитриева предлагает не саму по себе, а как средство объяснения черт «Слова», близких к К-Б, которые

³⁹ Р. П. Дмитриева. Взаимоотношение списков..., стр. 249—250.

⁴⁰ Справедливую критику построения Р. П. Дмитриевой см. также: О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 307.

⁴¹ Р. П. Дмитриева. Взаимоотношение списков..., стр. 233.

⁴² Там же, стр. 255—256. Ср. также: установление последовательности эпизодов в «Задонщине», решение вопроса об участии новгородцев в Куликовской битве и состава земель, по которым разнеслась весть о битве (там же, стр. 257, 259, 261).

якобы в С исчезли при вторичном влиянии извода У. Этих чтений четыре: «взды под синие облакы», «с моря», «синие молнии», «пробиль еси берези». В последних двух случаях, однако, речь идет о совпадении вследствие однозначных палеографических описок.⁴³ Второе чтение («с моря») может иметь другое объяснение.⁴⁴ А в первом какое-то недоразумение. Ведь в «Слове» дважды говорится, что Боян подобно соколу или соловью летал «подь облакы». Эти тексты надо сравнивать не с К-Б, где «под синие облакы», а с другим местом Пространной «Задонщины»: «птица их крилати под облакы летають» (И1, сходно в У и С).⁴⁵

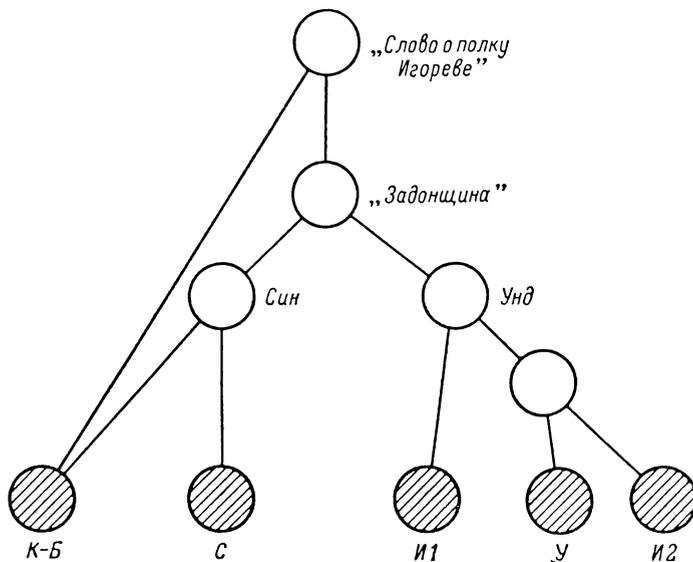


Схема О. В. Творогова

Принимая в целом схему Р. О. Jakobsona и Р. П. Дмитриевой, О. В. Творогов считает, что общие чтения «Слова» и списков С и К-Б, с одной стороны, а также И1 и У — с другой, восходят к архетипу «Задонщины». Трудность и для него составляют индивидуальные чтения К-Б, близкие к «Слову». О. В. Творогов имеет дело с уже отмечавшимися ранее соответствиями К-Б и «Слова» (он насчитывает их 11).⁴⁶ Отрицая тезис Р. П. Дмитриевой о влиянии извода У «Задонщины» на извод С, О. В. Творогов предполагает, что три чтения, общих для К-Б и «Слова», возникли в результате использования составителем списка К-Б (или его протографа) непосредственно «Слова о полку Игореве». Это обращение «брате» (в фразе о «борзих комоных»), отсутствующее в С, И1 и У; винительный падеж «свою рѣчь» («Слово») или «свои речи» (К-Б) в отличие от творительного «своею речью»; «пробиль» (К-Б и «Слово») вместо «прорыл» (И1 и сходные).⁴⁷ Вот и все доводы О. В. Творогова в пользу гипотезы о вторичном влиянии «Слова» на К-Б.

⁴³ Надстрочная буква «л» в К-Б пропускается и в слове «хараужные», аналогичные пропуски есть и в «Слове» («Вста близ» и др.). Следовательно, «синие» могло быть простой опиской (вместо «синие») (наблюдение сделано нами еще в 1963 году и использовано в статье О. В. Творогова без упоминания фамилии автора; см.: О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 308). В. П. Адрианова-Перетц заметила, что «определение синии в памятниках не соединяется со словом „молния“» (В. П. Адрианова-Перетц. Фразеология и лексика «Слова о полку Игореве», стр. 54). Надстрочные буквы «б» и «р» в скорописи почти не различимы («пробиль» — «прорыл»).

⁴⁴ В списке С текста со словами «с моря» просто нет (в И1 и У «по морю»), так что в архетипе Пространной «Задонщины» могло стоять и «с моря».

⁴⁵ О. В. Творогов считает совпадение в словах «под синие облакы» случайным (О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 308).

⁴⁶ Он добавил к ним лишь одно. «По рожнымъ землямъ» К-Б (эти слова, на наш взгляд, следует переводить «по разным», а не «пустым, не заселенным» землям) он сопоставляет со «Словом» («велитъ послушати земли незнаемѣ»), а «вводы» того же списка считает деформацией «дива» (О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 302—303). Но текст «Слова» совпадает не с К-Б, а с И1 («велитъ послушати грознымъ землямъ») и с С («по всемъ землямъ рускимъ, велитъ грозна послушати»).

⁴⁷ О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина» стр. 305—306.

Даже если принять эти примеры (хотя о последнем случае, объясняющемся чисто палеографически, мы уже говорили), факт влияния «Слова» на К-Б будет более чем сомнителен. Составитель списка произведения, написанного на другую тему, не мог выискивать в двух-трех случаях сходные отрывки фраз (помещенные в разных контекстах) и ограничиться всего лишь заменой падежа, двух букв в слове «пробил» и вставкой обращения «брате». Факты двойного обращения к одному и тому же произведению нам известны, но чтобы в результате этого обращения все дело свелось к двум-трем мельчайшим поправкам, в этом позволительно сомневаться.

Слабость текстологических построений Р. П. Дмитриевой и О. В. Творогова во многом объясняется методикой их работы. Они пользуются приемами «микротекстологии», т. е. сопоставляют не целостные фрагменты списков на всем протяжении текста памятников, а текстологическое движение и расхождение в отдельных словах и небольших отрывках. Но подобная лексическая текстология как один из приемов изучения памятника имеет смысл только при условии соблюдения закона больших чисел, т. е. при множественности этих примеров, или при их необратимости (ибо в противном случае мы можем столкнуться с многозначностью объяснений конкретных случаев). А этого неперемennого условия авторы не соблюдают: число имеющихся в их распоряжении сопоставлений незначительно, да к тому же все эти случаи обратимы.

Наконец, еще одно обстоятельство. До 1963 года исследователи «Задонщины» охотно составляли реконструкции архетипа памятника, хотя отказывались от построения генеалогических схем движения текста. Теперь картина изменилась. Для Р. П. Дмитриевой и О. В. Творогова ясно, что «Задонщина» — памятник письменной литературы. Поэтому они предлагают читателю свои схемы истории ее текста. Однако, противореча друг другу, оба автора оказались не в состоянии реконструировать архетип «Задонщины». Тем самым текстологические построения лишились решающего момента — их проверки во всех звеньях текста памятника. Это, на мой взгляд, также является наглядным свидетельством умозрительности текстологии «Задонщины», предложенной Р. П. Дмитриевой и О. В. Твороговым.

Таким образом, ни схема Р. О. Якобсона, ни ее модификации не способны объяснить генеалогию списков «Задонщины» и отношение их к «Слову о полку Игореве».

В новейшей литературе существует попытка доказать, что «Слово о полку Игореве» является источником «Задонщины», исходя из мысли об устном происхождении поэтической песни о Мамаевом побоище. Она сделана А. В. Соловьевым. В противовес Р. П. Дмитриевой и О. В. Творогову А. В. Соловьев стремится усилить черты близости «Слова» к К-Б. Он находит около 50 «схождений» между этими памятниками.⁴⁸

С самого же начала обратим внимание на методическое несовершенство его приемов работы. Автор сравнивает отдельные чтения, часто вне их окружения, без какой-либо попытки представить историю текста «Задонщины», т. е. связать конкретные наблюдения с генеалогической схемой списков этого памятника.

Выводы А. В. Соловьева в своем большинстве резко противоречат существующим в настоящее время попыткам реконструировать первоначальный текст «Задонщины» (В. П. Адриановой-Перетц, В. Ф. Ржиги, Р. О. Якобсона), ибо автор часто считает первоначальными те чтения К-Б и «Слова», которым противостоят общие чтения И1, У и С.⁴⁹

В работе А. В. Соловьева значительное число прямых ошибок, когда автор считает, что в списках Пространной «Задонщины» нет чтений, общих для «Слова» и К-Б. На самом деле такие чтения там есть.⁵⁰ Другая группа примеров особой близости «Слова» и К-Б ошибочна уже потому, что А. В. Соловьев берет примеры из несходных контекстов, тогда как обращение к сходным контекстам позволяет установить близость «Слова» к спискам Пространной редакции.⁵¹ Иногда А. В. Соловьев использует формы изолированно взятых местоимений («тоя», «той» в случаях №№ 2, 6), отдельных слов (№№ 40, 41), церковнославянизмы (№№ 4, 17), случайные совпадения в падежах (№ 31). Немало у него примеров просто несопоставимых (№№ 3, 16, 34, 52). В ряде случаев особая близость К-Б к «Слову» по сравнению с другими списками «Задонщины» не доказана (№№ 7, 9, 31, 40, 41, 48, 50).

Один случай, известный в литературе и ранее (№ 47), заслуживает особого внимания: это «зогзица» К-Б, которой соответствует «зегзица» «Слова», отсутствующая

⁴⁸ А. В. Соловьев. Кирилло-Белозерский список «Задонщины» и «Слово о полку Игореве». В кн.: Культура древней Руси. Изд. «Наука», М., 1966, стр. 257—262. См. также: «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics», vol. IX, The Hague, 1965, pp. 97—105. Далее мы будем ссылаться на статью А. В. Соловьева 1965 года, где приведено 52 случая близости К-Б и «Слова».

⁴⁹ Случаи под №№ 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 30, 31, 34, 46, 48, 50, 52 упомянутые исследователи не считают архетипными.

⁵⁰ Случаи под №№ 4, 5, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 30, 36, 44, 45.

⁵¹ Случаи под №№ 1, 8, 10, 12, 14, 15, 22, 33, 37, 39, 43, 46.

щая в списках Пространной редакции «Задонщины». По мнению А. В. Соловьева, «зюзица» в «Задонщину» попала непосредственно из «Слова о полку Игореве». Но в данном случае мы имеем дело с совпадением лексическим, а не текстологическим.⁵² Приведем соответствующие фрагменты.

К-Б

И1

«Слово о полку
Игореве»

Уже, брате, пастуси
не кличють, ни трубы
не трубять, толко часто
ворони грають, зюзици
кокують, на трупы па-
даючи.

В то время по Резан-
ской земле около Дону ни
пастуси кличут, по одне
вороне грають, трупу ради
человечьскаго.

Тогда по Руской
земли рѣтко ратаевѣ ки-
кахуть, нѣ часто врани
граяхуть, трушиа себѣ
дѣляче.

Из этого сопоставления видно, что текст «Слова» не имеет никаких точек соприкосновения с К-Б, которые не содержались бы в более близком варианте в Пространной редакции «Задонщины». Отсюда вполне допустимо предположить, что текстологической связи между «Словом» и К-Б в данном случае нет. «Зюзица» же появляется в тексте «Слова», не имеющем прямого отношения к «Задонщине». Источником, давшим этот термин в обоих памятниках, мог быть сам живой язык. И действительно, этот термин был довольно распространенным в областных диалектах. Так, Н. В. Шарлемань сообщает, что «зюзицу» (пигалицу) знают на Десне, называя «зюзицкой», «зюзицкой». О пигалице на Украине говорят, что она «кипкает», т. е. «кычет» (так в «Слове»). Еще А. Н. Майков писал, что в живом народном языке слово «зюзица» «и теперь еще употребляется... Многие из Вологодской губернии удостоверяли меня, что зюзицею там называют черных ласточек, стрижей».⁵³ «Зюзицу» находим также в позднем (XVII век) списке «Слова Даниила Заточника».⁵⁴ Кукушку поляки называют «gżegzółka». По предположению Л. А. Булаховского, это слово пришло к нам из области западнославянских языков.⁵⁵ С. И. Котков приводит сведения из челобитной рязанской вдовы Орины Зюзицкой, сблжаая эту фамилию с «зюзицей».⁵⁶ По материалам картотеки областного словаря (Ленинградское отделение Института русского языка АН СССР) «зюзицей» называли иволгу в Курской области. Это слово, таким образом, встречается и на Украине и в Вологде, где жил Ефросин, составивший список К-Б «Задонщины».

Но допустим (на мгновение), что А. В. Соловьев во всем прав и список К-Б более близок к «Слову», чем все остальные. Тогда читатель вправе спросить, как это можно объяснить? Если считать Пространную «Задонщину» первичной, то тогда придется признать, что «Слово» влияло дважды: и на этот памятник и на его краткую версию. Если первоначально Краткая редакция, а Пространная вторична, то также без двойного влияния «Слова» не обойтись (в Пространной «Задонщине» есть места, близкие к «Слову», которых нет в Краткой). Все это маловероятно.

Кроме мнимых, есть несколько (до десяти) действительных совпадений К-Б и «Слова». Они дают, как правило, первоначальные чтения, им противостоят индивидуальные, испорченные варианты в И1, У и С, причем ни в одном существенном случае⁵⁷ совпадающему тексту «Слова» и К-Б не противостоят общее чтение С и И1 (или У). Это делает возможным объяснение близости К-Б к «Слову» тем, что существовал список «Задонщины» Синодального извода (правленный по списку, близкому к У), который содержал некоторые архетипные чтения памятника, отсутствующие в других списках Пространной «Задонщины».

Так, например, в сходном контексте имени «Боян» К-Б и «Слова» соответствует «Бюон» И1, «боярин» У и «бо деи» С. Наличие в трех последних списках общей основы «бо» показывает, что в протографе Пространной «Задонщины» (и в списке, которым мог пользоваться автор «Слова») скорее всего читалось «Боян». Ведь и чтение «Бюон» произошло из обычной палеографической ошибки (в скорописи «ю» близко к «я»). Эта гипотеза возможна только потому, что в трех списках Пространной «Задонщины» находятся разные чтения. Если б, скажем, в И1 и

⁵² Этот вывод, высказанный нами еще в 1963 году, повторил без ссылки на источник О. В. Творогов (О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 303).

⁵³ А. Н. Майков, Полное собрание сочинений, т. IV, СПб., 1914, стр. 123.

⁵⁴ Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. Изд. АН СССР, Л., 1932, стр. 107.

⁵⁵ Л. А. Булаховский. Общеславянские названия птиц. «Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», 1948, т. VII, вып. 2, стр. 108.

⁵⁶ С. И. Котков. Слово о полку Игореве. (Заметки к тексту). Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 28.

⁵⁷ За исключением «зюзицы», «синий», «прорыл», о которых мы писали выше.

С было общее чтение («Боян» или просто «бо»), то именно оно и должно было стоять в протографе Пространной «Задонщины», а не «Боян».

Или вот фраза «конец коня вскармлены» К-Б и «Слова». Ее просто нет в И1 и У, зато в С есть близкое, хотя и деформированное «кочаны коней вскармлены».

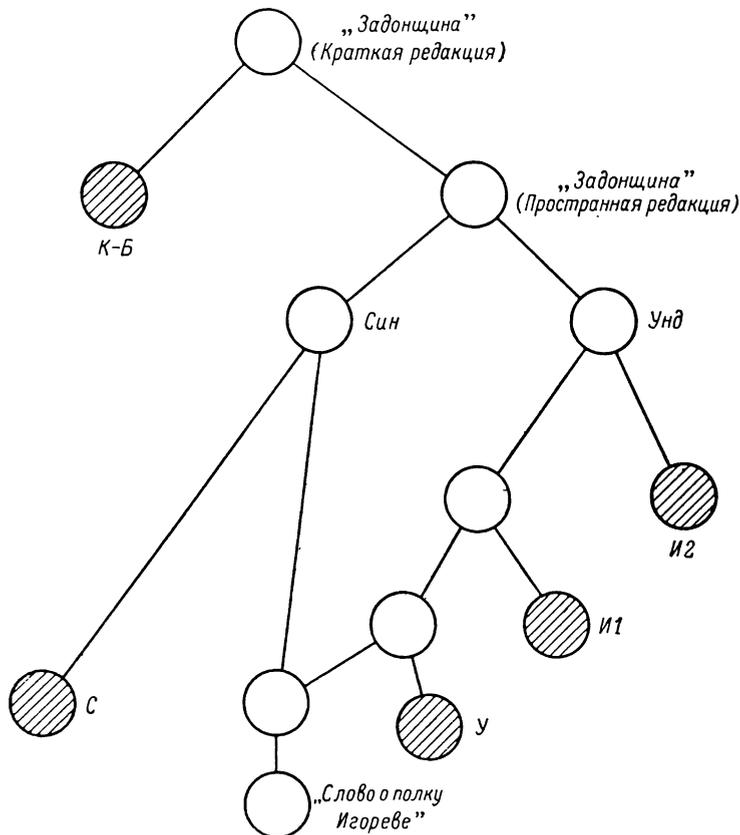


Схема автора

Следовательно, в других списках Синодального извода могло находиться чтение, близкое к К-Б и «Слову». Сходно объясняется, на наш взгляд, и близость фразы «испием, брате, шеломомь своимь воды быстрого Дону» к «Слову» («любо испиати шеломомь Дону»), ибо в У текста нет, в И1 испорченное («кзобьем шеломы мечи»), а в С близкое к К-Б («посмотрим быстрого Дону, сопием шеломом воды»).

Создание научной текстологии «Задонщины» совершенно необходимо не только для изучения истории этого памятника и его отношения к «Слову о полку Игореве», но и для установления других взаимосвязей этих памятников. Речь идет, в первую очередь, о стилистике и языковых особенностях этих произведений.

Текстология «Задонщины» и поэтика подражания

Недавно Д. С. Лихачев попытался доказать вторичность «Задонщины» по сравнению со «Словом», исходя из особенностей поэтики подражания.⁵⁸

Д. С. Лихачев спрашивает читателя: «... может ли „Слово“ быть подражанием „Задонщине“, которая несравненно слабее его? Ведь подражать естественно лишь выдающимся произведениям...»⁵⁹ Но почему же? Ведь в истории литературы хорошо известны более совершенные произведения, исполненные как подражание (или стилизация) художественно неполноценным, но более древним по времени создания. Дело, конечно, не в сравнительной оценке художественных достоинств «Слова о полку Игореве» и «Задонщины».

⁵⁸ Д. С. Лихачев. Черты подражательности «Задонщины», стр. 84—107.

⁵⁹ Д. С. Лихачев. Когда было написано «Слово о полку Игореве». «Вопросы литературы», 1964, № 8, стр. 147.

7. Русская литература, № 1, 1967 г.

Какие же конкретно черты подражательности в «Задонщине» обнаруживает Д. С. Лихачев? Он прежде всего обращает внимание «на стилистическую разнородность „Задонщины“». Три стилистических слоя могут быть легко обнаружены во всех ее списках: слой, восходящий к „Слову о полку Игореве“, слой, ясно обнаруживающий свое происхождение из деловой прозы, и слой, связанный с народно-поэтической стилистикой». ⁶⁰

Прежде всего Д. С. Лихачев применяет два приема исследования, лишающих его выводы неоспоримой доказательности. Во-первых, он разделяет в «Задонщине» стилистический пласт, близкий к «Слову о полку Игореве», и народно-поэтический, не доказывая, что они чем-то отличаются друг от друга по самому своему существу. Однако элементы народно-поэтической стилистики в «Слове» очень сплывы. И как раз многие пассажи «Слова», имеющие соответствие с «Задонщиной», проникнуты фольклорной поэтикой. Д. С. Лихачев отличает первый стилистический слой «Задонщины» от третьего по чисто формальному признаку: первый состоит из элементов, имеющих в «Слове», второй — из тех, которых в «Слове» нет. Но пока не доказано, что автор «Задонщины» использовал текст «Слова», нельзя одни отражения фольклорной поэтики «Задонщины» возводить к самому народному творчеству, а другие — к «Слову». Если Д. С. Лихачев заранее берет, как саму собой разумеющуюся, посылку, которую еще требуется доказать, то перед нами обычная логическая ошибка (*petitio principii*), делающая несостоятельным все дальнейшее изложение.

Во-вторых, Д. С. Лихачев говорит о *всех* списках «Задонщины», а по существу, сравнивает «Слово» не со всеми списками, а с отрывками из тех, какие он находит нужным привлекать. Так, обращение к соловью он дает по одному списку И1, описание боя — по списку У («цитирую по списку У»), о «клетчущих» орлах по одному списку К-Б. Выборочный метод обращения к текстам совершенно недопустим. Только выяснив, каков состав первоначальной «Задонщины» и какова дальнейшая история ее текста, можно говорить о ее подражании «Слову» или о влиянии на «Игореву песню». К сожалению, от исторического подхода к тексту «Задонщины» Д. С. Лихачев фактически отказался.

Вернемся, однако, к дальнейшему ходу мысли Д. С. Лихачева. Он пишет, что «своеобразная делопроизводственная конкретизация вторгается в поэтический стиль» списков «Задонщины». ⁶¹ Примером этого служит фраза «от Калагская рати до Мамаева побоища лет 160». Д. С. Лихачев прав, когда речь идет о списках Пространной «Задонщины». Но в К-Б «делопроизводственных» слов «лет 160» нет, а об этом Д. С. Лихачев даже не упомянул. Нет в К-Б и хронологизирующего уточнения «на воскресенье, на Акина и Анинь день», которое встречается только в списках И1, И2, С. Когда Д. С. Лихачев приводит пример «летописной конкретизации» и ссылается на текст о 70 боярянах 300 000 кованой рати, он опять имеет дело со списками С и У — ведь в К-Б его нет. Таким образом, самая суть вопроса заключается в том, что в Краткой «Задонщине» нет явных следов «делопроизводственного стиля». ⁶² Этот памятник систематически однороден. «Чпновничьи уточнения» в Пространной «Задонщине» — инородное тело, но по сравнению с Краткой, а не со «Словом». Они, на наш взгляд, появились под влиянием «Сказания о Мамаевом побоище», Никоновской летописи и, отчасти, творческой манеры составителя этого памятника.

Если бы, продолжает Д. С. Лихачев, «Слово» произошло бы от «Задонщины», то «автор „Слова“ должен был бы сделать выборку только одного стиля из всего произведения и начисто очистить его от всех „деловых“ элементов». ⁶³ Судя по контексту, это представляется Д. С. Лихачеву невозможным. Но почему же? В Пространной «Задонщине» действительно устно-поэтические мотивы, тонко сплетенные с книжными еще в ее Кратком прототипе, дополнены «делопроизводственно-церковными мотивами», приближающими ее текст к конкретной обстановке Куликовской битвы. Создавая произведение на другую тему, автор «Слова» мог брать из своего источника лишь поэтические места, оставляя в стороне конкретно-исторические.

⁶⁰ Д. Лихачев. 1) Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 144; 2) Черты подражательности «Задонщины», стр. 87.

⁶¹ Д. Лихачев. 1) Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 144; 2) Черты подражательности «Задонщины», стр. 87.

⁶² Примеры этого стиля в К-Б, приведенные Д. С. Лихачевым (см.: Д. Лихачев. Черты подражательности «Задонщины», стр. 89), совершенно недостаточны. Слова «тако рече» вряд ли следует считать специфически «кашцелярскими». Фразы «от гоа рати» просто деформирована в списке. Уточнение даты Куликовского боя («сентября 8 в среду...») может представлять собою особенность самого списка К-Б, а не архетипа Краткой «Задонщины» (это уточнение разбивает единый текст: «Солнце ему на востоце... ясно светит», а ошибочное «среда» повторяется на л. 262 сборника К-Б: «В лето 6888 сен. в среду был бой за Доном»). Актовая формула «се аз» в К-Б могла быть опiskeй составителя списка. Остается лишь перечень погибших воевод, который для песни-плача отнюдь не инородное тело.

⁶³ Д. Лихачев. Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 145.

Проникли ли в «Слово» элементы делового языка? Конечно. Вспомним хотя бы плач Ярославны с совершенно неожиданным деловым «а ркучи», которое могло восходить к «Задонщине».

Далее, Д. С. Лихачев находит, что «Задонщина» «однообразно повторяет одни и те же стилистические формулы, близкие к „Слову“». Это типичный результат посредственного подражания.⁶⁴ Верно ли это утверждение? Отчасти. Точнее, с тремя оговорками: не просто «Задонщина», а Пространная «Задонщина», не формулы «Слова», а формулы Краткой «Задонщины», наконец, дублирующиеся формулы могут свидетельствовать о близости памятника к фольклору, а не о плохом подражании. Повторяемость одних и тех же стилистических оборотов — характерная черта эпоса.

Возьмем примеры, приведенные Д. С. Лихачевым. Он ссылается на то, что в «Задонщине» мечи четырежды «гремят» о шеломы. Это не вполне точно. В Краткой «Задонщине» в одном случае удалцы гремят «золочеными шеломы», а в другом просто «грязнуша... мечи». Зато формула мечей, гремящих «о шеломы татарские» («хиновские»), четырежды повторяется в Пространной «Задонщине». Или мотив «сияющих» или «светящихся» доспехов. Он есть только в Пространной «Задонщине». В Краткой «Задонщине» о наступлении поганых «на поля» говорится дважды, в Пространной — трижды. Повторяющиеся обороты Краткой «Задонщины» тяготеют к фольклорной традиции: «стукъ стучить», «золоченые шеломы», «грязнуша... мечи булатныя». Выводить их из «Слова» нет никакой необходимости.

В Пространной «Задонщине» эпические повторы утрированы, а потому порой безвкусны и однообразны; они разрушают художественную ткань произведения. То, что эти повторы взяты автором «Задонщины» из «Слова», Д. С. Лихачевым постулируется, а не доказывается. Его построение имело бы долю вероятия, если бы в Пространной «Задонщине» повторялись только те стилистические элементы, которые связаны со «Словом». Однако и это не так: выражения «окованные рати», «за веру христианскую» дублируются в «Задонщине», но отсутствуют в «Слове». Следовательно, повторы показывают манеру автора Пространной «Задонщины», а не навеяны его источником.

Вторичность «Задонщины» Д. С. Лихачев усматривает и в том, что в ней или отсутствуют сложные образы «Слова», или они беднее. Но о какой «Задонщине» идет у него речь? Как бы забывая о существовании глубоко поэтической Краткой редакции памятника, Д. С. Лихачев имеет дело с текстами Пространной «Задонщины». Но последняя действительно в художественном отношении несовершенна. Все дело лишь в том, что ей предшествует — «Слово» или Краткая «Задонщина». Так, Д. С. Лихачева плетает «великолепная картина движения половецких орд в степи» в «Слове о полку Игореве» («крычатъ тѣлѣгы полуночы, рци, лебеди роспушени»). Он прав, что в «Задонщине» (добавим: Пространной) картина беднее («въскрипели телегы меж Дономъ и Непромъ, идутъ хивове в Рускую землю»). Однако высокоодаренный автор «Слова», если он жил в более позднее время, чем автор компилятивной Пространной «Задонщины», вполне мог создать более яркий образ на материале своего источника. Заметим, что в Краткой «Задонщине» образ тоже очень постыжен: «Быти стуку и грому велику межю Дономъ и Непромъ, и деть хивела на Рускую землю. Серие волци воють» и т. д.

По мнению Д. С. Лихачева, «образ Бояна в „Слове“ полнокровен, связан со всем замыслом введения к „Слову“ — выбором стиля; в „Задонщине“ от этого образа осталась лишь бледная тень».⁶⁵ И опять утверждение очень субъективно. В Краткой «Задонщине» обращение к Бояну, как мы писали, имеет точный смысл: тот воспевал князей прошлого, а автор «Задонщины» хочет петь о Дмитрии Донском. В Пространной «Задонщине» текст был осложнен, ибо составителю пришлось упомянуть своего предшественника (как он думал, Софония). В «Слове о полку Игореве» вместо естественной первоизданной простоты, которая, казалось бы, должна быть присуща первоисточнику, находим еще большую осложненность.

Композиционная нестройность Пространной «Задонщины» (плачи по погибшим воеводам помещены в середине произведения) оказывается вторичной также по сравнению с Краткой, где о погибших военачальниках говорится в конце повествования (так и в «Сказании о Мамеевом побое»), а не по сравнению со «Словом» (после плача Ярославны еще помещен рассказ о бегстве Игоря). Слабо мотивированные в композиционном отношении речи Пересвета и Осляби Пространной «Задонщины» входят в стройную композицию Краткой редакции.

Д. С. Лихачев считает странным, что «в „Слове“ идут на Русскую землю где-то «между Доном и Непром» (К-Б, сходно в других списках), а «не из района Золотой орды на Волге, как это было в действительности». По его мнению, это произошло «потому, что в „Слове“ навстречу Игорю именно оттуда движутся половцы — была весна. Это явный остаток „Слова“ в „Задонщине“: влияние не текста, но самого

⁶⁴ Там же, стр. 145.

⁶⁵ Д. Лихачев. Когда было написано «Слово о полку Игореве». стр. 146

года событий „Слова“ на „Задонщину“).⁶⁶ Но дело объясняется совсем иначе. Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться, что Мамай шел как раз между Доном и Днепром. Его владения простирались на юг от Рязанского княжества, граничили с Великим княжеством Литовским и включали в свою орбиту Крым.⁶⁷ «Задонщина» в данном случае совершенно точна. По О. В. Творогову, упоминание моря в «Задонщине» «едва ли уместно».⁶⁸ Но когда автор этого произведения говорит, что «всташа силнии ветри с моря», то он имеет в виду движение полчищ Мамай из Крыма. Все вполне соответствует исторической обстановке 1380 года. Кстати, автор «Сказания о Мамаевом побоище» также пишет, что события происходили «между Доном и Непром, на поле Куликове».⁶⁹ Значит, в данном случае «Слово» повлияло на «Сказание»? Надо иметь в виду и еще одно обстоятельство. Куликовская битва произошла у берегов притока Дона — Непрядвы. Б. М. Соколов отмечал в фольклоре процесс взаимовлияния форм «Днепр и Непрядва».⁷⁰ Поэтому когда в К-Б говорится, что ветры с моря «прилеяша тучю велику на усть Непра», то, быть может, речь просто идет о Непрядве, у устья которой и скрестили оружие русские воины с татарами.

В этой же связи Д. С. Лихачев пишет: «... в „Задонщине“ настойчивые упоминания Днепра... и Дуная (в списке У) — совершенно непонятны. Они могут быть объяснены только как следы „Слова“».⁷¹ О Днепре мы говорили. Теперь обратимся к Дунаю. Действительно, эту реку упоминает только один список У. В К-Б читается иначе: «погании татарове... стоять межю Доном и Днепром на риче на Мече» (описка: Чече). А в списках И1, С вместо Дуная находим Дон: «У Дону стоят татарове погании, Мамай на речки на Мечи». Совершенно ясно, что в архетипе «Задонщины» никакого Дуная не было; он появился в протографе списка У под влиянием фольклорной традиции. Итак, если допустить, что «Слово» было источником «Задонщины», то придется признать, что им пользовались не только при создании архетипа «Задонщины», но и при составлении протографа списка Ундольского (в последнем случае только чтобы заменить Дон — Дунаем). Невозможность этого построения очевидна. Легче уж предположить; что у автора «Слова» был список «Задонщины» с «Дунаем» (фольклорное осмысление).

Д. С. Лихачев обратил внимание, что в «Задонщине» «жены плачут по убитым мужьям и просят Москву-реку прилеясть их к себе. Как это возможно, ведь они убиты! Это тоже остаток „Слова“».⁷² Замечание Д. С. Лихачева верно в той части, в какой оно относится к спискам Пространной «Задонщины». Там действительно текст явно нескладен. Но ведь в К-Б, т. е. Краткой «Задонщине», ничего подобного нет. Мария, Микулина жена, обращаясь к Дону, говорит просто: «прилеяи моего Микулу Васильевича». Дон должен был приглотить тело ее убитого мужа, а не доставить его к ней. Все совершенно логично.

Для методики Д. С. Лихачева характерен следующий пассаж: «В „Задонщине“ русские жены получают „поломяные вести“, то есть вести о пленении их мужей, которые на самом деле были убивы. Сами вдовы называются в „Задонщине“ „поломяными женами“ — женами плечников — а не вдовами. Причина та же», т. е. источником «Задонщины» было «Слово о полку Игореве», где говорится о пленении русских князей.⁷³ Д. С. Лихачев основывает все свое рассуждение на выборочных и притом явно дефектных чтениях «Задонщины». Выражение «поломяныя вести» есть только в списке И1, в У — «поломянные», в С — «поломяныя» (в К-Б текста нет). Текстологически последнее чтение первично для Пространной «Задонщины». Кстати, именно его вводят в свои реконструкции архетипа «Задонщины» В. П. Адрианова-Перетц, В. Ф. Ржигза и Р. О. Якобсон. Оно же находит соответствие и в «Слове о полку Игореве» («багряная стлѣпа»). Ни о каких «поломяных» вестях первоначальный текст «Задонщины» не говорил. Перед нами неудачное осмысление составителя списка И1.⁷⁴

Во втором случае Д. С. Лихачев допустил самую обыкновенную ошибку: ни о каких «поломяных женах» «Задонщина» не говорит вовсе. В И1 — «жены коломенскыя», в У — «коломенские» и только в С — «поломяныя» — явная описка, происшедшая от созвучия упоминавшихся выше «поломяных» вестей с «коло-

⁶⁶ Д. Лихачев. 1) Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 146; 2) Черты подражательности «Задонщины», стр. 97—98

⁶⁷ А. Н. Насонов. Монголы и Русь. Изд. АИ СССР, М.—Л., 1940, стр. 123—124.

⁶⁸ О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 322.

⁶⁹ Повести, стр. 75.

⁷⁰ Б. Соколов. Непра река в русском эпосе. «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. XVII, 1912, кн. 3, стр. 214.

⁷¹ Д. Лихачев. Черты подражательности «Задонщины», стр. 97.

⁷² Д. Лихачев. Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 146.

⁷³ Д. Лихачев. 1) Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 146; 2) Черты подражательности «Задонщины», стр. 97.

⁷⁴ Кстати, ранее и сам Д. С. Лихачев говорил про «огненные («поломяные») вести о гибели русских воинов» (Д. С. Лихачев. «Задонщина». «Литературная учеба», 1941, № 3, стр. 97).

менскими» женами. Следовательно, ни о каком мотиве «пленных» мужей или жен в «Задонщине» говорить нельзя.

Д. С. Лихачев удивляется, почему в «Задонщине», лишенной элементов язычества и двоеверия, деревья склоняются от скорби. Что это, художественный образ? Нет, в «Слове» «преклоняются до земли деревья, так как вера в деревья была органической частью русского язычества». ⁷⁵ Истоки образа склонившихся от печали деревьев, возможно, уходят еще в языческие времена. Но его появление в «Задонщине» объясняется без всякого влияния «Слова»: его нет в Краткой «Задонщине», и, по нашему мнению, он включен в Пространную из текста «Сказания о Мамаевом побоище».

Остаток «Слова» в «Задонщине» Д. С. Лихачев видит в том, что в рассказах о начале похода Игоря и о выезде в поход Дмитрия Донского есть черты сходства: в одном случае князя сопровождает печальная примета (затмение солнца), в другом — радостная (сияние солнца). ⁷⁶ В том, что в момент отправления в поход Дмитрия сияет солнце, Д. С. Лихачев не видит ничего подозрительного («эта примета не может вызвать подозрений»). Но тогда почему же «чудом» считает он возможность использования «Задонщины» в «Слове», а обратную зависимость памятников естественной? Ведь о затмении солнца говорилось в летописи. Найдя образный материал в «Задонщине» о выезде в поход Дмитрия, автор «Слова» мог вполне использовать его в своем произведении.

Таким образом, попытка Д. С. Лихачева доказать невозможность вторичности «Слова» по сравнению с «Задонщиной», исходя из особенностей поэтики подражания, не увенчалась успехом. Ему удалось только показать компилятивный характер Пространной «Задонщины». Этот тезис трудно подвергать сомнению. ⁷⁷

Если уж говорить о стилистических особенностях «Слова» о полку Игореве, то следует обратить внимание на разветвленную систему звукописи в «Игоревой песне». Здесь встречаются и звуковые скрепы («путь заступаше», «тропу Трояню», «копия поють» и др.) и целые звуковые комплексы («въ пяткъ погопташа поганыя плъкы половецкы», «о вѣтрѣ, вѣтрило! Чему, господине, насильно вѣши»), около двадцати случаев звукового параллелизма (например, «Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти» и др.), около трех с половиной десятков случаев рифмы («дотечаше... пояше», «приломати... приложити... испити» и др.). А в «Задонщине» ни одного из элементов звукописи нет. Получается, что, используя «Слово» как образец для приемов художественного изображения, составитель «Задонщины» намеренно или бессознательно опустил все элементы звукописи, содержащиеся в «Игоревой песне». ⁷⁸ Такое сознательное (или бессознательное) систематически проведенное разрушение художественной ткани «Слова», на наш взгляд, не могло быть осуществлено писателем XIV—XV века. Хоть какие-либо следы звукописи должны были бы сохраниться в «Задонщине». Зато внесение звукописи в произведение, которое сложилось в позднюю эпоху, не представляется нам чем-то необычным.

Текстология и изучение языка «Задонщины»

Не дает прочных свидетельств в пользу первичности «Слова» по сравнению с «Задонщиной» и сравнение лексического состава памятников. И здесь крайне важно опираться на текстологию «Задонщины».

Касаясь лексики «Слова», Д. С. Лихачев пишет: «Больше всего о его языковой подлинности свидетельствует словарный состав по сравнению с словарным составом „Задонщины“. Ни одно из сравнительно поздних слов, характерных для „Задонщины“, не отражено в словаре „Слова“. В „Слове“ нет таких сочетаний, как „темный князь“, „дети боярские“, „большой боярин“, „калантырь“, „байданы“, „басурменин“, „шишак“, и многих других». ⁷⁹

⁷⁵ Д. Лихачев. 1) Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 146; 2) Черты подражательности «Задонщины», стр. 99.

⁷⁶ Д. Лихачев. 1) Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 146; 2) Черты подражательности «Задонщины», стр. 99.

⁷⁷ Об «инерции подражания» в «Задонщине» вслед за Д. С. Лихачевым в последнее время писал О. В. Творогов (О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 312—335). Приемы работы у обоих исследователей едины. О. В. Творогов берет чтения «Задонщины», максимально близкие к «Слову», объясняет их архетипными, находит в них несообразия и делает вывод о вторичности «Задонщины». Но все эти «несообразия» появились под пером позднейших переписчиков или при составлении Пространной редакции. В Краткой «Задонщине» их нет.

⁷⁸ Исключение составляет «не стук стучит, ни гром гримит» (С) — аллитерация чисто фольклорного происхождения.

⁷⁹ Д. Лихачев. Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 149.

При решении этого вопроса следует очень четко применять принцип текстологического историзма. В споре со сторонниками позднего происхождения «Слова» речь должна идти не о списках «Задонщины» вообще, а о том, которым мог пользоваться автор «Слова». Наибольшую убедительность будет иметь лексика, встречающаяся во всех списках «Задонщины», или во всех списках Пространной редакции, или, наконец, в двух списках, представляющих разные изводы этой редакции. Слова, характерные лишь для одного списка, конечно, могут быть его индивидуальной особенностью, и их отсутствие в «Слове о полку Игореве» ничего не доказывает. Так, «темные князи» упоминаются только в заключительной части Синодального списка, представляющей собою сугубо индивидуальную переработку текста «Задонщины». «Боярин больших» также упоминает только один список И1 (в контексте, не имеющем параллели со «Словом»). Их, очевидно, просто не было в списке «Задонщины», который держал перед собою автор «Слова». Выражение «бусорманин» дважды употреблено только в списке У и отсутствует в И1, И2 (в С и К-Б этого текста нет). И лишь «дети боярские» встречаются во всех четырех списках Пространной редакции, но во фрагменте, который вообще не имеет параллели в «Слове о полку Игореве» («Рече князь великыш... великия места себе, своим женам» — И1).

В. Л. Виноградова считает отсутствие в «Слове» четырех видов оружия, встречающегося только с XIV века и известного «Задонщине», показателем древности первого из памятников (бойданы, калантыри, копчары и шишаки).⁸⁰ Но это может быть объяснено совершенно иначе. «Копчары» отсутствуют во всех списках «Задонщины» (С — «чары франьския», У — «кижалы фразские»). Термин «калантырь» есть только в списке К-Б и поэтому не мог быть известен автору «Слова»; термин «шишак» встречается только в одном Синодальном списке и является его индивидуальной особенностью; наконец, термин «байданы» мог быть не включен в «Слово» ввиду его неясности для автора, жившего тогда, когда он давно уже забылся.

Встречаются ли в «Игоревой песне» слова «Задонщины», которые не известны более ранним источникам? Безусловно (см. «харалужный», «хипове» и др.).

Д. С. Лихачев говорит, что «встречающиеся в одних и тех же сочетаниях в „Слове“ и в „Задонщине“ отдельные замены слов всегда свидетельствуют о более ранних словах для „Слова“ и более поздних для „Задонщины“; в „Слове“ „была“ — в „Задонщине“ „боярин“, в „Слове“ „кметы“ — в „Задонщине“ „полководцы“, в „Слове“ „песнотворец“ — в „Задонщине“ „гудец“, „дань“ — „выход“, „поганые“ — „бусорманове“, „бусый“ — „серый“, „жир“ — „богатство“, „болого“ — „добро“».⁸¹ Приводя конкретные примеры лексических соответствий, Д. С. Лихачев сразу же нарушает обязательное условие сравнения: слова должны находиться «в одних и тех же сочетаниях». Но черниговские «были» в «Слове» и «боярин» в «Задонщине» помещены в совершенно различных контекстах и предполагать замену одного из них другим просто нет никаких оснований. Об индивидуальном чтении «бусурманин» мы уже говорили. «Гудца» нельзя считать более поздним словом, ибо его встречаем уже в Ипатьевской летописи. Замена его «песнотворцем» в «Слове» (как и «жиром» «богатства») могла быть связана с привнесением церковнославянского элемента в лексику памятника. Термин «бусый» никак не может считаться признаком древности лексики: в письменных источниках он вовсе до позднего времени не упоминается, а в украинском языке встречался и в XIX веке (в диалектах есть и «босый волк»). Я не говорю уже о том, что «серый» и «бусый» («бусовы врани»), так же как и «дани» и «выходы», упоминаются в «Слове» и «Задонщине» в совершенно различных контекстах.

Итак, со стороны лексики нет никаких препятствий для того, чтобы допускать возможность использования автором «Игоревой песни» словарного материала «Задонщины». Обнаружить в ней систематическую замену поздних терминов древними (что предполагало бы знание автором исторической лексикологии) невозможно. Речь может идти о том, что автор «Слова» опустил в одних случаях ряд неясных для него наименований («байданы») или явно поздних терминов («дети боярские», «выход»), а в других ввел несколько новых церковнославянских («жир», «песнотворец») или диалектизм («бусый»).

Недавно сравнительное рассмотрение некоторых особенностей грамматического строя «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» стало темой специального исследования А. Н. Котляренко.⁸² В ходе его автор пришел к двум основным выводам:

⁸⁰ В. Л. Виноградова. Некоторые замечания о лексике «Задонщины». ТОДРЛ, т. XIV, стр. 198—204; ср.: В. П. Адрианова-Перетц. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина». В кн.: Слово о полку Игореве — памятник XII века, стр. 143.

⁸¹ Д. Лихачев. Когда было написано «Слово о полку Игореве», стр. 149.

⁸² А. Н. Котляренко. Сравнительный анализ некоторых особенностей грамматического строя «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». В кн.: «Слово» и памятники, стр. 127—196 (далее ссылки на работу А. Н. Котляренко приводятся в тексте).

1) «Задонщина» не была источником некоторых явлений в морфологии и синтаксисе «Слова о полку Игореве»; 2) «Задонщина» «возникла не без влияния „Слова о полку Игореве“» и отразила грамматический строй, характерный для русского языка конца XIV века, тогда как «Слово о полку Игореве» является «памятником старшей поры древнерусской письменности» (стр. 196, 128 и др.).

Первый вывод в самой общей форме у нас не вызывает сомнений, хотя бесспорно также и то, что в обоих памятниках есть и сходные черты морфологии и синтаксиса. Сложнее обстоит дело со вторым выводом. Он нам представляется недоказанным в силу того, что методика исследования А. Н. Котляренко более чем несовершенна. В основу изучения грамматического строя «Задонщины» А. Н. Котляренко положил список Ундольского середины XVII века, который, по его мнению, «ближе всего к оригиналу» (стр. 130). Уже этот тезис не может быть принят, ибо в морфологии и синтаксисе списка Ундольского языковые явления XVII века отразились не в меньшей степени, если не в большей, чем черты XIV—XV веков. Удивительно уже то, что А. Н. Котляренко ни одним словом не обмолвился об исследовании Л. Матејки, который в результате сравнительного анализа синтаксических явлений в «Задонщине» пришел к выводу, что список Ундольского через не дошедшие до нас тексты восходит к протографу списка К-Б.⁸³ Никакой истории текста и грамматических особенностей списков «Задонщины» в работе А. Н. Котляренко мы не найдем, а отождествление списка У с архетипом «Задонщины» приводит его к серьезным заблуждениям. Так, А. Н. Котляренко подчеркивает, что если в «Слове» перфект встречается редко (11% всех форм прошедшего времени), то в «Задонщине» «увеличивается употребление форм перфекта до 40% общего количества форм прошедшего времени» (стр. 137). Но речь идет не об особенностях «Задонщины», а о списке У, «тогда как в Кирилло-Белозерском списке в соответствующих предложениях обычно употребляется аорист или чаще всего соответствия совсем не достает».⁸⁴

А. Н. Котляренко пишет: «В „Задонщине“ употребляется трехчленная формула отрицательного сравнения; в „Слове о полку Игореве“ встречаем только двухчленное отрицательное сравнение» (стр. 193). Но это также относится к списку У, ибо в К-Б есть и двухчленное сравнение («не орлы слетопаша, съехали все князи», «тогда же не тури возрыкають... взопаша избниени»).

Противопоставляет А. Н. Котляренко и употребление начинательного союза «и» в «Задонщине» (45 случаев) и в «Слове» (6 раз) (стр. 184). Но и в данном случае речь снова должна идти лишь о списке У, ибо в К-Б начинательный союз «и» известен только в двух случаях.

Говоря о союзе «а», А. Н. Котляренко подчеркивает, что в отличие от «Задонщины» в «Слове» он встречается редко (стр. 183 и др.). Но в списке К-Б мы встречаем его также всего 9 раз, причем в 6 случаях в формуле «а ркучи», имеющейся в «Слове».

Второй серьезный дефект методики А. Н. Котляренко заключается в том, что он фактически априорно исходит из тезиса о древности языкового строя «Слова», а не доказывает его. Он даже проходит мимо тех явно поздних черт, которые отмечал в свое время С. П. Обнорский. А. Н. Котляренко не ставит и вопроса о том, что черты грамматического строя «Слова» могли объясняться не древностью памятника, а нормами книжного церковнославянского языка.

Так, он повторяет утверждение о том, что постоянное употребление флексии «-аго» дает основание говорить о «Слове» как о памятнике «старшей поры древнерусской письменности» (стр. 135). Но хорошо известно широкое бытование этой флексии в церковнославянском языке на всем протяжении его истории. Да и сам А. Н. Котляренко в ранней работе правильно писал, что употребление флексии «-аго» «легко объясняется сознательным стремлением придерживаться церковнославянской формы склонения».⁸⁵

А. Н. Котляренко склонен препозицию «-ся» в «Слове» также относить за счет древности «Слова» (стр. 144), забывая, что это может объясняться и другими причинами (например, препозитивное «-sie» в польском языке).

⁸³ L. Matejka. Comparative Analysis of Syntactic Constructions in the Zadoňščina, pp. 401—402.

⁸⁴ Там же, стр. 401. Дефекты методики работы А. Н. Котляренко видны на приведенном им одном примере («положили есте головы»), который якобы представляет «особенный интерес». Здесь, по его мнению, «в памятнике конца XIV в. аорист был заменен перфектом — еще одно подтверждение, что автор „Задонщины“ использовал „Слово о полку Игореве“...» Но текст «положили есте головы» читается только в И1 и У, а в К-Б — аорист «покладоша головы». Поэтому А. Н. Котляренко добавляет: «...впрочем, возможно, что и в „Задонщине“ первоначально был аорист» (стр. 138), зачеркивая тем самым свой предыдущий вывод.

⁸⁵ А. Н. Котляренко. «Задонщина» как памятник русского языка конца XIV века. «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института», т. XV, факультет языка и литературы, вып. 4, стр. 152.

В пользу первичности «Слова», по мнению А. Н. Котляренко, говорит частое употребление дательного принадлежности. Но эта синтаксическая конструкция хорошо известна старославянскому языку вплоть до XVIII века.⁸⁶ Зато в древних грамотах она встречается крайне редко, а в берестяных грамотах и вовсе отсутствует.⁸⁷

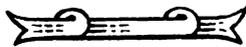
А. Н. Котляренко заблуждается, считая, что в «Слове» «для названий животных употребляется лишь форма винительного падежа» (стр. 165). В «Слове» есть формы «птичь убуди», «пасеть птиць». Это явление опять позднее. П. С. Кузнецов пишет: «Еще позднее род.-вин. мн. ч. распространяется на названия животных. Примеры, свидетельствующие об этом, представлены в памятниках лишь с XVII в.»⁸⁸

Таким образом, несостоятельность методических приемов исследования делает выводы А. Н. Котляренко бездоказательными.

* * *

Подведем некоторые итоги. Изучение текстологии «Задонщины» и «Слова о полку Игореве» представляется нам задачей чрезвычайной важности, во многом определяющей решение вопроса о взаимосвязи этих двух замечательных памятников русской литературы. Решительный переход на путь изучения истории текста повестей Куликовского цикла является большим достижением советских ученых, литературоведов, историков и лингвистов. Выявлено много новых текстов малоисследованного «Сказания о Мамаевом побоище»,⁸⁹ сделаны интересные наблюдения о времени создания этого памятника (не ранее середины XV века),⁹⁰ показано, что его основной источник — летописная повесть о Мамаевом побоище не могла также сложиться ранее середины XV века.⁹¹ Текстологические наблюдения Р. П. Дмитриевой и О. В. Творогова хотя, на наш взгляд, и не могут решить основных трудностей, встающих перед исследователем «Задонщины», все же являются значительным шагом вперед по сравнению с работами Р. О. Якобсона и А. В. Соловьева. В фундаментальном труде В. П. Адриановой-Перетц показаны черты близости «Слова о полку Игореве» к ряду памятников древнерусской литературы.⁹² Однако многие вопросы остаются еще спорными. К их числу относится проблема взаимосвязи списков «Задонщины». Без создания их научной генеалогии, без попытки восстановить и обосновать архетип памятника вопрос о взаимоотношении «Слова о полку Игореве» и «Задонщины» будет оставаться нерешенным. Плодотворным было бы сопоставить две редакции «Задонщины» и с произведениями древнерусского искусства. Если первоначальная «Задонщина», глубоко поэтичная, наполненная мягкой скорбью и лирикой, напоминает творения Андрея Рублева, то ее пространная редакция, торжественная, но книжная, скорее близка к кругу произведений искусства, вышедших из школы Дионисия.

Дальнейшее развитие науки позволит решить и эту загадку, волнующую не только специалистов, но и широкие круги любителей отечественной литературы.



⁸⁶ Т. П. Ломтев. Очерки по историческому синтаксису русского языка. Изд. МГУ, М., 1956, стр. 438—439.

⁸⁷ В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 431; В. И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот. Львов, 1949, стр. 362.

⁸⁸ В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка, стр. 210.

⁸⁹ Л. А. Дмитриев. Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений, стр. 385—439; Н. С. Демкова. Заимствования из «Задонщины» в текстах Распространенной редакции «Сказания о Мамаевом побоище», стр. 440—476.

⁹⁰ Ю. К. Бегунов. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище». В кн.: «Слово» и памятники, стр. 477—523.

⁹¹ М. А. Салмина. «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина». В кн.: «Слово» и памятники, стр. 344—384.

⁹² В. П. Адрианова-Перетц. Фразеология и лексика «Слова о полку Игореве», стр. 13—126.

Р. ДМИТРИЕВА, Л. ДМИТРИЕВ,
О. ТВОРОГОВ

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ А. А. ЗИМИНА «СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКСТОЛОГИИ „ЗАДОНЩИНЫ“»

Статья А. А. Зимина «Спорные вопросы текстологии „Задонщины“», являющаяся в основной своей части откликом на коллективную монографию «„Слово о полку Игореве“ и памятники Куликовского цикла»,¹ несомненно вызовет большой интерес. Если до этого времени суть спора вокруг еще не опубликованной книги А. А. Зимина о «Слове о полку Игореве», в которой вопросы текстологии занимают значительное место, оставалась неизвестной широкому научному кругу, то теперь читатели смогут познакомиться если не со всей концепцией ее автора, то по крайней мере с характером его текстологической аргументации.

К сожалению, статье А. А. Зимина присущ один общий недостаток: автор возражает против выводов своих оппонентов, не разбирая ни аргументов, ни (а это, как увидим, особенно важно!) самих объективно существующих фактов, которые потребовали поисков того или иного решения и привели исследователей к определенным выводам. В то же время отдельные свои выводы, и порой очень ответственные, А. А. Зимин подчас никак не обосновывает, а затем строит на них свои дальнейшие рассуждения. Так, например, он больше декларирует, чем доказывает следующие исходные посыпки своей концепции: все списки «Задонщины» делятся на две редакции — «Краткую» и «Пространную»; «Краткая» редакция первоначальна; «Слово о полку Игореве» ближе к «Пространной» редакции, чем к «Краткой». В ходе же своих рассуждений А. А. Зимин оперирует этими тремя посыпками как доказанными и непреложными.

Прежде чем перейти к конкретному анализу статьи А. А. Зимина, напомним в общих чертах, в чем состоит суть спора вокруг дошедших до нас текстов «Задонщины».

Основной вопрос текстологии «Задонщины»

Происхождение Кирилло-Белозерского² списка «Задонщины» и его место среди других списков — важнейший вопрос, решение которого имеет значение не только для изучения истории текста этого памятника, но и для всей проблемы отношения «Задонщины» к «Слову о полку Игореве».

Как известно, существует две противоположные точки зрения на этот вопрос. Сторонники одной из них — Я. Фрчек,³ А. Мазон,⁴ а также А. А. Зимин — считают, что список К-Б представляет собой первичную «Краткую» редакцию «Задонщины», а все остальные списки — «Пространную», вторичную по отношению к «Краткой». Эти исследователи утверждают далее, что «Слово о полку Игореве» ближе к спискам «Пространной» редакции, что, по их мнению, является доказательством

¹ «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». Изд. «Наука», М.—Л., 1966 (далее: «Слово» и памятники).

² Здесь и далее списки «Задонщины» обозначены: К-Б — Кирилло-Белозерский список, У — список Ундольского, И1 — список Исторического музея № 2060, И2 — список Исторического музея № 3045, С — Синодальный список, Ж — Ждановский список.

³ J. Frček. Zádonsčina. Staroruský žalozpěv o boji rusů s tatarý r. 1380. Rozprava literárne dějepisná. Kritické vydání textů. Praha, 1948 (Práce Slovanského ústavu v Praze, sv. XVIII). О концепции Я. Фрчека о взаимоотношении списков «Задонщины» впервые было упомянуто в работе А. Мазона в 1938 году (A. Mazon. La Zádonsčina: réhabilitation d'une oeuvre. «Revue des études slaves», t. XVIII, fasc. 1—2, Paris, 1938, pp. 14—17).

⁴ A. Mazon. 1) Le Slovo d'Igor, Paris, 1940, pp. 14—17; 2) Les récits de guerre dans la littérature russe du XV-e siècle. «The slavonic and east european review», vol. 25, № 64, London, 1946, pp. 93—108.

вторичности «Слова» (так как в противном случае его текст был бы ближе к первоначальной «Краткой» редакции).

Сторонники другой точки зрения (к их числу относятся и авторы статей, с которыми полемизирует А. А. Зимин) считают, что текст оригинала «Задонщины» не дошел, а сохранились списки одной, отнюдь не первоначальной редакции по двум изводам: изводу Син (списки К-Б, С и список, в отрывках использованный в Печатном варианте «Сказания о Мамаевом побоище») и изводу Унд (списки И1, И2, У, Ж).⁵ «Слово о полку Игореве», утверждают сторонники этой точки зрения, не может быть связано ни с одним из этих изводов. В разных своих частях оно ближе то к одному списку «Задонщины», то к другому, то к одному изводу, то к другому. В целом же «Задонщина» вторична по отношению к «Слову».

Доказательства деления всех списков «Задонщины» на два извода и принадлежности списка К-Б к изводу Син приводятся в статье Р. П. Дмитриевой в упомянутом сборнике (стр. 210—231), однако А. А. Зимин объявляет ее выводы «прокламированными», а не доказанными (стр. 93),⁶ игнорируя рассмотренный ею обильный материал.⁷

А. А. Зимин утверждает, что «сходство С с И1 и У неизмеримо больше, чем с К-Б: если в первом случае совпадают и композиция текста, и лексика, и стиль, и содержание, то во втором можно говорить только об отдельных словах и небольших оборотах» (стр. 92). И далее следующим образом критикует методику работы своих оппонентов: «Они (Р. П. Дмитриева и О. В. Творогов, — Р. Д., Л. Д., О. Т.) пользуются приемами „микротекстологии“, т. е. сопоставляют не целостные фрагменты списков на всем протяжении текста памятников, а текстологическое движение и расхождение в отдельных словах и небольших отрывках» (стр. 95).

Но на чем же обычно и строится убедительное текстологическое доказательство связей или происхождения изучаемых текстов, как не на анализе «отдельных слов и небольших оборотов»?

А. А. Зимин в своих текстологических построениях не только не предлагает новой интерпретации фактов, но даже не включает эти факты в сферу своего исследования. Он просто пренебрегает наличием общих вторичных чтений в списках К-Б и С, представляющих собой искажение более правильных общих чтений извода Унд, восходящих, как можно полагать, к оригиналу «Задонщины». А именно эти чтения бесспорно свидетельствуют о происхождении списков К-Б и С из одного извода «Задонщины» и лишают каких бы то ни было оснований допущение, будто бы К-Б восходит к первоначальной («Краткой»), а все остальные списки «Задонщины» — к вторичной («Пространной») редакции.

Итак, один из основных тезисов концепции авторов сборника не только не опровергнут, но даже не рассмотрен А. А. Зиминим. Между тем участники сборника на основании обширного материала пришли к выводу, что список К-Б входит в один извод со списком С, но представляет собой дальнейшую переработку первоначального текста этого извода. Эта переработка выразилась «прежде всего в сокращениях и утрате второй части произведения».⁸

На чем строится этот вывод? Приведем некоторые основные соображения, уже высказывавшиеся авторами упомянутого сборника.

Во-первых, список К-Б вовсе не представляет собой осмысленного и логически завершенного текста, как это, вслед за Я. Фрчеком и А. Мазоном, утверждает А. А. Зимин.⁹ Достаточно напомнить, например, что текст К-Б завершается плачем

⁵ Более подробный разбор существующих взглядов на взаимоотношение списков «Задонщины» см. в статье Р. П. Дмитриевой «Взаимоотношение списков „Задонщины“ и текст „Слова о полку Игореве“» в сборнике «„Слово“ и памятники» (далее: Дмитриева).

⁶ Здесь и далее в скобках — ссылки на статью А. А. Зимина в настоящем номере журнала.

⁷ Предположение о существовании двух изводов «Задонщины» было впервые высказано в печати в книге Р. О. Якобсона «Sofonija's Tale of the Russian-Tatar Battle on the Kulikovo Field» (ed. by Roman Jakobson and Dean S. Worth, The Hague, 1963). Это дает основание А. А. Зимину говорить, что Р. П. Дмитриева и О. В. Творогов всего лишь «модифицируют» точку зрения Р. О. Якобсона. В данном случае указанные авторы, отнюдь не претендуя на приоритет, считают необходимым отметить, что они ознакомились с книгой Р. О. Якобсона в тот период, когда уже велась работа над сборником «„Слово о полку Игореве“ и памятники Куликовского цикла», и вывод о двух изводах «Задонщины» был высказан всеми этими исследователями независимо друг от друга, что лишь подтверждает его объективность.

⁸ Дмитриева, стр. 263.

⁹ «Введение Краткой „Задонщины“, — пишет А. А. Зимин, — отличается лаконизмом и ясностью» (стр. 86); «Сама Куликовская битва изображена в К-Б кратко и выразительно» (стр. 88), «Произведение (т. е. список К-Б, — Р. Д., Л. Д., О. Т.) завершается плачем вдов по погибшим мужьям. Построение очень простое и логичное» (стр. 88) и т. д.

жен, однако в списке нет «ни одной фразы, где бы сообщалось, чем кончилось сражение, которому посвящено это произведение. И соображения Я. Фрчека и А. Мазона о том, что это событие не воспринималось как победа, опровергаются самим же текстом К-Б. Автор „Задонщины“ по списку К-Б тоже хотел сообщить о победе русских в этом сражении, иначе зачем же он к перечню тревожных примет поведения птиц и зверей накануне боя добавил разъяснение: „...чають победу на погавых“. Эта мысль и должна была найти завершение в конце произведения».¹⁰

Во-вторых, ряд неясных чтений К-Б позволяет с достаточной уверенностью утверждать, что перед нами сокращение и переработка первичного текста. Аргументация Р. П. Дмитриевой и О. В. Творогова, обосновывающая это мнение, лишь частично затронута А. А. Зиминим, но зато в статье развернута контраргументация, которая и будет специально рассмотрена ниже.

Изучение всех дошедших текстов «Задонщины» тесно связано, как мы уже указали, с проблемой взаимоотношений «Задонщины» и «Слова о полку Игореве». О. В. Творогов, рассмотревший все параллельные чтения этих памятников,¹¹ пришел к выводу, что, во-первых, эти параллели в подавляющем своем большинстве подтверждают предположение о двух izvодах «Задонщины», и, во-вторых, что наибольшее число параллелей содержали лишь списки, восходящие непосредственно к авторскому тексту «Задонщины», что уже само по себе исключает возможность создания «Слова» на основе одного из списков какого-либо izvода (ср. ниже, стр. 115 нашей статьи).

Первичен ли список К-Б?

Наибольшую важность в статье А. А. Зими́на бесспорно представляет та система «выразительных примеров», которые должны, по его мнению, не только доказать тезис о первичности «Краткой» редакции (список К-Б), но и продемонстрировать превосходство его текстологической методики над текстологической методикой критикуемых им авторов.

Итак, обратимся к контраргументации А. А. Зими́на. «Введение Краткой „Задонщины“, — пишет он, — отличается лаконизмом и ясностью», сравнительно с введением «Пространной» редакции, которое, по его мнению, «крайне запутано» (стр. 86). Действительно, даже в тексте списка У (единственном списке, полностью сохранившем вступление) чувствуется некоторая нечеткость, что дает веские основания предполагать, что первоначальный текст здесь искажен,¹² но из этого еще не следует, что К-Б сохранил вступление в первоначальном варианте. В статье Р. П. Дмитриевой обращается внимание на отрывочность и дефекты вступления списка К-Б.¹³ При этом характерно, что недостаточная четкость К-Б проявляется как раз в тех местах, где, как показано Р. П. Дмитриевой, были сделаны сокращения.

Дефекты списка К-Б, впрочем, признает и сам А. А. Зимин, тут же внося в него две существенные поправки. В примечании 15 он пишет: «„Восхваляя“ К-Б, очевидно, описка (ср. также «поють» вместо «повиты»). Возможно, надо читать сходно с У, где „Аз... восхвалю“, т. е. „Я же восхваляю... сего господина“. Таким образом, А. А. Зимин, обвиняя перед этим Р. О. Ягбосона в «вольном» обращении с текстами, а ниже — О. В. Творогова в «вивисекции текста», здесь сам, не утруждая себя никакой аргументацией, просто «исправляет» не понравившееся ему чтение «Краткой» редакции по случайному (во всяком случае, это никак не мотивируется) списку «Пространной», т. е., по А. А. Зимину, вторичной редакции!

В примечании 17 А. А. Зимин сообщает о необходимости и другой поправки. Он совершенно справедливо утверждает, что «фраза „от тоя рати“ в К-Б испор-

¹⁰ Дмитриева, стр. 251.

¹¹ Анализ этих параллелей занимает значительную часть статьи О. В. Творогова «„Слово о полку Игореве“ и „Задонщина“» (см.: «Слово» и памятники, стр. 292—312), но А. А. Зимин утверждает, будто бы автор просто «берет чтения „Задонщины“, максимально близкие к „Слову“, и «объявляет их архетипными» (стр. 101). Тем самым А. А. Зимин не только неверно излагает содержание критикуемой им статьи, но и вообще уклоняется от спора «на текстологическом уровне». А опровергнуть или поставить под сомнения выводы статьи можно только путем самостоятельных текстологических наблюдений.

¹² Попытка объяснить происхождение некоторых неясностей вступления к «Задонщине» сделана О. В. Твороговым в статье «О композиции вступления к „Задонщине“» («Слово» и памятники, стр. 526—532). Мы не будем задерживаться на критике этой статьи А. А. Зиминим, так как он не разбирает аргументации автора и не предлагает своих объяснений парадоксам этого текста. А именно они, эти парадоксы, а не желание «придать вводной части Пространной „Задонщины“ хоть какую-то стройность» (стр. 87), как пишет А. А. Зимин, вызвали необходимость в гипотетической реконструкции, предлагаемой О. В. Твороговым.

¹³ Дмитриева, стр. 252—253.

чена», но не говорит, как же, по его мнению, она должна была бы быть исправлена. А это очень важно, и прежде всего потому, что странной кажется эта фраза именно в тексте К-Б, тогда как соответствующая ей фраза в полных списках (например, в У), во-первых, вполне понятна («А от Калатские рати до Момаева побоища 170 лет»), а во-вторых, перекликается с ранее встречающимися словами: «а от Калатския рати до Мамаева побоища тугою и печалию покрывшася», находящимися в рассказе о бедах русской земли, отсутствующем в К-Б и, следовательно, по А. А. Зимину, являющемся вторичным.

По нашему мнению, оба приведенных А. А. Зиминим испорченных чтения являются не случайными описками списка К-Б, а возникли в результате сокращений предшествующего, полного текста. При устранении первого искажения все равно остается не совсем ясный переход от упоминания песен Бояна к восхвалению Дмитрия Ивановича, а во втором случае — даже после исправления фраза о битве на Калке оказывается никак не связанной с контекстом, ибо описание бед постигших Русскую землю «от Калатския рати до Момаева побоища», в К-Б отсутствует и читается только в полных списках, где, как считает А. А. Зимин, является позднейшим добавлением!

Помимо этого, в тексте вступления К-Б имеется еще несколько дефектов. После призыва пойти «в полуочную страну жребии Афетову», т. е. на Русь, говорится: «Отголе взыдем на горы Киевския», тогда как эти горы, естественно, входят в состав жребия Афета. Неясно, что значат слова «первое всехъ ишедъ». Эти алогизмы можно было бы отнести к числу случайных дефектов текста, если бы не примечательный факт: все они находят объяснение именно как следы сокращения, которому был подвергнут в К-Б полный текст. Анализ этих чтений имеется в статьях Р. П. Дмитриевой¹⁴ и О. В. Творогова,¹⁵ но их аргументацией и самими особенностями текста А. А. Зимин пренебрегает, оперируя вместо этого общей формулировкой о «лаконизме и ясности» текста К-Б.

И совершенное недоумение вызывают комментарии А. А. Зимина к рассматриваемому введению списка К-Б. «... В К-Б отсчет бед постигших Русскую землю идет от битвы при Калке (фраза «от той рати» в К-Б испорчена)...» — пишет он в примечании 17. Но в К-Б нет упоминания о бедах, постигших русскую землю! Все это есть лишь в списках У и Ж. Попутно А. А. Зимин говорит, что Каяла добавлена в «Пространной» «Задонщине» «по мотивам Ипатьевской летописи», не только не приводя никакой аргументации в пользу своего предположения,¹⁶ но и игнорируя высказывания по этому поводу Р. О. Якобсона и Д. С. Лихачева.¹⁷

После упоминания Ипатьевской летописи А. А. Зимин пишет: «Интерес к битве 1185 года появился в конце XV века... уже в Никоновской летописи (на рубеже XVI века), как и в Пространной „Задонщине“ отсчет бед ведется с поражения, понесенного от половцев в битве на Каяле (там якобы погиб богатырь Добрыня)». На чем основано это утверждение? В действительности, в шести списках Никоновской летописи рассказ о походе Игоря Святославича — не что иное, как несколько сокращенный пересказ статьи Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку (1377 год), а текст Лаптевского списка является почти дословным повторением того же Лаврентьевского списка — версии, читавшейся и в предшествующих летописных сводах. Почему сокращение рассказа или его повторение нужно считать свидетельством особого к нему интереса? Упоминание среди соратников Игоря «дивна богатыря Добрыни Судиславича» также не дает оснований для ответственного вывода, что в Никоновской летописи «отсчет бед ведется с поражения, понесенного от половцев в битве на Каяле». В рассказ о поражении на Калке Никоновская летопись также вставляет имена будто бы погибших там богатырей: Александра Поповича и Добрыни Рязанича Златого пояса.¹⁸

Итак, первый рассмотренный эпизод не дает А. А. Зимину никаких оснований утверждать, будто «первичность введения К-Б сравнительно с другими списками „Задонщины“... очевидна» (стр. 87). Скорее напротив.

Если в первом «выразительном примере» отрицаемая А. А. Зиминим «микротекстология» была заменена субъективными общезастетическими высказываниями о том, какой текст «яснее и логичнее», то в следующих примерах текстология вновь отодвигается на задний план, уступая место критерию исторической достоверности

¹⁴ Дмитриева, стр. 252—253.

¹⁵ О. В. Творогов. О композиции вступления к «Задонщине», стр. 531—532.

¹⁶ Эта аргументация нужна хотя бы потому, что знакомство редактора «Пространной» «Задонщины» с Ипатьевской летописью более чем сомнительно. По А. А. Зимину же получается, что Ипатьевской летописью (одной из сотен русских летописей) пользовался и редактор «Задонщины», и автор «Слова о полку Игореве».

¹⁷ Д. С. Лихачев. Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности. В кн.: Слово о полку Игореве — памятник XII века. Изд. АН СССР. М.—Л., 1962, стр. 66—67. Там же упоминание точки зрения Р. О. Якобсона. Ср. также: О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 338—339.

¹⁸ Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. ПСРЛ, т. X, СПб., 1885, стр. 92.

Второй эпизод, который, по мнению А. А. Зимина, сохранился в первоначальном виде именно в К-Б, — это сообщение о сборе войск в поход против Мамаю. Но о чем позволяют судить чтения списков? Прежде всего о близости К-Б и С: в обоих читается «бубны бьютъ (бубнят) на Коломне» (в изводе Унд: «в бубны бьютъ в Серпухове»); в обоих слова «звонитъ слава по всеи земли Русьской» стоят после перечня всех трех городов, а не после упоминания Москвы, как в списках У и И1; только в С и К-Б при словах «стязи стоять» добавлено «чюдно». Однако отличия двух изводов и общее чтение списков К-Б и С, восходящие к изводу Син, А. А. Зимин во внимание не принимает. Чем же мотивирует он первичность именно К-Б? Тем, что в К-Б «все в полном соответствии с походом на Куликово поле. Выйдя из Москвы, русские войска двигались к Коломне, а оттуда повернули к Серпухову. Слава о русском оружии гремит по всей Русской земле» (стр. 87). В списках же «Пространной» «Задонщины», как считает А. А. Зимин, «вся стройная система деформирована. Так, в С Серпухов упомянут сразу же после Москвы, а в И1 и У „слава звонит“ еще до выхода войск в Коломну» (там же). Характерно, что, говоря о Серпухове, А. А. Зимин называет только список С, не упоминая однако, что в списках У и И1 порядок перечисления городов тот же, что и в К-Б; с другой стороны, говоря о «славе», он не отмечает, что в С, как и в К-Б, «слава звонит» после перечисления всех трех городов.

Но если все же согласиться с тем, что версия списка К-Б отличается большей «стройностью» и «исторической достоверностью», и рассмотреть с этой точки зрения последующий текст, то и в этом случае окажется, что позиция А. А. Зимина не столь убедительна, как это может показаться с первого взгляда. Так, в К-Б после сообщения о том, что войска уже «повернули к Серпухову», Андрей Ольгердович почему-то говорит своему брату Дмитрию: «Уже бо, брате, стукъ стучитъ и громъ гремитъ в славе городе Москве, то... стучитъ силная рать великаго князя Ивана Дмитриевича» (ошибочно вм. Дмитрия Ивановича). Нетрудно, таким образом, убедиться, что в отношении «стройности системы» список К-Б ничуть не «лучше» полных списков «Задонщины».

Далее. Чтение К-Б «гнездо... Ивана Данильевича» (Калиты) А. А. Зимин считает первичным, ибо оно соответствует реплике Ольгердовичей: «Сама есма два брата, дети Вольярдовы, внучата Едиментовы, правнучата Сколдимеровы» (стр. 87—88). На самом деле соответствия нет. В обращении Андрея Ольгердовича к брату говорится об их прямых предках — отце, деде, прадеде. Обращение Дмитрия Ивановича относится ко всем русским князьям (по чтениям К-Б: «сѣхалися все князи русьскыя»), «Тако рече... своей братии русскимъ княземъ»), а о них в целом нельзя сказать, что все они — «гнездо», потомки общего родоначальника, Ивана Калиты, а вот «гнездом» Владимира Киевского, как их называют другие списки «Задонщины», они все без исключения действительно являлись.

В списке К-Б дважды упоминаются «белозерские ястребы» и называются Федор Романович Белозерский и его сын Иван, павшие на Куликовом поле. А. А. Зимин считает, что упоминание белозерских князей в К-Б усиливает его позицию. Он пишет: «Среди русских князей — участников Куликовской битвы находились многие потомки Ивана Калиты (белозерские князата)» (стр. 88). На чем строится это утверждение, не ясно. Более того, упоминание белозерских князей (и при этом конкретных имен) свидетельствует против гипотезы А. А. Зимина. Род собственно белозерских князей восходит, по совершенно иной родословной ветви, чем род московских князей, к Всеволоду Большое гнездо. И только этот князь, живший за 200 с лишним лет до Куликовской битвы и на 100 с лишним лет ранее Ивана Калиты, мог бы быть назван *ближайшим* общим предком московских и белозерских князей, упомянутых в списке К-Б. Что же касается утверждения А. А. Зимина, будто упоминание Ивана Калиты соответствует «той конкретной обстановке, в которой жил Дмитрий Донской» (стр. 88), то это положение теряет свое значение, если напомнить приведенный Р. П. Дмитриевой¹⁹ факт упоминания того же Ивана Калиты (и также неуместно!) и в списке С. Таким образом, обращение к Ивану Даниловичу — черта извода Син, а не свидетельство «исторической достоверности» рассказа К-Б сравнительно с повествованием о битве в остальных списках.

Следующий пример — анализ чтения К-Б «Досюды есмя были, брате, никуды не избожены, ни соколу...» — имеет принципиально важное значение, так как здесь, как нам кажется, совершенно явно выступают черты вторичности извода Син (и принадлежащего к этому изводу списка К-Б) по сравнению с более правильным чтением извода Унд. На наш взгляд, история этого чтения такова. В «Слове о полку Игореве» имеется грамматически правильная и логически осмысленная фраза: «Ольгово хороброе гнѣздо... не было нъ обидѣ порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронь, поганый половчине». «Обидѣ» — дательный цели,²⁰ «соколу... кречету...» — дательный адресата, зависящий от причастия «порождено»

¹⁹ См.: Дмитриева, стр. 216.

²⁰ Ср.: Т. П. Ломтев. Очерки по историческому синтаксису русского языка. Изд. МГУ. 1956, стр. 253.

(ср. «родить ему сына»).²¹ Наиболее близко к архетипному чтению «Задонщины» (в свою очередь, восходившему к чтению «Слова») читается в У: «не в обиде есми были по рожению ни ястребу...» Здесь, однако, дательный цели «обидѣ» заменен формулой «в обиде»,²² а вместо причастия «порождено», управлявшего дополнениями «соколу», «кречету», стоит «по рожению» (в И1 эти слова опущены). Таким образом мы получили новую конструкцию «не в обиде есми были... ни ястребу», где дополнения стоят в дательном падеже, обозначающем — для кого совершается действие.²³

Что же произошло в изводе Син, т. е. в списках К-Б и С? Там текст подвергся дальнейшей деформации: вместо слов «в обиде есми были» читается «не избожены» (К-Б) и «не обижены ни от кого» (С). Эти причастия требуют либо творительного падежа, либо родительного с предлогом «от» (так в С). Однако вторая часть фразы осталась без изменений, в дательном падеже «пи соколу, ни ястребу...» (К-Б; С сходно). Это является убедительным свидетельством вторичности текста извода Син (включая список К-Б) по отношению к оригиналу «Задонщины».

Как же объясняет это явление А. А. Зимин? Он признает, что текст К-Б ошибочен, но допускает, что перед нами отражение какой-то особой тенденции «версии „Задонщины“, представленной списком К-Б» (стр. 88). Но ведь неверное грамматическое управление мы находим также в списке С, причем ошибочность конструкции там еще более усугублена («не обижены ни от кого, ни ястребу, ни соколу...»). Непонятны в К-Б и слова «досюды» (в С — «досея») и «никуда». Последнее, видимо, попытка осмыслить «не от кого» (ср. список С) — то самое чтение извода Син, которое, на наш взгляд, наиболее ярко свидетельствует о вторичном искажении в нем архетипного текста.

Переходим к следующему примеру. В списке К-Б имеется заимствование из «Слова о погибели Русской земли»: «... до Черемисы, до Чяховъ, до Ляховъ, до Устюга поганыхъ татаръ, за дышущем моремъ». Цитату из «Слова о погибели» в составе списка К-Б А. А. Зимин считает органической частью первоначального варианта «Задонщины», аргументируя это тем, что будто бы никакой книжник не стал бы заменять Царьград «черемисой» и опускать рефрен «Русь великая одолеша Мамая на поле Куликов» (стр. 88). Но редактор текста К-Б вовсе не заменял специально Царьград «черемисой»: в перечислении земель, по которым распространилось известие о Куликовской битве, редактор текста К-Б после слов «к Риму» и до конца предложения просто следует тексту «Слова о погибели Русской земли». Поэтому оказались опущенными не только Царьград, но и Кафа, и Тырнов. По той же причине был опущен и рефрен. Вторичность текста К-Б доказывается текстологически. Цитата из «Слова о погибели Русской земли» была включена не в архетип извода Син, а позже — очевидно переписчиком-редактором списка К-Б или его ближайшим предшественником. Дело в том, что в С, К-Б и списке, отразившемся в Печатном варианте «Сказания о Мамаевом побоище», есть мелкие общие чтения, отличающие эту группу списков от извода Унд. Эти чтения идут от их оригинала — извода Син. В то же время в С и списке, отразившемся в Печатном варианте «Сказания», перечисление земель совпадает с текстом извода Унд, т. е. заимствования из «Слова о погибели Русской земли» нет. Следовательно, в общем источнике трех списков цитаты из «Слова о погибели Русской земли» не было. О вторичности списка К-Б по отношению к архетипу извода Син свидетельствует, в частности, то, что К-Б, как и все остальные списки, используя до вставки из «Слова о погибели» предлог «к» («к Железнымъ вратамъ, к Риму»), в тексте вставки употребляет, как и в «Слове о погибели», предлог «до». Получившаяся стилистическая неувязка свидетельствует о том, что вставка из «Слова о погибели» в К-Б не органична тексту.

А. А. Зимин считает, что первичность К-Б доказывается окончанием этого списка. По его мнению, К-Б завершается логично — плачем жен. В полных списках после плача коломанскихъ жен 9 сентября автор «Задонщины» опять возвращается к описанию боя, который происходил 8 сентября. На наш взгляд, в этом нет ничего противоестественного. Сначала рассказывается о кровопролитной и неудачной для русских первой половине боя. После этого автор счел уместным поведать о плаче жен в Русской земле, а уже затем перейти к описанию второй половины битвы, принесшей победу русским. Текст К-Б в этом месте, напротив, выглядит несколько странным, явно незавершенным. Он внезапно обрывается и не имеет обычной в древнерусских произведениях концовки. Кроме того, необходимо вспомнить, что во вступлении К-Б, как и в остальных списках, автор призывает «петь славу» князю Дмитрию Ивановичу, и далее в тексте содержатся указания на победу русского оружия («звенить слава», «чають победу на поганыхъ»), а завер-

²¹ Ср. также конструкцию: «дамъ вас на поносъ... всѣмъ языкомъ» (В. М. Истрин. Хроника Георгия Амартола, т. I. Пгр., 1920, стр. 273).

²² Ср.: «Я въ [о]бидѣ не могу быти» (Ипатьевская летопись. ПСРЛ, т. II. СПб., 1908, стлб. 394).

²³ Ср.: В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 431—432.

шается список К-Б словами плача жен: «наша слава пониче», «покладоша головы свои». В К-Б нет ни одной фразы, где бы сообщалось, чем кончилась битва, которой посвящено это произведение.²⁴ Видимо, поэтому переписчик К-Б Ефросин непосредственно за текстом «Задонщины» поместил несколько записей о событиях после 1380 года.

Кроме рассмотренных выше фрагментов, А. А. Зимин приводит еще несколько примеров чтений К-Б, которые он считает первичными (фраза с упоминанием имени царя Соломона, описание боя, обращение Пересвета к Ослябе). Не будем задерживаться на разборе этих примеров, так как и в этих случаях А. А. Зимин опирается не на соотношение текстов: он выдвигает в качестве аргумента, доказывающего первичность К-Б, только его ясность. Кстати отметим, что примерами, не соотносимыми с изменениями текста во всех сохранившихся списках, нельзя доказать первичность того или иного чтения. Кроме того, любой список может сохранить некоторое число первоначальных чтений, но, даже доказав их первичность в данном списке, нельзя еще доказать первичность текста этого списка в целом.²⁵

Одним из доводов, подтверждающих первичность К-Б, А. А. Зимин считает различие в идейной направленности краткого варианта «Задонщины» и полного ее текста. А. А. Зимин пишет: «Можно еще обратить внимание на следующие обстоятельства: мрачный колорит, присутствующий в обеих редакциях „Задонщины“, естествен в Краткой, возникшей еще в обстановке татарских набегов на Москву (сожжение Москвы Тохтамышем в 1382 году), и непонятен в Пространной, прославляющей подвиги русских воинов» (стр. 89). На наш взгляд, существенных различий между списком К-Б и остальными списками нет: «мрачный колорит» того и другого варианта объясняется кровоспролитостью сражения на Куликовом поле в 1380 году, а прославление русского оружия и ожидание победы русских, как только что указывалось, имеется и в К-Б. Отличие этого списка от остальных определяется лишь отсутствием второй части рассказа, где описывается победное окончание битвы. Различие «идейной направленности» краткого текста «Задонщины» и полных — не более чем фантазия.

«Задонщина» и Ефросин

Переписчик списка К-Б, монах Кирилло-Белозерского монастыря Ефросин, переписывая и многие другие сохранившиеся до нашего времени рукописи. Работа Ефросина над этими текстами позволяет понять некоторые особенности списка К-Б. Ефросин отличался активным отношением к переписываемым текстам. Он нередко вносил в них изменения: переделывал отдельные фразы, включал отрывки из других произведений и очень часто сокращал текст оригинала. Краткость «Задонщины» в списке К-Б вполне может быть объяснена склонностью Ефросина к сокращениям. Этому вопросу и посвящена статья Р. П. Дмитриевой «Приемы редакторской правки рукописца Ефросина». Статья эта вызвала резкое возражение А. А. Зимина. Однако критика его носит чисто декларативный характер. Никаких фактов, которые противоречили бы анализу материала, приведенного Р. П. Дмитриевой, у А. А. Зимина нет. Свои возражения он начинает с заявления, будто бы «методически неверно уже то, что Р. П. Дмитриева изучает не всю творческую лабораторию Ефросина, а только те приемы, которые соответствуют ее представлению о характере работы этого книжника над К-Б» (стр. 90). Непонятно, почему нельзя изучать одну из сторон книгописной деятельности Ефросина, тем более, что его книгописной и редакторской работе в целом посвящено обстоятельное исследование Я. С. Лурье,²⁶ материалы и выводы которого неоднократно использованы в статье Р. П. Дмитриевой.

Далее А. А. Зимин упрекает Р. П. Дмитриеву, что она «не ставит вопроса о том, был ли Ефросин только переписчиком (как она полагает), или он мог быть и автором тех или иных текстов» (стр. 90). Вопросы можно ставить самые разнообразные, но выводы должны основываться только на конкретном материале. Изучение всех дошедших до нас сборников Ефросина позволило Я. С. Лурье устано-

²⁴ Об этом см. подробнее: Дмитриева, стр. 251.

²⁵ А. А. Зимин говорит, что отсутствие в К-Б сообщения об участии новгородцев в Куликовской битве соответствует действительности, и на этом основании считает, что его не было в оригинале «Задонщины». Возможно (этот эпизод отсутствует также в списке, использованном в Печатном варианте «Сказания о Мамаевом побоище»), но из этого совсем не следует, что и весь текст К-Б первичен. Заметим попутно, что утверждать безоговорочно о неучастии новгородцев в битве на Куликовом поле мы не можем. А. А. Зимин ссылается на мнение М. Н. Тихомирова, по есть ведь и другие мнения.

²⁶ Я. С. Лурье. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в. «Труды Отдела древнерусской литературы», т. XVII, 1961. стр. 130—168.

вить, что Ефросин иногда вносил изменения в переписываемые им тексты (примеры этого приведены и в статье Р. П. Дмитриевой), но принадлежащих самому Ефросину произведений пока не обнаружено. Но если бы и существовали сочинения, созданные Ефросином, то это не имеет принципиального значения для выводов, к которым пришла Р. П. Дмитриева.

И все остальные возражения А. А. Зимина носят характер таких же необоснованных, а иногда и просто непонятных претензий. В заключение А. А. Зимин пишет: «Итак, Р. П. Дмитриевой не удалось доказать, что при переписке произведений древнерусской литературы Ефросин „вольнo“ обращался с текстами, расширял и изменял их по собственному произволу» (стр. 90). Не ясно, какие еще требуются доказательства, если сохранившиеся материалы книгописной деятельности Ефросина дают возможность совершенно точно определить, как изменял он переписываемые произведения. Так, например, сличение переписанного Ефросином текста «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия с рукописью, служившей ему оригиналом, позволило установить, какие именно изменения внес Ефросин при переписке памятника. Изменения эти выразились главным образом в сокращениях, производимых определенными приемами. Те же приемы сокращений применены Ефросином и при переписке других произведений («Хождения» игумена Даниила, «Толковой палей», «Сказания об Индийском царстве»).

Нетрудно заметить подобного же рода сокращения и в списке К-Б, написанном рукой Ефросина. Лаконизм и отсутствие повторов в тексте «Задонщины» по К-Б, о которых все время говорит А. А. Зимин, как раз является не признаком его первичности, а результатом работы переписчика. Стремление к краткости и лаконизму — характерная черта редакторской работы Ефросина, что прослеживается на примере многих переписанных им произведений. Во всех случаях Ефросин стремится как можно короче передать содержание памятника, сохранив лишь основное. Желание Ефросина сократить текст «Задонщины» можно считать вполне естественным, так как в ней имелись и повторы, и поэтические отступления, и неясности. Многие из этого Ефросин и убрал по свойственной ему склонности к лаконизму.

Наблюдения над книгописной деятельностью Ефросина объясняют происхождение отдельных особенностей списка К-Б и подтверждают то обстоятельство, что перед нами не просто «краткий текст», а текст сокращенный. Писец Ефросин сократил первоначальный полный текст «Задонщины», близкий тексту в списке С.²⁷

«Задонщина» и Никоновская летопись

По мнению А. А. Зимина, доказательством позднего происхождения полных списков («Пространная» редакция) «Задонщины» является то, что одним из их источников была Никоновская летопись. Это предположение А. А. Зимина прежде всего наталкивается на одно непреодолимое препятствие: старший список полной «Задонщины» датируется началом XVI века,²⁸ тогда как создание Никоновской летописи относится к 30—40-м годам XVI века. Рассмотрим, однако, все приводимые А. А. Зиминим «свидетельства» влияния Никоновской летописи на полные списки «Задонщины» так, как будто бы этого препятствия нет. Необоснованность гипотезы А. А. Зимина выступит и в этом случае достаточно убедительно.

Начало рассказа «Задонщины» с упоминанием пира у Микулы Васильевича А. А. Зимин считает явлением вторичным (в К-Б этот эпизод отсутствует). Обосновывая свою точку зрения, А. А. Зимин пишет в примечании 16: «Это — мотив, известный Никоновской летописи (ПСРЛ, т. XI. СПб., 1897, стр. 51). Никоновскую летопись можно считать одним из источников и других сведений Пространной „Задонщины“». Далее он отмечает, что и список убитых в И1, У и С — явление вторичное. Источником его также послужила Никоновская летопись, «ибо только там, в таком же списке встречается князь Федор Семенович, отсутствующий в перечне погибших воевод в Летописной повести о Мамаевом побоище и Синодике» (стр. 89).

Эти две ссылки на Никоновскую летопись как источник «Пространной» редакции «Задонщины» более чем странны.

В Никоновской летописи под 1380 годом переписан текст «Сказания о Мамаевом побоище», представляющий собой явно позднюю редакцию этого памятника со вставками из Летописной повести о Мамаевом побоище.²⁹ Слова о пире у Микулы

²⁷ К перечисленным в статье Р. П. Дмитриевой примерам можно добавить еще сведения о переписанном Ефросином «Слове о хмеле» (эти наблюдения не были учтены в статье). Сличение ефросиновского списка «Слова о хмеле» с другим сохранившимся списком той же редакции показало, что и в этом случае Ефросин сократил текст, но в то же время включил в него стихотворный фрагмент и цитату из «Слова о злых женах».

²⁸ Филиграния, близкие №№ 1650 — 1538 года, 2970 — до 1515 года и 2632 — 1520 — 1535 года, по Н. П. Лихачеву.

²⁹ См.: А. А. Шахматов. Отзыв о сочинении С. К. Шамбинаго: «Повести о Мамаевом побоище». СПб., 1910, стр. 143—161; см. также: Л. А. Дмитриев.

Васильевича встречаются и в других вариантах и редакциях «Сказания о Мамаевом побоище», в том числе и более ранних, чем редакция Никоновской летописи. Почему эту фразу в «Задонщине» нужно возводить именно к Никоновской летописи, совершенно не ясно: если считать наличие этой фразы в списках «Задонщины» У и Ж результатом влияния на поздние виды «Задонщины» «Сказания о Мамаевом побоище», то и нужно говорить о «Сказании о Мамаевом побоище», а не о Никоновской летописи. Не меньше, однако, оснований видеть во фразе о пире у Микулы Васильевича, встречающейся в «Сказании о Мамаевом побоище», результат влияния на «Сказание» «Задонщины».³⁰ То же самое необходимо сказать и об имени Федора Семеновича: вопреки приведенным выше словам А. А. Зимина имя это при упоминании погибших встречается во всех редакциях «Сказания о Мамаевом побоище», а отнюдь не только в Никоновской летописи.

А. А. Зимин делает еще две ссылки на Никоновскую летопись как на источник «Пространной» «Задонщины». Во-первых, он вскользь замечает, что интерес к битве 1185 года появился в конце XV века (см. об этом выше, стр. 108). Во-вторых, на стр. 89 А. А. Зимин объявляет «каменные горы» — чтение «Задонщины» в полных списках, близкое «Слову о полку Игореве» (вместо «берези хараужныя» К-Б), вторичным, заимствованным из Никоновской летописи, из читающегося там «Хождения» митрополита Пимена (заметим, что «Хождение Пимена в Царьград», написанное Игнатием Смольнянином, известно не только по Никоновской летописи). Предположение это, однако, совершенно лишено оснований, и принять его никак нельзя, прежде всего потому, что такие незначительные совпадения различных по характеру текстов не могут свидетельствовать о какой бы то ни было связи между ними.³¹ Кроме того, в «Хождении» упоминается вполне конкретное географическое название «горы каменья Красныя» (перед этим там же упоминалась река «Горы Высокия»). В тексте же «Задонщины» говорится о том, что берега Дона каменные и высокие.

Таким образом, заявление А. А. Зимина о влиянии Никоновской летописи на полные списки «Задонщины» нельзя принимать даже как простую гипотезу.

«Задонщина» и «Слово о полку Игореве»

Возражая против предположения Р. О. Якобсона о наличии двух изводов «Задонщины», А. А. Зимин пишет: «...схема Р. О. Якобсона не может объяснить и его тезис о том, что „Слово о полку Игореве“ было источником „Задонщины“. В самом деле, если „Слово“ было использовано составителем поэтической повести о Куликовской битве, то совершенно естественно, что общие места этих памятников должны были находиться в архетипе „Задонщины“. Этого, однако, в целом ряде случаев нет: „Слово“ совпадает с индивидуальными чтениями отдельных списков Пространной редакции, которые не могут быть возведены к ее протографу» (стр. 91). Утверждение А. А. Зимина звучит на первый взгляд как будто убедительно, но за каждым утверждением должны лежать объективные данные.

Наличие в списках «Задонщины» индивидуальных параллелей к «Слову», т. е. отдельных, сходных со «Словом» чтений какого-либо одного из списков, уже привлекало внимание исследователей. В статье О. В. Творогова, например, рассматривается более двадцать таких индивидуальных параллелей.³² Но наиболее существенными оказываются те из них, которым во всех остальных списках «Задонщины» соответствует общий или сходный, но более далекий от «Слова» текст.

Какие же индивидуальные параллели приводит А. А. Зимин в обоснование своего тезиса?

Первая из них — это чтение списка С «ястреби и соколы и белозерстии кречеты отвихахуся от златых и колодицы ис каменн грады Москвы, обриваху шевковыя опутины, возвиваючися под синия небеса», где А. А. Зимин вслед за В. П. Адриановой-Перетц³³ считает упоминание «шевковых опутин» параллелью к «опустоша въ путины жетъзны» «Слова о полку Игореве».³⁴ Но эта параллель

к литературной истории Сказания о Мамаевом побоище. В кн.: Повести о Куликовской битве. Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 407—408.

³⁰ См.: Л. А. Дмитриев. Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений. В кн.: «Слово» и памятники, стр. 418—419.

³¹ Ср. в «Хождении» Пимена: «В понеделникъ же пловуще минухомъ горы каменья Красныя, въ вторникъ же Терклию град минухом...», в «Задонщине» (по У, в И1 и С сходно): «Доне, Доне, быстрая река, прорыла еси ты каменные горы и течеши в землю Половецкую».

³² О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 297—312.

³³ В. П. Адрианова-Перетц. Фразеология и лексика «Слова о полку Игореве». В кн.: «Слово» и памятники, стр. 82—83.

³⁴ Большинство издателей «Слова о полку Игореве» исправляют «опустоша» на «опуташа» (так в екатерининской копии «Слова»).

вовсе не имеет того решающего значения, которое склонен придавать ей А. А. Зимин, делающий на ее основании ответственной вывод: «...„Игорева песнь“, таким образом, связана не с первоначальным, а с индивидуальным вариантом одного из списков „Задонщины“» (стр. 91). В действительности, как об этом и пишет Р. П. Дмитриева,³⁵ данное чтение могло восходить и к протографу «Задонщины». Дело в том, что в списках У и И1 слова, соответствующие тексту «обриваху певковые опутины», отсутствуют. Следовательно, в данном примере нет основного признака индивидуального чтения: наличия в остальных списках общего для всех них, но более далекого от «Слова» текста.

Перейдем к следующему примеру, приведенному А. А. Зиминим. В списке У читается: «не в обиде есмь болп по роженно». «Сходный текст есть только в „Слове“: „не было нъ обидѣ порождено“», — пишет А. А. Зимин (стр. 92) и продолжает: «Отсутствии слов „по роженно“ в И1. С (а также К-Б) показывает, что их не было в архетипе „Задонщины“». Опять та же ошибка: А. А. Зимин считает, что чтение, отсутствующее в остальных списках почему-то не может восходить к протографу. Между тем в списках С и К-Б текст изменен,³⁶ а список И1, совпадая в остальном с текстом У, это словосочетание опускает.

Сложнее объяснить употребление слова «потяти» в сходных контекстах «Слова» и списка У. Это первая подлинная индивидуальная параллель из перечисленных А. А. Зиминим совпадений «Слова» с отдельными списками, поскольку ей и в И1 и в С соответствует одно и то же слово — «посеченым». О. В. Творогов, приводя рассматриваемую параллель, ограничился допущением, что ее можно объяснить «либо вторичным обращением к „Слову“, либо случайным совпадением».³⁷ Есть и другие предположения: слово «потяти» восходит к архетипу, а в И1 и С это редкое слово независимо друг от друга было заменено «посеченым» под влиянием предшествующего контекста — «побиты и посечены от паганых татар». Р. П. Дмитриева предполагает в данном месте влияние на список С списка, близкого к И1.³⁸

Но как же объясняет А. А. Зимин наличие индивидуальных параллелей к «Слову» в списке К-Б, что уже само по себе противоречит его концепции о зависимости «Слова» от «Пространной» «Задонщины»? Прежде всего он не склонен относить к параллелям те из сходных чтений К-Б и «Слова», которым как раз придает наибольшее значение О. В. Творогов.³⁹ Так, он считает, видимо, случайными совпадениями чтения К-Б «сядемь, брате, на свои борзи комони» и «галци свои речи говорить». Допустим. Что же касается третьей параллели — употреблении в списке К-Б глагола «пробил» («пробиль еси берези хараужныя»; в остальных списках «прорыла»), то А. А. Зимин объясняет это «палеографической» случайностью: тем, что «надстрочные буквы „б“ и „р“ в скорописи почти не различимы («пробиль» — «прорыла»)» (примечание 43). В результате якобы произошло случайное совпадение с чтением «Слова». Но, во-первых, маловероятным кажется такое совпадение «палеографических опусок» в *четырёх* независимых друг от друга списках, причем речь идет не только о замене одной буквы другой, но и о замене грамматической формы («пробиль» — «прорыла»). Во-вторых, сомнительно, чтобы буква «б» была в выносном положении перед гласной.⁴⁰ В-третьих, А. А. Зимин говорит почему-то о скорописи, тогда как все дошедшее до нас списки, кроме С и Ж, написаны, как и следовало ожидать для XV—начала XVI века, полууставом или в крайнем случае беглым полууставом, в котором выносные «р» и «б» различались достаточно четко. Значит, перед нами снова случайное совпадение? К случайным совпадениям с чтениями «Слова» надо будет отнести и чтения «взды под синие облакы» (ср. в «Слове»: «летая умомъ подь облакы»), «с моря» (в «Слове»: «тучя съ моря идуть»), «синие молны» (в «Слове»: «трепешуть синии млънии»). Такое обилие случайных совпадений в отдельных чтениях К-Б и «Слова» о полку Игореве» представляется маловероятным.

Р. П. Дмитриева считает, что индивидуальные параллели «Слова» и списка К-Б могут быть объяснены тем, что К-Б сохраняет чтение оригинала, а список С того же izvoda в данных отрывках, наряду с целым рядом других, подвергся влиянию одного из списков izvoda Унд.⁴¹

Что же касается «действительных совпадений» К-Б и «Слова», примеры которых приводит А. А. Зимин на стр. 96—97, то это действительно «первоначальные чтения», им действительно «противостоят индивидуальные, испорченные варианты в И1, У и С» (как об этом говорится и в статье О. В. Творогова «„Слово о полку

³⁵ Дмитриева, стр. 245.

³⁶ См. об этом выше, стр. 110.

³⁷ О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 298.

³⁸ См.: Дмитриева, стр. 232.

³⁹ См.: О. В. Творогов. «Слово о полку Игореве» и «Задонщина», стр. 305—306.

⁴⁰ См.: О. В. Творогов. О выносных буквах в русских рукописях XV—XVII веков. В кн.: Исследования источников по истории русского языка и письменности. Изд. «Наука», М., 1966, стр. 162—164.

⁴¹ См.: Дмитриева, стр. 263.

Игорева“ п „Задонщина“» на стр. 300—301), но из этого вовсе не следует, как полагает А. А. Зимин, что «существовал список „Задонщины“ Синодального извода (правленный по списку, близкому к У), который содержал некоторые архаичные чтения памятника» и который, как видно из приведенной здесь же схемы А. А. Зимина, будто бы лег в основу «Слова о полку Игорева». Из приведенных совпадений следует лишь то, что К-Б в ряде случаев сохранил первоначальный текст, искаженный по-разному и независимо друг от друга в остальных списках «Задонщины».

Подведем некоторые итоги. Фрагменты «Задонщины», связанные с текстом «Слова о полку Игорева», ближе к «Слову» то в списках извода Син (К-Б, С и список, использованный в Печатном варианте «Сказания о Мамаевом побоище»), то в списках извода Унд (И1, И2, У). Кроме того, имеется целый ряд чтений, близких «Слову», которые сохранились только в каком-нибудь одном списке. Список К-Б в этом отношении не одинок.

Для того чтобы объяснить, как в «Слове о полку Игорева» могли попасть чтения разных изводов, А. А. Зимин и должен был сделать предположение, что список извода Син, которым пользовался автор «Слова», был правлен по списку извода Унд, причем близкому списку У. Это предположение необходимо А. А. Зимину для того, чтобы попытаться объяснить, как попали в текст «Слова», во-первых, отрывок, читающийся в изводе Унд, «не в обиде есмь были по рождению ни ястребу...», и, во-вторых, индивидуальное чтение списка У — «потяты» (в остальных «посечены»).

Однако следует заметить, что А. А. Зимин недостаточно внимателен. Если встать на его точку зрения, то придется допустить также, что автор «Слова о полку Игорева» должен был использовать такой список извода Син, который был бы правлен не только по списку, близкому У, но и списку, близкому И1. Дело в том, что фраза «Слова о полку Игорева» «пути им вѣдомы» в изводе Син читается несколько иначе (С — «дороги нам сведомы», Печатный вариант «Сказания о Мамаевом побоище» — «дорога им велии сведома», в К-Б этой фразы нет). В изводе Унд фраза сохранилась только в списке И1 — «пути имъ знаемъ велими». Таким образом, тот гипотетический список «Задонщины», который мог быть привлечен автором «Слова», должен совпадать в отдельных чтениях не только с двумя указанными А. А. Зиминим изводами, но и с каждым из сохранившихся списков. Ясно, что и всякий новый обнаруженный список «Задонщины» будет иметь какие-то индивидуальные черты, с одной стороны, более близкие «Слову о полку Игорева», а с другой — более далекие от него. Даже найденная недавно выписка из «Задонщины» в Мине⁴² вместе с К-Б дает более близкое чтение «Слову» («быти стужу и грому»), чем все известные до сих пор списки.

Все это свидетельствует только о том, что оригинал «Задонщины» безусловно был ближе всех последующих списков к «Слову», так как в основе его лежал текст «Слова».

Если бы «Слове о полку Игорева» использовало «Задонщину», а не наоборот, то оно было бы ближе к каким-нибудь определенным вариантам «Задонщины», так как трудно допустить, что в XVIII веке в руках у предполагаемого фальсификатора мог оказаться тот первоначальный авторский текст «Задонщины», которого уже не было ни в конце XV века (к этому времени относится испорченный текст списка К-Б), ни в XVI—XVII веках (к последнему времени относятся все остальные, также испорченные списки «Задонщины»).

Вот почему А. А. Зимину так важно было доказать, что только одна группа поздних списков «Задонщины» близка к «Слову». Это ему не удалось сделать, и он вынужден был пойти на усложнение своей гипотезы: допустить существование списка, причудливо сочетавшего как чтение обоих изводов, так и индивидуальные чтения отдельных списков «Задонщины».

Но если совокупность всех лучших параллелей к «Слову» естественна в авторском списке «Задонщины», ближе других стоявшем к своему источнику, то вторичное объединение их всех в позднем списке крайне маловероятно.

Поэтика подражания

Особый раздел своей статьи А. А. Зимин посвящает опровержению доводов, приводимых Д. С. Лихачевым в доказательство подражательного характера «Задонщины», и спору с его концепцией поэтики подражания.

Напомним вкратце суть концепции Д. С. Лихачева. Между «Задонщиной» и «Словом о полку Игорева» существует тесная связь, отрицать которую невозможно, и вопрос заключается лишь в том, какое из этих произведений первично. Д. С. Лихачев обращает внимание на одну из сторон этого вопроса, а именно на существование «поэтики подражания». Подражательное произведение несет в себе признаки подражания. Отличить подражательное произведение от оригинального можно по этим признакам даже в том случае, если мы не знаем того произведения,

⁴² «Слове» и памятники, стр. 556.

которому подражание следует. По мнению Д. С. Лихачева, возможно установить общие признаки подражаний и, в частности, особый их тип, возникший в конце XIV—XV веков в связи со стремлением возродить русскую культуру эпохи ее независимости. Это стремление явственно ощущается в данный период в зодчестве, живописи, общественной мысли. Что же касается литературы, то для нее в это время свойствен тип «нестилизационных подражаний», когда авторы включают в свои произведения отдельные понравившиеся им выражения и образы из старых образцов. При этом происходит механическое смешение стилей: своего, т. е. стиля автора подражания, и чужого, т. е. стиля произведения-образца. Д. С. Лихачев показывает, что в конце XIV—начале XV века возникает целый ряд произведений, заимствующих свои отдельные элементы из «Повести о разорении Рязани Батыем», «Похвалы роду рязанских князей», «Жития Александра Невского», «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, «Слова о погибели Русской земли» и пр. Способ, которым новые произведения заимствуют свои элементы из произведений времен расцвета древнерусской литературы, один и тот же: механически, искусственно заимствуются те элементы, которые могут «украсить» новое произведение. Поэтому образцами для подражания служат всегда произведения, отмеченные яркой образностью. Но при этом понравившиеся выражения и образы употребляются в новом произведении не всегда к месту. Иногда подражатель употребляет их по несколько раз, причем эти повторения не имеют художественной функции, как, допустим, в фольклоре (единоначатия, рефрены и пр.). Подражательные произведения нестилизационного типа всегда и у всех народов отличаются меньшим творческим началом и меньшей цельностью, чем произведения, послужившие оригиналами для подражаний. Такая стилистическая неоднородность свойственна и «Задонщине». Д. С. Лихачев отмечает в ней три слоя: 1) слой, близкий к «Слову» (наличие которого не будет отрицать ни один специалист), 2) делопроизводственный слой и 3) слой, близкий позднемосковскому фольклору. Как же сочетаются в «Задонщине» эти три слоя? Во-первых, «Задонщина» инкрустирует отдельные пассажи из «Слова о полку Игореве». Все то, что создает автор «Задонщины» сам, чем связывает инкрустируемые элементы, написано совсем в другом, по преимуществу — деловом стиле. Наконец, имеются и одиночные элементы былинного характера, однако резко отличные от стиля «Слова о полку Игореве». Примечательно, что в Кирилло-Белозерском списке есть заимствования из «Слова о погибели Русской земли», причем между этими заимствованиями и заимствованиями из «Слова» нет никакой принципиальной разницы. Таковы основные положения концепции Д. С. Лихачева.

Свои возражения Д. С. Лихачеву А. А. Зимин начинает с отрицания трехслойности стилистики «Задонщины». Он признает слой, близкий к «Слову», но отрицает для большинства списков «Задонщины» и наличие делопроизводственной стилистики. Однако третий — фольклорный слой он предлагает не отделять от первого. А. А. Зимин пишет: «...пока не доказано, что автор „Задонщины“ использовал текст „Слова“, нельзя одни отражения фольклорной поэтики „Задонщины“ возводить к самому народному творчеству, а другие — к „Слову“». Это Зимин считает логической ошибкой (*petitio principii*), делающей «несостоятельным все дальнейшее изложение» (стр. 98).

Стоит, однако, от общих рассуждений перейти к конкретному материалу, как обнаружится «несостоятельность» возражений самого А. А. Зимина. Дело в том, что, кроме «элементов народно-поэтической стилистики», общих для «Задонщины» и «Слова» («поле чистое», «поля широкая», «река быстрая» и т. д.), в «Задонщине» есть еще свой слой фольклорных словосочетаний, отсутствующих в «Слове»: «кони добрые», «каменный град Москва», «славный град Москва», «белыя руцы», «мечи булатные», «опутыны шевковыя», «стук стучит», «гром гремит», «зимы зимовати» и т. д. Большая часть словосочетаний этого типа характерна для исторических песен, возникших не ранее XIII—XIV веков. Таким образом, Д. С. Лихачев имел полное основание, не делая никакой логической ошибки, отделять третий стилистический слой «Задонщины» от первого и определять его как «слой, близкий позднемосковскому фольклору». «Слово» не было единственным источником фольклоризмов «Задонщины».

Пытаясь опровергнуть аргументацию Д. С. Лихачева, А. А. Зимин не останавливается на его концепции в целом. Он не возражает против того, что для конца XIV—начала XV века были типичны нестилизационные подражания описываемого типа. Он не возражает, что в списке К-Б есть признаки нестилизационных подражаний «Слову о погибели» того же типа, как и заимствования из «Слова о полку Игореве». Он не возражает против любого из признаков поэтики подражания, не возражает и против того, впрочем, неоспоримого факта, что стилизационных подражаний не было еще во второй половине XVIII века. А. А. Зимин возражает не против всех этих общих положений концепции Д. С. Лихачева, а лишь против отдельных приводимых им соображений. Эти возражения, даже если признать правильность некоторых из них, не могут поколебать концепции в целом. Попытаемся, однако, разобраться в возражениях А. А. Зимина по поводу отдельных признаков подражательности «Задонщины».

Начнем с одного общего вопроса. А. А. Зимин считает, что прежде, чем говорить о подражательности «Задонщины», надо установить взаимоотношения ее списков. Но дело в том, что признаки подражательности есть во *всех* списках. Они присущи, следовательно, произведению как таковому. Если же признаки подражательности, как утверждает А. А. Зимин, имеются только в полных списках (разумеется, что в полных списках они полнее), то и в этом случае показательность этого факта не ослабевает для «перевернутого» скептиками взаимоотношения «Слова» и «Задонщины». «Слово» (по А. А. Зимину) подражает полной редакции, а раз в полной редакции даже по признанию А. А. Зимина есть разностильность, то трудность создать единое по стилю, высокохудожественное произведение на основе разностильного и при этом испорченного текста тем более очевидна.

Действительно, попробуем предположить, что не «Задонщина» подражает «Слову», а «Слово» «Задонщине». Тогда сразу же столкнемся с целым рядом крайне необычных для «поэтики подражания» явлений. Автор «Слова», которое по своим художественным достоинствам несравненно выше «Задонщины» (а это не отрицает и А. А. Зимин), должен был бы творчески выделить из трех основных стилей этого памятника, которые представлены в нем в механическом смешении, только один, а другие систематически опустить и так тонко почувствовать этот стиль как единое целое, как нечто однородное, чтобы выдержать в этом «реконструированном стиле» все свое произведение, более сложное по теме, идеям, образам, лексике, более крупное по размерам. Положение осложняется еще и тем, что автор «Слова» должен был бы обращаться не к лучшей редакции, согласно А. А. Зимину (т. е. редакции Кирилло-Белозерского списка), а к худшей, испорченной (А. А. Зимин постоянно говорит, что так называемая «Пространная» редакция смешала деловой стиль с поэтическим, внесла различные несообразности и т. д.). Ясно, что автор «Слова» создал свой, особенно сложный и трудный тип чисто стилизационных подражаний — подражаний, стилизационно-реконструирующих только один из слоев явно трехслойного произведения. Но, как показывает Д. С. Лихачев, опирающийся в этом случае на наблюдения В. В. Виноградова, М. К. Азадовского и др., в конце XVIII века вообще не было стилизационных подражаний. Не было ощущения «древнего стиля», не было представлений о стиле фольклорных произведений. Подражания фольклору конца XVIII века носили очень грубый характер и не стилизовали фольклор.

Говоря об элементах делопроизводительной конкретизации, вторгающейся в поэтический стиль «Задонщины», Д. С. Лихачев, в частности, приводит фразу о расчете лет от Калкской битвы до Мамаева побоища. А. А. Зимин, обращаясь к этому примеру, говорит: «Д. С. Лихачев прав, когда речь идет о списках Пространной „Задонщины“. Но в К-Б „делопроизводительных“ слов „лет 160“ нет, а об этом Д. С. Лихачев даже не упомянул» (стр. 98). Но ведь у Лихачева речь идет не о двух словах, отсутствие которых в К-Б свидетельствует только о дефактности этого списка, а о всем отрывке в целом — «От Калагского рати до Мамаева побоища лет 160», часть которого в К-Б читается. Далее, приведя еще несколько примеров «делопроизводительного» характера из разных списков «Задонщины» и отметив, что этих чтений в списке К-Б нет, А. А. Зимин пишет: «Таким образом, самая суть вопроса заключается в том, что в Краткой „Задонщине“ нет явных следов „делопроизводительного стиля“» (стр. 98). Но А. А. Зимин не может пренебречь отмеченными Д. С. Лихачевым в списке К-Б элементами делопроизводительного стиля, однако опровергает их такого рода аргументацией: «Слова „тако рече“ вряд ли следует считать специфически „канцелярскими“.⁴³ Фраза „от тоя рати“ просто деформирована в списке. Уточнение даты Куликовского боя («сентября 8 в среду...») может представлять собою особенность самого списка К-Б, а не артефакта Краткой „Задонщины“... Актовая формула „се аз“ в К-Б могла быть опиской составителя списка. Остается лишь перечень погибших воевод, который для песни-плача отнюдь не инородное тело» (примечание 62). Хочет того или нет А. А. Зимин, но этим примечанием он признает, что в высокопоэтическом тексте «Задонщины» по списку К-Б элементы речи делового характера встречаются, и тем самым невольно подтверждает справедливость общих наблюдений Д. С. Лихачева.

Итак, все то, что в списке К-Б может быть охарактеризовано как элементы делопроизводительного стиля, А. А. Зимин объявляет либо особенностью только этого списка «Задонщины», а не «Краткой» «Задонщины» (существование которой А. А. Зимину надо еще доказать), либо неважным чтением в данном списке первоначального текста этой «Краткой» «Задонщины», либо «не инородным телом». Отметим, что «не инородное тело» (перечень погибших воевод в К-Б) отнюдь не входит в состав «песни-плача», как говорит А. А. Зимин. Автор перечисляет (именно перечисляет!) погибших воевод *перед* плачем русских жен: «Тогда же не тури возрыкають на поле Куликове на речке Непрядне, взопаши избивении от поганых князи великих и бояря сановных, князя Федора Романовича Бело-

⁴³ Заметим, что ниже он сам же выражение «Слова о полку Игореве» «а ркучи» расценивает как элемент делового языка.

зерскаго п сына его князя Ивана, Миклу Васильевича, Федор Мемко, Иван Сано, Михайло Вренков, Иаков Ослебятин, Пересвет чернецъ и иная многая дружина».

Говоря в своем месте о статьях Л. А. Дмитриева и Н. С. Демковой, посвященных вопросам отношения «Задонщины» и «Сказания о Мамаевом побоище», А. А. Зимин обвиняет авторов этих статей в априорности, так как они считают, что «Задонщина» была тем памятником, из которого делались заимствования в «Сказании». Поэтому, пишет А. А. Зимин, выводы данных авторов не имеют убедительности.⁴⁴ После такого рода замечаний Л. А. Зимина особенно странным выглядит его собственный вывод о том, что в «Пространной» «Задонщине» добавления и изменения по сравнению с «Краткой» «появились под влиянием „Сказания о Мамаевом побоище“, Никоновской летописи и, отчасти, творческой манеры составителя этого памятника» (стр. 98); на каких данных строится такое утверждение — не известно.⁴⁵ Однако именно это утверждение дает основание Л. А. Зимину заявлять далее о «систематической однородности» «Краткой» «Задонщины», о том, что «чиновничьи уточнения» в «Пространной» «Задонщине» «инородное тело... по сравнению с Краткой, а не со „Словом“» (стр. 98).

Даваемую Д. С. Лихачевым характеристику образа Бояна в «Слове» и «Задонщине» А. А. Зимин расценивает как очень субъективную, поскольку Д. С. Лихачев, по его мнению, как и во всех остальных случаях, пренебрегает данными «Краткой» «Задонщины». В К-Б, пишет А. А. Зимин, «обращение к Бояну... имеет точный смысл: древний певец воспевал князей прошлого, а автор „Задонщины“ хочет петь о Дмитрии Донском» (стр. 99). Однако А. А. Зимин явно улучшает здесь текст списка К-Б, вкладывая в него смысл, который из него извлечь нельзя. Текст К-Б, о котором идет речь, следующий: «Тои бо вещи Боян воскладая свои златыя персты на живыя струны, пояше славу русскимъ княземъ: первому князю Рюрику, Игорю Рюриковичю и Святославу Ярославичю, Ярославу Володимировичю, восхваляя их песни и гуслеными бупными словесы на русскаго господина князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Володимера Одревича, зане же их было мужество и желанне за землю Русьскую и за веру христианскую». Как можно вывести отсюда, что «автор „Задонщины“ хочет петь о Дмитрии Донском», непонятно. Единственное, что следует из данного текста, это то, что Боян, одновременно воспекает князей Киевской Руси и Дмитрия Донского. Восстанавливая смысл вступления «Краткой» «Задонщины», А. А. Зимин в данном случае черпает этот смысл из «Пространной» «Задонщины», в которой, по его же словам, первоначальный текст «был осложнен».

Возражая Д. С. Лихачеву по поводу того, что описание движения татар «между Доном и Непром» возникло в «Задонщине» под влиянием «Слова», А. А. Зимин пишет, что владения Мамая «простирались на юг от Рязанского княжества, граничили с Великим княжеством Литовским и включали в свою орбиту Крым» (стр. 100). Последний действительно находится между устьем Дона и Днепра. Но ведь речь идет не о владениях Мамая (кстати, их восточные границы Л. А. Зимин почему-то не очерчивает), а о том, откуда Мамай двигался на Русь. Двигался же он, как известно, из-за Волги, где находилась столица Золотой Орды. Перепрываясь за Волгу, на ее западный берег, Мамай стал кочевать в устье реки Воронеж. Этот маршрут никак не может быть определен как движение «между Доном и Непром». Нет никаких оснований писать о «движении полчищ Мамая из Крыма». Такие, идущие вразрез с обычной трактовкой утверждения можно делать только на основании специального исторического исследования маршрута Мамая или по крайней мере оговаривая их предположительность. Тут же А. А. Зимин замечает: «Кстати, автор „Сказания о Мамаевом побоище“ также пишет, что события происходили „между Доном и Непром, на поле Куликове“. Значит, в данном случае „Слово“ повлияло на „Сказание“?» (стр. 100). Прежде всего заметим, что данное чтение встречается не во всех редакциях и вариантах «Сказания», и А. А. Зимину следовало бы как-то оговорить это. А кроме того, в книге, с которой он полемизирует, при рассмотрении этого отрывка из «Сказания» высказывались

⁴⁴ Заметим, что эта «априорность» базируется на всей предшествующей литературе о памятниках Куликовского цикла, что вопрос о возможном вторичном влиянии «Сказания» на поздние тексты «Задонщины» в статьях ставится и изучается.

⁴⁵ О «влиянии» Никоновской летописи на «Задонщину» см. выше, стр. 112—113. Не вдаваясь в существо данного вопроса, отметим, что наблюдения над особенностями вставок из «Задонщины» в так называемом Печатном варианте «Сказания» показали, что этот вариант был связан с таким текстом «Задонщины», который включал в себя чтения, сохранившиеся в настоящее время только в списках К-Б и С. Как бы мы ни подошли к вопросу о взаимоотношении «Сказания» и «Задонщины», особенности Печатного варианта «Сказания» являются тем объективным критерием, который бесспорно свидетельствует об общем происхождении списков «Задонщины» К-Б и С, а следовательно, о существовании извода Сип и о вторичном характере текста К-Б (см.: «Слово» и памятники, стр. 395—433).

соображения о его заимствовании из «Задонщины»,⁴⁶ что также необходимо было оговорить. Наконец, нет ничего невероятного в предположении о возможном влиянии «Слова» на отдельные виды «Сказания», о чем писали Н. К. Гудзий, Р. О. Якобсон и ряд авторов рассматриваемого А. А. Зиминим сборника.

А. А. Зимин относит все несообразности и диссонансы в стиле только к полным спискам «Задонщины». Он пишет, например, что жены просят Москву-реку прилепять к себе убитых мужей только в «Пространной» «Задонщине», а в «Краткой» этой несообразности нет. Но чем же ее объяснить в этих полных списках? Все становится ясным, если объяснение нетепости искать в тексте «Слова о полку Игореве». Там Игорь не убит и Ярославна просит Днепр «възлелеять» к ней своего пленного мужа. Как бы предчувствуя бегство Игоря, она просит Днепр помочь своему мужу, донести его до нее. Чтобы отделить текст списка К-Б от других текстов «Задонщины», А. А. Зимин придает другой смысл слову «прилепей»: не доставь, лаская (как в «Слове» и в полных списках «Задонщины»), а «приглубь». Но ведь первое правило всякого толкования слова: давать ему то значение, которое реально существует в родственных текстах, а не то, которое выгодно исследователю.

Выражение «Задонщины» «полоянныя (поломяныя) вести», по мнению Д. С. Лихачева, — одно из свидетельств ее вторичности по отношению к «Слову», так как выражение это не соответствует содержанию «Задонщины»: в ней речь может идти лишь об убитых, а не о пленниках. «Полоянныя вести» «Задонщины» объясняются завесностью плача жен в этом памятнике от плача Ярославны в «Слове о полку Игореве», плача о муже, попавшем в плен. Как предполагает Д. С. Лихачев, фраза в списке С «Задонщины» «восплакалися жены поломяныя» (в остальных списках в этом месте «жены коломенския») подтверждает его интерпретацию выражения «полоянныя вести». Рассматривая это толкование Д. С. Лихачева, А. А. Зимин расценивает его как характерный «пассаж» неверной текстологической методики. Однако дело заключается не в неверной методике, а в сложности данного отрывка «Задонщины», толкование которого у А. А. Зими́на гораздо менее убедительно, чем у Д. С. Лихачева.

По мнению А. А. Зими́на, против доводов Д. С. Лихачева говорит следующее. Во-первых, то, что выражение «полоянныя вести» встречается лишь в одном списке И1 (в У и И2 — «поломяныя», в С — «поломяныя»). Во-вторых, как считает А. А. Зимин, «поломяныя жены» списка С — это описка вместо «коломенские» (в У в соответствующем месте — «коломенские», в И1 и И2 — «коломенския»).

Возможно, что А. А. Зимин прав, считая данное чтение С искажением первоначального «коломенские». Но это отнюдь не описка, «происшедшая от созвучия упоминавшихся выше „поломяных“ вестей с „коломенскими“ женами» (стр. 100—101). Заметим, что между словами «поломяныя вести» и «поломяныя жены» в С, как и в других списках, читается фраза с упоминанием Коломны: «Не шумове раю воспели в Коломных городах...» Бесспорно, что в С «жены поломяныя» и «поломяныя вести» не случайное совпадение, а смысловое и объяснить его можно только в том случае, если понимать выражение «поломяныя вести» как «вести о пленниках». Это свидетельствует о том, что хотя чтение «поломяныя» сохранилось лишь в одном списке, мы тем не менее имеем основание и написание «поломяныя» толковать, исходя из значения слова «поломяныя» — пленные. Чрезвычайно интересно следующее обстоятельство. И. И. Срезневский в своем словаре, приводя слово «поломяныны», толкует его как «племенной, родной». Единственный пример в словаре — «Чудо мое поломянное, играешн...» из «Повести о Дмитрии Басарге».⁴⁷ Но характерно, что в разных списках той редакции «Повести о Басарге» где встречается эта фраза, все время, как и в списках «Задонщины», варьируются написания с «м» и «н»: «поломянное» или «поломянное». По содержанию же текста, в котором встречается это слово, Басарга должен был назвать своего сына именно полоненным: он говорит это, возвращаясь на корабль от царя Несмеяна, который задержал Басаргу в своем царстве.

«Поломяныя вести» А. А. Зимин понимает, видимо, как вести «огненные», «пламенные», «жгучие», сопоставляя этот оборот с выражением «Слова о полку Игореве» «багряная стлба». Не ясно, чем обосновано предположение А. А. Зими́на о соответствии этих выражений в «Задонщине» и «Слове о полку Игореве». Не приводит А. А. Зимин и каких-либо примеров из других текстов, подтверждающих такое значение слова «поломянный». А в статье Д. С. Лихачева приведено точное соответствие, и по значению и по написанию, обороту «Задонщины» из Псковской первой летописи: «переняше псковичи *поломяную* свою *весь* от Филипа» (известие о захвате в плен псковских посадников и псковичей).⁴⁸ Чтения различных списков «Повести о Басарге» еще сильнее укрепляют не только

⁴⁶ См.: «Слово» и памятники, стр. 424—427.

⁴⁷ И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. II. СПб., 1902, стлб. 1135—1136.

⁴⁸ См.: «Русская литература», 1964, № 3, стр. 97.

такое толкование, но и закономерность вариантного написания «полояннны» и «пломяннны» при значении именно «пленные». Предоставляем самим читателям судить, чье толкование — Д. С. Лихачева или А. А. Зимина — более правильно и более убедительно.

Теперь несколько слов о затмении солнца в «Слове» и ярком его сиянии в «Задонщине». А. А. Зимин считает в равной степени возможным переделать приметку победы (яркое сияние солнца) на приметку поражения (солнечное затмение) и наоборот. «Найдя образный материал в „Задонщине“, — пишет А. А. Зимин, — о выезде в поход Дмитрия, автор „Слова“ мог вполне использовать его в своем произведении» (стр. 101). Итак, А. А. Зимин не отрицает, что между приметой в «Задонщине» и приметой в «Слове» есть прямая текстологическая связь. Посмотрим в таком случае, что на что могло влиять. Примет, как известно, могут быть сотни (об исходе битвы в древней Руси судили по вою волков и по многим другим приметам). Допустим, что в «Задонщине» исход битвы предсказывает просто хорошая погода (кстати, хорошая погода была и перед поражением русских на реке Пьяне за три года до Куликовской победы: солнце тогда настолько ярко сияло, что русские воины даже сняли с себя доспехи, а исход битвы оказался плачевным). Но тогда как же повеселилось автору «Слова» о полку Игореве, что в рассказе летописи о походе Игоря ему удалось найти другую приметку, но тоже связанную с солнцем! Ведь в летописи говорится не просто о солнечном затмении перед походом Игоря, а о солнечном затмении как о *примете* грядущего поражения. Надо же было и этой примете появиться как раз перед выступлением в поход! Степень вероятности зависимости приметки в «Задонщине» от приметки в «Слове» во столько раз больше обратной зависимости приметки в «Слове» от приметки в «Задонщине», во сколько просто хорошая погода бывает чаще, чем солнечное затмение. Это надо признать, либо надо отрицать текстологическую связь между обеими приметками, чего не решается сделать и сам А. А. Зимин. Пусть читатели сами проверят по тексту Ипатьевской летописи и по тексту обоих произведений эту любопытную ситуацию с обеими приметками.

Подведем итог замечаниям по вопросу о «Задонщине» как о нестилизационном подражании.

А. А. Зимин пишет, что «высокоодаренный автор „Слова“, если он жил в более позднее время, чем автор компилятивной Пространной „Задонщины“, вполне мог создать более яркий образ на материале своего источника» (стр. 99). Но вот тут-то и встает вопрос: почему же автор «Слова» в своем произведении соединил механические заимствования из «Задонщины» (элементы, очень ей близкие) с творческим использованием одного только из стилей «Задонщины»? На основе механического использования «Задонщины» и неоднородного с ним творческого подхода к «Задонщине» автор «Слова» создал якобы произведение, совершенно однородное стилистически. Вдумаемся только в этот своеобразный «творческий метод» автора произведения, которое и сам А. А. Зимин признает из ряда вон выходящим! При этом автор «Слова» создал такое сложное стилизационное подражание в эпоху, когда стилизация еще была в России в зачаточном состоянии, когда стиль фольклорных жанров и древнерусских произведений не ощущался. Об удивительности такого рода стилизации Д. С. Лихачев и говорит в своей статье.

* * *

Помимо рассмотренных вопросов, в статье А. А. Зимина затрагивается и еще целый ряд проблем, в частности вопросы лексики и грамматики «Слова» и «Задонщины». Возражения А. А. Зимина по статье А. Н. Котляренко, посвященной сравнительному анализу грамматического строя «Слова» и «Задонщины», требуют ответа специалистов по истории древнерусского языка, поэтому здесь на них мы останавливаться не будем. Отметим лишь некоторые частности. А. А. Зимин обвиняет А. Н. Котляренко в том, что тот оперирует данными только списка У, а не текстом «Задонщины» вообще. Да, за основу сопоставления А. Н. Котляренко берет список У, но при этом он постоянно учитывает данные и других списков, в том числе и списка К-Б (языковые сопоставления только в том случае и будут объективно достоверными, если они строятся на данных конкретных списков). А. А. Зимин считает, что частотные наблюдения А. Н. Котляренко над употреблением тех или иных грамматических форм в «Слове» и «Задонщине» ничего не дают, так как в списке К-Б во всех случаях та или иная форма встречается гораздо реже, чем по данным Котляренко, почерпнутым из полных списков «Задонщины». Если вопреки фактам А. А. Зимин никак не хочет признать, что в соответствии с общей книгописной деятельностью Ефросина список К-Б является систематически сокращенным текстом, то ведь не может же он не знать, что просто по своим размерам К-Б в три раза меньше полных списков «Задонщины»!

Статья А. А. Зимина не поколебала ни одного из выводов, к которым пришли авторы критикуемых им работ. Вместе с тем она дает читателям отчетливое представление о характере аргументации ее автора и частично проливает свет на систему доводов А. А. Зимина в пользу позднего происхождения «Слова». Статья

А. А. Зимина показательна также для эволюции взглядов сторонников позднего происхождения «Слова». Для того чтобы защитить свои положения, им приходится все более и более усложнять свои позиции, придумывать немыслимые ситуации, при которых могло быть написано «Слово о полку Игореве»,⁴⁹ и до крайности усложнять схему текстологического отношения «Слова» к спискам «Задонщины».

Попутно отметим, что А. А. Зимин не совсем точен, приводя текстологические схемы Р. О. Якобсона, Р. П. Дмитриевой и О. В. Творогова. Он не воспроизводит — как следовало бы — схем, опубликованных в работах названных авторов, а заменяет их своими, построенными в соответствии с его пониманием концепций оппонентов. В результате, например, схема Р. О. Якобсона значительно «приближена» к схемам Р. П. Дмитриевой и О. В. Творогова, а в схеме О. В. Творогова предполагаемая им связь К-Б и «Слова» изображена как бесспорно существующая.

Наша периодика поступает правильно, предоставляя свои страницы А. А. Зимину для изложения его гипотезы. Мы надеемся, что А. А. Зимин выступит и с дальнейшими статьями на эту тему. Однако следует пожелать, чтобы вся работа А. А. Зимина была издана в полном объеме, тогда и спор можно будет вести в полном же объеме, и, надо думать, окончательно рассеются все сомнения в подлинности и древности «Слова о полку Игореве».



⁴⁹ См. статью А. А. Зимина «Приписка к Псковскому апостолу 1307 года и „Слово о полку Игореве“» («Русская литература», 1966, № 2, стр. 60—74).

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН В СОВЕТСКИХ ИЗДАНИЯХ *

Говорить о текстологическом изучении наследия Салтыкова-Щедрина — это значит говорить о достижениях или недостатках щедринской отрасли советской текстологической науки, так как дореволюционное русское литературоведение к творчеству сатирика с этой точки зрения не обращалось. Ни одно из дореволюционных изданий не дает даже приблизительно верного представления о шпроте и многогранности творческого наследия Салтыкова-Щедрина.¹ Так называемые «полные» собрания сочинений, выпускаемые фирмой А. Ф. Маркса, на самом деле были далеки от полноты, и хотя в 1906 году в состав последнего из них вошли не печатавшиеся при жизни сатирика сказки («Медведь на воеводстве», «Мала рыбка, а лучше большого таракана», «Орел-меценат») и комедия «Смерть Пазухина», тем не менее в них отсутствовали многие художественные произведения и весь комплекс литературно-критических статей, публицистики и эпистолярия.² Тексты этих изданий проверке и анализу не подвергались, а механически воспроизводились на основе предыдущих изданий, что способствовало накоплению ошибок и опечаток, нарушающих авторский текст, и без того зачастую искаженный царской цензурой.

В 1918 году Комиссариат народного просвещения приступает к переизданию сочинений русских классиков. Однако не имея возможностей для научной подготовки, Литературно-издательский отдел, возглавляемый П. И. Лебедевым-Полянским, вынужден был «перепечатывать классиков в спешном порядке по старым матрицам, мирясь с теми недочетами, которые трудно было исправить по техническим условиям».³

Одним из первых в 1918 году «в спешном порядке» было перепечатано двенадцатитомное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина.⁴ Отыскать полный комплект матриц пятого, марксовского, издания, видимо, не удалось; поэтому печатание производилось частично с матриц четвертого издания (тома 4, 5, 6), частично — пятого (тома 1—3, 7—12). Это привело к некоторым изменениям расположения произведений в томах и к пропуску в шестом томе трех указанных выше сказок, впервые напечатанных в пятом издании А. Ф. Маркса.⁵

Первое советское издание произведений Салтыкова-Щедрина, полностью воспроизводящее все прежние недостатки, сыграло значительную роль в деле популяризации наследия сатирика среди широких читательских кругов, но не оставило

* Первая часть написана В. Н. Баскаковым; вторая, посвященная издающемуся ныне двадцатитомному собранию сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина, — Н. С. Никитиной.

¹ Права на издание сочинений Салтыкова-Щедрина до Октябрьской революции принадлежали сначала наследникам писателя, а затем перешли к А. Ф. Марксу. Этим в значительной мере можно объяснить тот факт, что после смерти Салтыкова-Щедрина его произведения стали значительно менее доступны широким читательским массам, ибо издавались они, в видах особой выгоды издателя, исключительно в форме многотомных (обычно двенадцатитомных) собраний сочинений, что препятствовало их распространению среди читателей.

² Издательство А. Ф. Маркса выпускало собрания сочинений Салтыкова-Щедрина дважды, в 1900—1901 и в 1905—1906 годах (второй раз в качестве приложения к журналу «Нива»). Ранее они издавались в 1889—1890 (издание автора), в 1891—1893 и в 1894—1895 годах (издания наследников автора).

³ См.: М. Е. Салтыков (Н. Щедрин), Полное собрание сочинений, т. I, Пгр., 1918, стр. 2.

⁴ Издание вышло тиражом 50 000 экземпляров. Третий том был выпущен в двух вариантах, из которых последний, включающий цикл «Помпадурсы и помпадурши» и «Невинные рассказы», в том же году появился в самостоятельном оформлении.

⁵ Сказки «Орел-меценат» и «Медведь на воеводстве» были напечатаны в 1919 году отдельными изданиями. Первую выпустил в свет Культурно-просветительный отдел Союза построеников новых линий железных дорог, вторую — петроградское издательство «Антей».

никакого следа в формировании советской текстологической науки. Развитие же щедринской отрасли текстологии началось с подготовительных работ, связанных главным образом со сбором и концентрацией в государственных хранилищах рукописей писателя⁶ и определением действительного объема его литературного наследия.

Задача выяснения подлинного объема литературной деятельности Салтыкова-Щедрина, без чего невозможна серьезная издательско-текстологическая работа, успешно решалась советским литературоведением: широко публиковались не печатавшиеся при жизни писателя произведения и их фрагменты или варианты;⁷ выискивались его выступления, забытые или затерянные на страницах старых газет и журналов;⁸ устанавливалось авторство Салтыкова-Щедрина в отношении его литературно-критических статей, анонимно печатавшихся в «Современнике» и «Отечественных записках»;⁹ наконец, выявлялась и публиковалась эпистолярная часть наследия сатирика.¹⁰ Одновременно с этим принимает широкие масштабы выпуск массово-популярных изданий. Из наследия Салтыкова-Щедрина публикуются преимущественно сказки, а также отдельные главы из «Губернских очерков», «Невинных рассказов», «Благонамеренных речей», «Мелочей жизни», «Пошехонской старины». Эти издания выходят значительными по тому времени тиражами (до 50 000) с красочно оформленными обложками, выполненными крупнейшими советскими художниками-иллюстраторами, среди которых К. Елисеев, К. Рогов, Б. Кустодиев, Д. Шмариннов и др.

Публикации произведений Салтыкова-Щедрина, появившиеся в 1920-е годы, интересны только в отношении их комментария, ибо подготовка текста в это время ограничивалась в основном исправлением дефектов печати. Воспроизводя тексты, составители, как правило, даже не прилагали усилий к ликвидации явных цензурных купюр и искажений, изобилующих в сочинениях писателя. Это относится и к шеститомному изданию произведений Салтыкова-Щедрина, тексты которого отредактированы К. Халабаевым и Б. Эйхенбаумом и прокомментированы Р. Ивановым-Разумником.¹¹ Правда, здесь составители и комментатор провели определенную работу, используя при подготовке текстов прижизненные издания, а в отдельных случаях даже рукописи. На основе их сравнения они устранили значительное количество опечаток и нелепостей, накопившихся при переизданиях щедринских текстов. Результаты этой работы изложены в комментариях Иванова-Разумника, где проводится обстоятельное сопоставление журнальной редакции произведения с его последующими изданиями, выявляющие и суммируются разночтения, публикуются фрагменты, не вошедшие в окончательный текст. Разделы комментариев, посвященные творческой истории и анализу текстов, хотя в большинстве случаев написаны без учета рукописного наследия Салтыкова-Щедрина, сделаны тщательно и в некоторых своих частях сохраняют значение до сих пор. «Что же касается примечаний... — писал М. С. Ольминский, — то можно сказать, что мимо них не должен пройти другой будущий составитель их — это достаточная похвала. Но пройти с оглядкой: немало в них слабых сторон». Так, по мнению М. С. Ольминского, в примечаниях заметно «стремление понизить характер художественных произведений

⁶ Результаты работ по выявлению автографов Салтыкова-Щедрина изложены в редакционном вступлении к описанию его рукописей, сосредоточенных в архивах и собраниях СССР («Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 591—594).

⁷ Публикация не печатавшихся при жизни М. Е. Салтыкова-Щедрина произведений была начата А. Е. Грузинским, который поместил в журнале «Красный архив» (1922, т. II) сказку «Богатырь», и на протяжении 1920—1930-х годов продолжалась главным образом Н. В. Яковлевым, использовавшим в своей работе автографы щедринского фонда Пушкинского дома.

⁸ Часть произведений Салтыкова-Щедрина, не входивших в собрания его сочинений, собрана в кн.: Неизданный Щедрин. Изд. писателей в Ленинграде, Л., [1931], 326 стр.

⁹ Работа по установлению авторства анонимных и псевдонимных статей и рецензий Салтыкова-Щедрина из «Отечественных записок» производилась С. Борщевским. См.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизвестные страницы. Ред., предисл. и коммент. С. Борщевского. «Academia», М.—Л., 1931, 560 стр.

¹⁰ Выявлением эпистолярного наследия сатирика в 1920—1930-х годах занимался главным образом Н. В. Яковлев. См.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. 1845—1889. Под ред. Н. В. Яковлева. ГИЗ, Л., 1924, 373 стр.; М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизданные письма. 1844—1889. Ред. Н. В. Яковлева. «Academia», М.—Л., 1932, 436 стр.; Из эпистолярного наследия Салтыкова. Предисл. и примеч. С. Макашина. Публикация В. Гиппиуса, С. Макашина, Н. Яковлева. «Литературное наследство», т. 13—14, стр. 277—344.

¹¹ М. Е. Салтыков-Щедрин, Сочинения, тт. 1—6, ГИЗ, М.—Л., 1926—1928. Юбилейное издание, приуроченное к столетию со дня рождения Салтыкова-Щедрин, включает лишь основные произведения писателя. Многие сатирические циклы, в том числе такие замечательные создания, как «В среде умеренности и аккуратности», «Письма к тетеньке», «Мелочи жизни», в состав издания не вошли.

Щедрина до уровня фельетонного анонимного „битья“ отдельных лиц».¹² Кроме того, комментатор зачастую обращается к малозначительным фактам и событиям, посвящая их исследованию целые страницы, и тем самым отвлекает внимание читателя от комментируемых мест щедринского текста. Вполне справедливые нарекания вызывает и форма научного аппарата издания: текстологический, историко-литературный и реальный комментарий, облеченные в форму статей, слиты воедино и не связаны взаимными отсылками с текстом произведений, что при их значительном объеме вызывает серьезные трудности при попытке отыскать необходимые сведения или пояснения. Однако отрицательные стороны комментария в значительной мере искупаются богатством заключенного в нем фактического материала, удачным раскрытием некоторых сложных фигур эзоповской системы Салтыкова-Щедрина, подробными библиографическими обзорами откликов русской критики на произведения писателя. Таким образом, не являясь значительным шагом вперед в области подготовки текстов, шеститомник имеет значение как первый опыт комментирования крупнейших щедринских циклов, как первая попытка довести до читателя потаенный смысл щедринской сатиры.

В этот же период неоднократно публиковались и щедринские сказки, в 1922—1934 годах выдержавшие шесть изданий. Не все они одинаковы по составу, не все снабжены комментариями. Полный сказочный цикл отдельно был опубликован лишь дважды: в 1922 и 1932 годах.¹³ Все остальные издания, в том числе и вышедшие под редакцией Н. К. Пиксанова в серии «Русские и мировые классики», не являются полными. В них отсутствуют «Христова ночь», «Рождественская сказка», «Пропала совесть» (иногда и «Игрушечного дела людшики»). Текстологической подготовке отдельные издания сказок не подвергались. Их тексты печатались по шеститомному или по последнему марксовскому изданию; комментарии же, иногда довольно значительные по объему, строились обычно по одному плану: минимум сведений об истории создания и публикации произведения, почти полное отсутствие пояснений историко-литературного и реального характера и максимум внимания к социальному смыслу произведения.¹⁴

К 1932 году завершился первый период развития щедринской текстологии, который условно можно назвать подготовительным периодом, периодом концентрации материала и первых опытов по изучению текстов и комментированию произведений писателя. Важнейшим итогом работы советского щедриноведения на первых этапах его развития явились два тома «Литературного наследства», вышедшие в 1933—1934 годах и заключающие в себе многочисленные публикации текстов и основанные на обильных фактических материалах исследования биографического, историко-литературного и библиографического характера.¹⁵

Второй период, характеризующийся практической работой по освобождению текстов от накопившихся в них ошибок и многочисленных цензурных искажений, теснейшим образом связан с изданием «Полного собрания сочинений» в двадцати томах. Оно было предпринято по инициативе и под руководством М. С. Ольминского¹⁶ и объединило вокруг себя лучшие силы советского щедриноведения и текстологии.¹⁷ Это издание явилось выдающимся достижением советской литературоведческой науки в области щедриноведения. Его значение обусловлено, во-первых,

¹² М. Ольминский. Как не следует комментировать Щедрина. «На литературном посту», 1928, № 19, стр. 37. См. также: В. Прооров. Оживить полностью Щедрина. (О реальном комментарии к произведениям сатирика). В кн.: Труды молодых ученых Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, вып. историко-филологический. Саратов, 1964, стр. 108—115.

¹³ М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. Изд. «Новая Москва», М., 1922, 420 стр.; М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. ГИХЛ, Л.—М., 1932, 384 стр.

¹⁴ В качестве комментаторов сказок выступали Н. К. Пиксанов (1926, 1930), Е. М. Макарова и Е. Дубов (1932), Б. Х. Черняк (1934). Кроме сказок, в эти годы отдельным изданием вышла «История одного города» (ГИЗ, М.—Л., 1926) со вступительной статьей Л. Гроссмана, с комментариями и вариантами печатных изданий, подготовленными Владимиром Гишпиусом, и «Господа Головлевы» (ГИЗ, М.—Л., 1929) под редакцией, с примечаниями и статьями В. Лаврецкого.

¹⁵ «Литературное наследство», тт. 11—12, 13—14, 1933—1934.

¹⁶ М. С. Ольминский умер 8 мая 1933 года. Под его руководством были проведены лишь подготовительные мероприятия к изданию и завершена работа над вторым томом (вышел первым). См. некролог М. С. Ольминского в кн.: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. II, ГИХЛ, Л., 1933, вкл. лл.

¹⁷ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, тт. I—XX, ГИХЛ, М.—Л., 1933—1941. Издание осуществлялось под контролем редколлегии в составе: В. Я. Кирпотин, П. И. Лебедев-Полянский, П. Н. Лепешинский, Н. Л. Мецгеряков, М. М. Эссен. Тома выходили в свет в следующем порядке: II (1933); III, IX, XI, XVII (1934); IV, VII (1935); X, XIII, XIV (1936); V, VIII, XVI, XVIII, XX (1937); XII, XIX (1938); XV (1940); I, VI (1941). Задержанные войной, фактически вышли в 1945 году).

наибольшей полнотой по сравнению со всеми предшествующими изданиями, вторых, серьезностью и глубиной текстологических исследований.

Двадцатитомное собрание сочинений значительно пополнило представление о широте и многогранности деятельности Салтыкова-Щедрина, дало в распоряжение читателя не только его художественное, но и литературно-критическое, публицистическое и эпистолярное наследие.¹⁸

В этом издании впервые собраны все известные к тому времени произведения сатирика (законченные и незавершенные, напечатанные при жизни автора и оставшиеся в рукописи), все важнейшие фрагменты и самостоятельные наброски.¹⁹ В этом его большое не только культурно-общественное, но и научное значение. Кстати отметим, что с выходом «Полного собрания сочинений» резко расширился диапазон щедриноведческих исследований, выше стал их научный уровень, особенно в последние предвоенные годы.

Подготовку и редактирование текстов издания осуществляла специальная текстологическая комиссия, объединившая крупнейшие ученых-текстологов (И. И. Векслер, В. В. Гишпиус, К. И. Халабаев, Б. М. Эйхенбаум, Н. В. Яковлев и др.).²⁰ Здесь впервые встала сложнейшая задача освобождения щедринских произведений от многочисленных купюр и искажений, задача восстановления подлинного Щедрина. Коллектив составителей-текстологов в основном успешно справился с этой задачей. В ходе работы были подвергнуты тщательному анализу все текстовые источники, печатные и рукописные. Для выявления и восстановления цензурных купюр наряду с рукописями Салтыкова-Щедрина использовались обширная цензурная документация, свидетельства современников, переписка сатирика. Сопоставление всех этих материалов привело к результатам, превзошедшим самые смелые ожидания: из многих произведений исчезли пробелы и искажения, произведенные или навязанные писателем царской цензурой,²¹ вслед за основным текстом печатаемых произведений появились другие редакции отдельных глав, незавершенные замыслы и наброски, фрагменты, не вошедшие в окончательный вариант текста по цензурным, художественным или идейным соображениям. Если учесть, что восстановление текстов велось параллельно с публикацией запрещенных при жизни Салтыкова-Щедрина произведений, то станет ясно значение работы, произведенной составителями-текстологами, разыскавшими, исследовавшими и подарившими читателю многие строки, страницы и даже главы щедринских произведений.

Все двадцать томов издания сопровождаются вступительными статьями и комментариями, текстологическими и реальными. Вступительные статьи, посвященные преимущественно социально-общественному аспекту щедринской сатиры, не давали достаточного представления о ее художественной ценности. Комментарии же, за немногими исключениями,²² серьезного интереса не представляют. Они отрывочны,

¹⁸ Из двадцати томов издания восемь заключают произведения, никогда ранее в собрании сочинений Салтыкова-Щедрина не включавшиеся. Среди них стихи, рецензии, повести 1840-х годов; не входившие в прижизненные сборники произведения 1857—1865 годов; литературно-критические и публицистические статьи из «Современника» и «Отечественных записок», письма.

¹⁹ По своему назначению, содержанию и характеру издание не является «академическим», полным в точном смысле слова. Сосредоточение в нем печатного и рукописного фонда писателя произведено с некоторыми ограничениями, хотя и незначительными. В издании отсутствует полный свод вариантов, приводимых лишь выборочно в составе текстологического комментария, не вошли в него и некоторые печатные и рукописные редакции, существенно отличающиеся от публикуемой («Запутанное дело» в редакции 1863 года; последние три действия комедии «Царство смерти» и др.), не введены служебные бумаги и некоторые деловые записки (например, рапорты из следственного дела о раскольниках Ситникове и Смагине, «Пособия и льготы после Отечественной войны 1812 года» и др.).

²⁰ Наиболее активное участие в текстологической работе принимали К. И. Халабаев и Б. М. Эйхенбаум. Ими подготовлен и отредактирован основной корпус художественных произведений (десять томов). В подготовке текстов художественных произведений участвовали также И. И. Векслер, В. В. Гишпиус, Н. В. Яковлев; литературно-критические статьи и публицистика отредактированы С. Л. Белевцким, В. В. Гишпиусом, С. С. Борщевским; письма — Н. В. Яковлевым.

²¹ Следует отметить, что иногда стремление к наиболее полному освобождению произведений Салтыкова-Щедрина от следов царской цензуры приводило к некоторым нарушениям меры и такта при вмешательстве в тексты, в результате чего в основной текст вводились подчас фрагменты, исключенные автором на разных стадиях работы по соображениям, не связанным с цензурными притеснениями («грубые» выражения в «Губернских очерках», отдельные места в цикле «Помпадуры и помпадурши» и др.).

²² Глубиной и точностью выделяются на общем фоне реальные комментарии С. А. Макашина к «Письмам к тетеньке» и «За рубежом» (т. XIV), а также обстоятельные текстологические комментарии В. В. Гишпиуса к произведениям 1857—1865 годов (т. IV) и к «Письмам к тетеньке», И. И. Векслера к «Круглому году» (т. XIII) и «Пестрым письмам» (т. XVI).

бессистемны, бедны, страдают неточностями и ошибками и потому не раскрывают своеобразия пискоказательной манеры сатирика.²³

Параллельно с выпуском «Полного собрания сочинений» Салтыкова-Щедрина в 1930-е годы осуществляются и отдельные издания его произведений — «Господа Головлевы» (11 изданий), «Попехонская старина» (7 изданий), «История одного города» (5 изданий) и, наконец, «Сказки», в 1933—1941 годах выдержавшие четыре полных издания.²⁴ В эти же годы появляются первые однотомные и многотомные издания избранных сочинений Салтыкова-Щедрина.²⁵ Особую роль сыграло здесь отмечавшееся в 1939 году пятидесятилетие со дня смерти сатирика.

В послевоенные годы широко развернулись исследования в области щедриноведения, интенсивнее и разнообразнее стала издательская деятельность, хотя общее ее состояние продолжало сохранять некоторую односторонность, обусловленную сравнительной ограниченностью репертуара отдельных изданий, малочисленностью и однообразием содержания однотомников, включающих избранные произведения. Из отдельных произведений издаются преимущественно «Господа Головлевы», «Сказки», реже «История одного города» и «Попехонская старина».²⁵

Однотомники избранных произведений Салтыкова-Щедрина в послевоенные годы появляются крайне редко. Выходят они, как правило, в областных и республиканских издательствах («Московский рабочий», Лениздат, а также «Радянська школа» и «Молодь» в Киеве), а в 1955 году выпуск их прекращается вообще. Построенные главным образом на основе «Полного собрания сочинений», они не имеют удовлетворительного справочного аппарата и характеризуются повторяемостью состава произведений, ограниченным обычно «Историей одного города», «Господами Головлевыми» и избранными сказками с эпизодическим дополнением «Современной идиллии» или очерков «За рубежом».

Из многотомных изданий в послевоенные годы осуществлено лишь двенадцатитомное «Собрание сочинений», вышедшее в 1951 году в качестве приложения к журналу «Огонек» и содержащее основные художественные произведения Салтыкова-Щедрина. В текстологическом отношении все послевоенные издания, в том числе и «Собрание сочинений» 1951 года, следуют за «Полным собранием сочинений» (1933—1941), так как в подавляющем большинстве являются воспроизведением его отдельных звеньев. Но дело не только в несовершенстве изданий щедринских произведений. Наиболее полные издания его сочинений исчезли с книжного рынка, в результате чего возникла настоятельная необходимость в таком издании, которое было бы и более совершенным, и вместе с тем давало бы читателю более полное представление об объеме щедринского литературно-художественного наследства.

С другой стороны, в последние годы успешно продолжалось выявление неизвестных произведений сатирика (или их новых редакций) и его писем,²⁷ исследо-

²³ Достоинства и недостатки издания с точки зрения полноты и уровня научно-справочного аппарата раскрыты в обстоятельной рецензии С. А. Макашина («Советская книга», 1946, № 5, стр. 43—55), а также в статье В. Прозорова «Оживить полностью Щедрина» (Труды молодых ученых Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, стр. 112—113). Текстам издания посвящена в своей основной части рецензия К. Н. Григорьяна («Советская книга», 1953, № 3, стр. 104—108), подготовке и комментированию писем — рецензия С. А. Рейсера («Звезда», 1938, № 5, стр. 264—268).

²⁴ Кроме перечисленных произведений, в 1930-е годы отдельно издаются «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», «Господа ташкентцы», «Современная идиллия», «За рубежом», «Мелочи жизни» и др. В большинстве случаев тексты их воспроизведены по вышедшим томам «Полного собрания сочинений», а вступительные статьи и комментарии являются в разной степени сокращенными их вариантами из указанного издания.

²⁵ Среди многотомных изданий избранных произведений сатирика отметим семитомное издание, предпринятое в юбилейном 1939 году и прерванное войной: М. Е. Салтыков-Щедрин, Избранные произведения, тт. I—VII, Гослитгиздат, М., 1939—1949. Выпущено на основе «Полного собрания сочинений». В том же 1939 году Детгиз предпринял издание трехтомника избранных произведений Салтыкова-Щедрина под редакцией и со вступительной статьей Н. Л. Мещерякова, с комментариями М. К. Клемана, С. А. Макашина, С. Я. Штрайха, Б. М. Эйхенбаума. В этом издании опубликованы широко известные и позднее многократно перепечатывавшиеся иллюстрации художников Кукрыниксы к «Истории одного города», «Господами Головлевыми», «Попехонской старине», «Сказкам». К сожалению, издание завершено не было: третий том в свет не вышел.

²⁶ Никогда после Октябрьской революции не выходили отдельными изданиями такие шедевры щедринской сатиры, как «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», «В среде умеренности и аккуратности», «Убежище Монрепо», «Письма к тетеньке». За двадцать послевоенных лет отдельно не издавались и популярные среди читателей «Губернские очерки» и «Помпадуры и помпадурши».

²⁷ Незданные тексты произведений и писем Салтыкова-Щедрина опубликованы в кн.: «Литературное наследство», т. 67, 1959, стр. 279—536.

вание творческой истории многих сатирических циклов и сборников, дальнейшее изучение рукописного наследия Салтыкова-Щедрина, в результате чего в щедриноведении накопилось значительное количество материала, позволяющего во многом исправить, дополнить, обновить предшествующие щедринские издания в отношении подготовки текстов и их комментирования. Таким образом, к 1960-м годам стало возможным и необходимым создание нового усовершенствованного и наиболее полного издания сочинений писателя. Оно было предпринято издательством «Художественная литература» совместно с Институтом русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, где сосредоточена основная часть рукописей Салтыкова-Щедрина.²⁸ Перед изданием, которое контролируется редакционной коллегией во главе с С. А. Макашиным, поставлены задачи, до настоящего времени не получившие удовлетворительного решения: во-первых, дать научное, тщательно выверенное как по всем печатным источникам, так и по рукописям, по возможности свободное от цензурных искажений полное собрание произведений писателя; во-вторых, сопроводить произведения комментарием, отвечающим требованиям, которые предъявляет современное литературоведение к научным изданиям классиков. «Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, — говорится в редакционном предисловии, — осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные» (т. 1, стр. 5—6).

В задачи этого собрания сочинений, рассчитанного на широкий круг читателей, не входит публикация всех редакций и вариантов произведений Салтыкова-Щедрина. В составе его печатаются полностью или в извлечениях «лишь те „другие редакции“, которые представляют самостоятельный и существенный интерес» (см.: т. 1, стр. 6). Рукописные и печатные варианты выборочно даются в примечаниях, состоящих из историко-литературных статей, текстологических заметок и реальных комментариев. Особое внимание в примечаниях уделяется раскрытию сложных иносказаний, «эзопова языка» щедринской сатиры, разъяснением содержания ее главных образов-метафор: город Глухов, глуповцы, помпадуры, гапкентцы и т. д.

Начатый труд еще далек от своего завершения. Тем не менее уже сейчас можно говорить не только о его своевременности, но и о том, сколь плодотворны положенные в его основу принципы, сколь успешно осуществляются поставленные в нем задачи.

Вышедшие пять томов включают произведения Салтыкова-Щедрина от первых поэтических опытов начала 40-х годов до программных статей в «Современнике» начала 60-х. Они заметно отличаются от соответствующих томов предшествующего издания научным уровнем и полнотой комментирования, составом и порядком расположения произведений, принципами подготовки текста, решением вопроса о «других редакциях» и печатных вариантах.

Заново решается в рецензируемом издании вопрос атрибуции анонимных рецензий писателя. На основе позднейших исследований²⁹ в 1-й том не вошли некоторые рецензии, ошибочно приписанные Салтыкову-Щедрину в издании 1933—1941 годов. К решению этого вопроса редакция подошла со всей серьезностью и научной объективностью, справедливо не включив в издание ряд рецензий, принадлежность которых писателю доказана недостаточно (см. об этом: т. 1, стр. 440 и т. 5, стр. 522). Наряду с этим в 5-м томе печатаются два не включавшихся в собрание сочинений Салтыкова-Щедрина произведения, атрибутированных в последнее время: заметка «Первое представление новой драмы г. Островского» (1863) и полемическая, направленная в адрес журнала «Эпоха» рецензия «О добродетелях и недостатках...» (1864).

Повторное изучение рукописей, корректур и всех прижизненных изданий произведений сатирика дало возможность в вышедших томах внести существенные коррективы в тексты изданий 1933—1941 годов. Наиболее показательна и ценна в этом отношении работа С. А. Макашина над текстами «Губернских очерков». Исследователю удалось убедительно доказать, что в предыдущем издании неправильно восстановлены по автографам фразы и отрывки, которые могли быть исключены Салтыковым скорее по соображениям художественного порядка, нежели по требованию официальной цензуры (т. 2, стр. 522—523). Надо отметить также и комментированную подачу в этом томе рукописных и печатных вариантов, которые, несмотря на диктуемый типом издания экономный отбор, представлены с достаточной полнотой. С большой тщательностью проведена работа над текстами «Са-

²⁸ М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах, тт. 1—5, изд. «Художественная литература», М., 1965—1967. Редакционная коллегия: А. С. Бушмин, В. Я. Кирпотин, С. А. Макашин (главный редактор), Е. И. Покусаев. В дальнейшей ссылке на это издание даются в тексте.

²⁹ См., например: С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I. М., 1954, стр. 256—257.

тир в прозе» и «Невинных рассказов» в 3-м томе, что также позволило внести ряд значительных поправок в тексты издания 1933—1941 годов. Некоторую неудовлетворенность, и прежде всего своей зависимостью от предыдущего издания, вызывают текстологические примечания, отбор и почти не комментируемая подача вариантов в 4-м томе, куда вошла художественная проза Салтыкова-Щедрина 1857—1865 годов.

Найденные в последнее время рукописные и корректурные материалы в ряде случаев дали возможность внести изменения в тексты, известные ранее по другим источникам. В частности, одно из программных выступлений Салтыкова-Щедрина — статья «Стихотворения Кольцова» (1856) печатается в 5-м томе не по тексту первой публикации, как это было в предыдущем издании, но по доцензурному — значительно более полному — тексту корректуры, найденному и опубликованному В. Э. Боградом.³⁰ По недавно обнаруженной корректуре «Современника», а не по черновому автографу, как прежде, печатается в 4-м томе очерк «Глупов и глуповцы», запрещенный цензурой и при жизни Салтыкова-Щедрина не публиковавшийся. По корректурным гранкам, дающим более полный, свободный от цензурного вмешательства текст, печатаются в 5-м томе статья «Наяда и рыбак» («Петербургские театры») и рецензия на пьесу Устрялова «Чужая вина».

Отличительной особенностью рецензируемого издания по сравнению с предыдущим является и то, что в нем полнее представлен раздел «Из других редакций» (в издании 1933—1941 годов он назван «Приложения»). В этом разделе впервые печатаются полный текст пьесы «Царство смерти» (ранняя редакция «Смерти Пазухина») и сокращенная редакция очерка «Каплуны» (т. 4). Обращение к известной, но недостаточно изученной в свое время черновой рукописи статьи-рецензии «Сказание о странствии... инока Парфения» позволило выявить более раннюю — притом принципиально отличную от позднейшей — редакцию этой статьи, что в какой-то мере прояснило судьбу этого оставшегося неоконченным произведения писателя (см. т. 5). В раздел «Из других редакций» 3-го тома вынесены публиковавшиеся ранее в вариантах два отрывка доцензурной редакции очерка «К читателю» («Сатиры в прозе»), которые, как справедливо отмечается в комментарии, могут быть отнесены к числу замечательнейших страниц салтыковской публицистики 60-х годов. Однако ценность раздела «Из других редакций» порой снижается из-за отсутствия или недостаточности комментария к публикуемым редакциям. Едва ли следовало, например, печатая раннюю редакцию «Смерти Пазухина» (т. 4), ограничиваться ссылкой на комментарий В. В. Гишпиуса в 4-м томе предшествующего издания.

Необходимым дополнением к вошедшим в рецензируемые тома произведениям писателя служит обзор «Утраченные сочинения и наброски Салтыкова 1849—1855 годов», публикуемый во 2-м томе.

Как деталь, характеризующую весь облик издания, надо отметить и более продуманное по сравнению с предшествующим расположением произведений писателя по томам и внутри каждого тома. Неоконченный отрывок «Вчера ночь была такая тихая...», написанный в Вятке и потому включавшийся ранее в 1-й том, в рецензируемом издании помещен во 2-м на том основании, что этот отрывок был использован писателем в очерке «Сжука» («Губернские очерки»). «Невинные рассказы», открывающиеся более ранними произведениями, предшествуют в новом издании «Сатирам в прозе», а не наоборот, как это было прежде. Статья «Еще скрежет зубовый» (1860), необоснованно напечатанная в издании 1933—1941 годов в «Приложении» к 3-му тому, заняла свое законное место среди публицистики Салтыкова-Щедрина в 5-м томе.

Сказанное уже в какой-то степени характеризует научный аппарат издания. Как отмечено выше, комментирование — это сложная проблема щедриноведения, которая еще более усугубляется тем обстоятельством, что, несмотря на появление капитальных монографий, отдельные вопросы творчества писателя и отдельные его произведения остаются почти не изученными. В этой связи особое внимание и читательского признания заслуживает факт непосредственного и ближайшего участия в издании и не только в качестве редакторов, но и комментаторов авторитетных ученых, авторов фундаментальных щедриноведческих исследований. Этим участием прежде всего и определяется в вышедших томах высокий научный уровень, обстоятельность и полнота комментариев, среди которых выделяются комментарии к крупным произведениям, таким, как повести «Противоречия» и «Запутанное дело», «Губернские очерки», «Невинные рассказы», «Сатиры в прозе».

Статьи Т. И. Усакиной к повестям «Противоречия» и «Запутанное дело» в 1-м томе рецензируемого издания являются логически стройными и глубокими научными исследованиями, которые органически дополняют ее же реальный комментарий. Обстоятельно прокомментированные Т. И. Усакиной, эти произведения вводят читателя в атмосферу напряженных философских исканий Салтыкова 40-х годов. Недостаток работы составляет некоторая изоляция ранних повестей Сал-

³⁰ «Литературное наследство», т. 67, 1959, стр. 291—314.

тыкова от его последующего творчества, что лишь отчасти оправдывается самим характером этих произведений.

В комментарии С. А. Макашина «Губернские очерки» предстают во всей широте своей идейно-художественной проблематики и в неразрывной связи с литературными традициями и эпохой, как событие большого литературного и общественного значения. Вместе с тем это глубоко знаменательный факт биографии писателя, неотделимый от всего его последующего творчества и потому важный во всех своих аспектах. Подробно рассматривает С. А. Макашин творческую историю «Губернских очерков», уточняя время их написания, проясняя обстоятельства, помешавшие этому произведению появиться в некрасовском «Современнике». Глубоко исследуется в комментарии «исторически конкретный, связанный с крестьянством» демократизм Салтыкова — основа „концепции“ русской жизни, художественно развернутой в „Губернских очерках“» (т. 2, стр. 494). Научная глубина, многогранность и полнота этого комментария делают его ценнейшим и единственным в своем роде исследованием «Губернских очерков».

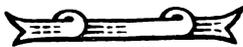
Сжаты, но одновременно богаты по мысли, ясны по изложению статьи А. С. Бушмина в 3-м томе рецензируемого издания, посвященные таким сложным, стоящим на переломе в идейно-творческом развитии Салтыкова-Щедрина произведениям, как «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе». Статьи раскрывают эволюцию замысла книги об «умирающих» к «глуховскому» циклу, процесс формирования просветительской поэтики писателя этой поры.

Разнороден по составу вошедших в него произведений Салтыкова 4-й том, подготовленный саратовскими щедриноведами (Е. И. Покусаев, Т. И. Усакина, Г. И. Антонова, Г. Ф. Самосюк и др.), которые до настоящего времени являются основными вкладчиками в осуществляемое издание. Однако рядом с содержательными, интересными комментариями к очеркам «Глухов и глуповцы», «Глуховское распутство», «Каплуны» неоправданно бедным представляется комментарий к пьесе «Тени». Его авторы не поставили это произведение ни в очевидную связь с творчеством сатирика середины 60-х годов, ни с его биографией. А между тем рассмотрение пьесы в цепи рассказов помпадурского цикла и на фоне биографии Салтыкова позволило бы полнее раскрыть ее проблематику, уточнить время ее написания, которое, на наш взгляд, ближе к 1865 году, чем к указанному в комментарии 1862-му. Об этом свидетельствуют, в частности, рассуждения Клавверова в VII сцене пьесы, которые Салтыков, очевидно, противопоставляет рассуждениям Козелкова в рассказе «Она еще едва умеет лепетать» («Помпадурсы и помпадурши»), написанном во второй половине 1864 года.

Свежи, подробны и многообъемлющи комментарии в 5-м томе рецензируемого издания, самом, в сущности, неоднородном по своему составу, включившем ряд критических статей и большое количество рецензий писателя 1850—1860-х годов. В этом томе и самое большое число составителей. Тем не менее комментарии его представляют своеобразное жанровое и стиливое единство — по-видимому, плод большой и кропотливой редакторской работы.

В краткой рецензии нет возможности подробно говорить о пяти вышедших томах. Каждый из них мог бы стать и, вероятно, так или иначе станет предметом серьезного научного разговора, ибо каждый том вносит новые страницы в щедриноведение.³¹

В заключение следует сказать об открывающем издание очерке творчества Салтыкова-Щедрина, написанном Е. И. Покусаевым. Статья воссоздает творческий путь писателя в неразрывной связи с его личностью на широком общественно-политическом и литературном фоне. Умело сочетая большое и малое, Е. И. Покусаев внес в свою статью, не разрушая ее стройности и цельности, ряд тонких наблюдений над отдельными произведениями писателя, оттенил интересные мысли других исследователей. Можно с уверенностью сказать, что этой яркой, темпераментно написанной, серьезной научной статье надежно гарантирован прием как у щедриноведов, так и у широкого круга читателей, которому она в первую очередь и адресована.



³¹ Три первых тома рецензируемого издания послужили поводом для большой статьи о Салтыкове-Щедрине в «Times Literary Supplement» (1966, 18 August). Говоря о своевременности нового издания сочинений сатирика, автор статьи подчеркивает, что «о деталях и уровне аппарата, которым снабжены первые три тома и который обещан для остальных, можно говорить с удовлетворением». «Научная глубина больших статей в трех изданных томах не вызывает сомнений», — пишет далее рецензент и заканчивает статью фразой: «Мы ждем с нетерпением выхода в свет следующих томов».

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Г. МОИСЕЕВА

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ В XVIII ВЕКЕ (ГЕРАРД-ФРИДРИХ МИЛЛЕР)

Первая публикация русской летописи связана с именем Г.-Ф. Миллера. В 1732—1735 годах в издаваемом им журнале «Sammlung russischer Geschichte» на немецком языке была напечатана «в извлечениях» значительная часть (около $\frac{2}{3}$) Кенигсбергской (Радзивиловской) летописи: «Nachricht von einem alten der Russischen Geschichte des Abtes Theodosii von Kiow».¹

Публикация была осуществлена по копии, снятой в 1713 году по приказу Петра I с рукописи XV века, хранившейся в Королевской библиотеке Кенигсберга. Подлинная летопись была привезена в Петербург в 1759 году.

Издание Г.-Ф. Миллера привлекло большое внимание не только иностранных, но и русских ученых. В. Н. Татищев неоднократно ссылался на него, причем указывал ряд ошибок, допущенных Миллером в прочтении текста летописи. Так, в «изъяснении» к шестой главе первой редакции «Истории российской» он отметил, что Миллер в первой части издания (на стр. 109) неправильно называет греческую царевну Анну — Анастасией, приняв за женское — имя протопопа Анастасия.² В «изъяснении» к восьмой главе Татищев пишет, что Миллер ошибочно прокомментировал тот отрывок Радзивиловской летописи, в котором рассказывается о потомстве Ярослава I.³

Ряд серьезных промахов в прочтении текста летописи раскрыт в «изъяснении» к тридцать второй главе. Так, имя Блуд «Миллер в Древностях русских превратил в Пут», а при прочтении заглавия Кенигсбергской (Радзивиловской) летописи им была допущена более серьезная ошибка: «Феодоспа игумена Миллер первое ошибся, что оное вместо Нестора, черноризца Феодосиева Печерского монастыря, принял, о чем в гл. 5 и 7 показано, что в Радзивиловском списке имя Нестора пропущено».⁴ Г.-Ф. Миллеру было безусловно известно мнение В. Н. Татищева и ряда других ученых об опубликованной им в «извлечениях» Кенигсбергской (Радзивиловской) летописи.⁵ Это и заставило его, как будет показано ниже, признать, что перевод летописи на немецкий язык был осуществлен не им, а переводчиком Академии наук Паузе, который и допустил ряд ошибок.

В «Записке по истории Академии наук в Петербурге» («An die Versammlung der Kayserlichen Academie der Wissenschaften»), над первой частью которой Миллер работал в последние годы жизни,⁶ он, тщательно продумывая формулировки, в наиболее выгодном для себя свете рассказал о вкладе, внесенном им в русскую науку. Естественно, что и историю первой публикации петровской копии Кенигсбергской (Радзивиловской) летописи в «Sammlung russischer Geschichte» Миллер изложил так, как это представлялось ему удобным: «Главное содержание этого собрания, по моему разумению, должно было состоять из извлечений и переводов из русских летописей и других исторических рукописей. Нестор, первый русский историописатель, не был мне неизвестен. Однако переводчик, избранный мною для составления извлечений из находившейся в академической библиотеке древней

¹ «Sammlung russischer Geschichte», 1732, Stuck I, S. 1—26; 1733, Stuck II, S. 93—113; 1733, Stuck III, S. 171—195; 1734, Stuck IV, S. 349—358; 1734, Stuck V, S. 359—419; 1735, Stuck VI, S. 455—494.

² В. Н. Татищев. История российская, т. IV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1964, стр. 413.

³ Там же, стр. 422.

⁴ Там же, т. I, стр. 308, 309; во второй редакции «Истории российской», опубликованной Миллером в 1768—1774 годы, «изъяснений» к тридцать второй главе нет.

⁵ Первоначальная редакция «Истории российской» была переслана в 1740 году В. Н. Татищевым советнику Академии наук Шумахеру. (См.: С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века, ч. I. Изд. ЛГУ, Л., 1961, стр. 229).

⁶ Вторая часть (с 1733 по 1743 год) была составлена на материалах «Протоколов заседаний конференции имп. Академии наук» И. Г. Стриттером (см.: Материалы для истории имп. Академии наук, т. VI. СПб., 1890).

летописи, которую Петр Великий повелел переписать в Кенигсберге в Радзивилловской библиотеке, этот переводчик по недоразумению назвал Нестора Феодосием, ибо имя этого писателя летописи не было обозначено, но только то, что он был монахом в монастыре, основанном игуменом Феодосием. В русском языке и литературе я должен был доверять такому сведущему человеку, как господин Паузе.⁷

Миллер представляет дело так, будто он сознательно избрал для первой публикации именно Кенигсбергскую (Радзивилловскую) летопись, которую предварительно изучил («Nestor, der erste russische Geschichteschreiber, war mir nicht unbekannt»), а затем дал ее «одному из переводчиков» («Allein der Übersetzer») для подготовки «извлечений». Однако в действительности дело обстояло совсем иначе.

В 1959 году акад. Э. Винтер опубликовал небольшую, но чрезвычайно интересную статью о переводчике Петербургской Академии наук И. В. Паузе. В ней приведены материалы неопубликованной автобиографической записки Паузе, в которой он рассказывает о своей деятельности филолога и историка, о том, как много сделал он за долгие годы пребывания в России, с какой серьезностью относился ко всем поручениям, ему данным, и к тем работам, которые делал по собственному почину.⁸ Это относится, в первую очередь, к составленной им грамматике русского языка, над которой он начал трудиться еще в 1705 году, когда был учителем московской гимназии.⁹ В те же годы Паузе стал собирать русские летописи.

В 1707 году он близко познакомился с воспитателем царевича Алексея Петровича Гюйссеном и при его посредстве стал активно заниматься историей России. В конце 1724 года Паузе был зачислен в Академию переводчиком.

Еще до зачисления в штат Академии он много и внимательно занимался изучением русской летописи. Личное собрание Паузе, насчитывающее 91 рукопись на русском и иностранных языках, поступило после его смерти (в 1735 году) в Библиотеку Академии наук.¹⁰ В числе рукописей Паузе ценны в палеографическом отношении Апостол XVI века и Никаноровский летописец, состоящий из летописной части и ряда известий, относящихся ко второй половине XVII века.

Ознакомление с Никаноровским летописцем,¹¹ сплошь испещренным латинскими, немецкими и русскими приписками Паузе, показывает, как обстоятельно он размышлял над текстом летописи. В ряде случаев на нижнем поле он даже помещал варианты к тексту из других летописных источников.

Понимая всю ответственность работы над древнерусской летописью, Паузе одновременно решал и проблемы грамматики (он составлял тогда «Gramatica Slavono-Russica») и орфографии (им была написана в это время «Gramatologia et Lexicographia»).

Следует заметить, что Паузе был первым, кто отметил различие церковнославянского и русского языков на материале летописи.

Русская летопись, по его мнению, была значительным источником для создания хронологии, изучения астрономии (затмений солнца и луны, падений комет и т. д.).

В «Observationes...» Паузе достаточно подробно рассказывает о трудностях, которые ему пришлось преодолеть в процессе работы над переводом летописи.¹² Они возникали при передаче временных категорий древнерусского языка, собственных имен, географических понятий, названий городов, племенных образований. Сопоставление «Observationes...» с приписками Паузе в принадлежавшей ему Никаноровской летописи позволяет понять, как он преодолевал возникшие сложности при осмыслении и передаче текста «Повести временных лет».

⁷ Материалы для истории имп. Академии наук, т. VI, стр. 251.

⁸ Э. Винтер. И. В. Паус о своей деятельности в качестве филолога и историка (1732). В кн.: XVIII век, сб. IV. Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 313—322; первое упоминание об автобиографической записке Паузе содержится в статье П. Н. Беркова «Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке» («Язык и литература», 1930, т. V, стр. 105—107). Работа Э. Винтера была впервые опубликована в 1958 году. См.: E. Winter. Ein Bericht von Johann Werner Paus aus dem Jahre 1732 über seine Tätigkeit auf dem Gebiete der russischen Sprache, der Literatur und der Geschichte Russlands. «Zeitschrift für Slawistik», Berlin, 1958, Bd. 3, Heft 5, S. 744—770. Здесь же опубликована автобиографическая записка И. Паузе, которая цитируется нами по рукописи: «Observationes, inventiones et experimenta circa Literaturam et Historiam Russicam in camera obscura et optica ad Academiæ Scientiarum instituta» («Наблюдения, открытия и опыты о литературе и истории русской с пункта наблюдения при Академии наук») (Архив АН СССР, р. III, оп. 1, № 168а, тл. 1—16 об.).

⁹ См.: Архив АН СССР, р. III, оп. 1, № 316, лл. 1—33 об.

¹⁰ См.: Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук XVIII в. вып. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 207—210.

¹¹ Рукописный отдел Библиотеки АН СССР (далее БАН), шифр 16.17.1.

¹² См. «Observationes...» (Архив АН СССР, р. III, оп. 1, № 168а, лл. 12 об. 5 об., 4 об., 2—2 об.).

В 20-е годы XVIII века Паузе создал «Dictionarium Germano-Russicum». Позднее на основе Вейсманнова лексикона он превратил его в обширный «Lexicon Slavono-Russien cum Germano et latino idiomate».¹³

Значительная предварительная подготовка к работе над летописными текстами дала возможность Паузе стать серьезным специалистом в области древнерусских памятников. Неслучайно поэтому к нему обращался за помощью акад. Байер, не знавший русского языка, но вынужденный использовать русские письменные источники.

Видимо, при посредстве Байера Паузе получил в 1731 году поручение от Академии наук подготовить перевод Кенигсбергской летописи, копия которой находилась в Кабинете Петра I и потом вместе с его собранием книг и рукописей перешла в Библиотеку Петербургской Академии наук.

Принявшись за перевод Кенигсбергской (Радзивиловской) летописи, Паузе мобилизовал весь опыт, накопленный им в течение 25 лет в работе над русскими рукописными памятниками. Поэтому перевод летописи на немецкий и латинский языки был им сделан менее чем за год. В феврале 1732 года он уже представил отчет и текст перевода со вступительной статьей в Канцелярию Академии наук.¹⁴

Паузе надеялся на скорое напечатание своего труда. Однако ни в первом, ни в последующих выпусках «Sammlung russischer Geschichte» не было упомянуто его имя ни как переводчика, ни как составителя вступительной статьи.

Естественно поэтому, что в своей автобиографической записке, составленной, как полагает акад. Э. Винтер, не ранее конца 1732 года, Паузе дал волю своему гневу. Он прямо утверждает, что Г.-Ф. Миллер присвоил результаты его усердия и авторскую славу, так как сам он «в российском языке малое знание имел». О том, что Миллер плохо знал русский язык, писал и дружески настроенный к нему А. Шлецер, приехавший в Россию в 1761 году. Вот что читаем в его автобиографии: «...сам Миллер откровенно сознается..., что еще на седьмом году своей адъюнктской и профессорской службы (в 1732 году) „не был в состоянии сам читать русские сочинения, а должен был прибегать к переводчику“».¹⁵ Не вполне хорошо мог читать русские летописи Г.-Ф. Миллер еще и в 60-х годах XVIII века; уезжая из Санкт-Петербурга в Москву в начале 1765 года, он потребовал ряд рукописей из Библиотеки Петербургской Академии наук и двух переводчиков. В рукописях ему было отказано, а переводчиком был послан С. Волков.¹⁶

Анализ перевода текста летописи, опубликованной в «Sammlung russischer Geschichte» в 1732—1734 годах, с очевидностью раскрывает приемы перевода, выработанные Паузе еще в период изучения им Никаноровской летописи. Даже сам характер «извлечений» из Кенигсбергской летописи был в известной степени подражан Никаноровской летописью, где помещена «Повесть временных лет» третьей редакции — с большим количеством сокращенных известий.

В качестве примера, который убедительно показывает, как текст Никаноровской летописи повлиял на передачу текста Кенигсбергской летописи в «Sammlung russischer Geschichte», приведем отрывок, рассказывающий о походе Мстислава против Ярослава, помещенный под 1023 годом.

Кенигсбергская (Радзивиловская) летопись	Никаноровская летопись (в сборнике, принадлежавшем Паузе)	«Sammlung russischer Geschichte»
В лето 6531 поиде Мстиславъ на Ярослава с козары и с касогы. ¹⁷	В лето 6531 поиде Мстиславъ с козары и с казягъ на великаго князя Ярослава.	A. 1023 zog Mstislaw mit Hülffe der Cosaren und Kasaken gegen Groß- Fürsten Jaroslaw zu Felde. ¹⁸
	<i>На полях рукою Паузе: «А С. 1022 Bellum Mstisskaw et Jaroslkaw».</i> ¹⁸	

Появление «казаков» в немецком переводе Паузе может быть объяснено только сопоставлением с Никаноровской летописью, где слово «касогы» оказалось искаженным — «казяг». Без Никаноровской летописи такой перевод был бы просто

¹³ Там же, л. 9.

¹⁴ Там же, л. 13.

¹⁵ Общественная и частная жизнь Августа-Людвика Шлецера, им самим описанная. Перевод с немецкого В. Кеневича. «Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», т. XIII, 1875, стр. 4.

¹⁶ Материалы для биографии Ломоносова, собранные Билярским. СПб., 1865, стр. 736—738.

¹⁷ БАН, шифр 31.7.22, л. 108 об.

¹⁸ БАН, шифр 16.17.1, л. 57.

¹⁹ «Sammlung russischer Geschichte», 1733, Stuck III, S. 185.

необъяснимым. Между тем в 1760 году Г.-Ф. Миллер опубликовал свою работу «О начале и происхождении козаков», где говорил о том, что «по российским летописям» Мстислав Тмутараканский в 1021 году «завоевал народ Козаги называемой».²⁰ Очевидно, что «русской летописью» Г.-Ф. Миллер пользовался не в подлиннике, а в немецком переводе Паузе. Последний внес свое исправление в текст Кенигсбергской летописи на основании чтения Никаноровской летописи.²¹

Эта ошибка в прочтении Кенигсбергской летописи, опубликованной Миллером, сказалась не только на его собственных работах. Она повлияла и на характер выводов других ученых. Так, Г.-З. Байер на основании «русской летописи игумена Феодосия», опубликованной в «Sammlung russischer Geschichte», сообщает историко-географические сведения о Тмутараканском княжестве в XI веке и пишет о том, что князь Мстислав предпринял поход против «соседственных до Кавкаских гор распространившихся козаков».²²

В качестве второго примера, свидетельствующего о воздействии Никаноровской летописи на передачу текста Кенигсбергской (Радзивилловской) летописи в «Sammlung russischer Geschichte», можно было бы указать изменение известного рассказа под 6463 (955) годом о крещении княгини Ольги. В Никаноровской летописи, содержащей сокращенную редакцию «Повести временных лет», очень кратко рассказано о поездке Ольги в Царьград, о приятии «святого» крещения от патриарха, об одарении «многими дарами» и о возвращении на Русь. Здесь не говорится о посольстве, прибывшем в Киев от греческого императора за обещанными ответными дарами. Сразу после слов «и приде Олга в Киев» помещено под 6472 (964) годом известие о «возмужании» князя Святослава.²³

В соответствии с этой редакцией Паузе ввел сокращение и в текст Кенигсбергской летописи: здесь кратко сказано о поездке Ольги в Константинополь, крещении ее патриархом и предложении стать женой греческого императора. Затем сообщено о возвращении ее в Киев, и далее идут сведения о Святославе. Исчезли, таким образом, ряд выразительных диалогов (известное заключение царя: «Переклюкала мя еси Ольго»), не сохранена обширная речь патриарха, равно как и ответ Ольги послан греческого императора, требовавшим у нее «богатых даров».²⁴

В августе 1749 года Миллер доложил в Историческом собрании Академии наук свою «диссертацию о начале российского народа и отчего оный так называется». В начале сентября того же года экземпляры его диссертации «Происхождение имени и народа российского», отпечатанные на латинском и русском языках, были разосланы членам Исторического собрания. В том же месяце в Канцелярию Академии наук поступили отзывы Тредиаковского, Штрубе де Пирмонта, Попова, Крашенинникова и Ломоносова. Во всех отзывах отмечалась полная несостоятельность исторического труда Миллера. После рассмотрения этих отзывов Канцелярия Академии приняла решение отклонить публикацию диссертации. Работа подлежала уничтожению. Сохранились очень немногие ее экземпляры.²⁵

В отзыве Ломоносова диссертация подверглась всестороннему рассмотрению. Ломоносов не просто отверг научный результат исследования Миллера (как последний писал позднее), а показал его несостоятельность путем сопоставления с данными русских источников и, в первую очередь, — с летописью Нестора. Основываясь на данных скандинавских саг, изложенных Саксоном Грамматиком, Снорре Струлессоном, Адамом Бременским, и на работах Г.-З. Байера, не владевшего русским языком, Миллер представил древнейшую историю славян как историю народа, не игравшего самостоятельной роли в создании своего государства и целиком зависевшего от действий скандинавских завоевателей.

Главным недостатком работы «Происхождение имени и народа российского» Ломоносов считал малое использование Миллером русских источников: «Из всего видно, что он весьма немного читал российских летописей, и для того напрасно жалуется, будто бы в России скудно было известиями о древних приключениях».²⁶

²⁰ Г.-Ф. Миллер. О начале и происхождении козаков. «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», 1760, апрель, стр. 308.

²¹ Кенигсбергской летописью в переводе Паузе Миллер пользовался и при написании статьи «Рассуждение о двух браках, введенных чужестранными писателями в род великих князей всероссийских», опубликованной в 1755 году в февральском номере «Ежемесячных сочинений...» (стр. 83—97).

²² Г.-З. Байер. Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу. Переведено с немецкого языка чрез И. К. Тауберта, Академии наук адъюнкта. СПб., 1738, стр. 57.

²³ БАН, шифр 16.17.1, л. 43—43 об.

²⁴ «Sammlung russischer Geschichte», Stuck I, 1732, S. 96—97.

²⁵ М. М. Гуревич и К. И. Шафрановский. Об издании 1749 года речи Г.-Ф. Миллера «Происхождение народа и имени российского». В кн.: Книга. Исследования и материалы, сб. VI. М., 1962, стр. 282—285.

²⁶ М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 20.

И действительно, неудача Г.-Ф. Миллера в этой работе в значительной степени объясняется не преднамеренным замыслом автора заведомо неверно обрисовать древнейшую историю восточных славян, а непосредственной зависимостью от источников своего труда, в числе которых почти не оказалось русских летописей. В диссертации «Происхождение имени и народа российского» Миллер только два раза привлекает свидетельства Кенигсбергской летописи, пользуясь при этом не рукописью, которая хранилась в Библиотеке Петербургской Академии наук, а немецким переводом Паузе, опубликованным в «Sammlung russischer Geschichte».²⁷

22 февраля 1755 года Г.-Ф. Миллер доложил на заседании Конференции Академии наук о том, что им окончена работа над исследованием о Несторе, «отце русской истории, о его летописи и ее продолжателях».²⁸

Апрельский номер редактируемых Миллером «Ежемесячных сочинений...» за 1755 год открывался его статьей: «О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи, и о продолжателях оных».²⁹

Б. Л. Модзалевский обнаружил в архиве АН СССР наборный экземпляр «Ежемесячных сочинений...» за 1755 год. Изучение текста, с которого производился набор, дает возможность проанализировать правку, сделанную Г.-Ф. Миллером в статье о летописи Нестора.³⁰

Готовя статью к печати, ученый внес много поправок стилистического и фактического характера.³¹ Мы приведем несколько примеров такой правки, начав с отрывка, целиком принадлежащего Миллеру, в котором он рассказывает о публикации Кенигсбергской летописи в «Sammlung russischer Geschichte».

Г.-Ф. Миллер пишет, что должен «объяснить о погрешности, которая учинена в печатанной в 1732 году при Академии наук на немецком языке книге, называемой „Собрание российской истории“». Во оной Несторова летопись приписывается некоему игумену Феодосию, чему впрочем был переписчик, косяк пзьясение еще находится в заглавии той летописи, имеющейся в императорской библиотеке при Академии наук. Слова: „Книга летописец черноризца Феодосиева монастыря Печерского“, переводчик толковал так, якобы написано было: „черноризца Феодосия и проч.“. При употребленном тогда списке той летописи не было показано о имени истинного сочинителя, по чему можно бы было о сей ошибке догадаться.³²

В наборном экземпляре «Ежемесячных сочинений...» идет продолжение этого абзаца: «И таким образом можно справедливо в сей ошибке издателя помянутого собрания, кой тогда в российском языке малое имеет знание, извинить».³³ Во время правки статьи Г.-Ф. Миллер тщательно зачеркнул этот абзац, и он не вошел в печатный текст: автор работы о Несторовой летописи не хотел сознаваться в том, что он не мог не только подготовить к публикации текст Кенигсбергской летописи, но даже проверить перевод, выполненный Паузе.

В статье «О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи, и о продолжателях оных» впервые были изложены взгляды на древнейшую историю русского летописания, собраны биографические сведения о Несторе, поставлен вопрос о первоначальном своде, который оканчивался 1116 годом. В статье говорилось и о «продолжателях» работы Нестора — Сильвестре Выдубецком, о неизвестном по имени «летописце на Волыни», доведшем изложение до 1157 года, о суздальском епископе Симоне и о новгородском священнике Иоанне.

Как объяснить, что Г.-Ф. Миллер за небольшой срок не только овладел древнерусским языком, но и написал исследование, являющееся этапом в изучении летописания? С. М. Соловьев,³⁴ отметивший этот удивительный факт, объяснял его

²⁷ У Миллера: «В Собрании разных известий до Российской истории касающихся. Часть I, стран. 1; Собрание Российской истории. Часть I, стран. 4» (Г.-Ф. Миллер. Происхождение имени и народа российского. СПб., 1749, стр. 14, 20).

²⁸ Протоколы заседания Конференции имп. Академии наук с 1725 по 1803 года, т. II (1744—1770). СПб., 1899, стр. 323.

²⁹ «Ежемесячные сочинения...», 1755, апрель, стр. 275—298.

³⁰ Архив АН СССР, р. II, оп. 1, № 217, лл. 223—238 об.

³¹ Статья Г.-Ф. Миллера о летописи Нестора была им написана на немецком языке. В конце текста наборного экземпляра приписка: «С немецкого переводил типограф Иван Акимов» (Архив АН СССР, р. II, оп. 1, № 217, л. 238 об.).

³² Там же, лл. 227 об.—228.

³³ Там же, л. 228.

³⁴ «На первый же год издатель дал в журнал значительные вклады; он поместил любопытную статью: „О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оных“. Эта статья уже не похожа на ту, которую мы видели в первом томе немецкого „Сборника“: Мюллер выучился понимать древние сочинения, сам стал разбирать рукописи, познакомился с трудами Татищева и, руководствуемый последними, написал свое исследование, которым в свою очередь руководствовались позднейшие исследователи» (С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. XII, тт. 23—24. Изд. «Мысль», М., 1964, стр. 270).

тем, что Миллер ознакомился с трудами В. Н. Татищева. К аналогичному выводу пришел и С. Л. Пештич.³⁵

Такое объяснение было подсказано самим Миллером, который писал, что первая большая работа о русских летописях была составлена «отчасти из оставшихся после покойного господина тайного советника Татищева известий, а отчасти из собственного нашего исследования».³⁶

Естественно возникает вопрос, какая же часть из опубликованной работы приходится на долю В. Н. Татищева, какая — на долю Миллера?

В ходе выяснения этого вопроса открывается возможность установить, какой редакцией татищевского труда пользовался Г.-Ф. Миллер.

Как известно, пятую главу «Истории российской» В. Н. Татищев посвятил «Несторовой летописи». Шестая глава называлась «О последовавших летописателях», глава седьмая — «О списках или манускриптах». Эти три главы и нашли полное отражение в статье Миллера «О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи, и о продолжателях оных».

Единственное расхождение между выводами Г.-Ф. Миллера и В. Н. Татищева — это установление года смерти Нестора: Татищев считает, что в 1093 году Нестор окончил свою летопись и что последующие события (по 1116 год) описывал игумен Сильвестр.³⁷ Миллер, основываясь на рассказе летописи о нападении половецкого хана Боняка на Печерский монастырь, где летописец говорит о себе в первом лице, относит окончание Нестором летописи к 1115 году.³⁸ Все остальные данные Миллер почерпнул из указанных глав «Истории российской», заимствовав и мнение В. Н. Татищева о значении русских летописей как исторических источников, и его вывод о «главнейших» списках Несторовой летописи.

Сообщение о восьми списках летописи с очевидностью показывает, что в начале 50-х годов XVIII века в распоряжении Г.-Ф. Миллера была «первоначальная» редакция татищевского труда. В «первой» редакции Татищев использовал уже 10 летописей, во второй редакции — 11.³⁹ Это была, вероятнее всего, та самая рукопись «Истории российской», которую В. Н. Татищев приготовил к началу 1740 года и переслал Шумахеру.⁴⁰

Первый номер «Ежемесячных сочинений...» за 1755 год открывался работой Г.-Ф. Миллера «Краткая роспись великим князьям всероссийским от Рюрика до нашествия татар с показанием родословия». В предисловии к «Краткой росписи...» Миллер говорит о том, что он использовал сочинение «некоторого ныне уже покойного мужа»,⁴¹ не назвав имени В. Н. Татищева, умершего в июне 1750 года.

Покажем на ряде примеров, сопоставляя «Краткую роспись...» с первой и второй редакцией «Российской истории», что в руках у Миллера была самая ранняя ее редакция, приближающаяся к первой.

Краткая роспись великим князьям всероссийским от Рюрика до нашествия татар с показанием родословия	I редакция «Истории российской»: Летопись краткая великих государей руских от Гостомысла до разорения татар, т. е. от 860 до 1238 год по Христе с показанием родословия	II редакция «Истории российской»: Порядок государей с леты
3. Ингорь, или Игорь, сын Рюриков, по смерти дяди своего Ольга, сел	3. Ингорь, или Игорь, сын Рюриков, по смерти Ольга сел на престол. Ро-	3. Игорь, или Ингорь, сын Рюриков, родился 875-го, престол принял

³⁵ С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века, ч. I, стр. 222—224.

³⁶ Архив АН СССР, р. II, оп. 1, № 217, л. 278.

³⁷ В. Н. Татищев. История российская, т. IV, стр. 45; см. также: т. I, стр. 119.

³⁸ Г.-Ф. Миллер. О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи, и о продолжателях оных. «Ежемесячные сочинения...», 1755, апрель, стр. 286—287.

³⁹ См.: С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века, ч. I, стр. 251.

⁴⁰ А. Шахматов. К вопросу о критическом издании «Истории российской» В. Н. Татищева. «Дела и дни», 1920, кн. I, стр. 82—83; С. Н. Валк. О рукописях первой части «Истории российской» В. Н. Татищева. В кн.: В. Н. Татищев. История российская, т. I, стр. 67; С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века, ч. I, стр. 227—230.

⁴¹ Архив АН СССР, р. II, оп. 1, № 217, л. 10 (ср.: «Ежемесячные сочинения...», 1755, январь, стр. 1).

на престоле. Родился 875. Убит от Древлан 945. Жил 70 лет. Супруга его Ольга блаженная, внука Гостомысла, обручена 903, крещена 953, умре 969. О его детях ничего, кроме Святослава, не упоминается, но при договоре со греки 945 году упоминается в его фамилии Улеб, или Хлеб, может быть, его сын.⁴²

дился 875, убит от древлан 945. Жил 70 лет. Супруга Ольга блаженная, внука Гостомысла, обручена 903, крещена 955, умре 969. О его детях ничего, кроме Святослава, не упоминается. Но при договоре со греки, 945-м году, упоминается в его фамилии Улеб, или Глеб, может быть, его сын.⁴³

912-го, умер 945-го. Супруга Ольга, или Прекраса, внука Гостомысла, княжна изборская, сочетана 903-го, крещена 955-го, умерла 969-го. Его дети: Святослав и Улеб, убит от брата за христианство 971 году.⁴⁴

В наборном экземпляре «Ежемесячных сочинений...» третий пункт копчается словами: «О его детях ничего, кроме Святослава, не упоминается». На полях Миллер приписал к третьему пункту: «Но при договоре со греки 945-м году упоминается в его фамилии Улеб, или Хлеб, может быть, его сын».⁴⁵ Из сопоставления приписки с окончанием третьего пункта в первой редакции снова убеждаемся в том, что при правке рукописи Миллер имел перед собой экземпляр сочинения Татищева, близкий к первой редакции.

Но между родословной в первой редакции «Истории российской» и «Краткой росписью...» имеется и ряд отличий. Известно, что летопись Нестора, на которой основывались ранние редакции «Истории российской», очень кратко освещает период, предшествовавший образованию русского государства.

Во время работы над второй редакцией Татищев обратился к ряду не летописных источников и к так называемой Иоакимовской летописи,⁴⁶ в состав которой вошли легендарные рассказы о предьстории Новгородской земли, о братьях Словене и Русе и их потомке князе Гостомысле, дочь которого была замужем за финским королем. Все эти предания вошли во вторую редакцию «Истории российской».

В «Краткой росписи...» о Гостомысле сообщено только то, что «по его завету избран от варяг россов» Рюрик. В первой и второй редакциях «Истории российской» сведения о Гостомысле обрастают рядом подробностей.

I редакция «Истории российской»

Гостомысл, по Несторову сказанию князь, избранный от народа словенского.⁴⁷

II редакция «Истории российской»

Гостомысл имел 4 сына и 3 дочери. Сыновья померли, не оставя сына, а от дочери средней, бывшей за королем финским, родился сын Рюрик.⁴⁸

В позднейших редакциях появляются новые данные и о Рюрике.

«Краткая роспись...» «Ежемесячных сочинений...»

1. Рюрик избран по завету Гостомысла князя новгородского от Варяг руссов в 862 году, государствовал в Ладоге, с ним пришли братья его Синеус и Трувор. Первый был в Веси, или на Беле озере, другой в Чуди, или Изборске. Еще пришел с ним Оскольд, который государствовал в

I редакция «Истории российской»

1. Рюрик избран по завету Гостомысла от варяг руссов, по обстоятельствам королевич финской. В 862-м пришел во град Великий, или Гордорики; с ним пришли братья его: Синеус был в Веси, или Белеозере, Трувор в Чуди, или Изборске, пасынок Оскольд в Полянх, или Киеве... Сей государь кого

II редакция «Истории российской»

1. Рюрик, пришел из Финляндии в 862-м, имел жену Енвинду, королевну урманскую, братьей: Трувора, псковского или изборского, и Синеуса, в Веси, или на Беле озере, умер 879-го. По обстоятельствам видно, что Оскольд его сын, а княгине его пасынок, для того сарматский дирар

⁴² Там же, стр. 2—3.

⁴³ В. Н. Татищев. История российская, т. IV, стр. 102.

⁴⁴ Там же, т. I, стр. 372.

⁴⁵ Архив АН СССР, р. II, оп. 1, № 217, л. 10 об.

⁴⁶ С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века, ч. I, стр. 236—248.

⁴⁷ В. Н. Татищев. История российская, т. IV, стр. 102.

⁴⁸ Там же, т. I, стр. 372.

Полянх или в Киеве... Сей государь чью дочь имел за собою женою, не известно.⁴⁹

2. Олег, свойственник Рюриков...⁵²

имел жену, неизвестно, токмо что умер 879.⁵⁰

2. Олег, свойственник Рюриков...⁵³

назван. Убит от Ольга, верителью, для приятия христианства, 882 году.⁵¹

2. Олег I, шурия Рюриков, князь урманский, из Швеции...⁵⁴

Опубликовав в «Ежемесячных сочинениях» «Краткую роспись...» и большую статью о летописи Нестора, Г.-Ф. Миллер сохранил фрагменты не дошедшей до нас «первоначальной» редакции «Истории российской» В. Н. Татищева. Позднее, в 1768—1774 годах, он напечатал под своим «смотрением» четыре тома «Истории российской» второй редакции.

Г.-Ф. Миллер был серьезным источниковедом, сыгравшим большую роль в развитии исторических знаний о России. Но заслуги Миллера перед русской наукой не должны препятствовать правильному освещению его роли в истории изучения и публикации древнейшей русской летописи в первой половине XVIII века.

А. ТАТАРИНЦЕВ

ВОКРУГ РАДИЩЕВА

«Целый ряд загадок — одну сложнее другой — оставил нам Радищев»,¹ — читаем мы в одной из последних работ, посвященных подцензурной истории создания «Путешествия из Петербурга в Москву». С пафосом, все более усиливающимся по мере обнаружения «ключей» к «тайнам» книги (мимо которых прошел якобы «целый радищевский мир»), автор убеждает, что подлинного Радищева мы еще не знаем. Действительно многого мы еще не знаем о писателе-революционере, но не потому, что ему была присуща загадочность, на которую некоторые исследователи ссылаются всякий раз, когда что-то не поддается объяснению с первого взгляда, не укладывается в привычную схему. По своему происхождению эта тенденция не нова, имеет свою «традицию». Проявляется она на разных этапах изучения наследия Радищева по-разному: это либо категорический отказ понять Радищева, либо столь же категорическая решимость «разгадать» буквально все в нетерпеливой жажде «открытий». Подобные исследования имеют, самое большее, негативное значение, побуждая к «опровержениям», восстанавливающим истину. Предлагаемое сообщение, основанное на архивных разысканиях, открывает ряд новых и уточняет некоторые из ранее известных обстоятельств, связанных с выходом в свет «Путешествия» и последовавшим затем судебным процессом.

Из материалов следственного дела видно, что о книге и ее авторе стало известно определенному кругу лиц еще до того, как было закончено печатание. Знали о ней те, кого Радищев привлек к себе в помощь: печатник Путный, наборщик Богомолов, дворовый человек Радищева Фролов. Служащий С.-Петербургской таможни Царевский переписывал набело рукопись книги. Другой служащий той же таможни, досмотрщик Мейснер, по поручению автора носил рукопись «Путешествия» к обер-полицеймейстеру Рылееву для получения цензурного разрешения. Был осведомлен о готовящемся издании книги и книготорговец Герасим Зоотов.

Знал ли еще кто-нибудь, кроме перечисленных лиц, о замысле Радищева? В каких отношениях находился автор книги с Царевским? Что представлял собою досмотрщик Мейснер, которому было доверено ответственнейшее задание — получить цензурное разрешение на печатание сочинения? На эти вопросы мы и пытаемся ответить.

На суде Радищев ни словом не обмолвился о своих «сообщниках», не назвал никого из своих единомышленников. Между тем они у него были. О готовящемся издании книги знал безусловно сводный брат жены писателя А. В. Рубановской — Александр Андреевич Ушаков. В «Записках, годносимых ея императорскому величеству в 1790-м году от обер-полицеймейстера Рылеева о приезжающих в Пе-

⁴⁹ «Ежемесячные сочинения...», 1755, январь, стр. 2.

⁵⁰ В. Н. Татищев. История российская, т. IV, стр. 102.

⁵¹ Там же, т. I, стр. 372.

⁵² «Ежемесячные сочинения...», 1755, январь, стр. 2.

⁵³ В. Н. Татищев. История российская, т. IV, стр. 102.

⁵⁴ Там же, т. I, стр. 372.

¹ Г. П. Шторм. Потаенный Радищев. «Советский писатель», М., 1966, стр. 238.

тербург и об отъезжающих» 20 января была сделана следующая запись: «Из Петрозаводска подполковник Александр Ушаков и стал в Московской части в доме коллежского советника Радищева». Итак, в доме Радищева побывал его родственник как раз в то время, когда было начато печатание книги. Возможно, Ушаков обуждал вместе с автором варианты измененной цензурной рукописи. Он мог подсказать некоторые свежие сюжеты и факты для «оживления» книги, ряд глав которой, как известно, были написаны еще в середине 1780-х годов.² Известно также и то, что Радищев находился в дружественно доверительной переписке с Ушаковым и в 1790-е годы.

Во время следствия Радищеву был задан вопрос: «...не имел ли, или не имеет ли какой связи с господином Челищевым, как в сем сочинении, так и в других делах?» Последовал категорический отрицательный ответ: «...никакого с ним сообщения не имел, и к нему и в дом уже более двух годов не приезжал».³ До сего времени не удавалось установить, жил ли Челищев вообще в Петербурге в конце 1789 — первой половине 1790 года. Теперь это подтверждается документально. В книге записей рождений прихода Владимирской церкви (Радищев, как мы знаем из его показаний на суде, «жительство имел» в приходе этой церкви) значится, что отставной майор Петр Иванович Челищев в январе 1790 года записан крестным отцом народившегося у учителя «Владимирского училища третьего класса Егора Максимовича Губарева сына Федора».⁴ Следовательно, во время печатания книги Челищев находился в Петербурге, проживая в одном и том же с Радищевым районе города (в Московской части)⁵ и, конечно, встречался с автором «Путешествия». Учитывая показания самого Радищева на суде о том, что происшествие, описанное в главе «Чудово», было «в самом деле»,⁶ а также свидетельство сыновей писателя о Челищеве как очевидце этого происшествия,⁷ можно считать расшифрованным имя «приятеля» путешественника — «Ч...». Екатерина II не случайно заподозрила Челищева в соавторстве с Радищевым. Отсюда не следует, конечно, что Челищев целиком разделял взгляды своего друга. Разногласия между ними нашли своеобразное отражение в самой книге и, в частности, в главе «Чудово».

Одним из ближайших помощников Радищева по подготовке книги к изданию был Александр Алексеевич Царевский, бывший учитель, а с 1787 года — таможенный надзиратель. Он переписывал рукопись Радищева набело, через его руки прошло два отпечатанных экземпляра книги, у него же был обнаружен третий, корректурный экземпляр ее. При допросе Царевский пытался представить свое знакомство с Радищевым как чисто официальное, как отношения начальника и подчиненного. В действительности же Радищев был близким другом семьи Царевских. В тех же книгах записей рожденных прихода Владимирской церкви помечено, что в апреле 1787 года у учителя народного училища Александра Царевского родился сын Петр. «Молитвовали и крестили» его «штатский советник Александр Николаевич Радищев, дочь его Екатерина».⁸ В июне 1789 года Радищев с дочерью присутствует на крестинах другого сына Царевского.⁹ Вполне вероятно, что Царевский знал и П. И. Челищева, который, как мы уже видели, жил в той же части города и был крестным отцом новорожденного у одного из учителей Владимирского же училища (где ранее работал Царевский).

² См. об этом: А. Старцев. Радищев в годы «Путешествия». «Советский писатель», М., 1960, стр. 84—85.

³ Д. С. Бабкин. Процесс Радищева. Изд. АН СССР, М.—Л., 1952, стр. 174—175.

⁴ Государственный исторический архив Ленинградской области (далее — ГИАЛО), ф. 42, оп. 1, д. 2, л. 1 об. («О рождающихся церкви Владимирская пресвятая богородицы за январь 1790»).

⁵ О том, что семья Челищевых имела дом в Московской части, свидетельствуют следующие записи в той же регистрационной книге Н. И. Рыльева от 16 мая 1790 года — «из Москвы действительный статский советник Алексей Богданович Челищев и стал в Московской части в своем доме»; от 10 февраля 1791 года — «из Пскова Алексей Богданович Челищев и стал в Московской части в своем доме» (Центральный государственный архив древних актов (далее — ЦГАДА), ф. 16, оп. 1, ед. хр. 534, ч. 1, л. 16; ч. 2, л. 39). Алексей Богданович Челищев — троюродный брат Петра Ивановича Челищева, друга Радищева. Кто из них был владельцем дома — по записям трудно определить, да это и не имеет существенного значения. Здесь же, например, читаем запись о том, что 9 декабря 1790 года прибыл «из Архангельска надворный советник Мойсей Радищев и стал в Московской части в своем доме» (курсив мой, — А. Т.) (ЦГАДА, ф. 16, оп. 1, ед. хр. 534, ч. 1, л. 242), хотя известно, что он не был владельцем этого дома.

⁶ Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 169.

⁷ Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. Изд. АН СССР. М.—Л., 1959, стр. 53.

⁸ ГИАЛО, ф. 42, оп. 1, д. 2, л. 3 об.

⁹ Там же, л. 21 об.

Особый интерес вызывает личность Мейснера. Кроме того, что сообщил на суде Радищев (а он решил вообще ничего не рассказывать о своих «сообщниках»), о нем ничего не было известно: «Когда моя книга была уже готова, то я послал ее для цензуры с бывшим прежде книгопродавцем, а в то время находящимся при таможене. Долго времени спустя, в конце прошлого лета (1789 года, — А. Т.) книгу мою Мейснер возвратил за подписанием обер-полицеймейстера Рылеева. Неизвестно мне, сказывал ли Мейснер о сочинителе книги; но мне он сказывал, что о имени моем не объявил».¹⁰ Мейснер, конечно понимал необычный характер книги. Иначе зачем бы Радищеву обращаться к нему, человеку, хорошо осведомленному по книжной части вообще, знавшему, что дозволено, а что — нет. Ясно, он прочитал книгу, прежде чем ее представить в цензуру. Сделать это надо было так, чтобы Рылеев подписал рукопись, не читая и не зная имени автора. Мейснер блестяще справился с этим заданием. Видимо, он уже имел некоторый опыт в таких делах. Он же, надо полагать, помог Радищеву получить цензурное разрешение на статью «Беседа о том, что есть сын отечества», в которой члены «Общества друзей словесных наук» усмотрели большую «вольность духа» и потому не взяли на себя ответственности одобрить ее к печати.¹¹

В Ленинградском историческом архиве нам попало небольшое (на трех листах) дело 1788 года о записи Иоганна фон Мейснера в с.-петербургские «иностранские гости». Здесь указывается, что он из прусских уроженцев, от роду ему 30 лет, женат, имеет сына в возрасте 6 недель; «дому и никакого недвижимого имения здесь (в Петербурге, — А. Т.) не имеет, жительство имеет во 2-й Адмиралтейской части в доме Реформаторской церкви под № 283». О «промысле» Мейснера сказано, что он «торг производит книгами», а «собственного капиталу» имеет «тысячу пять рублей». Подавая прошение о записи в купцы, Мейснер представил рекомендательное письмо («аттестацію») от прусского чрезвычайного посланника и полномочного министра при российском дворе барона фон Келлера, датированное 16/27 января 1787 года.¹² В Петербург Мейснер прибыл, надо полагать, не ранее середины 1786 года (вряд ли бы он отважился выехать из Германии с женой, ожидавшей ребенка, суровой зимой). Доверие к нему Радищева свидетельствует о том, что знакомство было завязано вскоре после того, как Мейснер открыл торговлю книгами. В книжной лавке последнего Радищев мог приобретать интересующую его литературу на немецком языке. Может быть, через Мейснера же автор «Путешествия» связался с будущим продавцом своей книги Герасимом Зотовым.¹³ Едва ли можно сомневаться в том, что Мейснер получил от Радищева дарственный экземпляр «Путешествия», который мог быть переправлен в Германию и там переведен на немецкий язык.¹⁴ Судя по откликам иностранцев, находившихся в то время в Петербурге (Г. фон Гельбиг, Массон, Бернгарди и др.), им эта книга была известна не только по слухам. И. Мейснер, А. Видман (у которого, кстати, дарственный экземпляр «Путешествия» не был отобран) были лично знакомы с автором и могли дать сведения о нем и о книге, что называется, «из первых рук».

¹⁰ Д. С. Бабкин. Процесс А. Н. Радищева, стр. 167.

¹¹ Записки Сергея Алексеевича Тучкова. 1766—1808. СПб., 1908, стр. 42.

¹² ГИАЛО, ф. 781, оп. 2, д. 291, лл. 1—3.

¹³ По правилам Зотов должен был оповестить о поступлении книги Радищева для продажи в магазин через газету. Однако ни в одном из четырнадцати объявлений в «С.-Петербургских ведомостях» данных Зотовым в период с 10 мая по 30 июня 1790 года (в границах между завершением печатания книги и днем ареста Радищева), «Путешествие из Петербурга в Москву» в перечне продаваемых книг не было указано. Не безынтересно показать то книжное «окружение», в которое попало сочинение Радищева у купца Зотова. В его лавках в это время продавались: «Магазин натуральной истории, физики и химии», «Полезное упражнение юношества», «Рука богословия», «О младенческих болезнях», «Сельский лечебник», «Похождения некоторого россиянина», «Приключения Василия Барабанщикова», «Жизнь божьего королевича Ликурга», «Три повести восточные», «Новые восточные сказки», «Надм и Гармония», «Словарь юридический», «Веселая старушка, забавница детей, рассказывающая старинные были и небылицы», «Старичок весельчак, рассказывающий старинные московские были и небылицы». «История о странствиях», «Поход на шведа», «Приключения английского милорда Георга», «Кабинет любознания», «Новейшая и полная поваренная книга», «Магазин детского чтения», «История о богах баснословных», «Красавица и привидение», «Любопытные анекдоты о любви дружеской» и т. п. На фоне этой массы развлекательной литературы радищевская книга не могла не прозвучать «набатом к революции».

¹⁴ Первые шесть глав «Путешествия» в немецком переводе появились в 1793 году на страницах журнала «Deutsche Monatsschrift». См. об этом: Х. Грассхоф, Е. Хексельшнейдер, Г. Цигенгейст. Первый немецкий перевод «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. «Вопросы литературы», 1963, № 7, стр. 138—144.

По всей видимости, это далеко не полный круг лиц, с которыми Радищев общался и которых мог посвятить в свои замыслы еще до выхода книги в свет. Мы знаем, например, тем их только одного переписчика цензурного текста «Путешествия». Между тем их было, судя по почеркам, трое. Кто они, два других? Может быть, служащие той же Петербургской таможни? Это можно было бы, вероятно, установить, обратившись к архивам. Вообще о личных связях Радищева периода работы над «Путешествием» знаем мы до крайности мало, и даже белгий просмотр архивных дел убеждает в том, что возможности выявления этих связей еще не исчерпаны. В упомянутых нами книгах записей рожденных прихода Владимирской церкви указано, что в ноябре 1789 года у коллежского регистратора Дмитрия Богачева родился сын Александр и его «восприемниками» были «коллежского советника и кавалера Александра Радищева дети его Василий и Екатерина».¹⁵ Это еще одно подтверждение существования неофициально-доверительного демократического окружения Радищева, о котором ничего не почозревал начальник его — князь А. Р. Воронцов, нередко именуемый в работах некоторых исследователей другом писателя-революционера.

Приведенных документов достаточно для того, чтобы убедиться в полной несостоятельности домыслов Г. П. Шторма и разделяющих его точку зрения авторов о переправке черновиков книги куда-то из Петербурга (в Клип или Дорогобуж) с помощью лиц, ничего общего по духу с Радищевым не имевших. В самом Петербурге находились люди, которым он мог бы доверить на сохранение эти черновики, если бы в этом была нужда.

Итак, ни один из названных «соучастников» не выдал Радищева, не донес на него, и ни о ком из них автор «Путешествия» на допросах не сказал ничего лишнего.

В конце мая 1790 года книга появилась в продаже, а в двадцатых числах июня императрице стало известно имя сочинителя. Кто же донес на Радищева, кто «поднес» Екатерине экземпляр «зловредной» книги? Исследователи давно занимают этот вопрос. Называли Г. Р. Державина, ссылаясь на свидетельство П. А. Радищева. Легенда эта, однако, подверглась серьезной критике, и Державин был «реабилитирован». Совсем недавно Л. Б. Светлов, заново обзрев материалы следственного дела, счел возможным представить такую ситуацию, по которой доносчиков уже оказывается несколько: И. И. Шувалов, Е. Р. Дашкова, камер-паж Балашов и опять-таки... Г. Р. Державин. Последний — в роли «непредумышленного» доносителя.¹⁶ Скажем прямо, доводы исследователя не отличаются убедительностью. По логике Л. Б. Светлова получается, что Радищев пал жертвой закулисной борьбы «партий» Воронцова — Потемкина. Но сама по себе попытка установить истину путем тщательной проверки имеющихся материалов и подключения новых, ранее не учитывавшихся, заслуживает всяческой поддержки. Ясно, что императрица была лично заинтересована в раскрытии имени доносчика, который ей мог бы оказать аналогичную услугу и впредь. Поэтому искать его следует среди тех, об интимно-доверительных отношениях Екатерины с которыми хорошо известно. Им мог быть и А. В. Храповицкий, один из самых угодивших и преданных личных секретарей императрицы, хорошо знавший Радищева по службе в Сенате и, разумеется, не разделявший его взглядов. Заметим — Храповицкий был близким другом Державина и от него мог узнать о книге и ее авторе.

Не исключено, что осведомителем стал ротмистр С. А. Олсуфьев (получивший от автора экземпляр книги), сын другого статс-секретаря императрицы. Донос мог сделать начальник Тайной экспедиции С. И. Шешковский, о котором Георг фон Гельбиг писал: «Он взял книгу, объяснил, как всякий, скрытые имена и сделал донос императрице».¹⁷ На Шешковского же указывал и П. А. Радищев в написанной им биографии своего отца.

Шувалов, Дашкова, Балашов, Державин, Храповицкий, Олсуфьев, Шешковский... кто-то из них? Но появлялись ли указанные лица в двадцатых числах июня в Царском Селе, где в то время пребывала императрица? По «Камер-фурьерскому журналу» за 1790 год (в нем отмечались буквально все события дворцовой жизни, вплоть до указания часов аудиенций, обедов, прогулок, ухода Екатерины II в «покои» и т. п.) И. И. Шувалов значится в числе приглашенных «к столу» 20, 21 и 22 июня; Е. Р. Дашкова присутствовала только 23 июня, а затем, вплоть до 9 октября, не появлялась. Фамилия Державина в эти дни вообще не встречается. Зато ротмистр конной гвардии Олсуфьев «обедает» во дворце 23 июня и 7 июля — две крайние даты, которыми в дневнике Храповицкого обозначено начало и завершение чтения императрицей книги Радищева. Быстрое продвижение ротмистра Олсуфьева по службе (в 1796 году он был уже подполковником) объясняется особым расположением со стороны императрицы.

¹⁵ ГИАЛЮ, ф. 42, оп. 1, ед. хр. 6, л. 27.

¹⁶ Л. Светлов. Новые обстоятельства процесса А. Н. Радищева. «Вопросы литературы», 1965, № 11, стр. 155—162.

¹⁷ Георг фон Гельбиг. Русские избранники. Перевод и примечания В. А. Бильбасова. Берлин, 1900, стр. 491.

С. И. Пешковский был приглашен «к столу» единственный раз — 22 июня. Видимо, дело обстояло так: кто-то из придворных (возможно, Шувалов, Храповицкий или Олсуфьев) сообщил императрице о появлении в продаже книги. 22 июня С. И. Пешковский доставил и само сочинение. 23 июня Екатерина, желая уточнить имя автора, приглашает во дворец Дашкову. Но последняя ничего не знала о книге, что косвенно подтверждается ее «Записками».¹⁸ Она сообщает здесь, будто бы в момент выхода «Путешествия» находилась за пределами Петербурга и об этом событии ее известил письмом А. Р. Воронцов. Факт пребывания Дашковой 23 июня во дворце Екатерины, устанавливаемый по «Камер-фурьерскому журналу», противоречит этому ее заявлению. Есть основание предположить, что Дашкова впервые узнала о книге Радищева от самой императрицы. Неосведомленность сестры начальника Радищева — князя Воронцова, могла показаться Екатерине подозрительной. Естественно, это должно было повлечь за собой «отлучение» Дашковой от дворца на долгое время.

Что касается Балашова и Державина, то против них не находится пока даже и таких косвенных «улик».

В заключение — несколько слов о корректурном экземпляре книги, обнаруженном у Царевского. В нем, как явствует из документов следственного дела, «многие оказались письменные приписки и приправки».¹⁹ Что же это за «приписки и приправки»? Вошли ли они в окончательную (печатную) редакцию? Есть ли они в цензурной рукописи? Вопросы эти — чрезвычайной важности, так как речь идет о творческой истории создания «Путешествия», до сего времени не ясенной. Г. П. Штром только запутал дело.

Как только этот экземпляр был доставлен в распоряжение следствия, Радищеву предложили написать несколько строк и слов для сличения почерка с «поправками» корректурного экземпляра. Вот эта запись Радищева: «Таковых, немедля, благородия, чрез службу военных и гражданскую всем, дают, он, нашел случай, явля того, онаго. запоем, ни во что, он, двое, будто, что, женство, смерть ова дей V явление 1, или еще один певольник в прибавок ко многим другим или змия за пазухой».²⁰

Тщательный просмотр рукописи и сопоставление ее с окончательным текстом (печатным) позволили совершенно точно установить, что *существовал промежуточный между цензурной рукописью и последней редакцией книги вариант «Путешествия», отличавшийся от них обеих как раз теми «приписками и приправками», часть из которых воспроизвел Радищев во время следствия.*

Принимая написанные им слова и фрагменты фраз за своеобразные «ориентир», легко находим в печатном тексте соответствующие контексты. Проиллюстрируем это на ряде примеров: «Все почти голоса *тановых* песен суть тону мягкого»;²¹ «Я *немедля* вступил с ним в разговор...» (стр. 10); «Но с дозволения вашего высококородия, *благородия* или высокоблагородия... они не знают что им нужно» (стр. 11); «Открыл он путь *чрез службу военную и гражданскую всем*, к приобретению дворянского титула...» (стр. 11); «Наблюдая свою пользу я *нашел случай* продать дом...» (стр. 53); «Голова моя была *свиной* тяжелее, хуже, нежели бывает с похмелья у пьяниц, которые по неделе пьют *запоем*» (стр. 86); «...Если кто некудрив и ненапудрен, того я *ни во что* нечту» (стр. 87); «Смерть *Катюнова*, трагедия Едессонова. *Дейс. V. Явлен. I*» (стр. 118); «*Или еще один певольник в прибавок ко многим другим, или змия за пазухой...*» (стр. 194) и т. п.

В цензурной же рукописи (в ее сохранившейся части) соответствующие места не содержат в себе подчеркнутых нами слов и отрывков фраз. Отсюда сам собой напрашивается вывод: Радищев вначале отпечатал «сигнальный» экземпляр с цензурной рукописи, внес в него исправления, а затем уж пустил в печать весь тираж книги.

Вполне вероятно, что разночтения некоторых списков «Путешествия» с печатным текстом объясняются тем, что они (эти списки) снимались с варианта, зафиксированного корректурным экземпляром. Может быть, «сигнальных» экземпляров было напечатано несколько, и они разошлись в ближайшем окружении Радищева, среди лиц, участвовавших в подготовке книги к изданию.

Не безынтересно отметить, кстати, что так называемый «лонгиновский» текст воспроизводит в одних случаях рукопись (т. е. дает в приведенных примерах чтение фраз без подчеркнутых нами слов), в других — совпадает с печатным текстом.

Для полного восстановления творческой истории создания «Путешествия из Петербурга в Москву» недостает еще многих «звеньев» и «деталей». Но, опираясь на уже известное, выверенное, документально подтвержденное, принципиально бесспорное, можно наметить верный путь к познанию объективной истины о Радищеве.

¹⁸ Записки княгини Е. Дашковой. СПб., 1906, стр. 224.

¹⁹ Д. С. Б а б к и н. Процесс А. Н. Радищева, стр. 220.

²⁰ Там же, стр. 226.

²¹ А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву, т. 1. «Academia», М.—Л., 1935, стр. 7 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

Н. МОРЕНЕЦ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ И. А. КРЫЛОВА

(ПРАВДА О КОНЧИНЕ КРЫЛОВА)

Биография и творческий путь И. А. Крылова в настоящее время изучены недостаточно полно. Так, до сих пор еще не выяснено окончательно, где и когда родился писатель,¹ нет почти никаких сведений о матери Крылова, Марии Алексеевне; после того, как стало известно завещание писателя, возник вопрос о Каллистрате Савельеве — его наследнике и т. д. Не установлена и истинная причина смерти Крылова.

И. А. Крылов, работая в имп. Публичной библиотеке, жил в одном из ее корпусов, против Гостиного двора, на Садовой улице (дом № 20). Прожив здесь 25 лет, он после отставки в 1841 году переехал на Васильевский остров, где поселился вместе с семьей своей крестницы.

Дом купца Блинова на 1-й линии Васильевского острова (по нынешней нумерации дом № 8), куда переехал Крылов, расположен против левого северного крыла здания бывшего I Шляхетского кадетского корпуса, где помещался штаб-главного начальника военно-учебных заведений; здесь жил и начальник штаба, генерал Я. И. Ростовцев, душеприказчик Крылова. У Я. И. Ростовцева служил аудитором муж удочеренной И. А. Крыловым крестницы, Каллистрат Савельев, будущий его наследник. В этом же кадетском корпусе служил и жил лечивший Крылова врач Ф. Я. Галлер. Лучшего места для своей последней квартиры Крылов не мог выбрать.

Здание I Шляхетского кадетского корпуса по бывшей Кадетской, ныне Съездовской линии, дом 1—5 — новый адрес, связанный с жизнью и творчеством И. А. Крылова в Петербурге.

Здание возведено на территории Меншиковской усадьбы. Южная его часть, выходящая на набережную Невы, построена в 1738—1758 годах. Несколько позже, в 1760-х годах, была сооружена северная часть здания, являющаяся непосредственным продолжением южной и частично расположенная против Большого проспекта.

Последние годы, проведенные в новых непривычных условиях совместно с семьей усыновленной им крестницы, видимо, в корне сломали привычный уклад жизни Ивана Андреевича. Но ему по-прежнему приходилось усиленно работать над подготовкой к новому изданию своих басен, которые вышли в свет незадолго до его кончины. В этот нелегкий период его жизни литературные круги столицы забыли о нем.

Так, из письма Я. К. Грота к М. И. Семевскому от 28 октября ст. ст. 1890 года видно, что он был у Крылова не более двух раз. Грот сообщал Семевскому, что «Крылов умер в доме купца Блинова, в котором прожил несколько лет, на Васильевском острове, в 1-й линии». «Я раза два был у него в этой квартире. — писал Грот... — Жил он в нижнем этаже, и ход к нему был с подъезда...»²

Вяземский высказывал сожаление, «что эти последние... дни перехода (Крылова, — Н. М.) от жизни к смерти совершились неведомо от нас».³

До самого последнего времени мы не знали об обстоятельствах и истинной причине смерти И. А. Крылова. Газеты сообщили, что «маститый старец скончался... после четырехдневной болезни».⁴ Считалось, что болезнь его явилась следствием «переедания». Добавляют к этому и «антонов огонь» — заражение крови.⁵

Мы публикуем найденное нами в Центральном государственном историческом архиве СССР подлинное врачебное свидетельство об истинной причине смерти Ивана Андреевича Крылова. Свидетельство выдано врачом, лечившим И. А. Крылова, доктором медицины, младшим лекарем I Шляхетского кадетского корпуса в Петербурге Фердинандом Галлером.

¹ Этому вопросу посвящена обширная литература. См.: С. Бабинцев. О годе рождения И. А. Крылова. «Русская литература», 1959, № 3, стр. 183—186; А. Десницкий. 1766 год как год рождения И. А. Крылова. «Русская литература», 1962, № 2, стр. 148—157.

² Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 265, оп. 2, № 806, л. 7.

³ П. А. Вяземский. О смерти Крылова. «Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», т. XX, № 5, 1880, стр. 55.

⁴ «С.-Петербургские ведомости», 1844, 11 ноября; «Северная пчела», 1844, № 258, 11 ноября, и др.

⁵ См.: Н. Степанов. Крылов. Изд. «Молодая гвардия», М., 1963, стр. 313.

«Свидетельство»

Дано сие в том, что состоявший на пользовании моем господин действительный статский советник и кавалер Иван Андреевич Крылов действительно страдал воспалением легких (*Pneumonia nota*) и волею божию 9-го сего ноября нынешнего 1844 года помер от паралича в легких. В чем и удостоверяю. С. Петербург, ноября 11-го дня 1844 года.

Доктор медицины и коллежский ассесор Ф. Галлер⁶

Можно надеяться, что свидетельство положит конец недостоверным рассказам о смерти писателя якобы от излишнего употребления пищи.

Не в одиночестве умер И. А. Крылов. Небольшая группа близких и любящих людей неотлучно находилась при нем в последние дни его жизни. В большинстве своем это простые люди: мелкий военный чиновник аудитор Савельев с семьей, два купца, чиновники — официальные представители при составлении завещания, врач, священник, немногочисленная прислуга; присутствовал также и душеприказчик, генерал Ростовцев.

Столичные газеты сразу же сообщили о смерти И. А. Крылова. Некоторые поместили обширные некрологи.

Прощание жителей столицы с И. А. Крыловым и отпевание тела его (церковная панихида) происходили в церковном приделе в честь Исаакия Далматского при соборе св. Спиридона в здании Адмиралтейства. Сюда временно был перенесен престол из старого, третьего по счету, Исаакиевского собора. Нынешнее же здание Исаакиевского собора тогда стояло в строительных лесах. Его окончательно отстроили только в конце мая 1858 года.

Панихида и захоронение И. А. Крылова на Новом кладбище Александро-Невской лавры проходили с большой торжественностью в присутствии высшего духовенства столицы и большого хора певчих.

Упомянутый в завещании И. А. Крылова каменный дом в Петербургской части столицы в 1845 году перешел во владение его наследника К. С. Савельева.⁷ Дом приобретен И. А. Крыловым у купца П. М. Пономарева. Прежний адрес дома: № 487, во 2-м квартале Петербургской части, по Малой Никольской улице. Позже улица называлась — Церковная. Современный адрес дома — улица Блохина, дом № 29 (по Зверинской улице — дом № 3).

В архивном фонде Петербургской городской управы⁸ на чертеже 1844 года указано: «План и фасад дома статского советника и кавалера Ивана Андреевича Крылова». Дом строгий, простой архитектуры. Центр дома отмечен ризалитом с шестью пилястрами ионического ордера во 2 и 3 этажах.

А. В. Никитенко со слов С. М. Мартынова довольно много пишет об истории покупки Крыловым дома. «Крылову нынешним летом (1844 года, — *Н. М.*) вздумалось купить себе дом где-то у Тучкова моста, на Петербургской стороне. Но, осмотрев его хорошенько, он увидел, что дом... потребует больших переделок... Крылов оставил свое намерение. Несколько дней спустя к нему является богатый купец (имени не знаю) и говорит:

— Я слышал, батюшка Иван Андреевич, что вы хотите купить такой-то дом?

— Нет, — отвечал Крылов, — я уже раздумал.

— Отчего же?

— Где мне возиться с ним? Требуется много поправок, да и денег не хватает.

— А дом-то чрезвычайно выгоден. Позвольте мне, батюшка, устроить вам это дело. В издержках сочтемся.

— Да с какой же радости вы станете это делать для меня? Я вас совсем не знаю.

— Что вы меня не знаете — это не диво. А удивительно было бы, если б кто из русских не знал Крылова. Позвольте ж одному из них оказать вам небольшую услугу. Крылов должен был согласиться и вот дом отстраивается... Такая черта уважения к таланту в простом русском человеке меня приятно поразила.⁹

На чертежах 1851 года обозначено: «План двора г-на Савельева Каллистрата Савельевича». Позже Савельев дом передал ведомству великой княгини Елены

⁶ Центральный государственный исторический архив СССР, ф. 815, оп. 8, д. 141, 1844. Дело о погребаемых в лавре особах, ч. 1. Свидетельство написано на листе белой, несколько пожелтевшей от времени бумаге, без водяных знаков. Размер листа 250 × 310 мм. Документ в хорошей сохранности. Почерк в тексте свидетельства и подпись врача Галлера точно такие же, как и под завещанием И. А. Крылова

⁷ См.: Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 397 (Крылов И. А.), д. 51, 1845, л. 3.

⁸ Государственный исторический архив Ленинградской области, ф. 513, оп. 102, № 8651, л. 1 и др.

⁹ А. В. Никитенко. Дневник в трех томах, т. I. Гослитиздат, [Л.], 1955, стр. 285—286.

Павловны. В нашу задачу не входит рассмотрение истории дома Крылова — Савельева, и мы не занимались изучением купчих и других документов, связанных с переходом дома от одного владельца к другому. Не выясняли также, жили ли Савельевы в своем доме. Последний вопрос не лишен интереса. Безусловно, что семья Савельевых, ближайших родственников И. А. Крылова, в большой биографии его займет подобающее ей место.

Л. С В Е Т Л О В

КРАМОЛЬНАЯ КНИГА

В 1859 году в Москве в типографии С. Селивановского должна была появиться книга «Житейские сцены». Ее автором был Павел Валерьянович Жадовский (1825—1891), брат известной поэтессы Юлии Жадовской. Но когда книга была уже отпечатана, в последний момент Московский цензурный комитет запретил ее. Книга Жадовского в свет не вышла, и весь ее тираж был уничтожен. Уцелело только несколько экземпляров, являющихся ныне величайшей библиографической редкостью.

Книга была запрещена по требованию цензора Н. П. Гилярова-Платонова, который ее же разрешил предварительно к печати. На обороте титульного листа книги имеется соответствующее указание о цензурном разрешении ее 16 мая 1858 года.

Обстоятельства запрета романа «Житейские сцены» стали известны лишь спустя сорок лет, когда в 1898 году была опубликована докладная записка Гилярова-Платонова в Московский цензурный комитет («Русское обозрение», 1898, № 2).

О запрете книги Жадовского впервые в 1907 году писал библиограф Д. Д. Языков («Исторический вестник», 1907, № 3). Однако в силу целого ряда причин (особенно из-за существовавших в то время цензурных условий) библиограф, разумеется, смог только робко и весьма сдержанно объяснить обстоятельства дела. Других упоминаний о нем в литературе нет.

Цензор Гиляров-Платонов мотивировал свое требование запретить книгу «Житейские сцены» тем, что она якобы была напечатана с подложного экземпляра рукописи, так как в ней оказались восстановленными многочисленные эпизоды, ранее им запрещенные как недопустимые по цензурным соображениям. Гиляров-Платонов довольно подробно перечислил разделы и страницы, где автор пренебрег его указаниями и по своему усмотрению исправил или восстановил первоначальный текст.

В своей докладной записке цензор писал: «Кроме того, мною выкинуты были целые два эпизода, относившиеся к злоупотреблениям помещичьей власти. Мало того, что отношения крепостного права выставлены были здесь в самых мрачных красках; мало того, что помещик представлен был без пощады жестокосердным, а крестьяне до крайности угнетенными; мало того, что в уста крестьян вложены были и как бы подсказывались самые горькие жалобы на свое положение, но существование обоих эпизодов состояло именно в том, что помещик за свое жестокосердие убивается, наконец, крестьянином, и притом сцена этих убийств, особенно в одном из эпизодов, представлена была с возмутительными подробностями. Имея в виду современное положение дел и повторительные предписания начальства об особенной осторожности в пропуске статей, касающихся крепостного права, и в особенности тех, которые излагают с неблагоприятной стороны крепостные отношения в беллетристической форме легких рассказов, я счел нужным не допускать обоих сказанных эпизодов к печати совершенно».¹

Цензор писал далее, что автор исключил места, не важные в цензурном отношении, зато восстановил все предосудительные места и фразы, которые были исключены.

Может быть, в той или иной степени такие обстоятельства, о каких писал Гиляров-Платонов, действительно имели место. Однако, знакомясь с романом «Житейские сцены», нетрудно убедиться, что дело здесь заключается не только в тех или иных самовольных исправлениях автором запрещенных цензурой мест, а в том, что цензор изменил свою точку зрения и воспользовался ранее запрещенными эпизодами как благим предлогом для запрета крамольной книги Жадовского в целом.

Книга «Житейские сцены» была запрещена не за отдельные неудобоцензурные эпизоды и фразы, а из-за того, что в романе в весьма невыгодном свете изображалась тогдашняя русская самодержавно-крепостническая действительность.

¹ «Русское обозрение», 1898, № 2, стр. 912.

События, описанные в романе «Житейские сцены», происходят в уездном городе Беристоле, с его затхлым обывательским бытом, сплетнями, пьянством, скрытым и явным развратом и, главное, безнаказанностью бесчисленных преступлений и злоупотреблений местных помещиков-крепостников и царских чиновников.

В романе перед взором читателя проходит целый ряд помещиков, которые безжалостно эксплуатируют своих крепостных и чрезвычайно жестоко с ними обращаются. Таков, например, помещик Пузин. «Действительно, помещик Пузин, — говорится о нем в романе, — был человек жестокий, с людьми своими обращался, как с собаками. У него не было праздника для крестьян, он мучил их полевыми работами... Все внимание Пузина обращено было на хозяйство, то есть не на то хозяйство, которое старается принести общую пользу обработкой земли, открытием разных улучшений по всем частям земледелия, скотоводства и тому подобному, нет, он под словом хозяйство разумел выгоды помещика, хотя бы они всему остальному миру приносили существенный вред. Руководствуясь этим полезным правилом, Данило Никитич и не думал об улучшении быта своих крестьян, а употреблял их как машину, необходимую для своих выгод. Крестьяне работали на помещика, не имея времени работать на себя, приходили в бедность, запускали свое хозяйство и тянули молча надетое на них ярмо».²

Еще об одном помещике рассказывает сын забитого батогами крепостного, убивший в отместку за отца этого помещика: «Помещик наш строг был с крестьянами и дворовыми, что и сказать нельзя. Не помню хорошенько, за что он рассердился на моего отца, который был уже дворецким, только дело в том, что батьку моего вздули батогами — примером сказать, сегодня вздули, а на третьи сутки он богу и душу отдал. Я был мал да удал, запала мне злоба на душу; задумал я злую думу: ужокошить барина» (стр. 199).

В обоих случаях помещиков постигает заслуженное возмездие.

На несносное иго крепостного права жалуются крестьяне в своих разговорах с офицерами — положительными героями романа, поручиком Эбориным и штаб-капитаном Голышевым, — расквартированного в Беристольском уезде пехотного полка.

«— Что ж, вы, верно, работой замучены?»

— Так, что и вздохнуть некогда, а тут подушное подай, нет, так корову, альбо лошадедку последнюю возьмут — все дочиста обобрали. Становой приедет, тому заплаги, псарь из волости, тому заплати, а коли грех какой ни на есть случится, да исправник налетит, пойдет возня, и не отплатишься; то рекругчина, то недоимки, то будто бы беглые где-нибудь у нас скрываются...

— А хотели бы вы быть вольными? — спросил Эборин.

— Кабы вольные были, так по крайности одной земщине платили, а тут барин себе дерет, земщина себе — с одного козла две шкуры. Тяжко, ваше благородие, невтерпеж приходится» (стр. 257—258).

В ряде глав описаны злоупотребления рекрутчиной, которую ловкие и жадные до наживы армейские вербовщики используют, чтобы грабить крестьян и присваивать кормовые и прочие деньги, отпускаемые правительством на содержание рекрутов.

Много места уделено в романе «Житейские сцены» чиновникам-взяточникам. В книге фигурирует ряд беристольских чиновников, и нет среди них ни одного, кто хотя бы пальцем пошевельнул, не получив предварительно «барашка в бумажке»; полицейских «блестителей порядка и закона», которые находятся в тесной связи с разбойничьей шайкой, являясь по существу ее сообщниками, так как получают не только взятки, но и солидную долю грабленного имущества; судьи тоже норовят толковать законы вкривь и вкось в пользу своего кармана...

Мрачные и зловещие образы этих взяточников и лихоимцев автор романа выписывает с особенной тщательностью. Так, частный пристав Постоялов после ухода посетителей «сосчитал всю сумму денег, каждый билет смотрел на свечке, не фальшивый ли, потом гладил его рукой, нюхал, целовал и откладывал» (стр. 190); квартальный как только почувствовал в руке небольшой запечатанный конвертик со взяткой, сейчас же спрятал его поближе к сердцу и освободил безвинно задержанную девушку (см. стр. 178); судья Пуд Прокофьевич Перепелкин толкует законы вкривь и вкось и преимущественно в ту сторону, которая более выгодна для его кармана (см. стр. 25). Достаточно выразительна филиппика правительственного ревизора, прибывшего в Беристоль для расследования деяний местной полиции: «Вы поставлены быть защитником угнетенных, преследователем пороков и преступлений, вам вверено было, милостивый государь, благосостояние жителей целого города..., а вы стали сами их грабителем..., вы вошли в сношение с разбойниками..., вы атаман разбойников, вы начало зла, вы сами зло, и тем ужаснейшее, что оно прикрывается мундшром — вывеской службы» (стр. 214).

² Павел Жадовский и. Житейские сцены. М., 1859, стр. 237, 239. (Далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

В крайне невыгодном свете показан во многих главах романа «Житейские сцены» повседневный быт тогдашней императорской армии. Автор романа сам участвовал в ряде военных кампаний — Венгерской, Крымской и др. — и потому хорошо был знаком с жизнью русского офицерства (Жадовский изображает только жизнь офицерского корпуса). В армии господствуют палочная дисциплина, хищения, взяточничество, пьянство, азартные каргезные игры, бессмысленные дуэльные нравы и т. д. Сплошь и рядом, как пишет Жадовский, «строгая дисциплина переходит в несносное капральство, в мелочную придирчивость и в глупое козыряние пред каждым старшим в чине» (стр. 85). Нетрудно представить себе, каково жилось простым солдатам, отданным в полную и безраздельную власть всех этих деспотов и хапуг Лядинцовых, Горлинских, Кольшких, Бандурных и других подобных им моральных уродов.

Не побоялся Жадовский упрекнуть и самого царствующего императора, который забыл о нуждах армии и не интересовался судьбой севастопольских героев (см. стр. 163).

В «Житейских сценах» показана также, хотя и бедно, но выразительно, жизнь трудового люда Беристоля. Бедность, нищета проступала здесь на каждом шагу. Она давала о себе знать и в невзрачном виде ветхих хибар, где жили простые обитатели города, и в озабоченных лицах мужчин, женщин и особенно детей: «по заботливым лицам мужчин и женщин заметно, что радость у них редкий гость в жизни, что потовой труд не всегда приносит им довольство. Даже дети их как-будто печальнее, скучнее других детей; так игры их были боязливы, не разнообразны — нужда и на их личики положила свою тяжелую печать» (стр. 33).

Не лишён роман «Житейские сцены» и антиклерикальных мотивов. Один из героев романа, офицер Збориц, говорит: «... Все зависит в жизни от человека. Я не верю ни в судьбу, ни в определение, да вряд есть ли что-либо подобное, даже самая вера в...» (стр. 31). Фраза многозначительно оборвана.

Автор с возмущением говорит о распространении суеверий самими же духовными пастырями, о чревоугодии и плотоядии церковнослужителей, о религиозном ханжестве. Вот, например, описание совершения священником брачного обряда, соединившего узами брака офицера — плута Кольшкина, и плутовку, дочь казначея Чихирдомова.

В романе показано, о чем думает каждый из участников совершаемого обряда, так называемого «тайнства брака». «Слава богу, — думает Кольшкин, удалось поддеть на удочку и маменьку и дочку...» (стр. 270). «Священник соединил руки новобрачных, и торжественная клятва была произнесена. Спокойно и весело подал Кольшкин руку своей супруге, и ни одна мысль о святости совершенного обряда не потревожила его душу — он обвенчался так же спокойно, как спокойно обедал, танцевал или исправлял другие житейские дела.

Так произнесена была перед лицом всевидящего еще одна ложная клятва — а сколько подобных клятв дается людьми перед алтарем, на котором таинственно присутствует дух божий. В особенности унижено и осквернено людьми таинство брака» (стр. 271).

Резкая критическая направленность книги Жадовского не является случайной. И более ранние литературные опыты писателя содержат немало прогрессивных суждений о тогдашней российской действительности. Так, в «Отрывках из воспоминаний о Крыме» он изобличает трусливых офицеров, служащих, как он выражается иронически, в «департаменте утаптывания мостовой и по части опустошения карманов» и околачивающихся в тыловых учреждениях, чтобы не слышать «несносный свист пуль и невежливый грохот ядер на полях битв». Как участник Крымской войны, Жадовский резко порицает нездоровый ажиотаж в крымских городах, в частности в Симферополе, в то время, когда на полях сражений лились потоки крови русских солдат. В тыловом Симферополе автор нашел водоворот страстей. Здесь «нищета сталкивалась с богатством, мотовство — с расчетливостью и скупостью, умеренность и нравственность с безнравственностью. И над всем этим морем житейской суеты носился проклятый дух сребролюбия; распался сердца жаждой к деньгам, он сеял в то же время семена ненависти, разврата и обмана».³

В этих воспоминаниях о Крыме явственно выражены и антивоенные настроения автора. Так, посетив в Севастополе места, ставшие ареной ожесточенных сражений, Жадовский пишет: «... везде у вас перед глазами ужасная картина развалин, и кажется, что еще грозный дух брани веет над мертвым городом и напоминает своим ледяющим душу дыханием о несчастных, храбрых жертвах бесполезной и беспримерной борьбы». И далее еще более решительное высказывание против войны: «Зло всегда существует и будет существовать на земле, но из проявлений зла одно из самых ужаснейших — война. Свириные страсти истребляют друг друга. Последствием войн бывает истощение финансов, обеднение многих миллионов людей усилёнными наборами, наконец, если к этому присоединяются физические бедствия: неурожай, эпидемии и прочее, и правительство пе

³ Полное собрание сочинений П. В. Жадовского, т. I, СПб., 1886, стр. 289, 292.

в состоянии будет облегчить участь своих подданных, тогда может наступить и кровавая развязка — следствие неблагоприятного употребления власти, ужасный бич небесной Немезиды.⁴

Говоря в конце своих воспоминаний о многочисленных безобразиях и упущениях, имевших место во время Крымской войны, Жадовский полагает, что их можно было в значительной мере устранить, «стоило бы только переменить некоторых главных лиц в разных управлениях».⁵

Не надо забывать, что так писал дворянин-офицер, участник войны и верный подданный царя. Эти высказывания П. Жадовского тоже еще не учтены в исследовательской литературе.

Роман «Житейские сцены» написан Жадовским под песочным воздействием творческих принципов так называемой «натуральной школы» и содержит следы подражания произведениям представителей этой школы. Особенно ощутимо сказывается подражание «Ревизору» и «Мертвым душам» Гоголя и «Губернским очеркам» Салтыкова-Щедрина, например в сценах встречи беристольского пристава Постоялова, взяточника и вымогателя, с прибывшим правительственным ревизором, в изображении помещиков и их жен — помещицшей четы Пузиных, Свистулькинских и др., в изображении чиновничьих семей, например казначея Чихирдова и пр.

Хотя творческая манера П. В. Жадовского не блещет новизной и не отличается большой самостоятельностью, его роман «Житейские сцены» представляется все же знаменательным явлением общественно-идеологической борьбы, развернувшейся в стране во второй половине 50-х годов прошлого столетия. Само произведение Жадовского порождено этим подъемом общественной борьбы. Все это тем более примечательно, что П. В. Жадовский, как известно, был выходцем из старинного дворянского рода и придерживался весьма умеренных общественно-политических взглядов. В его романе отражено брожение умов, характерное для периода, предшествовавшего крестьянской реформе 1861 года.

Цензор Гиляров-Платонов не скрывал в своей упоминавшейся выше докладной записке, что он, запрещая роман, руководствуется именно имеющимися правительственными инструкциями всячески сдерживать это бурное умственное брожение.

Любопытно, что Жадовский использовал хорошо известный опыт Радищева, который в свое время исправил и вставил целый ряд новых эпизодов и мест в свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», после того как получил цензурное разрешение петербургской Управы благочиния печатать книгу. Кстати, спустя год после цензурной истории с романом «Житейские сцены», Жадовский по неисповедимым капризам судьбы стал городничим в городе Кузнецке Саратовской губернии (ныне Пензенской области), вблизи которого родился и жил А. Н. Радищев.

Цензурное дело Жадовского длилось несколько лет. Из сохранившегося следственного дела видно, что Жадовский привлекался к судебной ответственности. Правда, серьезных последствий это за собой не повлекло. Он был оставлен только «в подозрении». По-видимому, угловная палата, рассматривавшая дело, и Сенат, и генерал-губернатор, утвердившие решение суда, понимали, что суть дела не в отдельных поправках, которые самовольно, без ведома цензора, сделал автор, а в общем содержании книги, наполненной «крамольными» идеями и высказываниями.

Книга была запрещена в 1859 году, решение же суда было утверждено Сенатом лишь 1 марта 1865 года, а еще через год с лишним, 11 мая 1866 года, весь тираж в 1200 экземпляров был уничтожен, за исключением 10 экземпляров, затребованных Главным управлением по делам печати «на случай необходимых справок».⁶

Позабывая столь долгое время цензурная история романа Жадовского «Житейские сцены» должна, наконец, попасть в поле зрения исследователей русской литературы и общественной мысли XIX века.

⁴ Сборник литературных статей, посвященных русскими писателями памяти А. Ф. Смирдина, т. V. СПб., 1859, стр. 166, 178.

⁵ Там же, стр. 211.

⁶ См.: Л. М. Дюбровольский. Запрещенная книга в России. 1825—1904. М., 1962, стр. 49—50.

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО Ф. МИКЛОШИЧА

В 1891 году в возрасте 78 лет умер выдающийся ученый Ф. Миклошич, один из основателей сравнительной грамматики славянских языков. Автор многочисленных исследований и словарей, он отличался глубоким знанием истории славянства. Его труды не утратили научной ценности до сих пор.

Ф. Миклошич был членом-корреспондентом имп. Академии наук, был дружен и переписывался со многими русскими учеными. В своих работах он широко пользовался рукописями из русских хранилищ и библиотек, присылал в Россию свои книги, внимательно следил за успехами русской филологической науки. В архивах нашей страны сохранилось немало его писем П. П. Срезневскому,¹ М. П. Погодину² и другим русским ученым и писателям. Письмо Ф. Миклошича писателю А. М. Жемчужникову, перевод которого публикуется ниже, написано на немецком языке. Подлинник хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. Отвечая на вопросы, поставленные Жемчужниковым, ученый говорит о народных песнях как о главном источнике изучения нравов славянских народов, находившихся в XVI веке под владычеством Турции.

«Поставленные передо мною вопросы гласят:

„Из каких источников могут быть почерпнуты более подробные сведения о Византии и славянских странах, находившихся под турецким владычеством в XVI веке? Особенно желательно было бы узнать о сказаниях, песнях, музыкальном творчестве и т. п.“.

О политической истории славянских стран, находившихся под турецким владычеством, говорится в известных трудах по истории Турции Гаммера³ и Цинкейзена⁴ и, особенно, — Энгеля⁵ и Рапке.⁶

О жизни народа, само собой разумеется, из этих книг ничего почерпнуть нельзя. Сведений, касающихся жизни народа в XVI веке, нет ни на сербском, ни на болгарском, ни на каком-либо другом языке. Характеристика мыслей и чувств народа содержится только в народных песнях. Их уже довольно рано собирали, и теперь они опубликованы. Национальный образ мышления у славян, тщательно оберегаемых турками от всякого соприкосновения с европейцами (ни славяне, ни турки к ним себя не причисляли), сохранился неизменным в течение столетий: контакты с Европой подорвали власть турок. Можно поэтому без сомнения черпать сведения о нравах славян в XVI веке из имеющихся в нашем распоряжении народных песен.

Возвышенная красота этих песен, как лирических, так и эпических, была оценена по достоинству великими поэтами и исследователями старины. Упомяну лишь Гете⁷ и Я. Гримма.⁸ Эти песни переведены на большинство европейских языков. Они вошли в мировую литературу. Прежде всего немцы посмешили перевести их на свой язык. Пальма первенства принадлежит здесь Тальви.⁹

¹ См.: А. И. Кузьмин. Письма Ф. Миклошича И. И. Срезневскому. «Известия АН СССР, Серия языка и литературы», 1966, т. XXX, вып. 1, стр. 51—56.

² А. И. Кузьмин, С. А. Мионов. Письма Ф. Миклошича М. П. Погодину. «Советское славяноведение», 1966, № 6, стр. 69—76.

³ Гаммер-Пургшталь (1774—1856), известный немецкий историк-востоковед, автор трудов «Geschichte des osmanischen Reichs» (1827—1835), «Geschichte der osmanischen Dichtkunst» (1836) и других.

⁴ Иоганн-Вильгельм Цинкейзен (1803—1863), немецкий историк, автор «Geschichte des osmanischen Reiches in Europa» и других работ.

⁵ Вероятно, Ф. Миклошич имеет в виду Иоганна-Христиана Энгеля (1770—1814), австрийского историка, автора нескольких весьма ценных исследований, среди них: «Geschichte des ungarischen Reichs und seiner Nebenländer» (1797—1804), «Geschichte des Freistaats Ragusa» (1807).

⁶ Леопольд Рапке (1795—1886), немецкий историк, автор монографии «Die serbische Revolution aus serbischen Papieren und Mitteilungen». В 1879 году эта работа вышла значительно дополненной, под названием «Serbien und die Türkei im neunzehnten Jahrhundert». Был близок с Вуком Стефановичем Караджичем.

⁷ Гете очень высоко ценил народную поэзию. Упомянем его статью «Serbische Lieder», впервые напечатанную в «Ueber Kunst und Alterthum» (1825).

⁸ Якоб Гримм (1785—1863), крупнейший филолог, профессор Геттингенского, затем Берлинского университетов.

⁹ Тальви — псевдоним Терезы-Альбертины-Луизы Робинсон (1797—1870), немецкой писательницы, родившейся в России, автора «Volkslieder der Serben» (1825—1826).

Кроме того, следует назвать Каппера.¹⁰ Итальянцы в лице Томмазо¹¹ имеют переводчика, в высшей степени тонко воспринимающего красоту этой поэзии. Французы перевели на свой язык только немного: следует назвать лишь Элизу Вуаяр, которая в „Сербских народных песнях“ (Париж, 1844) перевела значительное количество сербских народных песен на французский язык.

Сербские сказки изданы Вуком Стефановичем Караджичем и были переведены на немецкий язык его дочерью.

О мелодиях этих песен в широких кругах известно довольно мало. Известно только, что мелодии очень просты и ограничиваются несколькими тонами: их исполняют на однострунной скрипке смычком из конского волоса.

Разнообразны мелодии лирических песен. Образцы тех и других можно найти в „Песнях сербов“ Каппера. В двадцатые годы занимался сербскими мелодиями немецкий музыкант, композитор Карл Лева.¹² Вот что можно сказать о сербских песнях, музыкальных произведениях и сказаниях по крайней мере трех последних столетий.

Вена, 25 апреля 1884»

ВИЛЬЯМ ЭДЖЕРТОН
(США)

И. С. ТУРГЕНЕВ И СПОРНЫЙ ВОПРОС О ЯКУШКИНЫХ

В статье «Об одном знакомстве И. С. Тургенева», напечатанной в 1961 году в журнале «Вопросы литературы», Н. Чернов выдвигает предположение, что, создавая образ Базарова, Тургенев имел в виду провинциального доктора Виктора Ивановича Якушкина.¹ Н. Чернов цитирует письмо Тургенева от 16 февраля 1851 года к Е. М. Феокистову («Зиновьев, Корш, Якушкин, Маслов, Тютчев и я» провели предыдущий вечер в ресторане Дюссо в Петербурге)² и делает вывод, что Тургенев и Виктор Якушкин, учившийся с 1849 по 1854 год в Петербургской Медико-хирургической академии, были знакомы еще в 1851 году. Эта гипотеза уже привела к тому, что в «Полном собрании сочинений и писем И. С. Тургенева» Якушкин, упомянутый Тургеневым в трех письмах 1851—1853 годов, поименован Виктором Ивановичем (II, 700).

Между тем статья Н. Чернова содержит ряд фактических ошибок, делающих необщепризнанной его гипотезу. Автор говорит о Викторе Якушкине: «Он появился в Мценском уезде в середине 50-х годов и поселился в семи верстах от Спасского, женившись на дочери соседа Тургенева по имению, отставного капитана Мардарья Миллюкова... Когда Якушкины в конце 1858 года выехали за границу, в Мценске все единодушно решили, что доктор и его жена отправились в Лондон к Герцену» (стр. 189). В действительности же женитьба Виктора Якушкина на Миллюковой и их заграничное путешествие относятся лишь к весне 1862 года. В неопубликованном письме от 4 апреля 1862 года из Орла, адресованном А. И. Ничипоренко, Виктор Якушкин писал: «До 19 апреля» мы пробудем в России, в Орле мы будем до 15-го апреля», а после 15-го адресуйте во Мценск на имя Миллюкова.³ Это

¹⁰ Зигфрид Каппер (1821—1877), немецко-чешский писатель и переводчик, прославившийся своими переводами со славянских языков («Gesänge der Serben», 1852) и стихотворениями на немецком и чешском языках («Südslavische Wanderungen», 1853).

¹¹ Николо Томмазо (настоящая фамилия Томашич) (1802—1874), видный итальянский критик, писатель, политический деятель, автор многочисленных сочинений по филологии, философии, истории. Наряду с исследованиями по итальянскому языку и литературе, много внимания уделял переводу славянских песен. В 1844 году на сербском языке напечатал 33 «искрище» — стихотворения в прозе, исполненных любви к народной песне.

¹² Карл-Йоганн-Готфрид Лева (1796—1869), немецкий композитор, автор опер, ораторий, песен; писал баллады на слова Гете, Уландта, Гердера и др.; изучал сербские мелодии.

¹ Н. Чернов. Об одном знакомстве И. С. Тургенева. «Вопросы литературы», 1961, № 8, стр. 188—193. Далее ссылки на эту статью приводятся в тексте.

² И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах, Письма, т. II, Изд. АН СССР, М.—Л., 1961, стр. 21 (ссылки на это издание далее приводятся в тексте). См. также: «Литературное наследство», т. 73 (II), 1964, стр. 60.

³ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 51, лл. 406—407. Жена Виктора Якушкина, Елизавета Мардарьевна Миллюкова, была дочерью его же двоюродной сестры. Мардарий Миллюков был женат на Елизавете Дмитриевне Якушкиной, сестре декаб-

письмо было изъято полицией во время ареста Ничипоренко в связи с известным «процессом 32-х». На вопрос следователя относительно фамилии Миллюков, упоминавшейся в письме, Ничипоренко на одном из допросов в ноябре 1862 года ответил: «Миллюкова, помещица Орловской губернии, на которой Якушкин должен был весною настоящего года (после Святой) Неделли жениться».⁴ Но Чернов утверждает далее: «За границей состоялось также знакомство Бенни с Виктором Якушкиным» (стр. 190). Он не ссылается при этом ни на какие источники, и это неудивительно, т. к. мы обладаем свидетельством Ничипоренко о том, что Бенни впервые познакомился с Виктором Якушкиным в 1861 году в Петербурге. Когда загадочный полуполяк, полуангличанин Артур Бенни приехал в Петербург из Лондона в конце июня 1861 года,⁵ он привез с собой рекомендательное письмо к Ничипоренко от лондонского соратника Герцена Василия Ивановича Кельсиева с просьбой ввести Бенни в круг близких Ничипоренко петербургских писателей.⁶ Кельсиев познакомился с Ничипоренко несколькими годами ранее, когда они были студентами Петербургского коммерческого училища. В ходе допросов Ничипоренко заявил Следственной комиссии, что он представил Бенни Николаю Ивановичу Курочкину, а тот познакомил его самого и Бенни с Виктором Якушкиным, который жил в этот период в одной квартире с Курочкиным.⁷

Наиболее серьезным аргументом против гипотезы Н. Чернова о Викторе Якушкине как частичном прототипе Базарова является письмо Аргура Бенни, посланное им в августе 1861 года П. С. Тургеневу. В конце любопытного «революционного путешествия» по русской провинции, ставшего впоследствии одним из центральных эпизодов произведения Н. С. Лескова «Загадочный человек», Бенни и Ничипоренко посетили Тургенева в его имении в Спасском и оттуда нанесли короткий визит в имение Якушкиных Сабурово Малоархангельского уезда. На обратном пути в Москву Бенни написал Тургеневу из Новосиля: «Письмо это я хотел было послать вам по почте — но, так как мы приехали сюда вместе с Виктором Ивановичем Якушкиным, я его просил отвезти вам ее (sic!) самому, причем я его вам очень рекомендую».⁸ Это письмо убедительно доказывает, что Тургенев не был знаком с Виктором Якушкиным до августа 1861 года. Однако Н. Чернов пытается опровергнуть это доказательство следующим образом: «Последние слова не очень сильного в русском языке Бенни, несомненно, лишь своеобразная форма выражения вежливости по отношению к упоминаемому в письме лицу. Трудно поверить, чтобы приехавший впервые в Мценский уезд Бенни считал необходимым представить Тургеневу его ближайшего соседа по имению» (стр. 190). Но еще труднее поверить, что Бенни написал постскриптум, рекомендуя Виктора Якушкина Тургеневу, не выяснив предварительно у самого Якушкина, что тот никогда не встречался с Тургеневым.

Никто, кроме Н. Чернова, не ставил под сомнение способность Бенни выражать свои мысли по-русски; и сам Н. Чернов ничем не подкрепляет свое обвинение. Этому обвинению противоречит тот факт, что в течение своего первого года пре-

риста И. Д. Якушкина. Ее отец, Дмитрий Андреевич, был братом Ивана Андреевича — отца Виктора Якушкина (см.: Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. Изд. АН СССР, М., 1951, стр. 518).

⁴ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 53, л. 416.

⁵ В своем показании Следственной комиссии А. Бенни писал, что он приехал в Петербург «в июне или июле 1861 г.» (ЦГАОР, ф. 112, ед. хр. 53, л. 338). В архиве Йозефа Вацлава Фрича в Праге хранится рекомендательное письмо для Карола Бенни, отправленное его братом Артуром из Варшавы 26 июня (п. ст.) 1861 года. Эта дата свидетельствует, что А. Бенни не мог приехать в Петербург раньше 15/27 июня (сведения о письме А. Бенни к И. В. Фричу любезно сообщил мне из Праги А. В. Флоровский).

⁶ ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 53, л. 59.

⁷ Там же, лл. 59, 416.

⁸ С. Рейсер. Новые материалы о Бенни. «Каторга и ссылка», 1931, № 2, стр. 141. По мнению С. А. Рейсера, это письмо, помеченное корреспондентом лишь словом «понедельник», можно «совершенно точно датировать 14 августа 1861 года. В предыдущем письме Бенни пишет, что в Мценске он будет около 10 августа. Ближайший понедельник приходится на 14-е». По-моему, нужно, скорее, датировать это письмо следующим понедельником — 21 августа. Бенни написал его, чтобы сообщить Тургеневу о потере большого письма, написанного Тургеневым Боткину и вверенного Бенни для отдачи в Мценске на почту. Это видно из письма Тургенева к М. А. Маркович от 25 августа (6 сентября) 1861 года: «Милая Мария Александровна, получив это письмо, ступайте к Боткину и скажите ему, что я ему написал было пребольшое письмо и отдал его известному Вам Бенни для отдачи в Мценске на почту; но сей юноша его на дороге потерял. Нечего делать — придется все написанное рассказать, что, я надеюсь, совершить весьма скоро — ибо я послезавтра выезжаю и почти нигде останавливаться не буду» (IV, 282). Едва ли вероятно, что Тургенев мог отложить на целых одиннадцать дней сообщение Боткину (через М. А. Маркович) об этой потере.

бывапия в России Бенни занимал ответственное положение в редакциях «Русского инвалида» и «Северной пчелы».⁹ Но даже если утверждение Н. Чернова относительно русского языка Бенни было бы правильно, все равно нельзя оспорить смысл письма Бенни Тургеневу, т. к. использованное Бенни русское слово «рекомендовать» не отличается от глагола *recomend* в английском языке и *rekomendować* или *polecać* в польском, т. е. в языках, на которых Бенни говорил свободно.

Н. Чернов не может понять, почему Бенни должен был «рекомендовать» Тургеневу одного из ближайших соседей его по имению. Поэтому он и утверждает, что Бенни плохо изъяснялся по-русски и что его «рекомендация» была лишь неудачно выраженной «формой вежливости». Между тем все объясняется очень просто: Бенни рекомендовал Виктора Якушкина Тургеневу потому, что тот не был тогда близким соседом Тургенева и Тургенев никогда не встречался с ним. Вопреки ошибочному предположению Н. Чернова, летом 1861 года Виктор Якушкин еще не был женат на Е. М. Милоковой и еще не приезжал в ее имение в Мценском уезде. Он приехал из Петербурга приблизительно тремя месяцами ранее навестить свою мать в их поместье в Малоархангельском уезде, которое находилось на значительном расстоянии от имения Тургенева в Спасском.

Следовательно, Тургенев, изображая Базарова, никак не мог иметь в виду Виктора Якушкина, т. к. еще до знакомства с ним уже завершил работу над романом.

Остается еще один довод Н. Чернова, которым он подкрепляет свое предположение: «Скорее всего речь идет о Викторе Якушкине, который... в кругах молодежи был заметной личностью. Глеб Успенский не случайно в одном из своих писем называет его в числе зачинателей движения молодежи конца 50-х—начала 60-х годов наряду с Курочкиным, Левитовым, Помяловским, Демертом, С. Максимовым и другими» (стр. 190). Но ведь Г. Успенский не приезжал в Петербург до лета 1861 года,¹⁰ и поэтому его свидетельство об участии Якушкина в «движении молодежи конца 50-х—начала 60-х годов» не может иметь отношения к тому Якушкину, который был упомянут Тургеневым в 1851 году. Более того, Н. Чернов не замечает, что свидетельство Успенского противоречит его, Чернова, собственному утверждению, будто «Якушкины в конце 1858 года выехали за границу» и в заграничном путешествии находились «более двух лет» (стр. 189, 190).

Обратим внимание еще на одну деталь: все участники встречи у Дюссо (мы не говорим сейчас о Якушкине) были в свое время тесно связаны с Белинским. 32-летний Тургенев—самый молодой из этой группы—был представлен Белинскому в 1843 году Петром Васильевичем Зиновьевым, который сам познакомился с Белинским через Герцена в 1841 году. К моменту встречи в ресторане Дюссо П. В. Зиновьеву было 38 лет, и он недавно был утвержден предводителем дворянства Крестецкого уезда Новгородской губернии.¹¹ Иван Ильич Маслов (в это время ему было 33 года) служил в 1840-х годах в Петербурге секретарем генерала И. Д. Скобелева. И. И. Маслов и Николай Николаевич Тютчев (тогда ему было 35 лет) входили в круг ближайших друзей Белинского в Петербурге в течение последних лет его жизни. Незадолго до обеда у Дюссо Н. Н. Тютчев заведовал своеобразной почтовой «конторой», организованной в Петербурге в 1846 году Михаилом Александровичем Языковым, членом кружка Белинского и другом Тургенева.¹² Евгений Федорович Корш жил до этого времени в Москве, где являлся одним из ближайших друзей Герцена, Огарева и Т. Н. Грановского. Он был редактором «Московских ведомостей» с 1843 по 1847 год, откуда был уволен за либеральные идеи. К моменту встречи у Дюссо Е. Ф. Коршу было 40 лет. П. В. Анненков

⁹ Бенни вошел в редакцию «Русского инвалида» осенью 1861 года. Его положение было там достаточно ответственным, чтобы он мог предложить вернуться из Лондона в начале декабря Н. М. Владимирову работать в газете под своим руководством (см.: Мих. Лемке. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». СПб., 1908, стр. 69; см. также: ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 53, л. 339). В. П. Кельсиев в своей «Исповеди» говорит о Бенни как о человеке, «одаренном от природы необыкновенною легкостью изучения языков», который немедленно после приезда в Россию «сделался русским литератором» («Литературное наследство», т. 41—42, 1944, стр. 310). П. Д. Боборыкин в своих воспоминаниях пишет, что Бенни «по-русски говорил хорошо, с легким, более польским, чем английским акцентом» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах, т. I. Изд. «Художественная литература», 1965, стр. 361).

¹⁰ См.: Г. И. Успенский, Полное собрание сочинений, т. XIV, Изд. АН СССР, 1954, стр. 211.

¹¹ См.: М. Перкаль. Новгородский знакомый А. И. Герцена и друг декабристов П. В. Зиновьев. «Русская литература», 1963, № 4, стр. 155—160.

¹² См.: А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. Гослитиздат, М., 1956, стр. 207—212; см. также письмо В. П. Боткина к П. В. Анненкову от 8 января 1851 года. В кн.: П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, стр. 564.

в своих воспоминаниях рассказывает, что вокруг Корша группировалась тогда «партия петербургского прогресса».¹³

Итак, кто же такой Якушкин, упомянутый Тургеневым в числе лиц, встречавшихся у Дюссо? Во-первых, это, видимо, тот же самый Якушкин, которого Тургенев упоминает в письме от 13 декабря 1852 года из Спаского Д. Я. Колбасину: «...пожалуйста, достаньте непременно у Александра Щепкина (адрес его Вы можете узнать у Языкова или у Якушкина) — музыку Гуно, которую я ему дал — и пришлите мне ее сюда...» (II, 91). Тремя месяцами позже Тургенев, так и не получив свои ноты, восклицает (в письме от 6 марта 1853 года тому же адресату): «О проклятый шалапут Якушкин! Неужели же нет средства достать у Щепкина музыку Гуно? Это истинное наказание — и урок вперед. Авось хоть постом Вы добьетесь от них толку» (II, 133).

Н. Чернов совершенно прав, отвергая предположение, выдвинутое в 1930 году Н. В. Измайловым и поддержанное М. Клеманом, что названный здесь Якушкин был этнографом Павлом Ивановичем Якушкиным,¹⁴ т. к. известно, что П. И. Якушкин впервые посетил Петербург только в 1858 году.¹⁵ Однако собственная теория Н. Чернова относительно того, что это был Виктор Якушкин, также непримлема. Если предположить, что Н. Чернов прав, нам пришлось бы поверить, что юноша (ему был 21 год) из Орловской губернии, обучавшийся тогда на втором курсе Петербургской Медико-хирургической академии и не связанный с кем-либо из указанных в письме лиц, был в 1851 году настолько хорошо известен молодому москвичу Е. М. Феоктистову, что Тургенев считал возможным называть его только по фамилии. Нам пришлось бы также поверить, что этот молодой студент-медик был хорошо известен другому москвичу, Александру Щепкину, сыну знаменитого актера, и что его студенческий адрес представлялся Тургеневу настолько постоянным, что он мог просить Д. Я. Колбасина обратиться к нему (или к М. А. Языкову) для того, чтобы выяснить адрес Щепкина.

Еще более серьезный аргумент против гипотезы Чернова может быть подчеркнут из переписки Т. Н. Грановского. В конце 1850 года Грановский провел две недели в Петербурге, остановившись в доме Е. Ф. Корша. 29 декабря, на следующий день после приезда, он написал жене о приеме, оказанном ему накануне вечером у Коршей: «Прибежал Кавелин тотчас, потом пришел посмотреть на меня Тютчев с женою, Милотины, Арапетов, Якушкин, и провели с нами вечер».¹⁶ Примечательно, что все собравшиеся связаны с Москвой и с западничеством. Е. Ф. Корш жил в Петербурге лишь около года, и Грановский во время своего визита узнал, что Корш уже собирается переехать в Москву. Константин Дмитриевич Кавелин, братья Милотины (Дмитрий и Николай Алексеевичи) и Иван Павлович Арапетов выросли в Москве. Не считая локамест Якушкина, единственным немосквичом среди упомянутых Грановским лиц был П. П. Тютчев, присутствие которого объясняется его тесной дружбой с Грановским, возникшей еще во время поездки последнего в Петербург в 1848 году, когда они оба принимали участие в организации похорон Белинского и в создании фонда помощи его вдове и детям.¹⁷

В списке присутствовавших на приеме у Корша Грановский упоминает фамилию Якушкин без дополнительных разъяснений. Песомненно, он знал, что его жена поймет, кого он имел в виду. Поскольку Виктор Якушкин, насколько известно, не был связан с Москвою, трудно представить, что он мог быть приглашен на прием в честь Грановского в тесный кружок московских друзей Корша или что его имя могло быть известно жене Грановского.

Говоря о Якушкине, Н. Чернов высказывает и другое предположение, но по каким-то причинам сразу же отвергает его: «Упомянутый в письме Тургенева человек мог быть кем-нибудь из сыновей декабриста П. Д. Якушкина. Однако отсутствие каких бы то ни было их связей с Тургеневым и с остальными участниками встречи в дальнейшем, а также то, что проживали они в этот период в провинции, делает это предположение также маловероятным» (стр. 189—190).

Обратимся снова к фактам. У декабриста И. Д. Якушкина было два сына, Вячеслав (1823—1861) и Евгений (1826—1905). Оба они учились в Московском университете, так же как и их отец, учившийся там с А. С. Грибоедовым и П. Я. Чаадаевым. Вячеслав, отставший в результате провала на экзамене в 1842 году, закончил университет в одно время с братом, в 1847 году. Евгений продолжал свое образование за границей в 1847—1848 годах, а затем вернулся в Москву, где в 1849 году поступил на службу в Межевой корпус и позднее преподавал в Константиновском межевом институте. Вячеслав оставался в Москве

¹³ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1960, стр. 532.

¹⁴ Тургенев и круг «Современника». «Academia», М.—Л., 1930, стр. XLVI, 137, 139. М. К. Клеман. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. «Academia», М.—Л., 1934, стр. 59, 362 (а не 462, как указывает Н. Чернов).

¹⁵ П. И. Якушкин. Сочинения. СПб., 1884, стр. II, XXXVI.

¹⁶ Т. Н. Грановский и его переписка, т. II. М., 1897, стр. 280.

¹⁷ Там же, стр. 274.

до конца 1849 года. В начале 1850 года он приехал в Петербург и начал работать в Межевом ведомстве, возглавляемом его дядей Михаилом Николаевичем Муравьевым.¹⁸ В Петербурге Вячеслав жил в доме М. Н. и П. В. Муравьевых. В письмах И. Д. Якушкина к сыну Евгению в Москву сообщается, что Вячеслав и Муравьевы планировали первоначально посетить Москву в конце декабря 1850 года, но что их путешествие было отложено по меньшей мере до пасхальной недели 1851 года.¹⁹ Следовательно, Вячеслав Иванович был в Петербурге как 28 декабря 1850 года, когда в числе приветствовавших Грановского в доме Корша находился и «Якушкин», так и 15 февраля 1851 года, когда «Якушкин» пил шампанское у Дюссо с Тургеневым, П. В. Зиновьевым, Е. Ф. Коршем, И. И. Масловым и Н. Н. Тютчевым. И личность этого «Якушкина» не нуждалась в уточнении, когда Грановский писал о нем своей жене или же когда Тургенев писал студенту Грановского Феоктистову. В конце 1840-х—начале 1850-х годов в Москве фамилия Якушкин могла, как правило, ассоциироваться лишь с двумя сыновьями декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина, которые были известны не только в связи с их выдающимся отцом, но также в связи с их семейными отношениями с Шереметевыми и Муравьевыми. И. Д. Якушкин и М. Н. Муравьев играли значительную роль в ранний период декабристского движения. Тогда же они женились на сестрах Шереметевых — Анастасии и Пелагее Васильевне, мать которых Надежда Николаевна приходилась теткой поэту Ф. И. Тютчеву и была дружна с Жуковским, Гоголем, Киреевскими и Аксаковыми. Именно ее влияние способствовало тому, что указ Николая I, определившего местом ссылки И. Д. Якушкина село Олонки Иркутской губернии, был изменен и ее зять был помещен в менее суровые условия — в гор. Ялуторовск Тобольской губернии.²⁰

Замечания Грановского и Тургенева о Якушкине были понятны для москвичей также и потому, что еще один Якушкин был в это время близок к кружку Грановского. В. П. Боткин в письме к Тургеневу от 7 января 1852 года пишет о графине Салнас и добавляет: «...представь себе, она почти разошлась с обществом, посещающим дом Грановских. Надобно признаться, что это общество состоит только из Фролова, Ник. Щепкина, Кетчера и Якушкина».²¹ Н. Л. Бродский, редактор писем Боткина, указывает на этнографа Павла Ивановича Якушкина, хотя по ряду причин это является неубедительным. Колоритный, привлекательный, по-своему эксцентричный, П. И. Якушкин в 1844 году ушел с четвертого курса математического факультета Московского университета и, передетый корабельником, отправился бродить по России, собирая народные песни. Время от времени он останавливался в поместье своей матери в Орловской губернии, находившемся недалеко от дома П. В. Киреевского, с которым он был тесно связан как собиратель народных песен. В течение двух лет, начиная с 1850 года, он пытался — малоуспешно — стать преподавателем уездных училищ, вначале в Богдухово Харьковской губернии, а затем в Обояни Курской губернии.²²

Если бы даже П. И. Якушкин в начале 1850-х годов и жил в Москве, а не учительствовал бы в провинции, он и тогда бы вряд ли мог быть тем Якушкиным, которого Боткин называет членом кружка Грановского, ибо московских знакомых П. И. Якушкина после оставления им Московского университета следует искать среди людей, окружавших М. П. Погодина и «молодую редакцию „Москвитянина“»,²³ чьи славянофильские взгляды были глубоко чужды Т. Н. Грановскому и его кружку.

Якушкиным из кружка Грановского мог быть и второй сын декабриста И. Д. Якушкина — Евгений. Это предположение если не окончательно доказывается, то подкрепляется некоторыми свидетельствами, указывающими на связи Е. И. Якушкина с членами кружка Грановского. В ноябре 1851 года Е. И. Якушкин писал о предстоящей публикации «Племянницы» графини Е. В. Салнас, убежденной последовательницы Грановского, в письмах, одно из которых было адресовано его отцу,²⁴ а другое — профессору Казанского университета Ивану Кондратьевичу Бабсту.²⁵ Последний учился вместе с Е. И. Якушкиным в Московском университете в 1840-х годах, причем Грановский видел в нем своего лучшего ученика.²⁶ В тот же месяц и, возможно, в том же письме Е. И. Якушкин писал своему отцу

¹⁸ Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина, стр. 300, 306—320, 361, 518—524, 669.

¹⁹ Там же, стр. 359.

²⁰ Там же, стр. 482, 646.

²¹ В. П. Боткин и И. С. Тургенев. «Academia», М.—Л., 1930, стр. 10.

²² Материалы для биографии П. И. Якушкина. В кн.: П. И. Якушкин. Сочинения, стр. I—CIV; см. также: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. X. СПб., 1896, стр. 21—29.

²³ П. И. Якушкин. Сочинения, стр. VIII.

²⁴ Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина, стр. 362.

²⁵ «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 742.

²⁶ Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона, т. «Ауто--Банки», СПб., 1891, стр. 613.

и о «Комете» — альманахе, опубликованном в апреле 1851 года Н. М. Щепкиным (которого Боткин в письме к Тургеневу называл ближайшим сотрудником Грановского) и содержащем литературные труды самого Грановского и графини Салиас.²⁷ Письма И. Д. Якушкина к его сыну Вячеславу, написанные в 1857 году, показывают, что два других лица, тесно связанных с Грановским, — Е. Ф. Корш и Н. Х. Кетчер — были тогда частыми гостями в доме Е. И. Якушкина, где поселился после возвращения из сибирской ссылки и И. Д. Якушкин.²⁸ Некрасов в письме от 1 октября 1862 года передает Е. И. Якушкину, жившему тогда в Ярославской губернии, привет от того самого И. И. Маслова, который 15 февраля 1851 года был в ресторане Дюссо с Тургеневым, Зиновьевым, Коршем, Тютчевым и, как мы полагаем, Якушкиным Вячеславом.²⁹ В 1850-х годах Маслов ездил из Петербурга в Москву, где мог познакомиться с братом Вячеслава Евгением.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что предположение Н. Чернова, Н. Л. Бродского, Н. В. Измайлова, М. К. Клемапа и редакторов «Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева» о встрече Тургенева с Павлом Ивановичем Якушкиным или же с его братом Виктором до 1861 года неправильно, а гипотеза Н. Чернова, согласно которой Виктор Якушкин являлся частичным прототипом Базарова, ошибочна. С другой стороны, эти данные проливают новый свет на связи Тургенева с декабристом И. Д. Якушкиным, в 1850-е годы поддерживавшиеся через его сына Вячеслава, который жил тогда в Петербурге, а в 1870-е — через его племянницу Елизавету Мардарьевну Якушкину, урожденную Мплюкову. Наконец, эти данные показывают, что другой сын И. Д. Якушкина — Евгений был в 1850-е годы тесно связан с московскими друзьями Тургенева по кружку Т. Н. Грановского.

П. ПУСТОВОЙТ

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ А. Ф. ПИСЕМСКОГО К А. И. ГЕРЦЕНУ

Взаимоотношения А. Ф. Писемского и А. И. Герцена, как известно, были подробно освещены в содержательной статье Б. П. Козьмина «Писемский и Герцен. К истории их взаимоотношений» («Звенья», т. VIII, М., 1950, стр. 103—151). Проанализировав фельетоны Никиты Безрылова и весь ход полемики между Писемским и «Искрой», Б. П. Козьмин пришел к следующим выводам. Фельетоны Никиты Безрылова отражали общую политическую линию «Библиотеки для чтения». ее либеральную ориентацию, ее тяготение к официальному курсу «Русского вестника». Писемский как редактор «Библиотеки для чтения» и как писатель стал отходить от той демократической линии, которую он занимал в период выхода в свет «Боярщины» и «Тысячи душ». Таким образом, ни о какой идейной близости между Писемским и Герценом в этот период не может быть речи.

Об этом свидетельствует и их встреча в Лондоне. Она состоялась 19 июня 1862 года, о чем Герцен сообщал Н. А. Тучковой-Огаревой 21 июня: «С Писемским и Коршем — были сильные и сильно неприятные объяснения».¹ Эти объяснения, по-видимому, затрагивали широкий круг вопросов, а также были связаны с нападениями реакционной русской журналистики на Герцена и его кружок. По всей вероятности, они и послужили Писемскому материалами для шестой части романа «Взбаламученное море», где речь идет о пребывании Бакланова в Лондоне и в Париже (главы VII—XVIII). Герцену же все эти объяснения дали основание позже, когда уже вышел в свет роман «Взбаламученное море», написать заметку «Ввоз нечистот в Лондон», в которой вслед за «литературным Шешковским-Катковым» нанесен весьма ощутимый щелчок Писемскому: «Какой-нибудь экс-рак „Библиотеки для чтения“, романист, аферист, драматист, ставит на сцену повую русскую жизнь с подхалюзой точки зрения подьячего, не совсем вымывшего руки от... канцелярских чернил, делает шаржи на события, от которых еще до сих пор льются слезы, и чертит силуэты каких-то дураков в Лондоне, воображая, что это наши портреты» (XVII, 299).

Таким образом, примерно к 1862—1863 годам консервативные элементы в мировоззрении Писемского стали выдвигаться на первый план, что в значительной степени способствовало ослаблению реалистических тенденций его творчества.

²⁷ Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина, стр. 362.

²⁸ Там же, стр. 444—445.

²⁹ «Литературное наследство», т. 51—52, 1949, стр. 73.

¹ А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XXVII, кн. 1, Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 241. (Далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

Такова традиционная точка зрения, которая находит полное подтверждение в творчестве Писемского рассматриваемого периода.

Однако в последнее время возникла попытка подвергнуть ее критическому пересмотру. В первом номере журнала «Русская литература» за 1966 год появилась статья А. П. Могилянского «Новые данные для характеристики отношения Писемского к Герцену». Смысл этой статьи сводится к тому, чтобы доказать идейную близость Писемского и Герцена в период создания «Взбаламученного моря». Для этой цели А. П. Могилянский привлекает «материалы, никогда в науке не освещавшиеся»,² в частности статью «Библиотеки для чтения», запрещенную цензурой (ее сокращенный текст, опубликованный позднее в том же журнале), и некоторые разделы из чернового автографа «Взбаламученного моря». Эти материалы А. П. Могилянский трагует, на наш взгляд, весьма произвольно.

А. П. Могилянский начинает свою статью со следующей посылки: «Доброжелательно относившийся к Чернышевскому и „Современнику“ Писемский стремился к ликвидации конфликта, возникшего между „Библиотекой для чтения“ и органом крестьянских демократов. В качестве арбитра редактор „Библиотеки для чтения“ хотел привлечь Герцена» (стр. 166).

Уже эта посылка нам представляется странной и совершенно необусловленной.

В апреле 1862 года «доброжелательно относившийся к Чернышевскому и „Современнику“ Писемский выезжает за границу, а в мае того же года (т. е. накануне июньских переговоров с Герценом в Лондоне) в «Библиотеке для чтения» появляется издательская по отношению к Чернышевскому и к «Современнику» заметка «Учиться или не учиться?»³ с подзаголовком «Заметка относительно того важного влияния, которое г. Чернышевский имеет в литературе». Каково содержание этой заметки, появившейся, разумеется, не только с ведома Писемского, но под его непосредственным руководством?

Ее содержание — это беспрецедентные по своей резкости, грубости и бездоказательности нападки на экономические, политические, философские, этические и другие учения демократов, в частности на журнал «Современник». Вот что пишет автор этой статьи: «...напрямик», начался вопрос об эмансипации женщины. Несомненно, что положение женщины в нашем обществе, как и в других европейских государствах, нуждается в перемене к лучшему. „Современник“ занялся этими вопросами, и решил их так, что пришел к проституции, которую он и представляет идеальным положением женщины. Прогрессивнее этого, разумеется, быть нельзя».⁴

Далее речь идет об образовании: «Начался вопрос о том, как поднять научное образование нашего современного и будущего поколений... „Современник“ нашел, что это совсем не нужно, и доказывал, что об этом думать не стоит, а надобно дать не только возможность учиться, но и другие студенческие права тем, которые совсем не приготовлены к серьезному занятию науками. В результате был бы окончательный упадок науки в России».⁵

Подвергнув таким образом необоснованным нападкам ряд экономических и социальных высказываний идеологов «Современника», автор заметки переходит к философским проблемам. Отметив, что в философии всегда шла борьба идеализма и реализма (имеется в виду материализм, — П. П.), автор пишет: «И вот „Современник“ сделался партизаном реализма, тем более, что и самые передовые люди западной Европы, как например Шопен-Гауер, тоже не долюбивают идеализм. Но и сам Шопен-Гауер в своем реализме ушел очень недалеко,⁶ и он, так или иначе, еще поддерживает связи с идеализмом, что показалось „Современнику“ опять-таки недовольно прогрессивным...»⁷

Итак, эмансипация женщин для «Современника» — проституция; образование — это невежество и обскурантизм; философия — это партизанщина неугодного материализма.

Другие проблемы, затронутые «Современником», подвергаются в данной заметке столь же злобному и столь же «объективному» освещению. «И в других вопросах. — злорадствует автор, — то же самое; самый крайний прогресс. — не разбирая ни потребностей общества, ни средств, не придерживаясь ни законов здра-

² «Русская литература», 1966, № 1, стр. 166. (В дальнейшем ссылки на эту статью приводятся в тексте).

³ Эта заметка подписана теми же литератами «М. К.», что и запрещенная статья о Каткове. А. П. Могилянский считает литеры «М. К.» «коллективным псевдонимом публицистического отдела „Библиотеки для чтения“».

⁴ «Библиотека для чтения», 1862, № 5, стр. 188 (вторая пагинация).

⁵ Там же, стр. 188—189. В качестве примера приводится следующий: «... г. Костомаров стал доказывать, что мы из Жмуди. Это была очень прогрессивная теория, и самым жарким поборником ее явился „Современник“...» (стр. 189).

⁶ Автор считает Шопенгауэра реалистом (т. е. материалистом, — П. П.).

⁷ «Библиотека для чтения», 1862, № 5, стр. 190.

вого смысла,⁸ ни требований нравственности; короче. — ничего; прогресс, так уж прогресс!»⁹

Разделавшись таким образом с помощью инсинуаций с платформой «Современника», автор заметки переходит к личности Чернышевского и к определению его влияния в литературе: «Но пусть обернется г. Чернышевский около самого себя и посмотрит, на кого имеет он влияние и какое это влияние».¹⁰ В качестве объектов влияния Чернышевского изображаются либо бездарные Ситниковы, «т. е. действительные откупщицкие детки», либо публицисты «Искры», с которыми автор заметки совершенно открыто сводит счеты: «Г. Чернышевский и г. Некрасов со своими сотрудниками, гг. В. и Н. Курочкины со своими, представляют ту часть молодого поколения, которую г. Тургенев действительно очень верно олицетворил в своем Ситникове, который по справедливости пользуется презрением со стороны Базарова, каков бы он ни был сам».¹¹

Наконец, подчеркнув, что из «Современника» ушли Тургенев и Толстой, ибо «другого им ничего не оставалось», автор заметки заключает: «... вы имели важное влияние, вы имели успех, но это было тогда, когда народ потерял голову, когда он отшатнулся от здравого смысла (опять тот же «здравый смысл», — П. П.). А когда народ возьмется за ум, когда он начнет придерживаться здравого смысла, тогда вы потеряете и ваше влияние и ваш успех».¹²

Совершенно ясно, что кем бы ни была написана эта заметка, она инспирирована редактором «Библиотеки для чтения» А. Ф. Писемским как раз перед поездкой к Герцену и перекидывается с фельетонами Никиты Безрылова. Не менее ясно, что ни о каком доброжелательном отношении Писемского к «Современнику» и к Чернышевскому не может быть и речи. После всего этого можно ли было ожидать Писемского от Герцена как от арбитра какой-либо симпатии? Вполне естественно, что Герцен не мог одобрить такую позицию «Библиотеки для чтения».

Но А. П. Могилянский не привлек указанную нами статью для исследования, хотя и знает, что она была напечатана. Оставаясь верным своей исходной посылке, он продолжает: «Тем не менее безрезультатность переговоров не изменила положительного отношения Писемского к основоположнику вольного русского слова (о Чернышевском он уже не говорит, — П. П.). Осенью того же года в журнале Писемского „Библиотека для чтения“ (в октябрьской книжке) должна была появиться большая статья в защиту Герцена от нападок редактора „Русского вестника“ М. Н. Каткова. Эта статья была запрещена цензурой. Напечатана она была только в секретном издании Министерства народного просвещения для комиссии по делам книгопечатания (Сборник статей, недозванных цензурой в 1862 году. СПб., 1862)» (стр. 166).¹³

Сообщение А. П. Могилянского об этой статье, разумеется, представляет интерес, как и вопрос о ее принадлежности и содержании. Однако и здесь А. П. Могилянский высказывает несколько соображений, вызывающих возражения.

Во-первых, на основании того, что в корректуре статьи, хранящейся в Центральном государственном историческом архиве СССР (ф. 777, оп. 26, ед. хр. 16), есть подпись «М. К.» (в сборнике статья напечатана без подписи), А. П. Могилянский делает заключение, что статья «написана преимущественно Щегловым при участии Писемского», а «М. К.» — «коллективный псевдоним публицистического отдела „Библиотеки для чтения“», который происходил от имени известного историка М. С. Куторги и официально приписывается заведующему этим отделом Д. Ф. Щеглову. Уже здесь возникает ряд существенных возражений и недоумений: почему имя Куторги приписывалось Щеглову и даже всему отделу? Почему в целом ряде других номеров «Библиотеки для чтения» за тот же 1862 год подписи «М. К.» и Д. Ф. Щеглова соседствуют под разными статьями? Так, в № 6 между двумя статьями («Чего недостает нашим акционерным обществам?» и «Временные правила по делам книгопечатания»), подписанными «Д. Ф. Щеглов», помещена статья «Наше педагогическое состояние», подписанная «М. К.». Что же, Д. Ф. Щеглов в одном и том же номере печатал одновременно статьи под фамилией и под псевдонимом? С аналогичным фактом мы сталкиваемся в № 7 «Библиотеки для чтения», где за подписью «М. К.» напечатана статья «Значение нравственных сил народа в политико-экономическом отношении» и тут же следует статья «Когда и как началось русское государство» за подписью «Д. Ф. Щеглов». Наконец, в № 12, где напечатана статья о Каткове за подписью «М. К.», ниже публикуется рецензия Д. Ф. Щеглова «Новая брошюра Прудона. (La fédération et l'unité en Italie)».

⁸ Что-то знакомое слышится в словах о «здравом смысле», имеющем прямое отношение к философии А. Ф. Писемского.

⁹ «Библиотека для чтения», 1862, № 5, стр. 190.

¹⁰ Там же, стр. 190—191.

¹¹ Там же, стр. 191—192.

¹² Там же, стр. 194—195.

¹³ Статья эта называется «Несколько соображений относительно заметки г. Каткова для издателя „Колокола“».

Какой смысл был Д. Ф. Щеглову в одних и тех же номерах журналов то подписывать свою фамилию, то скрываться за псевдонимом?

Но если даже это было так, что совершенно не доказано А. П. Могиланским, то причем здесь М. С. Куторга и какова роль Писемского в создании указанной статьи?

Теперь о содержании запрещенной цензурой статьи.

А. П. Могиланский пишет: «Статья явно непоследовательна и противоречива — по-видимому, для отвода глаз цензурного ведомства. Но основное ее содержание совершенно определено: деятельность и личность Каткова оцениваются здесь крайне отрицательно, нападки на Герцена парируются» (стр. 166). «Парируются», следует понимать, от Каткова. Примеры «париования» А. П. Могиланский приводит следующие: «К чему он (Катков, — А. М.) усиливается доказывать, что г. Герцен поджигал наших составителей прокламаций и подобных им политических деятелей?»; «Г. Герцен живет и пишет в Лондоне, но из этого еще не следует, что он высылает своих эмиссаров сюда к нам» (оба примера на стр. 294 указанного сборника и на стр. 167 статьи А. П. Могиланского).

Итак, Писемский как соавтор статьи, запрещенной цензурой, *отводит наглоские обвинения Герцена в транспортировании революционных идей в Россию*. Однако Писемский как автор «Взбаламученного моря», создававшегося в те же годы, подобно Каткову, *доказывает факт транспортирования и эмиссаров и прокламаций из Лондона в Россию* (см. «Взбаламученное море», часть шестая, главы XVI — «Таинственное посещение», XVIII — «Заговор зреет» и XIX — «Прокламации»). Как же можно согласовать одно с другим? Либо Писемский вел себя как хамелеон, для декорума защищающий Герцена, но на самом деле присоединившийся к его травле Катковым. Либо он, поглощенный своими делами, связанными с заграничной поездкой и с готовящимся переходом в «Русский вестник», совершенно не участвовал в составлении статьи против Каткова. Скорее можно предположить второе, ибо письма А. Ф. Писемского 1862—1863 годов, как и фельетоны Никиты Безрылова, преисполнены преклонения перед «Русским вестником» и его редактором М. И. Катковым (см. письма к Б. Н. Алмазову от 1 ноября 1862 года, М. Н. Каткову от 1 ноября 1862 года, М. Н. Лонгинову (лето 1863 года), И. С. Тургеневу 19 февраля (3 марта) и 4 (16) июня 1863 года)¹⁴ и каких-нибудь идейных разногласий с ним не содержит.

А. П. Могиланский цитирует из запрещенной статьи еще одно место о Каткове: «Общий дух его писаний таков, что он, как будто, прямо говорит, что наш народ еще незрел до освобождения от крепостного состояния и от розги. Мужичок у него оказывается всегда и во всем виноват, даже виноваты и те, которые где-нибудь, в темном уголку, вздумают защитить его и его интересы» (стр. 313 запрещенной статьи и стр. 167 статьи Могиланского).¹⁵ Но ведь почти то же самое, что и Катков, о народе сообщает А. Ф. Писемский в романе «Взбаламученное море» (см. часть пятая, главы IX — «Рассказы Венявиных», X — «Прежнее Ковригино», XIII — «Бунт», XV — «По-прежнему бодр и свеж», XVII — «Злой помещик» и другие): народ незрел до освобождения, и после освобождения ему стало жить хуже. Глава «Бунт» даже заканчивается в духе Каткова упреком тем, которые «вздумают защитить» интересы народа. «А ведь есть господа, — говорит Варегин Бакланову, — которые радуются этой бестолочи... Готовы даже подстрекать на нее народ... Не подлость ли, я вас спрашиваю, кровью этих детей омывать свои безумные фантазии!»¹⁶ Значит, никакого расхождения между Писемским и Катковым во взгляде на народ и на защитников его интересов нет. Следовательно, не мог Писемский упрекать Каткова в том же, что исповедовал сам.

Статья, предназначавшаяся для октябрьского номера и запрещенная цензурой, в сильно измененном и сокращенном виде появилась в № 12 «Библиотеки для чтения» за подписью «М. К.». Теперь в заглавии уже не упоминался издатель «Колокола», и статья называлась «Несколько слов о литературных заслугах г. Каткова. (Материалы для прагматической истории русской журналистики за последние годы)».

Участие Писемского в этой статье весьма сомнительно. Как известно, летом и осенью 1862 года писатель напряженно работал над романом «Взбаламученное море», и ему было не до статей. Кроме того, именно в это время Писемский всецело обратил свои помыслы и действия к «Русскому вестнику», куда вскоре и перешел. В одном из писем И. С. Тургеневу он сообщал: «Тысячу лет я к вам не писал все потому, что все это время писал роман, которого и сочинил, ни много ни мало, 6 частей. Отдаю я его в „Русский вестник“, так как по духу подходит

¹⁴ См.: А. Ф. Писемский. Письма. Подготовка текста и комментарии М. К. Клемана и А. П. Могиланского. Изд. АН СССР, М.—Л., 1936, стр. 151—152, 156; «Литературное наследство», т. 73 (II), 1964, стр. 177.

¹⁵ Это место полностью опубликовано в сокращенном варианте статьи (Несколько слов о литературных заслугах г. Каткова. «Библиотека для чтения», 1862, № 12, стр. 43).

¹⁶ Полное собрание сочинений А. Ф. Писемского, т. IV, СПб., 1910, стр. 459.

к оному, да и сам, вероятно, перееду в Москву, так как с „Библиотекой для чтения“ покончил...»¹⁷ Было бы совершенно нелогичным и непоследовательным при таком отношении к «Русскому вестнику» принимать участие в создании статьи против редактора этого журнала. Судя по упоминаемым выше письмам Б. Н. Алмазову и М. Н. Каткову, Писемский готов был уже в ноябре — декабре 1862 года отдавать (по частям) свой роман в «Русский вестник», но был связан обещанием редактору «С.-Петербургских ведомостей» В. Ф. Коршу, который просил окончательное решение отложить до января 1863 года, когда определится подписка. В феврале 1863 года журнал «Библиотека для чтения» возглавил П. Д. Боборыкин (февральская книжка уже вышла под его редакцией), а Писемский по приглашению М. Н. Каткова переехал в Москву, где стал заведовать литературным отделом «Русского вестника».

Что же представляет собой статья «Несколько слов о литературных заслугах г. Каткова», которую А. П. Могилянский не анализирует, а лишь ограничивается утверждением, что она написана против Каткова?

Действительно ли она направлена против Каткова? Если да, то с каких позиций в ней Катков подвергается критике?

Во-первых, обращает на себя внимание то, что статья начинается с защиты молодого поколения и похвалы Чернышевскому. Автор статьи утверждает, что большинство молодежи вносит в общественную деятельность свою лепту, и пишет: «По-видимому, из всех этих людей, наиболее одушевленных в развитии гуманных идей, был г. Чернышевский, который и прежде других начал проводить их в литературе последнего времени и которого мы так часто осуждали за его экономические и философские идеи».¹⁸

Если вспомнить, что в № 5 «Библиотеки для чтения» в статье «Учиться или не учиться?» содержалось полное осуждение идей «Современника» и теории Чернышевского, то можно говорить о некотором изменении идейного курса «Библиотеки для чтения» по отношению к демократам. Это изменение определилось после того, как стало ясным, что Писемский уходит из журнала. Чернышевский оказывается вдохновителем гуманных идей и неповинен в различных недостатках и пороках значительной части молодого поколения.

А кто же тогда повинен в них? «Недавно было высказано очень оригинальное мнение, — пишет автор статьи, — будто движение, увлекшее значительную часть нашей молодежи, было сообщено ей никем другим, как г. Катковым вместе с г. Павловым».¹⁹

Иными словами, Каткова кто-то обвинял в том, что своей заметкой о «Колоколе» он напомнил молодежи о Герцене. Однако автор статьи выгораживает и оправдывает Каткова: «Но если г. Катков действительно виноват в том, что он вместе с другими дал толчок движению, то эта вина не так велика. Ни до каких абсурдов из рода тех, которые столько компрометировали в последнее время наше юношество, сам г. Катков не дошел...»²⁰ Всякий непредвзятый читатель не назовет эти строки ни нападением на Каткова, ни развенчанием его.

Далее автор статьи пытается критиковать Каткова, но самое любопытное, что эта критика ведется *справа*, т. е. Каткову ставится в вину то, что он недостаточно активен в борьбе с вредными общественными учениями, что он отмалчивался, что «ко всем важнейшим вопросам, занимавшим наше общество в последние годы, или относился очень вяло, или совсем ничего не говорил об них».²¹

Это обвинение, как нетрудно заметить, заключает в себе *призыв к активизации охранительной деятельности Каткова*. Нельзя молчать или относиться вяло к вредным общественным учениям, под которыми подразумеваются нигилизм, революционность, материализм, надо их решительно развенчивать и порицать — вот каков истинный смысл этой так называемой критики Каткова. Что же касается фактов, инкриминируемых Каткову и подтверждающих положение статьи, то они незначительны и не имеют отношения к затронутой теме: говорится о характере возражений Каткова по поводу очерка римской истории Крылова, о том, что Катков принял тургеневский «Фауст», появившийся в «Современнике», за обещанные писателем «Русскому вестнику» «Призраки» и обвинил Тургенева в бесчестности, о полемике Каткова со статьёй Е. Туро о Свечиной, о взаимоотношениях «Русского вестника» с «Русской беседой» и т. д.

Из всех этих разрозненных фактов делается вывод, что Катков воодушевляется по пустякам и «бросается барсом», когда затронут его самого, но весьма пассивен в кардинальных вопросах борьбы.

¹⁷ «Литературное наследство», т. 73 (II), стр. 177.

¹⁸ «Библиотека для чтения», 1862, № 12, стр. 22 (вторая пагинация).

¹⁹ Там же, стр. 22. Речь идет о «теоретических и практических идеях», «уже совершивших свой полный круг в секретных листках, которых отличительный характер состоит в крайнем невежестве и ограниченности», т. е. о лондонских прокламациях.

²⁰ «Библиотека для чтения», 1862, № 12, стр. 23.

²¹ Там же, стр. 25.

Из кардинальных же вопросов в статье поставлен лишь один, да и тот получил крайне противоречивое освещение. Имеется в виду отношение к идеям Чернышевского. С одной стороны, Чернышевский в начале статьи рассматривается как проповедник гуманных идей, с другой стороны, Катков обвиняется в том, что сам лично не проанализировал теории Чернышевского и не доказал их несостоятельность, а предоставил для этого слово П. Юркевичу и саратовскому публицисту Цвету.

И только в самом конце статьи есть личный выпад против Каткова, не вытекающий из предыдущего: «...журнальная деятельность г. Каткова приняла такое направление, что, как мы старались показать, она или остается бесполезной, или даже должна принести несомненный вред».²²

Мы не знаем, кто и как сокращал эту статью при подготовке ее в № 12 «Библиотеки для чтения», но ее компилятивный характер и клочковатость несомненны, как и то, что Писемский не мог участвовать в ее редактировании.

Не совсем точно комментирует А. П. Могиланский и отношение Писемского к Герцену, хотя материал, который он приводит, представляет интерес. А. П. Могиланский утверждает, что Писемский постоянно откликался на произведения Герцена, и указывает на сходные места романа «Взбаламученное море» и соответствующих работ Герцена (спор о социализме — III глава пятой части «Взбаламученного моря» и сочинения Герцена, т. VII, стр. 309; т. XI, стр. 76, 77; т. XII, стр. 168). Действительно, переключка здесь есть и в вопросе о деградации Европы, и в вопросе о социализме. Однако, на наш взгляд, Писемский не развивает мысли Герцена, а, напротив, полемизирует с ними. Так, Герцен в статье «Старый мир и Россия» (Письма к В. Ливтону) явно противопоставляет социализм христианству; Писемский же, напротив, отождествляет эти два понятия. Вот что пишет Герцен: «Христианство превратило раба в сына человеческого; революция превратила отпущенника в гражданина; социализм хочет сделать из него человека» (т. XII, стр. 168). А вот какую идею проповедует мавр Евсевий Осипович Ливанов, представляющий точку зрения Писемского: «Социализм? Что такое социализм? Христианство... сила, с которою распадающаяся Греция смогла стать против вашего государственного Рима... религия рабов... надежда и чаянье бедных и угнетенных».²³

Писемский и Герцен утверждают прямо противоположные идеи. Герцен пишет о конкретной социальной революции, которая взорвет существующий порядок и освободит человека. Герой Писемского, напротив, отвлеченно разглагольствует о боге, о «всесодействующей любви», о «голосе вечной и величайшей правды, раздающемся из-под всякого исторического, материалистического, эгоистического мусору» (курсив мой, — П. П.)²⁴

Второй вопрос, затронутый Писемским и переключившийся с Герценом, это вопрос о народе. Здесь действительно есть сходство. Герцен в статье «Русский народ и социализм» и в «Былом и думах» противопоставляет народ правительству, верит в его силу и в его будущее. Он пишет о том, что у народа «есть права на будущее» (т. VII, стр. 308), что «если народ сломит, неминуем социальный переворот!» (т. XI, стр. 76). Почти о том же говорит Евсевий Осипович в «Взбаламученном море», противопоставляя народ государственности: «...народ целый трудно завоевать. Он как еж; колется со всех сторон. В 1612 и в 1812 гг. народ отбил неприятеля, а вот как вы в Крым-то с одним регулярным войском пошли, так каково вас отзвонили!»²⁵

После всего уместно поставить вопрос: чего же больше в романе «Взбаламученное море» — сходства или расхождений с Герценом и Чернышевским? Материалы свидетельствуют, что расхождений значительно больше и они проявляются в самых кардинальных проблемах — социализм, революция, материализм. Здесь Писемский был далек от Герцена и верен Каткову.

Вызывает сомнение и следующее утверждение А. П. Могиланского: «Для правильного понимания этого широко известного произведения («Взбаламученного моря», — П. П.) следует иметь в виду, что в журнальном тексте романа „Взбаламученное море“ в ряде случаев была нарушена авторская воля. Издатель „Русского вестника“ М. Н. Катков принуждал Писемского изменять текст и даже самовольно вносил изменения в текст без ведома автора» (стр. 168). И здесь никаких фактов нарушения авторской воли или катковской правки текста А. П. Могиланский не приводит, кроме ссылки на статью В. Г. Авсеенко «Памяти А. Ф. Писемского», опубликованную в газете «Московские ведомости» (1881, № 26, 26 января). Тщательно ознакомившись с указанной статьей В. Г. Авсеенко, мы не обнаружили в ней абсолютно никаких упоминаний ни о Каткове, ни о его самовольной правке текста, ни о нарушении авторской воли Писемского.

²² Там же, стр. 53.

²³ Полное собрание сочинений А. Ф. Писемского, т. IV, стр. 423.

²⁴ Там же, стр. 424.

²⁵ Там же, стр. 422.

Таким образом, можно сделать вывод, что для пересмотра традиционной точки зрения на взаимоотношения Писемского и Герцена, а также на роль Каткова в эволюции мировоззрения Писемского 60-х годов нет никаких оснований.

Ю. ПИЩУЛИН

ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА В ПРОПАГАНДЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ НАРОДНИКОВ

(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

В новейших работах о Салтыкове-Щедрине убедительно показана роль творчества великого сатирика в русском освободительном движении 70-х годов. Однако связи писателя с революционным народничеством — мировоззренческие, творческие, литературно-деловые, влияние его эстетики на пропагандистскую литературу народников выяснены недостаточно. Еще менее исследован вопрос об использовании произведений Салтыкова-Щедрина в революционно-народнической пропаганде.

Помимо выявленных в ходе недавних дискуссий общих причин неразработанности историко-литературных проблем, связанных с народничеством, такое положение до известной степени предопределено, по-видимому, двумя обстоятельствами. Первое из них — анкета, которую провела редакция «Литературного наследства» среди ветеранов революционного движения 70-х годов.¹ Анкета была специально посвящена вопросу о месте Щедрина в общественном движении тех лет и о значении его творчества для формирования мировоззрения революционных народников. Давая разноречивые и порой весьма спорные оценки роли и места Щедрина, революционеры-семидесятники ни словом не упомянули об использовании произведений писателя для пропаганды в народной среде. Лишь некоторые из них говорили о печатании и распространении сказок Щедрина среди рабочих уже в эпоху кризиса «Народной воли». Второе обстоятельство состоит в том, что имя Щедрина как автора произведений, используемых для революционной пропаганды, не упоминается ни в книге П. Л. Лаврова «Народники-пропагандисты», ни в «Очерке истории кружка чайковцев», написанном Н. А. Морозовым, ни в многочисленных мемуарах деятелей революционного движения, ни в наиболее значительных официальных документах царской России (вроде известной записки министра юстиции графа Палена «Успехи революционной пропаганды»).

Между тем материалы политических процессов и «вещественные доказательства» лиц, судившихся по делу «о революционной пропаганде в империи» (процесс 193-х), дают основание поставить вопрос об использовании произведений Щедрина уже в эпоху «действенного народничества». Инициатива привлечения его произведений для пропаганды в народной среде, и прежде всего среди рабочих, принадлежала петербургским «чайковцам». Вполне понятно, что они обратились к первым сказкам Щедрина — «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Пропала повесть».² «Чайковцы» сразу поняли, вероятно, что эти сказки, чрезвычайно ярко демонстрирующие эксплуататорскую сущность общественных порядков России, вполне доступны малоподготовленному читателю и слушателю и могут стать превосходным пропагандистским материалом. Вот почему в тетради С. Л. Перовской, отобранной жандармами при ее аресте, в списках книг для народа наряду с «Дедушкой Егором» М. К. Цебриковой, «Стелными очерками» А. И. Левитова, рассказами Н. И. Наумова, Ф. Д. Нефедова и другими популярными в эти годы в народной среде произведениями фигурируют и щедринские сказки (с несколько измененными названиями): «Два генерала» и «Потерянная повесть».³

Среди «вещественных доказательств» по делу связанного с «чайковцами» А. В. Ярцева хранится ценный документ, отобранный жандармами 5 декабря 1873 года. Он озаглавлен «Критика существующего» и тоже представляет собой список литературы для народа. Однако это уникальный список, так как каждое упоминаемое в нем произведение сопровождается краткой аннотацией, призванной помочь пропагандисту в выборе книги. Аннотация не исчерпывает содержания книги, но всегда указывает на ее характерную черту.

¹ См.: «Литературное наследство», т. 11—12, 1933, стр. 471—510.

² Обе сказки под общим заглавием «Для детей» впервые опубликованы в «Отечественных записках» (1869, кн. 2, стр. 591—609).

³ ЦГАОР, ф. 112 (ОППС), оп. 2, ед. хр. 1894, л. 3 об.

Вот этот документ (с некоторыми сокращениями):

«Критика существующего

Очерки фабричной жизни	}	Работник — машина для капитала (покровительство капиталу правительства)
Еж Наумова		
Степные очерки	}	Гнет кулаков
Юровая		
Крестьянские выборы		
Дедушка Егор	}	(Покровительство правительства помещикам и несогласие мира)
.....		
Иван-воин Нефедова	}	Надувательство народа во имя религии тоже делают попы
Горбун Левитова		
ворожея		
Два генерала	}	Щедрина (на что живут бары)
Пропала совесть		
.....		

Интересна такая книга, где ярко изображалось бы благоденствие бар»⁴

Включение сказок Щедрина в такой список наряду с рассказами из сборника Н. И. Наумова «Сила солону ломит» («Еж», «Юровая», «Крестьянские выборы»), Ф. Д. Нефедова из сборника «На миру» («Иван-воин»), «Очерками фабричной жизни» А. П. Голицынского, «Степными очерками» А. И. Левитова вновь подчеркивает, что они принадлежали к числу наиболее ценных революционерами произведений.

В «исповеди» и откровенных показаниях А. В. Ярцева, написанных им во время дознания, сообщается о занятиях С. Синегуба и В. Стаховского в артели каменщиков, пришедших в Петербург из деревни Измайлово Новоторжского уезда Тверской губернии. «Пришли мы к каменщикам вечером, — писал Ярцев, — я стал передавать поручения, какие мне прислали из деревни (Ярцев был тверским помещиком, — Ю. П.), рассказывал на вопросы их об урожае и прочем, что их интересовало, в то же время сказал, что у меня есть книжки и я почитаю, но читать стал Синегуб о том, как мужик двух генералов прокормил, и дедушку Егора. Слушать его окружила толпа...»⁵

Один из крестьян, присутствовавших на подобных чтениях Синегуба и его товарищей, к этому показанию Ярцева добавил, что книжки, которые читали рабочим, были «не только печатные, но и писанные в тетрадках». Поскольку до сих пор не обнаружено ни одного отдельного издания двух первых сказок Щедрина, осуществленного в начале 70-х годов, вполне можно допустить, что Синегуб читал сказку по тексту «Отечественных записок», или вырезанному из журнала, или даже «писанному в тетрадках». И то, и другое, и третье широко практиковалось в эти годы «чайковцами».

Тот же свидетель рассказал о впечатлении, которое читаемые Синегубом книги производили на слушателей: «Книжки эти, по словам крестьян, были очень занимательные, так что они, заслушиваясь, долго по ночам не спали».⁶

В очень интересном контексте сказки Щедрина упоминались на процессе 193-х. Ф. Любавский, как это видно, например, из обвинительного акта, отказываясь от своего первоначального показания, согласно которому он предполагал дать «чайковцам» несколько тысяч рублей на издание запрещенных книг, заявил, что он «обещал Чайковскому деньги за (так в документе! — Ю. П.) издание народных книг в роде „Двух генералов“ Щедрина и рассказов Наумова».⁷

Очень важно отметить здесь сопоставление запрещенных и нелегальных книг, распространяемых революционерами, с «народными книгами» — вроде «Двух генералов» и рассказов Наумова. Наумовские рассказы печатались сначала в журналах «Дело» и «Отечественные записки», а затем легально были изданы на средства «чайковцев» отдельным сборником «Сила солону ломит» (СПб., 1874). Распространяемые народниками чаще всего частями («Сила солону ломит» была сброшюрована таким образом, чтобы можно было легко отделять рассказы при необходимости), произведения Наумова были запрещены только после процесса 193-х. Однако уже с осени 1874 года они отбирались жандармами при обысках и арестах

⁴ Там же, ед. хр. 2620 (список книг и статей разных авторов, содержащих критику существующего в России строя с краткими аннотациями).

⁵ Там же, оп. 1, ед. хр. 207, л. 25 об. (показание А. В. Ярцева от 14 декабря 1873 года).

⁶ Там же, л. 13—13 об. (показание крестьянина Кондратия Пономаренко).

⁷ Государственные преступления в России в XIX веке. Сборник под редакцией Б. Базилевского (В. Богучарского), т. III (Процесс 193-х). Ростов н/Д, 1906, стр. 21.

как «тенденциозные». Не была ли судьба «народных книг» Щедрина подобна судьбе «народных книг» Наумова? Ведь известно же, что позднее цензура запретила Щедрина издание его сказок отдельными дешевыми выпусками!

После процесса 193-х сказки Щедрина продолжали распространяться. В. Н. Фигнер, так решительно отвергавшая какую-либо роль Щедрина в революционном движении 70-х годов,⁸ в первом томе «Запечатленного труда», опубликованного впервые еще в 1921 году, делилась с читателями интересными воспоминаниями о ее пропагандистской работе в Саратовской губернии (это был короткий период «оседлой» пропаганды!) летом 1878 года. Оказывается, что и в ту пору В. Н. Фигнер и ее товарищи не могли обойтись без Щедрина.

«Покончив занятия в аптеке и школе, которая помещалась в том же фельдшерском домике, — рассказывает революционерка, — мы брали работу, книгу и шли „на деревню“ к кому-нибудь из крестьян... Хозяин бежал к шабрам и родственникам оповестить их, чтобы и они пришли послушать. Начиналось чтение; в 10—11 часов хозяева все еще просили почитать еще. То были Некрасов, некоторые вещи Лермонтова, Щедрина, иногда статья толстого журнала, рассказы Наумова, Левитова, Голицынского, некоторые вещи по истории и т. д.»⁹

Среди произведений, которые читались саратовским крестьянам, были и сказки Щедрина, так как содержание их постигалось слушателями без всяких затруднений и вызывало живой обмен мнениями.

В. Г. Короленко рассказывает в «Истории моего современника», что, оказавшись летом 1879 года в ссылке в городе Глазове Вятской губернии, он выписал из Петербурга десятка три дешевых изданий, в том числе «Как мужик двух генералов прокормил» Щедрина.¹⁰ Впрочем, есть основание предположить, что круг произведений писателя, используемых в народнической пропаганде, не ограничивался двумя сказками и был значительно шире. Так, 5 октября 1874 года жандармы арестовали члена таганрогского революционно-народнического кружка А. В. Андрееву. Список литературы для самообразования и народного чтения, оказавшийся в ее бумагах, завершается следующей записью:

«Развеселое житье
Современник 60 г.

Щедрина
для народа»¹¹

В списке книг С. И. Виноградова, который заведовал рабочей библиотекой на Выборгской стороне, где «чайковцы» вели занятия, значится еще одно произведение Щедрина — «От нечего делать».¹²

Определить, о каком щедринском произведении идет здесь речь, довольно сложно, ибо оно упоминается только один раз в следственных документах. Можно все же предположить, что в данном случае имеется в виду опять-таки рассказ «Развеселое житье». Во всяком случае в конце 80-х—начале 90-х годов в Женеве М. Эллидин издал сборник «От нечего делать, собрание повестей и рассказов русских авторов»,¹³ куда входил и рассказ «Развеселое житье».

Приведенные материалы и документы немногочисленны и не могут исчерпать темы использования произведений Салтыкова-Щедрина в пропаганде революционных народников. Но их достаточно, чтобы показать ее правомерность. Произведения великого сатирика, рассчитанные преимущественно на читателя, хорошо знакомого с важнейшими общественно-политическими событиями эпохи, не получили, по-видимому, в 70-е годы широкого распространения в народной среде, не стали столь же популярными, как «Хитрая механика», «История одного французского крестьянина» или «Дедушка Егор», но они безусловно заняли свое место в арсенале боевых средств революционных народников.

⁸ «Литературное наследство», т. 11—12, стр. 488—491.

⁹ Вера Фигнер. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах, т. 1. Изд. «Мысль», М., 1964, стр. 164.

¹⁰ В. Г. Короленко, Собрание сочинений в десяти томах, т. VI, Гослитиздат, М., 1954, стр. 262.

¹¹ ЦГАОР, ф. 112 (ОПДС), оп. 2, ед. хр. 368, л. 32 (списки книг по всеобщей истории, истории России, политэкономии... (написаны рукой А. В. Андреевой)). Дата опубликования рассказа Щедрина в «Современнике» указана А. В. Андреевой неточно. На самом деле он напечатан в февральской книге журнала за 1859 год.

¹² ЦГАОР, ф. 112 (ОПДС), оп. 2, ед. хр. 602, л. 2 (список книг по истории, социологии, политической экономии, беллетристике). На л. 2 об. надпись: «Отобрано у меня при обыске. Виноградов».

¹³ См.: «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 159.

Ф. ПРИЙМА

ЗАБЫТАЯ СТАТЬЯ БЕРНАРДА ШОУ О С. М. СТЕПНЯКЕ-КРАВЧИНСКОМ

В конце декабря (н. ст.) 1895 года в Лондоне трагически погиб, попав под пролотающий поезд, выдающийся русский революционер Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский. Непродолжительная, но яркая жизнь Степняка (он не прожил полных 45 лет) оставила заметный след не только в русском, но и в международном освободительном и литературном движении.

Юношей, окончив в 1870 году Петербургское артиллерийское училище, Степняк становится на путь революционной борьбы, принимает участие в «хождении в народ» и, преследуемый царским правительством, уезжает за границу. В 1875 году он — в числе добровольцев, пришедших на помощь боснякам и герцеговинцам, восставшим против турецкого владычества, а в 1877 году — участник итальянского освободительного движения. В том же году возвращается в Россию и сразу же становится одним из наиболее деятельных участников народнической «Земли и воли». 4 августа 1878 года, мстя за жестокое обращение с политическими заключенными, Степняк-Кравчинский убивает кинжалом на улице шефа жапдармов Мезенцева и снова эмигрирует за границу, живет в Швейцарии, Италии, а в 1884 году переселяется в Лондон, где развивает кипучую общественно-политическую и литературную деятельность: выступает с речами на митингах и демонстрациях, читает лекции о России и русской литературе, организует Общество друзей русской свободы и Фонд вольной русской прессы, создает и издает на русском, итальянском и английском языках ряд публицистических и художественных произведений.

Имея в виду организованный Степняком ежемесячный журнал «Free Russia» («Свободная Россия»), Ф. Энгельс в письме к В. И. Засулич от 3 апреля 1890 года писал: «Вот почему возобновившееся среди английских либералов антицаристское движение представляется мне чрезвычайно важным для нашего дела; очень удачно, что Степняк здесь и имеет возможность его подогревать».¹

Изданные в 80—90-е годы XIX века на нескольких европейских языках «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов» и другие произведения Степняка сделали его имя известным довольно широкому кругу зарубежных читателей. О Степняке с восхищением отзывались Г. Брандес, Голсуорси, Э. Л. Войнич, Марк Твен, Оскар Уайльд. Бернад Шоу и многие другие европейские и американские писатели и публицисты.

Безвременная кончина С. М. Степняка-Кравчинского явилась горестным событием для всех, кто сочувствовал русской революции и делу международной солидарности сил демократии и прогресса. В зарубежной печати появилось огромное количество откликов на смерть знаменитого русского революционера-народовольца и литератора. Отклики эти до сих пор не собраны и не систематизированы, и даже наиболее значительные из них продолжают оставаться неизвестными для историков литературы.

Настоящая публикация ставит своей целью извлечь из забытых один из таких откликов, принадлежащий перу знаменитого английского писателя Бернарда Шоу (1856—1950). Некрологическая статья о Степняке Б. Шоу была опубликована в февральском номере ежемесячного журнала «Tomorrow» за 1896 год и с тех пор видне не перепечатывалась.

Ниже приводится полный текст этой статьи в переводе на русский язык.

СЛОВО О СТЕПНЯКЕ

Издатель журнала «Tomorrow» обратился ко мне с запросом, не желаю ли я написать что-либо интересное о Степняке, с которым я состоял в знакомстве. Я ответил ему, что в настоящее время любое слово о Степняке представляло бы интерес для многих, но что я не могу использовать свое знакомство с ним для выгодной сделки. Но вместе с тем я с большим удовольствием готов сделать дружеское сообщение на эту тему для издателя и читателей.

О Степняке — революционере, нигилисте, герое подпольной России я знаю не больше, чем знает всякий. Когда мы говорили друг с другом, мы не обсуждали политических проблем. Мы были политиками и реформаторами в силу обстоятельств и художниками — по своим природным склоностям. Если бы Степняк пожелал узнать от меня, что означает социализм и каковы методы деятельности и цели Фабианского общества, я добросовестно разъяснил бы ему это как социалист и фабианец. Но ему все это было известно в такой же мере, как и мне. И если бы я попросил его рассказать мне о положении в России, не сомневаюсь, что он не

¹ Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. Госполитиздат, 1951, стр. 315.

пожалел бы сил, чтобы просветить меня. Но и я, в свою очередь, был осведомлен в этом вопросе настолько, насколько это было необходимо. Кроме того, я видел то, чего не замечали некоторые английские социалисты, — что Степняк идя от представителей наиболее радикальных групп английского политического мира не публичного с ним союза, а крайней сдержанности в публичном выражении непосредственно личного к нему сочувствия. Позвольте объясниться.

Было бы ошибкой предполагать, что Степняк как практический русский политический деятель был социалистом или даже тем, кого в настоящее время принято считать последовательным прогрессистом. Действительно, по отношению к даризму он был бунтовщиком, точно так же, как был бунтовщиком герцог Девонширский по отношению к божественному праву Карла I.² Но о политических убеждениях человека судят не по его решимости сломить грубейшее сопротивление, которое тираны оказывают реформам, но по реформам, которые он предлагает ввести, когда это грубейшее сопротивление будет сломлено. Верно и то, что Степняк, английский гражданин и законный обитатель одного из домов Bedford-парка, был членом Фабианского общества и страстным поборником конституционного движения в пользу высокой социальной организации коллективной индустрии, которая заменила бы частные предприятия и алчную спекуляцию, анархическую, опустошительную и часто даже убийственно бесчеловечную, но по крайней мере «свободную», ту спекуляцию, которой он без колебаний мечтал заменить в России иллюзорный аркадский коммунизм и застойный фатализм общины (*stagnant fatalism of the Mir*). Но путешествие из Англии в Россию означало не только путешествие из одной страны в другую, но и из одной политической эпохи в другую; и поэтому считать, что поскольку Степняк рассматривал социал-демократию в качестве ближайшей ступени развития для Англии, он видел в ней также ближайшую ступень развития и для России, было бы настолько же абсурдно, как и предполагать, что о каком-либо заговоре с целью убийства королевы и сэра Эдварда Бредфорда³ он был бы того же мнения, что и об отчаянной борьбе террористов против царя и русской полиции в последние дни царствования Александра II. Максимальное, о чем мечтал для России Степняк, был либерализм, не ультрасовременный коллективистский либерализм и даже не либерализм герцога Девонширского, но либерализм выгов, либерализм — я бы хотел сказать — Джона Рассела,⁴ но позвольте мне вместо него назвать — Маколей.⁵

Думаю, что Степняк отдавал себе отчет в этом с момента своего первого появления в Англии и превосходно знал, что излишнее единение вокруг него горстки игрушечных революционеров, которые называли себя «революционными демократами», «анархистами», «людьми новой жизни» и т. д. и которые в трудное время перед экономическим подъемом в 1887—1888 годах, при всей своей незначительности, сумели изрядно напугать Уэст-энд, могло причинить его делу немало вреда и никакой пользы. Положение было несколько затруднительным, так как эти энтузиасты и мечтатели были мужчинами и женщинами, близкими ему внутренне, и держать их на расстоянии с тем, чтобы самому спускаться расположение соглашательской плутократии либерал-юнионизма, было столь же невозможно для человека его темперамента, как и другая альтернатива — допустить, чтобы из-за недостатка у них здравого смысла наносился ущерб делу русской свободы.

Он не мог не почувствовать эту дилемму вскоре по прибытии в Лондон. Моя первая встреча с ним произошла в 1884 году на большой демонстрации в Гайд-парке, возникшей в знак протеста против отмены палатой лордов последнего билля об избирательной реформе. Несколько изгнанников, незадолго перед тем получившие право убежища, присутствовали здесь, и я отчетливо помню, как они были изумлены виденным. Здесь, в самом центре фешенебельного квартала Лондона, собрались сотни тысяч людей — со знаменами, красными флагами, фригийскими шапочками и даже с гробами на шестах — вокруг целой дюжины платформ, с ко-

² Уильям-Кавендиш Девоншир (1640—1707), герцог, один из виднейших членов парламентской оппозиции во время царствования Якова II, который, являясь сыном казненного в 1649 году Карла I, пытался восстановить абсолютистский режим в период Реставрации. Герцог Девонширский был в числе главных организаторов вооруженной интервенции в Англию в 1688 году, в результате которой была окончательно низвергнута династия Стюартов.

³ В 1889—1893 годах Эдвард Бредфорд (р. 1836) был адъютантом при королеве Виктории; с 1890 по 1903 год занимал также пост начальника полиции в метрополии.

⁴ Джон Рассел (1792—1878), лорд. Был членом кабинета Грея, проводившего в 1832 году либеральную парламентскую реформу. На протяжении всей своей длительной политической деятельности был одним из лидеров партии выгов.

⁵ Томас-Бабингтон Маколей (1800—1859), английский буржуазный историк, публицист и политический деятель; последовательный сторонник партии выгов. Как историк выступал с апологией «бескровной» революции 1688—1689 годов, противопоставляя ее как английской революции середины XVII века, так и другим социально-политическим движениям, в которых сколько-нибудь серьезная роль принадлежала народным массам.

торых ораторы пропозисили бесстрашные бунтарские речи и разбрасывали кипы брошюр и листовок, за самые невинные выражения которых, если бы это было в России, заплатились бы Сибирью даже наиболее высокопоставленные лица. И правительство не принимает никаких мер? И полиция не запрещает? Неужели эта огромная толпа, какующийся зародыш революции, только купит на грош кислотных капелек, чтобы придать тон своим улюлюканьям против лорда Солсбери и лорда Рандолфа Черчилля и своим здравиям в адрес Гладстона, и потом разойдется по домам как ни в чем не бывало?⁶ Кажется, единственно вразумительный ответ дал м-р Гайндман,⁷ который объяснил им, что поскольку-де у нас здесь свобода, то и нет смысла затыкать рта стаду овец. Однажды только вмешалась полиция, но и то для того, чтобы защитить м-ра Джона Бернса,⁸ в дерзкой молодости которого общественная ответственность еще не погасила в то время дикую поэзию революции, — от нападок, возникших (как потом оказалось) в результате того, что в своем отношении к Джону Брайту⁹ он опередил общественное мнение на год вперед. Среди всей этой пустой праздничной сумятицы меня познакомили со Степняком. В социалистической секции демонстрации о его прибытии было объявлено публично, и его там приветствовали как друга и товарища. И было очевидно, что этот прием вместо того, чтобы доставить ему удовлетворение как свидетельство определенного на первых порах его успеха в Англии, явился первым преткновением к осуществлению его планов. Какими были эти планы, стало выясняться, когда он организовал общество, известное под именем «Друзья русской свободы». Появление Чарльза Брэдлоу,¹⁰ решительного противника социализма, на одном из самых первых митингов показало, что было бы ошибкой превращать движение в поддержку русского либерализма в простой филиал нашего слабого социалистического движения; особенно в период, когда даже Фабианское общество не освободилось еще полностью от жестких и призрачных традиций этого движения, официально признав свою верность обычной конституционной и парламентской линии английского политического прогресса. Именно вовлечение в дело русской свободы таких убежденных вигских либералов, как д-р Спенс Ватсон,¹¹ показало, что Степняк не сектант, но одаренный и широко мыслящий политический организатор. И он справлялся со своим делом без малейшего притворства. Он защищал память Бакунина и сотрудничал с Кропоткиным без какой-либо оглядки на предубеждение сочувствовавших ему вигов, точно так же, как выступал в защиту конституционной политической реформы и искал поддержки вигов, в равной мере как и фабианцев, без какого бы то ни было подчинения антипарламентской догме его друзей из среды анархистов.

И то, что Степняк мог делать это, не создавая шума, свидетельствует несомненно о том, что он был незаурядной личностью. И он безусловно был незаурядным человеком, его особое положение в обществе покоилось на его собственном природном превосходстве. Никому и в голову никогда не приходило подвергать сомнению его право поступать так, как ему нравится, и рассчитывать, что он будет разделять какую-либо предписанную систему мнений. И это не было результатом известной самоуверенности с его стороны. Бесспорно, его массивная голова,

⁶ Недовольная политикой лидеров консервативной партии, Гаскойна-Сеела Солсбери (1830—1903) и Рандолфа Черчилля (1849—1895), толпа вследствие политической незрелости своей рукоплекала Уильяму-Юаргу Гладстону (1809—1898), который, будучи в это время (1884) главою правительства, несмотря на свой умеренный либерализм, был, в сущности, не противником, а союзником консерваторов.

⁷ Генри-Майерс Гайндман (1842—1921), один из основателей английской «Социал-демократической федерации» (1884). Был противником революционных методов борьбы рабочего класса. В своей политической и журналистской деятельности Гайндман был склонен к карьеризму и авантюризму.

⁸ Джон Бернс (1858—1943), видный деятель английского рабочего движения. В 80-е годы — неугтомимый оратор и организатор ряда крупнейших стачек и других выступлений рабочего класса. Впоследствии перешел на позиции социал-реформизма.

⁹ Джон Брайт (1811—1889), английский буржуазный политический деятель. Выставляя себя защитником народных масс, требовал отмены хлебных пошлин и ограничения привилегий землевладельческой аристократии. В конце 70-х и начале 80-х годов, дважды занимая в правительстве пост министра без портфеля, зарекомендовал себя как преданный слуга господствующих классов.

¹⁰ Чарльз Брэдлоу (1833—1891), английский публицист и пропагандист атеизма. В 80-е годы выступил в парламенте против ограничений свободы слова. Сторонник либеральных реформ, он был вместе с тем яростным противником социализма.

¹¹ Роберт-Спенс Ватсон (1837—1911), английский публицист и юрист, автор ряда работ по социально-экономическим проблемам; в 1890—1892 годах был председателем Национальной либеральной федерации. Исполнял должность почетного казначея Общества друзей русской свободы. На смерть Степняка откликнулся содержательной и прочувствованной статьей (см.: «Free Russia», 1896, vol. 7, № 2, February 1-st, pp. 10—12).

его темные волосы, его могучие плечи, его огромная сосредоточенность в изложении своих мыслей обычно производили на людей впечатление и даже устрашали некоторых из них. Возможно, он когда-либо и пользовался своим внушительным видом преднамеренно, в целях воздействия, но я никогда не замечал этого. Напротив, его обаяние в личном общении состояло в том, что он обнаруживал сердце любящего ребенка наряду с могучим и очень живым интеллектом. В какой степени детская наивность могла быть результатом преодоления им трудностей языка, не знаю. Вначале я задавался вопросом, насколько присущий Степняку способ втягивать шею между плеч, и его робкие, как у неоперившихся птенцов, движения, и то, как он поглядывал на вас неотразимо разоружающим взглядом, — насколько все это было обусловлено необходимостью преодолеть препоны чужого языка; но, наблюдая затем сходную картину в моменты, когда он говорил по-русски, я отбросил свою теорию. Он был до безрассудства неустрашимым лингвистом. Хотя его первые регулярные чтения в Англии начались только с 1886 года (в небольшом помещении, примыкающем к дому Уильяма Морриса¹² в Гаммерсмите), ему довелось однажды выступить с публичной речью сразу же после прибытия в нашу страну, — это было у церкви на Саут-Плейс после того, как там закончилась служба. Подобно многим иностранцам, чем дольше жил он в Англии, тем меньше думал о преодолении трудностей языка и соответственно — тем хуже он говорил. Однажды я спросил его, как он изучает языки. Он ответил, что лучший способ состоит в том, чтобы взять книгу и читать ее неторопливо до конца. Несколько начальных страниц были для него, конечно, совершенно невразумительными. Затем он начинал понимать по одному или по два слова; другие слова разгадывались по их связи с уясненным; запас возрастал; и последние главы становились уже вполне доступными пониманию. Тогда он обращался к книге снова и находил, что он в состоянии ее читать. В разговорной речи его колебания выражались не с помощью «эр-эр-эр», как у англичан, но с помощью «м-м-м», как у русских.

Когда я встретился с ним в парке впервые, я не мог оценить в полном виде неподдельность и своеобразие его очарования. Вряд ли можно согласиться, что все русские обладают обаятельными манерами; но безусловно все русские революционеры, с которыми я сталкивался, были восхитительно приятными знакомыми. Степняк, Кропоткин, Софья Ковалевская и другие, чьи имена я не могу вспомнить, а если бы и вспомнил, то не смог бы правильно произнести, — все встречали нас с той исключительной человечностью, которая является пределом совершенства в общении с людьми. Чопорный английский читатель будет в данном случае утешать себя традиционным анекдотом, что если поскрести русского, то под ним непременно окажется татарин. Но вот беда: они вам нравятся так сильно, что у вас не возникает желания их поскрести. И уже тем более не был татарин Степняк. Он безусловно отдавал себе отчет в наличии двух противоположных начал в русском характере: фаталистического восточного и энергичного, творческого, критического, западного начала; оба они воплощены для нас в типах, с одной стороны, Толстого, с другой — Тургенева. Степняк — выразительный пример принадлежности к тургеневскому типу. Он был человеком жизни, действия, развития, противостоящих усталости, созерцательности, пассивной красоте характера. Я уверен, он охотно согласился бы променять добрую половину обаятельных черт своих соотечественников на толику менее приятных достоинств англичан: чувство, которому я, как ирландец, особенно склонен был симпатизировать. Я вспоминаю его в связи с одним случаем, отразившим различие между англичанами и русскими в отношении неприязни в денежных делах. Английское общество никогда не прощает человеку, нарушившему существующие правила о том, что можно и чего не дозволено делать в денежных взаимоотношениях; в русском же обществе нарушителя сразу же начинают жалеть, извинять и, расчувствовавшись, принимают обратно. Степняк был полностью на стороне английской неумолимости. Подобно большинству своих благовоспитанных друзей, он был слишком большим мастером в искусстве быть приятным, чтобы хоть сколько-нибудь дорожить этим искусством.

Я никогда не спрашивал Степняка о его конспиративной деятельности, так как были явные причины, препятствовавшие ему рассказывать об этом больше, чем было известно всякому. Он не был, по-видимому, террористом по убеждениям: подобно всем мыслящим и действительно убежденным людям, он бросался в схватку только тогда, когда не оставалось никаких иных средств. В одном из его романов, в котором идет речь о заговоре с целью убить царя, самое поразительное место — это описание того, как герой, когда на него пал жребий убить ценою собственной жизни, с этого момента уже не может думать о смерти царя, настолько он поглощен мыслью о своей собственной смерти. В результате он забывает тщательно

¹² Уильям Моррис (1834—1896), английский писатель, художник и общественный деятель. По своим взглядам был близок к так называемым прафабрикам. С 80-х годов участвовал в английском рабочем движении; вместе с Э. Маркс-Эвелинг был основателем Социалистической лиги (1884); написал ряд произведений («Вести ниоткуда» и др.), проникнутых идеями утопического социализма.

проверить свой револьвер, и царь спасается.¹³ В книге не найти ни одной фразы, в которой содержался бы какой-либо оттенок личной злобы, жажды мести или фанатической одержимости писателя. Вы догадываетесь о силе политических эмоций Степняка только на основании факта, что он вообще был политическим деятелем. Ибо, как я уже сказал, по природным склонностям своим он был художник. Когда я встречался с ним, мы обыкновенно говорили о книгах (насколько я, никогда ничего не читавший, мог поддерживать беседу с ним, читавшим, как казалось, все решительно), о театре, или о его юном друге — пианисте Максe Гамбурге,¹⁴ или о характерных национальных особенностях, о человеческой натуре, о знакомых нам людях, или о Дузе¹⁵ и русских актрисах, или же о чем-либо ином, что нам нравилось, в этом же роде. Он настойчиво внушал мне веру в мое собственное творчество, и когда я готовил для постановки свою пьесу «Война и человек», он вошел ради меня в проблематику болгарских манер и обычаев настолько, что, казалось, освобождение России для него уже не имело значения. Ум его отличался большой силой, он ничего не схватывал наполовину. Ему я обязан был помощью, которую я получил от того болгарского адмирала, в реальное существование которого публика, считавшая Болгарию государством без морских границ, положительно отказывалась верить; и никогда еще ни один морской порт не подвергался бомбардировке более утонченно милым джентльменом; но, хотя знакомство с этим русским я по-прежнему вспоминаю с удовольствием, мне ни разу не удавалось произнести правильно его фамилию, и боюсь, что теперь мне уже никогда не удастся достигнуть этого, коль скоро нет со мною Степняка, чтоб возобновить ее в моей памяти.¹⁶

У меня нет уверенности, не слишком ли в светлых тонах рассказывал я здесь о человеке, кончина которого еще так недавно омрачила его друзей своей печалью. Но нельзя это было бы несправедливо, предаваться скорби о человеке, имя которого вызывает у вас только светлые ассоциации. Встречаясь со Степняком, я всегда, глядя на него, испытывал чувство радости; в наших взаимоотношениях не было ничего, что поколебало бы их хоть на мгновение. Я вовсе не претендую на то, чтобы причислить себя к тем близким его друзьям, от одного из которых мы могли прелесть узнавать о нем несколько больше, чем то, что обычно нам было доступно,¹⁷ но все же я позволил себе написать эти несколько слов, так как глубокое расположение, которое я питал (и питаю) к нему, не позволит мне по крайней мере нанести какой-либо урон его памяти. Что же касается его смерти, то мы найдем свое утешение в том, что как бы она ни была неожиданна для нас, для него она наступила столь внезапно, что ужаса перед нею он не успел почувствовать. Чрезвы-

¹³ Б. Шоу имеет здесь в виду роман Степняка «Андрей Кожухов».

¹⁴ Речь идет безусловно о талантливом пианисте Марке Гамбурге (1879—1960). Он был сыном преподавателя музыки Михаила Гамбурга (1856—1916), который родился и получил образование в России (в Петербургской и Московской консерваториях). С 1891 по 1911 год семья Гамбургов проживала в Лондоне. Б. Шоу и Степняк-Кравчинский, покровительствуя дарованию Марка Гамбурга, участвовали в организации его первых концертов в Лондоне (см.: Bernard Shaw. Collected Letters. 1874—1897. Edited by Dan H. Laurence. New York, 1965, p. 323).

¹⁵ Элеонора Дузе (1859—1924), знаменитая итальянская актриса; наглядное представление о ее игре на сцене Б. Шоу получила в 1895 году, когда Э. Дузе посетила Англию и блистательно сыграла несколько ролей в лондонских театрах. Перу Б. Шоу принадлежит ряд проникновенных и неизменно восторженных характеристик ее артистического дарования.

¹⁶ «Болгарский адмирал» — Эспер Александрович Серебряков (1854—1921), морской офицер; входил в пародовольческий морской кружок в Кронштадте; в 1881 году вошел в Центральный военный кружок; в 1883 году бежал за границу. В 1885—1886 годах, приняв участие в сербско-болгарской войне, командовал Дунайской болгарской флотилией (см. его очерк «Год в Болгарию» («Заветы», 1913, № 4)). С 1899 по 1902 год был редактором и издателем выходившего в Лондоне ежемесячника «Накануне». После 1905 года Серебряков возвратился на родину.

Как знаток жизни и истории славянских народов, Степняк и Серебряков оказали Б. Шоу заметную «творческую» помощь во время его работы над комедией «Война и человек». Готовясь к премьере пьесы, Б. Шоу предвидел, что как зрители, так и журнальные критики предъявят ему упрек в недостаточном верном изображении болгарских и сербских нравов. Приглашенные на первую постановку пьесы, Степняк и Серебряков, по-видимому, должны были, по замыслу автора, подтвердить правдивость воссоздаваемых им «местных» реалий. 17 апреля 1894 года, за четыре дня до премьеры, Б. Шоу писал директору театра «Авеню» Чарльзу Хелмсли: «Дорогой Хелмсли! Среди зрителей, призванных придать блеск первой постановке, будут Степняк и Болгарский адмирал, которые снабдили меня локальным колоритом. Они явятся вместе. Будьте добры, пошлите билеты на ложу или на три хороших места Степняку» (Bernard Shaw. Collected Letters, p. 424).

¹⁷ Из проживавших в Лондоне русских друзей С. М. Степняка-Кравчинского ближе всего к английским литературным кругам стоял Ф. В. Волховский (1846—1914). Возможно, его здесь и имеет в виду Б. Шоу.

чайно характеристично было для него, что вместо того, чтобы ждать, когда пройдет поезд, как это сделал бы любой пожилой человек, он, подобно юноше, попытался пробежать первым. И можно не сомневаться в том, что для него жизнь закончилась этим мальчишеским порывом. Из всех смертей, которым он бросал вызов, это была наименее страшная.

Бернард Шоу

Публикуемая статья написана в присущем творчеству Б. Шоу стиле, сжатом и приподнятом, напряженном и вместе с тем красочном, — в стиле, где зримо проступает индивидуальность автора, эмоционального и, может быть, поэтому противоречивого, постоянно думающего об изяществе формы, организующая роль в которой принадлежит афоризму, парадоксу, а порой и каламбуру.

Статья дает весомый материал для характеристики общественно-политических и эстетических воззрений Б. Шоу в конце XIX века, — и в этом состоит одно из главнейших ее достоинств.

Со времени организации Фабианского общества (1884) Б. Шоу был его ведущим деятелем и оратором. Последовательным фабианцем он, однако, никогда не был. Даже в настоящей, небольшой по объему статье присутствует критическая оценка «верности» фабианцев духу английской конституции. Трезвый критицизм Б. Шоу по отношению к буржуазной цивилизации привел его впоследствии в ряды тех, кто приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию и активно выступал против колониального разбоя империалистических держав, равно как и против национал-шовинизма и нацизма. Тем не менее в момент написания публикуемой статьи критицизм Б. Шоу вообще и по отношению к конституционным формам освободительной борьбы и к концепции фабианского социализма в частности обозначился слабо. Писатель был искренне убежден в том, что лучших форм общественного устройства можно добиться лишь в результате мирных и постепенных «социалистических» преобразований.

Трудно согласиться с суждениями Б. Шоу о политических позициях С. М. Степняка-Кравчинского. Совершенно очевидно, что в лондонский период жизни из тактических соображений Степняк вынужден был привлекать к своим начинаниям (Общество друзей русской свободы, журнал «Свободная Россия» и т. д.) людей различных политических убеждений. Он действительно никогда не был сектантом. Ему приходилось сотрудничать с английскими либералами. Однако из этого нельзя делать вывод, к которому пришел в своей статье Б. Шоу, что Степняк не был «последовательным прогрессистом» и что его политические взгляды были более всего сродни либерализму вигов. Дело в том, что, живя в «свободной» Англии, Степняк и его друзья стремились прежде всего расширить фронт борьбы с самодержавием и вряд ли были серьезно озабочены тем, чтобы ознакомить всю английскую общественность с *конечными целями* своей борьбы. Известно, что русская революционная эмиграция пользовалась сочувствием далеко не всех политических группировок Англии. Английская консервативная пресса неоднократно предупреждала об угрозе проникновения идей русского «нигилизма» в Европу. Заметим кстати, что в январском номере журнала «New Review» за 1894 год была помещена инспирированная русским правительством статья «Анархисты, методы их действия и организация», изображавшая русских политических эмигрантов как непримиримых врагов существующего в Англии социального правопорядка. С опровержением этой статьи выступил известный американский путешественник и публицист Джордж Кеннан (1845—1924). Само собою разумеется, что он мог осуществить свою задачу только ценою отступления от истины. Дж. Кеннан вынужден был утверждать, что подавляющее большинство деятелей русского освободительного движения — это умеренные либералы и что даже для русских народовольцев-террористов буржуазная конституция является конечной целью их политической программы. «Я был связан с ними узами симпатии, человечности или дружбы. Но я бы желал быть связанным с ними узами кровного родства. Я бы гордился правом считать их своими братьями и сестрами, и до тех пор, пока некоторые из них живы, они могут рассчитывать на такую помощь с моей стороны, которая может быть оказана только братом».¹⁸ Всю непрочность общественного авторитета и положения русских политических эмигрантов в Лондоне создавал и Б. Шоу. Он тоже, как нам представляется, был озабочен тем, чтобы его рассказ о Степняке не скомпрометировал друзей последнего в глазах английской полиции и правящих кругов. Отсюда известная уклончивость Б. Шоу, отсюда его заявление, что политических проблем он со Степняком не обсуждал. Но вместе с тем публикуемая статья свидетельствует также о том, что отдельные стороны политической деятельности Степняка были скрыты от наблюдения Б. Шоу. По мнению последнего, Степняк-Кравчинский опасался особенно тесного сближения с радикальными группировками в английском социалистическом движении. Подобное утверждение не соответствует, однако, истине. Так, например, согласно документальным данным,

¹⁸ «Free Russia», 1894, vol. 5, № 2, February 1-st, p. 11.

опубликованным совсем недавно, сразу же после своего прибытия в Лондон (приблизительно через две недели) Степняк установил знакомство с Ф. Энгельсом.¹⁹ Как этот, так и другие аналогичные факты, по-видимому, ускользнули от наблюдения Б. Шоу. Впрочем, его точка зрения по этому вопросу последовательностью не отличается. В одних случаях он говорит о Степняке как о стороннике конституционных форм борьбы, в других — как о неустрашимом революционере.

Некрологическая статья Б. Шоу содержит ценные данные о его личных взаимоотношениях с русским писателем-народовольцем. Весьма любопытно замечание Б. Шоу о помощи, оказанной ему Степняком при подготовке к сценическому представлению пьесы «Война и человек» (она известна также и под другим названием — «Шоколадный солдатик»). По-видимому, есть основания говорить и о непосредственном участии Степняка и Э. А. Серебрякова в создании этой пьесы. Весьма любопытно также воспоминание английского писателя о впечатлении, произведенном на него чтением романа «Андрей Кожухов». Как и для многих других английских литераторов 80—90-х годов, произведения Степняка явились для Б. Шоу фактором не только гражданского, но и эстетического развития. Из личных бесед с русским писателем-изгнанником, из непосредственного общения с русскими «вигилистами» получил Б. Шоу свои первые представления о России. Это общение надолго определило симпатии выдающегося английского писателя к русскому освободительному движению, русской культуре и литературе.

Не лишен интереса также и нарисованный в публикуемой статье портрет С. М. Степняка-Кравчинского. Б. Шоу, как следует полагать, внимательно изучал внешний облик русского революционера-народовольца. До нас дошел карандашный портрет Степняка, сделанный рукой Б. Шоу.²⁰ Между этими двумя изображениями, одно из которых сделано средствами живописи, а другое средствами искусства слова, существует большое сходство. Это дает право сказать, что сделанный в публикуемой статье набросок портрета Степняка обладает всеми признаками несомненной достоверности.

Самый факт появления статьи о Степняке в журнале «Tomorrow» заслуживает объяснения. Редактор и издатель этого просуществовавшего всего лишь два с половиною года (1896—1898) журнала Джекоб-Томас Грейн (1862—1935) был, по словам Б. Шоу, «энтузиастом театрального искусства», критиком и публицистом. В начале 90-х годов, ориентируясь на Свободный театр Антуана в Париже, Джекоб-Томас Грейн создал Независимый театр в Лондоне, способствовавший продвижению на английскую сцену современного европейского театрального репертуара прогрессивной направленности, в частности — драматургии Г. Ибсена. К Грейну как театральному деятелю сочувственно относились Томас Гарди, Джордж Мереди и ряд других английских писателей демократического лагеря. Следует полагать, что читателям журнала «Tomorrow» имя автора «Подпольной России» и «Андрея Кожухова» было хорошо известно. В противном случае Грейн вряд ли осмелился бы обратиться к Б. Шоу с просьбой написать специальную статью о русском писателе-народовольце.

Публикуемая статья Б. Шоу, несмотря на свойственную ей противоречивость и некоторую недосказанность, расширяет существующие представления о характере деятельности Степняка, о его зарубежных связях и своеобразии его как человека, она будит нашу мысль, и можно не сомневаться, что тщательным изучением ее займутся в дальнейшем как последователи жизни и деятельности С. М. Степняка-Кравчинского, так и все те, кого интересует биография и творчество Бернарда Шоу.

В. БАЗАНОВ

ЕЩЕ ОБ ОДНОЙ ТЕТРАДИ СТИХОТВОРЕНИЙ СЕРГЕЯ СИНЕГУБА

Эта тетрадь, содержащая 28 автографов стихотворений Сергея Синегуба, условно обозначена хранителем ее, Сергеем Владимировичем Синегубом, внуком поэта, тетрадью № 1. Из трех тетрадей, сохранившихся в семейном архиве,¹ она является самой ранней по составу стихотворений. Сергей Синегуб, прошедший всю свою жизнь в тюрьмах, на каторге и в ссылке, не имевший возможности выступать в большой легальной печати, заносил в свои тетради стихотворения разных лет,

¹⁹ См.: Е. Таратута. Фридрих Энгельс и С. М. Степняк-Кравчинский. «Наука и жизнь», 1965, №№ 7, 8 и 9.

²⁰ «Огонек», 1956, № 30, 22 июля, стр. 14.

¹ См.: В. Базанов. 1) Неизвестные стихотворения Сергея Синегуба. «Русская литература», 1963, № 4; 2) К истории тюремной поэзии революционных народов 70-х годов. «Русская литература», 1966. № 4.

чтобы потом, при более благоприятных обстоятельствах, издать их отдельным сборником. В какой-то степени это удалось ему сделать: с помощью друзей он выпустил в Ростове-на-Дону небольшой сборник «Стихотворения. 1905 год». Сюда вошло далеко не все, в частности в этом сборнике отсутствуют пропагандистские стихи, созданные поэтом в годы «хождения в народ», и совсем скромно представлены его «тюремные тетради». Поэтому ранние стихотворения, сохранившиеся в автографах и авторизированных списках, представляют для нас особый интерес.

Рукой Сергея Синегуба на первом листе тетради № 1 сделана помета «1873—1879». Отсюда можно заключить, что в тетрадь вошли стихотворения героической эпохи 70-х годов, когда Синегуб руководил рабочим кружком в Петербурге (одним из его воспитанников был Петр Алексеев) и вместе со Степняком-Кравчинским вел революционную пропаганду среди тверских крестьян, а также стихи, написанные в тяжелые годы заточения в Думе предварительного заключения и в Петропавловской крепости. Об этом свидетельствует и содержание всех 28 стихотворений. Граница между стихотворениями, написанными до ареста и сложенными в тюрьме (1874—1878), легко устанавливается благодаря помете, сделанной в тетради самим поэтом на обороте 10-го листа: «Тюремные стихотворения». Заголовок этот подчеркнут Синегубом, но исследователь вправе считаться с ним. В тетради на обороте 10-го листа помещено стихотворение «Думы мои, думы». Им же начинается в сборнике «Стихотворения. 1905 год» цикл «Тюремные стихотворения. (Из старых тетрадок)». Сборник «Из-за решетки» (Женева, 1877) открывается стихотворением Синегуба—Вербовчанца «Думы мои любви». Таким образом, во всех трех случаях (рукописная тетрадь и два сборника) первым среди тюремных стихов Синегуба значится «Дума». Отсюда следует, что 10 стихотворений в тетради, предшествующие «Думе», были написаны еще на свободе. Показательно, что тетрадь № 1 начинается известной «Думой ткача» (1873), которая широко распространялась в списках и со временем превратилась в популярную народную песню. Она была написана Синегубом в самом начале 1873 года, после посещения им одной из петербургских ткацких фабрик. «Как-то мои друзья ткачи повели меня, — пишет Синегуб в «Записках чайковца», — на фабрику во время работы. Боже мой! Какой это ад! В ткацкой с непривычки нет возможности, за грохотом машин, слышать в двух шагах от человека не только то, что он говорит, но даже, что он кричит. Воздух — невозможный, жара и духота, вонь от людского пота и от масла, которым смазывают станки; от тонкой хлопковой пыли, носящейся в воздухе в ткацком отделении, получается своеобразный вид мглы. И в такой обстановке надо простоять человеку более 10 часов на ногах. . . Я пробыл на фабрике не более 2 часов и вышел оттуда очумелый и с головной болью. Это мое посещение фабрики вызвало впоследствии появление на свет моего стихотворения „Дума ткача“, получившего потом большое распространение среди молодежи и в особенности среди рабочих».² В 1873 году «Дума ткача» впервые была опубликована в «Сборнике новых песен и стихов», изданном кружком «чайковцев» в Женеве.

В тетради «Дума ткача» имеет несколько иную редакцию. В ней полностью отсутствуют 5-я и 6-я строфы:

«Шибко измаялся нынче, — присел бы я,
Кабы надсмотрщик ушел.
Эх, разболелся бедные ноженьки,
Словно верст сорок прошел! . . .»

Взором туманным обводит он ткацкую,
Нет ли надсмотрщика тут;
Сел бы, — торчит окаянный надсмотрщик —
Вмиг оштрафует ведь плут!³

Важно, что эти две строфы отсутствуют и в других, известных нам, авторизованных списках «Думы ткача». Видимо, Синегуб, работая над окончательными редакциями своих стихотворений, вносил некоторые стилистические исправления и сокращения. Это касается не только «Думы ткача», но и некоторых других стихотворений, известных нам по первоначальной публикации в сборнике «Из-за решетки». Из наиболее существенных разночтений в «Думе ткача» приведем следующие.

В «Сборнике новых песен и стихов»:

Как-то жена нынче с домом справляется,
Что там земляца-то даст?
Мало земляцы; плоха она, матушка,
Сушая, право, напасть!

² С. Синегуб. Записки чайковца. Изд. «Молодая гвардия», М.—Л., 1929, стр. 36—37.

³ Цит. по: Вольная русская поэзия второй половины XIX века. Большая серия «Библиотеки поэта». «Советский писатель», Л., 1959, стр. 241.

В тетради:

Как-то жена нынче с домом справляется?
 Плохо нас кормит соха!
 Мало землицы, плоха она, матушка, —
 Да и скотина плоха!

Кроме «Думы ткача», в первый раздел тетради входят еще два стихотворения, известные по сборнику «Из-за решетки»: «Народница» и «Посвящается Ларисе». Стихотворение «Народница» в женевском сборнике было опубликовано под названием «Она», а в сборнике «Стихотворения. 1905 год» — по тексту тетради и с тем же заглавием («Народница»). Судя по тетради, «Народница» написана до процесса 50-ти, под непосредственным впечатлением «хождения в народ». В сборнике «Из-за решетки» стихотворение было переадресовано женщинам процесса 50-ти и снабжено соответствующим редакционным примечанием. К тому же стихотворение «Она» является более расширенным вариантом «Народницы».

То же самое можно сказать о стихотворении «Посвящается Ларисе», т. е. жене поэта Л. В. Чемодановой. В сборнике «Из-за решетки» оно опубликовано с несколько иным заглавием: «Посвящается моей жене». Стихотворение написано от лица Ларисы Васильевны Синегуб (Чемодановой) и обращено к мужу-поэту. В нем рассказывается о жизни Л. В. Чемодановой до встречи с Синегубом, до брака с ним (см. главу «Фиктивный брак» в «Записках чайковца»), о превращении провинциальной девушки в жену-гражданку. Здесь только предчувствие возможной трагической развязки и обещание нести «тяжелый крест». Типично тюремных мотивов в этом стихотворении еще нет. Оно написано до ареста Синегуба, до разгрома кружка «чайковцев», т. е. в 1873 году.

Было напечатано и стихотворение «Перекати-поле», им открывался сборник «Стихотворения. 1905 год».

Другие шесть стихотворений из первой части тетради так и не увидели света при жизни поэта. Стихотворение «Греза», отобранное у Синегуба в конце 1873 года при обыске вместе с другими революционными его произведениями («Гей, работники, несите» и «К рабочему народу»), было опубликовано нами в журнале «Русская литература» (1963, № 4, стр. 163—164).

Первые 10 стихотворений в тетради очень характерны для поэта-пропагандиста, одного из выдающихся участников «хождения в народ». Значение их состоит не столько в художественном своеобразии (Синегуб не был крупным и слишком оригинальным поэтом), сколько в революционном исповедничестве, в политической убежденности, в вере в правоту своего дела, в сыновей любви к страдающему народу.

Вот пять никогда не публиковавшихся стихотворений из первой части тетради.

РОМАНС

Как тяжко жить средь мук и горя,
 Позора, рабства, нищеты!
 Не знать улады и покоя
 В осуществлении мечты!
 Из царства слез и вечных стонов
 Бежал бы я охотно в лес,
 Где только пенье птичьих хоров
 И блеск лазоревых небес!
 Бежал бы я... Но угрызенья
 Нарушат совести покой,
 Что не работал для спасенья,
 Для счастья общины людской!
 Что я позорно укрываюсь
 От общих жгипленных невзгод,

Что праздной жизнью наслаждаюсь
 Вдали от горя и забот;
 Что я с отвагой босвою
 Не вышел в жизнь на смертный бой
 С насильем, с подлостью, с нуждой,
 Не разрушал неправды строй!
 Да, — в ком теплится искра правды
 И в сердце кровь живая льет,
 Кто ищет счастья и отрады,
 Тот в лес от битвы не уйдет!
 Кто жизни честной и правдивой,
 Кто честно любит свой народ
 И кто с душою нетрусливой,
 Тот в лес от битвы не уйдет!

ПОТОК

Пеукротимый и жпвой,
 Бежит поток с вершины горной,
 И, искрясь пенистой волной,
 Как змей, блесит в степи просторной,
 Рокочет, злобствует, бурлит...
 И не страшны ему преграды!
 Могучий встретивши гранит,
 Он полон бешеной отрады!
 В сухую каменную грудь
 Он, пенясь, злобно ударяет...
 Вперед, вперед свободный путь
 Себе борьбой он добывает!

Одним ударом не сразив
 Утеса старого, — волною,
 Все так же бодр и горделив,
 Бьет в грудь его... Живет борьбою,
 Покуда каменный утес
 Вкопеч в бою не изнеможет,
 Потока дно, куда он врос,
 Слюдой и кварцем не уложит!..
 Да! непокоря ты судьбе!
 Люблю, поток, твое стремленье:
 Боязнь неведома тебе
 И незнакомо отступленье!

Душу за братьев своих отдающую,
 Молодежь честную — силой гнетущую
 Душат, хоронят в тюрьму, как в могилу,
 Губят народную лучшую силу!
 Помощи смелой — нигде не проси!
 Нету защитников, нет обороны!
 Каркая, вьются, ждут трупов вороны!..
 В воздухе, кровью напоенном, стоны,
 Жалобы всюду, — кого ни спроси!
 Наглухо, крепко окована, спутана,
 Слово как саваном смерти окутана
 Жизнь гражданина Руси!..

Среди не увидевших света стихотворений есть и по-настоящему волевые, сильные, энергичные стихи, прекрасные образцы гражданской лирики. В «Романсе» содержится большой и принципиальный спор с поэзией камерной, замкнутой в мир частных переживаний. Поэт-гражданин не имеет права на отдых, он не должен уединяться, уходить в мир чистого искусства, в пейзажную лирику. «Кто честно любит свой народ.. Тот в лес от битвы не уйдет». В отличие от фольклоризированных поэм («Илья Муромец» и «Атаман Сидорка»), от песен и гимнов, рассчитанных на широкую пропаганду («Гей, работники, несите», «К рабочему народу»). «Дума ткача»), гражданская лирика обращена прежде всего к молодому поколению, к передовой молодежи, которая только еще собирается идти в народ, принять участие в предстоящей борьбе. Это удивительно оптимистическая, мужественная и вольнолюбивая поэзия. Поэт обращается к иносказанию, вернее — к революционной аллегории («Поток», «Терн»). Он отваживается даже на тайный спор с Тютчевым, с его «Утесом», о который разбились революционные волны. В «Потоке» все наоборот: революционный поток постепенно ломает преграды, подтачивает каменную грудь старого утеса. Если говорить о самовыражении, то оно в двух словах: «с душою петрусливой». Речь идет прежде всего о борце, которого ждут суровые испытания. «Живет борьбою» — это сказано и о себе, и о тех, к кому обращены стихи. Это — поэзия революционного бдения. Везде чувствуются некрасовские интонации. Особенно они звучат в «Ниве» и в «Отрывке». Достаточно одной-двух строк из стихотворений Синегуба, чтобы увидеть прямое и плодотворное влияние музы «мести и печали». Поэзия русского революционного подполья, потаенная политическая поэзия многое берет у Некрасова. Вот почти некрасовские стихи: «Потом, слезам, страдаю полита!» («Нива»), «И увпали тем венком Борца, апостола пророка» («Терн»), «Мрак на Руси непроглядно глубок.. Темная доля.. Острог да сума.. Подати, розги.. Поля худародные» («Отрывок»).

Русская гражданская поэзия всегда стояла на страже народных интересов. Скромные стихи поэтов-народников, заживо погребенных в Петропавловской крепости, не блещут отдельной художественной формой, но они поражают своей искренностью, гражданской взволнованностью, своим социальным пафосом. Революционные поэты-народники внесли свой вклад в историю политической поэзии. Они и в тюрьмах продолжали грозить царям и славить свободу. Мужество не покидало певцов в самые трудные минуты их жизни.

Из 18 стихотворений, которые Синегубом были написаны в тюрьме (1874—1878), семь («Живое кладбище», «С. М. К-му», «Н. Ап. Чар-ну», «Памяти М. Л. Михайлова», «Феликсу», «Петру Алексееву», «Монолог») входят в сборник «Из-за решетки». Названия стихотворений не всегда совпадают. «Живое кладбище» в тетради представлено в сокращенной редакции; стилистические изменения и частичная переработка коснулись и других стихотворений («Памяти М. Л. Михайлова», «Петру Алексееву», «Феликсу»). Автографы помогают нам правильно раскрыть почти все адресаты. Так, в сборнике «Из-за решетки» напечатано послание «К другу» («Ты не чужой мне, слава богу!»). Н. А. Морозов в беседе с А. А. Шиловым высказывал предположение, что стихотворение это обращено к Ф. В. Волховскому.⁵ В тетради стихотворение озаглавлено «Феликсу», т. е. Феликсу Волховскому. В данном случае предположение Н. А. Морозова полностью подтверждается. Труднее было догадаться, кому посвящено стихотворение «Мой друг Коля»:

Лишите вы светлого дня,
 Свободы, труда и веселья,
 Закуйте вы в цепи меня
 И вверните в мрак подземелья,

Убейте подругу мою,
 Друзей на крестах вы распните,
 Чтоб злобу насытить свою,
 Меня на костре вы сожгите...⁶

⁵ См.: Вольная русская поэзия второй половины XIX века, стр. 778.

⁶ В сб. «Из-за решетки» эта и следующие четыре строки читаются:

Их муки вы мне покажите, —
 Но все же к народу любовь
 И непамять к вам не убьете,

И в сердце своих же сынов
 В грядущем вы мщенье найдете!..

О! Мукн меня не страшат,
Я встречу их гордой душою,
Пусть будут тяжеле в стократ,
Я все ж не склонюсь головою!..
Что — это с решеткой окою,
Изгнанье, кресты и оковы?!⁷
Есть в мире мученье одно,
Его мне не выразить словом!
Народа — глухие сердца!
Народа безмолвье пемое,

Его равнодушие тупое
К страданьям своим без конца!
Терзайте вы сердце мое⁸
И ранами тело покройте,
На вечное горе-жизтье⁹
В темницу, как в яму, заройте,
Всю жизнь пусть палачидиот
Над мукой моею смеется, —
Но пусть протестует народ,¹⁰
Пусть гордо встает он и бьется!

Перепечатывая это стихотворение («Мой друг Коля»), комментаторы сборника «Вольная русская поэзия второй половины XIX века» имели основание писать: «Адресат стихотворения не установлен» (стр. 776). В тетради стихотворение озаглавлено «Н. Ап. Чар—ну». Ясно, что речь в данном случае идет о Николае Аполтоновиче Чарушине (1851—1937), близком друге Синегуба, приговоренном по процессу 193-х к девяти годам каторги. Наконец, в этой тетради находим первые 12 строк стихотворения «Обширный склеп — тебя нам не забыть!», подчеркнутые крест-накрест Синегубом. Это большое тюремное стихотворение в другой тетради имеет условное название: «Посвящается В.».¹¹ Загадочное «В» в тетради № 1 расшифровано — «Вере Засулиц».

Мы остановились на тех стихотворениях тетради № 1, которые входят в известный сборник «Из-за решетки». Шесть стихотворений мы находим в сборнике «Стихотворения. 1905 год»: «Думы мои, думы», «Ночь в тюрьме», «В одиночке», «Песня узницы», «Романс», «Жалоба бедняка». Стихотворение «На смерть Кунрянова» включено в «Записки чайковца». Таким образом, из 18 тюремных стихотворений тетради оказались опубликованными — 14. Четыре неопубликованных стихотворения мы воспроизводим ниже.

ВОПРОСЫ

Зачем это — тяжкое рабство.
Насилья разгуд и порока?
Зачем это слезы людские,
Как море, разлились широко?
За что так меж нами работник
Проклятой судьбою обижен, —
И образ святой человека
Так страшно забит и ушжен?
Зачем над порывами честной,
Любовью прощигнутой мысли
Проклятья и злые попеня.
Как мрачные тучи, нависли?
И губят так зверски, так злобно
И юность, и свежее сплы

В глухих казематах темницы.
Как в мраке холодной мойилы?..
Зачем это люди за счастье
Друг с другом враждуют до гроба?
И в сердце невольню исползает
Змеей ядовитую злоба?
Зачем не спяют над миром,
Как яркое солнце весною,
Святая любовь и свобода
Божественно-вечной красою?..
По жизнь не дает мне ответа
На трудные эти вопросы...
И рвутся из груди проклятья,
И душат бесплывные слезы!

* * *

Что ни день, то глубже море мук!
И все гуще становится мрак!
Что ни день, то редеет наш круг
И сильнее становится враг!
Что ни день, то уносит борьба
Вон из братского круга друзей!

Тяжела, тяжела ты, борьба
За свободу и братство людей!
Тяжело нам средь свежих могил
Наших братьев стоять и грустить,
Сознавая, что нет у нас сил,
Чтоб за смерть их врагам отомстить!

(МИХ. ПЕТР. С-НУ)¹²

Под свист ружейных пуль, картечи,
В кровавых брызгах, как в пыли,

Со смертью не бояся встречи,
За красным знаменем вы шп... .

⁷ В тексте публикации:

Тюрьма, угнетенья, оковы?!

⁸ В тексте публикации:

Ах! Вскройте вы сердце мое... .

⁹ В тексте публикации эта строка отсутствует.

¹⁰ В тексте публикации:

Но пусть шевелится народ,
Пуускай протестует и бьется.

¹¹ См.: «Русская литература», 1966, № 4. Здесь полностью опубликовано стихотворение «Обширный склеп — тебя нам не забыть!».

¹² Посвящено Михаилу Петровичу Сажигу, видному участнику революционного движения 60-х годов. Впоследствии известный сподвижник Бакунина. Был ор-

Версальцы из своей засады,
В домах, как тати, притаятся,
Стреляли сверху в баррикады,
И сотни падали вокруг вас.
Лилась ручьями кровь людская,
Смывала камни мостовой:
Встречал Париж, в огне сверкая,
Приход Свободы золотой.
Она так долго и напрасно
Рвалась к людям... в этот час
Опять явилась к ним и страстно
С своим любимцем обнялась —
С Парижем... Но тупую силу
Сломить Свобода не смогла:
Окровененная ушла

И свой светильник загасила!
И эти грозные мгновенья,
Победу диких палачей,
Погибель страшную друзей,
Оставшись один среди боя,
Среди трупов, тлеющих кругом,
Пришлось вам пережить душою
И стать в неделю стариком!..
Но все же вас судьба хранила
И испытаньем умудрила
Затем, чтоб вы как гражданин
Служить могли родному краю...
И я в день ваших именин
Одной лишь волн вам желаю.

ТОВАРИЩАМ¹³

(на суде)

Теперь мы вместе пред врагами!
Силен и грозен их спиклит!
Единодушие между нами
Одно врагов лишь победит!
Друзья! Среди нас разъединенье —
Одно из свойств тупых рабов —
Победой будет для врагов,
Для нас позорным униженьем!

Под темным сводом каземата
Недаром прожиты года
И нашу юность без возврата
Там схоронили навсегда,
Вдали от жизни и свободы
И от борьбы святой с врагом
За счастье светлое народа,
За все, чем мы душой живем!

ганизатором русской колонии в Цюрихе, поддерживал связи с революционными кружками в России. Арестован в апреле 1871 года при нелегальном переходе границы. По процессу 193-х приговорен к пяти годам каторги (см.: М. П. Сажин (Арман Росс). Воспоминания 1860—1880-х гг. М., 1925). В стихотворении говорится об участии Сажина в Парижской коммуне. В «Записках чайковца» содержится подробная характеристика Сажина. Вспоминая о том, как «бедного Сажина» после приговора по процессу 193-х неожиданно отделили в Москве от партии каторжан и бросили в харьковскую централку, Синегуб пишет: «Впрочем, я уверен, что этот редкой душевной силы человек, с твердым характером и непреклонной волей, не особенно был убит такой шуткой над ним со стороны опричникков. „Что ж, — по всей вероятности сказал он, смеясь своими небольшими, умными и пронзительными глазами. — бывает и хуже!“ И действительно, он в своей жизни видал и не такие ужасы: для пережившего в качестве непосредственного участника в отличной борьбе парижских коммунаров все ужасные расправы версальцев централка, пожалуй, могла показаться лишь не совсем удобным местом принудительного отхоживания». «Умный, находчивый, дальновидный и в то же время человек крупного и властного характера, Сажин принадлежал к числу людей, которые вызывают глубокую и беззаветную к себе привязанность со стороны одних и не менее глубокую ненависть со стороны других... Лично я, с тех пор как узнал Сажина в тюрьме, искренно всегда любил его, как человека крупного и дельного на всяком поприще, чуждого всяких мелочных чувств, превосходного товарища. Во всяком деле на него можно было положиться как на каменную гору — и в простом житейском, и в рискованном революционном» (С. Синегуб. Записки чайковца, стр. 226, 227).

¹³ Стихотворение «Товарищам» написано в связи с начавшимся 18 октября 1877 года судебным процессом над революционерами, участниками знаменитого «хождения в парод». В страхе перед революционными пропагандистами, готовыми к смелым выступлениям в защиту своего дела, стремясь лишить их возможности превратить процесс над ними в суд над самодержавием, Особое Присутствие Сената в специальном заседании решило всех подсудимых разделить на 17 групп, разъединить революционную партию. От имени подсудимых с протестом выступил Синегуб, требуя судить всех вместе или заочно, не выводя из тюремных камер. Синегуб был грубо удален с заседания суда. В судебном зале раздались выкрики: «Мы присоединяемся к протесту Синегуба! Требуем вывести и нас из суда!.. Вы не судьи, а опричникки!» (С. Синегуб. Записки чайковца, стр. 198). Подсудимые проявили исключительную смелость и единодушие. «Как известно, 120 из 193-х подсудимых в знак протеста против нарушения гласности процесса бойкотировали суд и решительно отказались являться на его заседания, что было расценено как неслыханный акт в практике политических процессов в царской России» (Н. А. Тропцкой. Большое общество пропаганды 1871—1874 (так называемые «чайковцы»). Изд. Саратовского университета, 1963, стр. 76). Осужденные по делу 193-х не только не просили о помиловании, но и обратились к «товарищам по убеждениям» с революционным завещанием. «Мы завещаем нашим товарищам по убеждениям, — гово-

В нас годы долги страдапья
 Ведь не могли ж негодованья,
 Как сорной пылью, замести
 Презренной робостью в груди?!
 И если нам в тюрьме проклятой,
 Законопаченным в гробах,
 Замки мешали на дверях
 Ударом отвечать в отплату
 Врагу за муки все свои, —
 То ныне вместе мы, мы — спла!
 Молюсь, чтоб нас соединило
 Во имя правды и любви
 Единодушье в час суровый —
 В час настоящий, в грозный час,
 Чтоб наш венок — венок терновый
 Со смехом не был сорван с нас!

Я вижу: рой теней загробных
 Встает в сияньи предо мной, —
 Родных нам мучеников строй,
 Погибших в дни гонений злыхных.
 Вдруг каждого чела обвившись,

Кольцо терновое легло,
 Шпями острыми вонзившись,
 Глубоко ранило чело.
 Застыла праведная кровь,
 Упав на бледные лапши,
 Следами руки их покрыты
 Разбитых смертью оков...
 Надеждой взор блистает их,
 Что час пробил и их отмщенья:
 Их повесть скорбного мученья
 В устах собратий дорогах
 Против врагов бездушных, злых
 Теперь в бою, в бою серьезном,
 Послужит им оружием грозным —
 Их всех она соединит
 В строй дружный, твердый, как
 гранит!

И неужель ввиду врагов
 Надежду эту мы разрушим?
 Разъединенностью рабов
 Позорно честь свою задушим?!

Н. ТРАВУШКИН

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ ТКАЧЕЙ

В нашем литературоведении обстоятельно изучается история развития пролетарской поэзии конца XIX—начала XX века. Однако очень редко исследуется проза, создававшаяся рядовыми участниками рабочего движения, хотя она безусловно заслуживает внимания историков литературы.

Интересной, например, оказалась работа Б. Ахундовой,¹ рассмотревшей в качестве «спутников» горьковской «Матери» рассказы Ф. Поступаева, повести А. Машицкого «В огне» и А. Кипена «В октябре», роман А. Бибики «К широкой дороге» и другие произведения. К сожалению, Б. Ахундова мало говорит или совсем не говорит об авторах этих произведений, некоторые из них прочитаны ею весьма бегло, рассмотрены без углубления в историко-литературный материал. В результате исследовательница не избежала неточностей и ошибочных оценок.

рилось в этом коллективном послании, — идти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы бороться и страдать до последнего вздоха» (цит. по: Революционное народничество семидесятых годов XIX века, т. I. Изд. «Наука», М.—Л., 1964, стр. 400). Под посланием подписались 24 осужденных на каторгу и ссылку, в числе которых были С. Синегуб и М. Сажин. В «Записках чайковца» (гл. «Комедия суда») Синегуб рассказывает о чтении обвинительного акта и постановлении Особого Присутствия Сената: «Это постановление вызвало взрыв негодования у подсудимых, и по возвращении в этот день из суда между подсудимыми везде по клубам состоялись решения — протестовать против суда. Правда, к протесту пристали далеко не все, что с уверенностью можно сказать, что за протест было никак не менее половины подсудимых. Протест должен был заключаться в заявлении суду, что мы его не признаем и что допущенное им разделение нас на группы нарушает наше право знать все, что происходит на суде, а следовательно, и интересы нашей защиты... Я отчетливо помню, что было решено возложить заявление протеста на одного из чайковцев; посланный должен был заявить протест от всех подсудимых с требованием оставить нас в покое в тюрьмах и судить нас заочно, как судьям будет угодно. Выбор пал на меня. Я приготовил такую маленькую речь: „Я заявляю особому присутствию правительствующего сената от себя и от всех товарищей, уполномочивших меня на это, что мы не признаем вашего суда, так как вы нарушили наши права и интересы нашей защиты. Мы требуем судить нас заочно и просим оставить нас в наших тюрьмах, где мы столько лет ожидали хотя бы приличного суда — и не дождались⁶⁶» (стр. 196—197).

Стихотворение «Товарищам» написано в эти тревожные дни. Это прокламация в стихах, призывающая сохранить «строй дружный», «единодушье в час суровый». Только в свете тюремных событий 1877 года можно понять основные призывы стихотворения, обращенные к подсудимым-товарищам.

¹ Б. Ахундова. Спутники «Матери». (Тема пролетариата в русской прозе начала XX в.). В кн.: Горьковские чтения, 1964—1965. Горький и русская литература начала XX века. Изд. «Наука», М., 1966, стр. 302—317.

В круг привлеченных Б. Ахундовой книг вошла и повесть А. Безродного «Ткачи». Она отнесена к числу произведений, «искаженных заведомо меньшевистской тенденцией».² Трудно согласиться с этой оценкой, основанной на кратком пересказе двух-трех вырванных из сюжета эпизодов. А. Безродному поставлена в упрек картина стачки, завершившейся разгромом фабрики: «Автор рисует разъяренную анархическую толпу, темную и стихийную в своей мстительной жажде разрушения и по существу ничего общего не имеющую с тем революционным классом, который уже реально выступил как могучая сила русской истории».³ Б. Ахундова датирует повесть 1906 годом. Между тем в предисловии А. Безродный указывает, что повесть была написана и издана нелегально в 1900—1901 годах, а издание 1906 года является вторым. Правильная датировка в этом случае особенно важна. Требования, предъявляемые автору, изображающему рабочее движение, должны быть различными в зависимости от того, пережил он события первой русской революции или писал свою повесть задолго до нее.

Неверные или неточные сведения о повести А. Безродного «Ткачи» сообщались уже не раз.

Так, в 1927 году М. Шагинян в очерке «Фабрика Торнтон» рассказала о пропагандистской работе молодого Ленина среди пролетариев Петербурга. В полицейском докладе о деятельности «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» писательница нашла упоминание о брошюре «Ткачи», которую В. И. Ленин дал в 1895 году читать рабочим. Хотя из текста этого обширного доклада (вероятно, лишь бегло просмотренного писательницей) совершенно ясно, что речь идет о драме Г. Гауптмана «Ткачи»,⁴ М. Шагинян делает в своем очерке примечание: «Безродный, „Ткачи“. — Повесть, написанная политическим ссыльным про стачку текстилей на основе материалов, собранных у высланных рабочих. Первое издание брошюры было нелегальным».⁵

Допущена ошибка и в «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова: первое издание повести А. Безродного «Ткачи» отнесено здесь к 1903 году.

Нам уже приходилось, хотя и попутно, писать об авторе повести «Ткачи» и истории ее издания.⁶

А. Безродный — псевдоним Алексея Васильевича Гертопана. Еще во время пребывания в Одесском реальном училище он участвовал в революционных кружках. В 1891 году он поступил в Петербургский лесной институт и был уволен со 2-го курса за участие в студенческих беспорядках. А. В. Гертопан был известен департаменту полиции как лицо, занимавшееся пропагандой революционных идей. При обыске в 1894 году у него нашли произведения К. Маркса и Ф. Энгельса; арестованный был заключен в Петропавловскую крепость. После прекращения дознания А. В. Гертопан поселился в Одессе, где являлся агентом петербургской тайной, так называемой Лахтинской, типографии (группы народовольцев, близких к ленинскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса»). Летом 1896 года типография эта была раскрыта, и Гертопана снова арестовали. В 1898 году он живет в Астрахани, женится на А. Л. Катанской, сосланной туда по делу Лахтинской типографии.⁷

В Астрахани А. Л. Катанская находилась под гласным надзором полиции, А. В. Гертопан — под особым негласным наблюдением. А. В. Гертопан был организатором одного из первых социал-демократических кружков в Астрахани и подпольной типографии. Сначала типография работала в городе, но весной 1900 года Гертопан, служивший в акцизе, был переведен в слободу Николаевскую Астраханской губернии (ныне поселок Николаевский Волгоградской обл.).⁸ Сюда, по воспоминаниям А. Л. Катанской, и была переведена типография. Она была оборудована в маленькой комнате под полом. «Часов в 10, — вспоминает А. Л. Катанская, — извлекались типографские принадлежности, и мы с Гертопаном, а потом с Андреем работали до 3—4-х утра. Здесь было отпечатано: „О писателе, который зазнался“ — Максима Горького, „Кредо“ и „Ответ 17 товарищей“ по поводу „Кредо“».⁹

² Там же, стр. 312.

³ Там же, стр. 313.

⁴ Доклад по делу о возникших в С.-Петербурге в 1894 и 1895 гг. преступных кружках лиц, именующих себя «социал-демократами». В кн.: Ленин (В. Ульянов), Собрание сочинений, т. I, ГИЗ, М.—Л., 1924, стр. 567.

⁵ Мариэтта Шагинян. Фабрика Торнтон. М., 1927, стр. 66.

⁶ Н. Травушкин. 1) Издано подпольщиками Астрахани. Газ. «Волга», 1961, № 230, 28 сентября; 2) Произведения А. М. Горького в революционном подполье Астрахани. В кн.: Тезисы докладов Четвертой научной конференции горьковедов Поволжья. [Горький, 1961], стр. 115—117; 3) Горький у Каспия. Крпико-биографический очерк. Изд. «Волга», Астрахань, 1963, стр. 81—89.

⁷ Деятели революционного движения в России. Био-биографический словарь, т. V, вып. II, М., 1933, стр. 1223—1224.

⁸ Государственный архив Астраханской области (ГААО), ф. 286, оп. 1, д. 325, л. 8.

⁹ См.: 1905 г. в Астрахани. Астрахань, 1925, стр. 30.

Редкий экземпляр изданного таким образом памфлета М. Горького «О писателе, который зазлался» хранится в библиотеке Института марксизма-ленинизма. В целях конспирации на брошюре поставлены вымышленные выходные данные: «Петербург. Типография „Рабочего Союза“. 1901 г.». На последней странице обложки читаем также: «Вышли из печати: Ткачи. Повесть из жизни русских ткачей. Безродного. Цена 50 коп.».

О печатании «Ткачей» А. Л. Катанская рассказала в 1925 году в обстоятельной статье. Мы узнаем, что Гертопан снова был переведен по службе и из слободы Николаевской типографии пришлось везти в село Ремонтное, расположенное в глубине Калмыцкой степи (ныне в Ростовской обл.). На новом месте «типография приступила к печатанию большой повести „Ткачи“ из жизни иваново-вознесенских ткачей, где Гертопан пзложил все, что слышал от наших сыльных рабочих. В беллетристической форме описывалась кошмарная жизнь рабочих, невыносимо тяжелые условия труда, забастовка, затем суд над восставшими рабочими и расправа жандармерии. Книжка издавалась как легальная, с подписью „дозволено цензурой“, и предназначалась для массового читателя».¹⁰

Печатание «Ткачей» следует отнести ко второй половине 1901 года. Из жандармских донесений известно, что А. В. Гертопан был переведен в Ремонтное летом 1901 года, что А. Л. Катанская выехала к мужу несколько позднее и прибыла в Ремонтное 16 сентября 1901 года.¹¹ В описи книг, брошюр, прокламаций, хранившихся в библиотеке Астраханского жандармского управления и, вероятно, изъятых при обысках, под № 16 находим: «Безродный, А. Ткачи. Повесть из жизни русских ткачей. Типография „Рабочего Союза“. СПб., 1901 г.».¹²

К сожалению, ни в центральных, ни в областных книгохранилищах и архивах этого издания разыскать не удалось, и о повести приходится судить по ее второму изданию.

В предисловии автор указывает, что он основывался на материалах, почерпнутых из подпольных листовок 90-х годов с экономическими и политическими требованиями рабочих, из корреспонденций в легальной прессе, из рассказов рабочих-текстильщиков, высланных в 1897—1899 годах за участие в забастовках. Действительно, в это время в Астрахань была сослана «целая партия рабочих из Иваново-Вознесенска».¹³ Они могли немало рассказать о жизни и борьбе ткачей.

В кризисные 80-е годы в текстильной промышленности все чаще возникали волнения рабочих, возмущенных штрафами и притеснениями. В брошюре «Объяснение законов о штрафах», напечатанной, кстати, впервые в Лахтинской типографии, В. И. Ленин писал: «Рабочие, заработки которых и без того были ничтожны, не могли уже снести новых притеснений, и вот в губерниях Московской, Владимирской и Ярославской начались в 1885—1886 годах рабочие бунты. Выведенные из терпения рабочие прекращали работу и страшно мстили притеснителям, разрушая фабричные здания и машины, иногда поджигая их, избивая администрацию и т. п.».¹⁴

Такая картина долго оставалась типичной и для рабочего движения в районе Иваново-Вознесенска. В 1888 году в самом Иваново-Вознесенске бастовало до 6000 рабочих, стачки сопровождалась разгромом торговых полков. В 1889 году бастовало до 10 000 рабочих, на фабрике и в домах фабрикантов били стекла, бросали камнями в казаков. В 1893 году встали на борьбу рабочие четырех фабрик Шуг. В 1895 году особенным драматизмом отличалась стачка в селе Тейкове, где ненавистный всем директор фабрики англичанин Крош застрелил рабочего, за что сам был убит возмущенной толпой. 20 000 рабочих бастовало в Иваново-Вознесенске зимой 1897—1898 года, для усмирения вызывались войска.¹⁵

Подобные картины мы находим и в повести «Ткачи». Действие ее относится к концу 90-х годов. В фабричное селение Ткачи приезжает из Москвы рабочий Андрей. Он уволен со сталелитейного завода за то, что при всех дал пощечину начальнику мастерских; за это же он отсидел в тюрьме без суда 5 месяцев.

В первых главах рассказывается об ужасающих условиях труда на хлопчатобумажной фабрике, о жалких жилищах ткачей и их беспросветной нужде, о штрафах и других притеснениях со стороны администрации.

Уже с первых глав повести мы ощущаем дух протеста, который зреет в массе рабочих. Андрей, устроившийся на фабрике «по машинной части», сближается с семьей старика Михайлова, с сыном его Павлом и другими молодыми рабочими. Он подает мысль о необходимости организованного выступления ткачей на борьбу

¹⁰ А. Катанская. Астраханская типография (1901—1903 гг.). «Пролетарская революция», 1925, № 6, стр. 219.

¹¹ ГААО, ф. 287, оп. 1, д. 93, лл. 16, 61.

¹² Там же, ф. 286, оп. 2, д. 558.

¹³ А. Катанская. Астраханская типография, стр. 215.

¹⁴ В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 22.

¹⁵ И. И. Тюриц, С. В. Чернобровцев, П. М. Экземплярский. Текстильный край. Историко-экономический очерк. Ивановское областное издательство, 1948, стр. 50—51.

за свои права. Требования, составленные рабочими, естественно, носят пока экономический характер. Но в ходе борьбы Андрей постепенно наводит своих товарищей на мысль о рабочих союзах, о приобретении нелегальной литературы, об организованной пропаганде в целях сплочения рабочего класса.

В главе «Предвестники бури» Андрей, Павел и большинство молодых предлагают собрать на сходку все три тысячи рабочих. Чем скорее дойдет до открытого столкновения рабочих и властей, говорит Андрей, тем больше надежды на успех стачки. Старик Михайлов и большинство пожилых рабочих боятся, однако, решительного столкновения и предлагают послать депутатов к директору.

Б. Ахундова утверждает, что Андрей стремился «погасить зреющее в рабочей среде возмущение, убеждая своих товарищей в бессмысленности вооруженного столкновения, в необходимости поисков мирного решения классового конфликта».¹⁶ Однако, согласно тексту повести, Андрей и его товарищи, наоборот, убеждены в бесполезности депутатий. И лишь видя отсутствие единодушия, они решаются «на время отложить поголовный созыв всех рабочих и попытку устроить всеобщую забастовку; тем лучше, рабочие еще лишней раз убедятся, насколько помогают их просьбы у фабрикантов и чиновников».¹⁷

Посылка депутатов, как и ожидал Андрей, не принесла пользы. «Попробуем добиться своего другим способом, терять нам нечего», — говорит он, призывая начать стачку. Интересна речь Андрея на сходке передовых рабочих. Он излагает начатки революционной теории, набрасывает контуры царства социализма, видя в нем конечную цель рабочего движения. Андрей говорит, что положить конец произволу и завоевать лучшее будущее можно лишь тогда, когда рабочий будет сам участвовать в управлении государством, путь к этому — единение рабочих и упорная борьба.

Стачка началась. Провокационные действия жандармского полковника: арест депутатов, закрытие съестных лавок, вызов солдат, поголовный расчет рабочих, убийство одного из товарищей — все это вызвало бурю. Рабочие взломали фабричную лавку, насильственно освободили арестованных, наконец, разгромили и подожгли фабрику и директорский дом. Следует ли, как это делает Б. Ахундова, упрекать Андрея, пытавшегося предотвратить кровавое побоище, которым заканчивается стачка? «... Правы были, когда... решились выломать окна и двери, чтобы освободиться от произвольного заключения. Правы были, когда разбили фабричную лавку... Но зачем предаваться излишествам?.. Уничтожение орудия труда нашего положения не улучшит, — наоборот... Горе наше не в машинах, а в том, что они принадлежат кучке дармоедов... С ними нам нужно бороться и с их союзником и защитником — правительством и царем... Поджоги, бесполезные убийства, уничтожение машин или грабежи не должны иметь места в рабочем движении: это недостойно разумных и честных людей...»¹⁸

А. В. Гертопан рассказал о том, что было реальной действительностью в «текстильных» губерниях, где рабочие, пришедшие из деревень и часто еще не потерявшие связи с крестьянством, уступали по своему развитию и организованности пролетариату больших индустриальных городов. Ведь даже в июне 1905 года стачка в Иваново-Вознесенске сопровождалась поджогом фабрики и разгромом фабрикантских домов.

Повесть завершается кратким рассказом о суде над «зачинщиками». Андрей и его друзья высланы в отдаленные губернии, готовятся к побегу. Рабочие в Ткачах не пали духом. Стачка научила их многому, обнаружила силу рабочего класса, показала разницу между правильно организованным движением и беспорядочным бунтом. Семена, посеянные Андреем и его товарищами, не заглохли.

Тема книги А. Безродного в годы, предшествовавшие первой русской революции, песменно волновала рабочего читателя, а тогда ведь не было еще ни «Врагов», ни «Матери» Горького. В повести есть что-то и от «Жерминаля» Э. Золя, и от «Ткачей» Г. Гауптмана (оба эти произведения были популярны в революционной среде). Однако повествование А. В. Гертопана лишено образительной силы. Автор способен лишь сообщать о событиях, но не умеет их изображать. Да и вряд ли он стремился создать художественное произведение. Его целью было — «помочь серому рядовому фабричному человеку... разобраться в ужасном бесправном экономическом и политическом положении своем... пробудить мысль, направив ее к главной цели: к сознательной классовой борьбе за социалистические идеалы».¹⁹ «Беллетристическая форма» должна была лишь облегчить достижение этой пропагандистской цели.

¹⁶ Б. Ахундова. Спутники «Матери», стр. 313.

¹⁷ А. Безродный. Ткачи. СПб., 1906, стр. 56.

¹⁸ Там же, стр. 100. Ср. реплику Левшина во «Врагах» М. Горького: «... народ, который разозлился, говорит: сожжем завод и все сожжем, один угол останутся. Ну, а мы против безобразия. Жечь ничего не надо... зачем жечь? Самт же строили, и отцы наши, и деды... и вдруг — жечь!» (М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 6, Гослитиздат, М., 1950, стр. 495).

¹⁹ А. Безродный. Ткачи, стр. 6.

Такая упрощенно понятая и в общем довольно безыскусственная форма была вызвана к жизни неразвитостью читателя, как его представлял себе автор. Этот особый беллетризованно-пропагандистский жанр, возникший еще в годы революционного народничества, существовал немалое время и, видимо, должен учитываться и изучаться.

Печатная продукция астраханской типографии, как вспоминает А. Катанская, не распространялась на месте, а вывозилась в центральные губернии. За «подозрительными интеллигентами» в селе Ремонтном усиленно следили, и к концу 1903 года типографию пришлось ликвидировать. Шрифт зарыли в степи, валы и другие части выбросили в озеро. Летом 1904 года все это неожиданно для властей было найдено. В Астрахань от уездного исправника полетела тревожная телеграмма.²⁰

В 1904—1905 годах А. В. Гертопан служил в посаде Дубовка Царицынского уезда, в конце 1905 года вошел в состав бюро Царицынской организации РСДРП. В это время, пользуясь отменной предварительной цензурой, А. В. Гертопан сумел выпустить повесть «Ткачи» легально в книгоиздательстве Е. Д. Мягкова «Колокол».

Новое издание было снабжено подстрочными примечаниями, отражавшими изменения в политической жизни страны, в формах рабочего движения, в организации партийной работы. Некоторые из таких примечаний, в сущности, представляют собой замаскированные советы более или менее конкретного характера. Например: «С 1902 года сознательные фабричные, заводские и ремесленные рабочие для пробуждения классового сознания в широких слоях рабочих и для распространения учения соц-демократии приняли тактику открытых выступлений при всех удобных случаях: напр., празднование всемирного рабочего праздника 1-го мая; при похородах товарищей, замученных в тюрьмах русс. правительством, высылке выдающихся деятелей рабочей партии, противоправительствен. демонстрации по поволу различных манифестов и распоряжений правительства и т. п. Такие массовые выступления сознательных товарищей имеют громадное воспитывающее значение для организованных рабочих, приучая их к борьбе с правительством...»²¹ В другом месте говорится об организующей роли комитетов РСДРП, далее рекомендуются лучшие пропагандистские брошюры, «изданные по программе РСДРП», и т. д.

Вскоре после выхода книги на нее был наложен арест,²² издатели же были преданы суду Петербургской судебной палаты «по обвинению в том — Гертопан, что продал книгоиздательству Мягкова повесть А. Безродного „Ткачи“ из жизни русских ткачей, а Гуров в том, что он, в качестве заведующего книгоиздательством Мягкова „Колокол“, отпечатал эту повесть в количестве 10 000 экземпляров, между тем в этой повести имеются места, высказывающие неуважение к верховной власти».²³ Оба подсудимых были приговорены к заключению в крепости на 1 год каждый.

На суде Гертопан отрицал свое авторство. В кассационной жалобе, поданной в Сенат после вынесения приговора, защитник Гертопана писал: «Особым присутствием установлено, что он продал брошюру книгоиздательству для издания и распространения... не от его воли зависит, чтобы сочинение было напечатано именно в том виде, как оно написано, не от его воли зависит, подвергнется ли отпечатанное сочинение распространению или нет. Его задача, как и продавца всякого иного товара, одна: получить деньги за отчуждаемое свое или чужое произведение... По отношению к А. В. Гертопану установлено лишь, что он продал чужую брошюру...»²⁴

Тем не менее Сенат, где 23 января 1909 года разбиралось кассационное дело, оставил жалобу «без уважения». Гертопану, бывшему в то время студентом Петровской сельскохозяйственной академии, пришлось отбывать наказание в Таганской тюрьме.

В дальнейшем А. В. Гертопан отошел от активного участия в революционном движении. После Великой Октябрьской революции он находился на хозяйственной работе.

Повесть А. Гертопана «Ткачи» в свое время сыграла роль в революционной борьбе пролетариата. Вместе с тем существование такого рода книжек показывает, как действительно необходимы были настоящие художественные произведения о жизни и борьбе русского рабочего класса. И когда такие произведения появились, стали ненужными беллетризованно-пропагандистские «самоделки».

²⁰ ГААО, ф. 286, оп. 1, д. 385, л. 222.

²¹ А. Безродный. Ткачи, стр. 45.

²² «Известия книжных магазинов т-ва М. О Вольф», 1906, август, № 27, стр. 211.

²³ Там же, 1909, март, № 3, стр. 59.

²⁴ ЦГИА. ф. 1363, оп. 3, д. 2340, л. 2.

Л. ФРИЗМАН

В. Я. БРЮСОВ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Е. А. БАРАТЫНСКОГО

В обширной библиотеке литературоведческих и критических работ В. Я. Брюсова значительное место принадлежит исследованиям биографии и творчества Е. А. Баратынского. Брюсов изучал Баратынского на протяжении ряда лет, преимущественно в конце XIX—начале XX века. Он работал над его библиографией, публиковал неизданные стихи поэта, собирал эпиграммы и пародии на него. Брюсов изучал поэтическое мастерство Баратынского, интересовался его традициями в современной русской литературе. Но центральное место в работах Брюсова о Баратынском занимает исследование мировоззрения поэта.

Мировоззрению Баратынского Брюсов посвятил отдельную статью. Эта статья не опубликована, она хранится в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ф. 386 (В. Я. Брюсова), карт. 41, ед. хр. 18/1). Научный интерес, вызываемый этой работой, несомненен. Она содержит наиболее общую характеристику философии Баратынского; кое в чем перекликаясь с опубликованными статьями, существенно дополняет их, помогает привести в систему различные отзывы Брюсова о Баратынском.

Несколько небольших заметок и набросков, также хранящихся в библиотеке им. В. И. Ленина, собраны в одной единице хранения под названием «В. Я. Брюсов. Отрывки статей о Баратынском» (ф. 386, карт. 41, ед. хр. 18/2). Неопубликованные брюсовские материалы, связанные с изучением Баратынского, нам удалось найти в рукописном отделе Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР (ф. 13, оп. 1, ед. хр. 26).

60—70 лет назад поэзия Баратынского, полузабытая в середине прошлого столетия, вновь оказалась в центре внимания читателей и исследователей. Одно за другим выходят собрания его сочинений. Журналы печатают статьи, посвященные его творчеству. Среди работ о Баратынском тех лет особый интерес представляет статья С. А. Андреевского, впервые опубликованная в 1888 году и впоследствии неоднократно переиздававшаяся. Современные западноевропейские русисты с восторгом поминуют ее и по сей день.¹

Но ни Андреевский, ни его многочисленные последователи не сумели объяснить Баратынского. Это было связано, в первую очередь, с тем, что они рассматривали его поэзию вне времени, вне условий общественной жизни. Они проявляли полное пренебрежение к процессу развития Баратынского как поэта. В их работах нередко мелькают выражения «в первый период», «в последнем периоде» и т. п., но в действительности ни для С. Андреевского, ни для С. Архангельского, ни для Н. Котляревского, ни для Н. Стороженко, ни для В. Чешихина никаких периодов творчества Баратынского не существует. Стихи, написанные в 40-е годы, рассматриваются попеременно со стихами начала 20-х годов и одинаково характеризуются как проявление «гамлетизма» или «пессимизма».

В начале XX века Баратынский привлекает к себе внимание символистов и особенно так называемых «молодых символистов»: А. Белого, Ю. Верховского, В. Иванова и других. Сообщая Э. К. Метнеру о намерении организовать «нечто вроде книгоиздательства», Эллис (Л. Л. Кобылинский) предлагал выпустить в свет «издание с комментарием забытых русских поэтов», среди которых был и Баратынский.² Статью о Баратынском для этого издания обещал написать А. Белый,³ который, как известно, уделил ему много места в книгах «Символизм» и «Поэзия слова».

Внимание символистов к Баратынскому не случайно. Они стремились показать, что их эстетические воззрения имели якобы глубокие корни в истории русской литературы. Символисты не раз подчеркивали, что «лучшие произведения современных художников верны лучшим традициям старого доброго времени»,⁴ и напряженно искали предшественников. Тенденционно и односторонне оценивая искусство прошлого, они пытались найти в нем проявления алогизма и мисгнцизма. Им нужны были писатели, которых можно было бы задним числом зачислить в символисты. Чтобы символизм мог вместить несходные друг с другом дарования художников прошлого, приходилось бесконечно расширять его рамки, так что эстетические принципы школы теряли всякие конкретные очертания. В наиболее категорической форме это стремление выразил А. Белый в статье «О символизме»: «...то, что называем мы символами, суть предлагающие образы искусств. И тогда вот окажется, что символизм даже не искусство всех времен и народов: символиз-

¹ См.: J. Holthusen. Russische Gegenwartsliteratur, I. 1890—1940. Eine literarische Avantgarde. Franke Verlag, Bern und Munchen, 1963. S. 12.

² См.: Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (далее — РОБЛ), ф. Э. К. Метнера, п. VII, ед. хр. 4.

³ Там же, п. II, ед. хр. 4.

⁴ Андрей Белый. Арабески. Книга статей. М., 1911, стр. 241.

мом окажется и все творчество вообще; ибо все сотворенное имеет свой образ, с символизмом тогда совпадет и всякая образность».⁵ Дав символизму такое определение, можно назвать символистом любого поэта. Неудивительно, что в их число попал и Баратынский. Помещенная в «Трудах и днях» статья Ю. Н. Верховского так и озаглавлена — «О символизме Баратынского».

Совершенно иначе подходил к этому вопросу Брюсов. Нигде и никогда он не позволял себе называть Баратынского символистом. Еще в конце XIX века он писал: «Боже! да ведь с сотворения мира известно, что поэт выражает мысли образами! Неужели все повое, что дал символизм, сводится к напоминанию об этой старой истине!.. „Символизм“ имеет специальное значение, а не то, которое вытекает из этимологии слова!»⁶

В противоположность большинству ученых — своих современников — Брюсов видел Баратынского в движении. Он никогда не группировал его стихи по идейно-тематическому признаку без учета времени их написания. Ему принадлежит первая попытка создать периодизацию творческого пути поэта или, точнее, пути его духовного развития.

Но объяснить Баратынского его временем не сумел и Брюсов. Не случайна сочувственная оценка, которую он дал работам С. Андреевского и Ю. Айхенвальда.⁷ Обосновывая свой отказ связать пессимизм Баратынского с его эпохой, Брюсов писал: «Когда лермонтовский пессимизм объяснили условиями его времени, г. Андреевский вполне верно заметил, что это фальшивое объяснение... То же и у Баратынского».⁸ Андреевский, призывая к «реставрации» поэзии Баратынского, объявлял поэта проридцем, который предчувствовал то, что наступит через полвека — «наш „пессимизм“ — суть, тяготу и безверие наших дней». «... Мотивы Баратынского неудержимо повторяются в наши дни, пять поколений спустя — и, думаем мы, будут повторяться вечно...»⁹ Те же мысли развивал Брюсов: «Баратынскому» суждено было предврать свой век. Он воистину был пророком... Его „разочарованность“ в 20-х годах отразилась в жизни нашего общества десятилетия позже. Его жалобы, что „век шествует путем своим железным“, относятся как бы к годам едва миновавшим».¹⁰

Каким же представлялся Брюсову путь духовного развития Баратынского? Статья «Мировоззрение Баратынского» позволяет дать наиболее полный ответ на этот вопрос. Баратынский — это «поэт-мыслитель». Вот почему именно у Баратынского легче, чем у кого другого, выразилось его мировоззрение, как он сам понимал его в часы раздумий... Стихи Баратынского замечательны именно их обдуманностью... За каждым эпитетом¹¹ чувствуется целый строй мыслей. Поэт непосредственного вдохновения, пожалуй, глубже раскроет перед читателями свою душу, — но никто вернее, чем поэт-мыслитель, не ознакомит со своим рассудочным мирозерцанием».

«Противоречие между беспредельными запросами души и бессилем человеческого разума — вот источник пессимизма у Баратынского». Брюсов так раскрывает эту мысль: «Он был поэт, он жаждал полноты жизни, он искал непреходящих чувствований... а холодная рассудочность, воспитанная чтением философов, строго возражала: это не дано человеку, твой удел только предельное, умирающее, несовершенное, ты прикован к земле. Такой анализ мысли отравлял все лучшие мечты Баратынского».

Путь духовного развития Баратынского, как его представлял себе Брюсов, — это путь от рационализма и веры в науку, в мысль, к пантеизму, а затем к религии. В юности поэт обнаруживал холодный, математический строй мысли, склонный к материализму. Тогда он «относился к религии довольно легкомысленно и любил повторять ходячие скептические положения». «В 1825 году Баратынский получил возможность уехать из Финляндии, вернуться в круг близких и друзей. Вскоре после этого он женился. Знакомым с ним он казался в это время совершенно довольным своей судьбой. Но именно в это время настроения грустные, мучительные окончательно возобладали в его поэзии. К этому же времени относятся завершение его философского мирозерцания. Нет сомнений, что Баратынский» прикнул к пантеизму. Ему нравилось объяснять свою скорбь как мировую, как естественное следствие из несправедности личного бытия. Вот почему Баратынский жизни придает эпитет „болезненной“. Это последнее слово пантеистической муд-

⁵ Андрей Белый. О символизме. «Труды и дни», 1912, № 1, стр. 10.

⁶ Письма В. Я. Брюсова к П. П. Перцову. (К истории раннего символизма). [М.], 1927, стр. 45.

⁷ Отзыв Брюсова о статье Ю. Айхенвальда см. в его неопубликованном обзоре «В журналах и газетах» (Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 26, л. 2).

⁸ «Русский архив», 1901, № 12, стр. 578.

⁹ С. А. Андреевский. Поэзия Баратынского. В кн.: С. А. Андреевский. Литературные очерки. Изд. 4-е, СПб., 1913, стр. 9, 28.

¹⁰ РОБЛ, ф. 386, карт. 41, ед. хр. 18/1, л. 7 об.

¹¹ Вверху надписано: определенным.

рости Баратынского. Это его окончательный вывод. Но предел ли это развития самого поэта? Нет!»¹²

Таким «пределом развития» было, по мнению Брюсова, обращение Баратынского к религии: в ней поэт «нашел живую веру». В подтверждение своей точки зрения исследователь обращается к стихотворениям «Ахилл» и «Молитва». Об этом он говорил и в своих опубликованных работах. Но в статье «Мировоззрение Баратынского» эти мысли изложены наиболее детально и развернуто.

Не все, что говорится в статье Брюсова, выдержало испытание временем. Цель, однако, состоит не в том, чтобы судить исследователя по законам эпохи, до которой он не дожил, а в том, чтобы уяснить, что дали его труды изучению Баратынского, в какой мере они подготовили успехи в дальнейшей работе над творчеством поэта. Вклад, внесенный Брюсовым в изучение Баратынского, значительнее, чем может показаться на первый взгляд. Он не только помог следующим поколениям историков литературы, но, думается, еще не раз поможет им, потому что множество интересных вопросов, лишь намеченных в его работах, ждут своего решения. Среди них вопросы о соотношении рационального и эмоционального в духовном мире Баратынского, о «творческой лаборатории» поэта, о поэмах Баратынского как предвестниках русского романа 50-х годов, о различии в «складе дарований» Баратынского и Пушкина, в котором Брюсов видел одну из причин охлаждения между ними.

Любопытным эпизодом литературной истории начала века была полемика Брюсова с И. Л. Щегловым-Леонтьевым. В статьях «Нескромные догадки» и «Сомнительный друг»¹³ Щеглов пытался доказать, что Баратынский послужил прототипом пушкинского Сальери, причем это, по его мнению, вполне соответствовало завистничеству и вероломству Баратынского. «... Отравы, которую бросил Сальери в стакан Моцарта, стояла в своем роде отравы, которую, быть может, бросил в сердце Пушкина его сомнительный друг и поклонник».¹⁴

И. Л. Щеглов строил свои обвинения на произвольно и субъективно истолкованных высказываниях Баратынского о Пушкине. В каждом критическом замечании о произведении Пушкина Щеглову слышался голос Сальери. Хотя ему не удалось привести ни одного сколько-нибудь веского аргумента в защиту своей точки зрения, он считал ее вполне доказанной и в одном из неопубликованных писем к А. С. Суворину с нескрываемым самодовольством заявлял: «Принимая во внимание явную недоговоренность и натянутость в письмах Баратынского к Пушкину, его более чем странное поведение как „друга Пушкина“ и т. п. — думаю, что не особенно грубо ошибся в моей нескромной догадке».¹⁵

В статьях «Баратынский и Сальери», «Пушкин и Баратынский» и «Старое о г-пе Щеглове»¹⁶ Брюсов подверг Щеглова уничтожающей критике, обнаружил несостоятельность его аргументов, привел веские контрдоводы, уличил своего оппонента в недобросовестном цитировании Баратынского, в подтягивании фактов к предвзятой концепции. Современники и потомки почти единодушно приняли в этом споре точку зрения Брюсова и вспоминали о «Нескромных догадках» лишь для того, чтобы подчеркнуть, что с ними не стоит полемизировать, так как их несостоятельность полностью доказана.

Иного мнения был сам Брюсов.

«Я написал вторую статью в защиту Баратынского, — писал он П. П. Перцову, — но — если уж сознаваться — мне гораздо больше нравятся мысли моего оппонента, чем мои собственные. Все же не считало его более правым, о нет, он действительно заблуждается, ибо не знает эпохи, по его ошибки все же интереснее, чем моя правда... Оригинальность его догадки о Баратынском доказана уже тем, что за него вступился Розанов.¹⁷ Ах! если б я писал заодно с Щегловым и против себя! Сколько бы любопытнейших вещей мог бы я сообщить!»¹⁸ В другом письме мы читаем: «Второй ответ Щеглову я написал, и — увы! — в академическом духе защиты Баратынского. Не удивляюсь, что ответ мой — вял, неинтересен и ненужен».¹⁹

В чем же дело? Почему Брюсов не сказал всего этого в печати? Зачем писал ответ, который сам называл «вялым, неинтересным и ненужным»? Почему в самом

¹² РОБЛ, ф. 386, карт. 41, ед. хр. 18/1.

¹³ Литературное приложение к «Торгово-промышленной газете», 1900, №№ 28, 40. Обе статьи включены в книгу: Иван Щеглов. Новое о Пушкине. СПб., 1902.

¹⁴ Иван Щеглов. Новое о Пушкине, стр. 150.

¹⁵ Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 4840, л. 28 об.

¹⁶ «Русский архив», 1900, № 8, стр. 537—545; 1901, № 1, стр. 158—164; № 12, стр. 574—579.

¹⁷ Брюсов имеет в виду статью В. Розанова «Кое-что новое о Пушкине»: «Новое время», 1900, № 8763, 21 июля (3 августа).

¹⁸ «Русский современник», 1924, № 4, стр. 228.

¹⁹ Там же, стр. 229.

деле не выступил заодно с Щегловым, если счел его догадку оригинальной? Почему не сообщил «любопытнейших вещей», о которых писал П. П. Перцову?

Щеглов, сравнивая Баратынского с Сальери, стремился этим дискредитировать поэта. И в статьях, и в книжке он говорил о нем в оскорбительном тоне: «сомнительные претензии», «баловень фортуны», «поэтическое позерство», «в денежном отношении автор „Пиров“ и „Наложницы“ был человек довольно прижимистый»,²⁰ «меланхолическая поза вполне сытого человека и счастливейшего семьянина — типическое позерство весьма сродни меланхолии лермонтовского „Грушницкого“».²¹

Все это должно было глубоко возмущать Брюсова. Ведь он считал, что «Баратынский один из тех писателей, каждая строка которых дорога нам».²² Он счел своим долгом выступить против Щеглова. Но Брюсов считал чрезвычайно интересным сравнение Баратынского с Сальери «по складу их дарований». «Сущность характера Сальери, — писал он, пересказывая мысль П. П. Перцова, — вовсе не в зависти. Моцарт и Сальери — типы двух разнородных художественных дарований: одного, кому все досталось в дар, все дается легко, шутя, наитием; другого — который достигает, может быть, не менее значительного, но с усилиями, трудом и сознательно. Один — „гуляка праздный“, другой — „поверяет алгеброй гармонию“. Если можно разделить художников на два таких типа, то, конечно, Пушкин относится к первому, Баратынский — ко второму».²³ Такое сравнение Баратынского с Сальери было связано с интересовавшими Брюсова изысканиями в области психологии поэтического творчества. Оно помогло бы глубже понять и справедливее оценить своеобразие дарования Баратынского.

Но Брюсов понимал: «любопытнейшие вещи», которые он мог бы сообщить, были бы немедленно обращены Щегловым против Баратынского. И Брюсов, считая так, был прав. Достаточно ему было привести в своей статье процитированное выше мнение П. П. Перцова и высказать некоторые предположения о причинах охлаждения между Баратынским и Пушкиным, как Щеглов уже торжествовал победу. Он заявил, что его оппонент выступил с «примирительным ответом», признал то, что ему, Щеглову, и «требовалось доказать»,²⁴ и вынудил Брюсова в третий раз отделять мед от дегтя.

Поэтому Брюсов должен был сопровождать свои сопоставления Баратынского с Сальери массой оговорок, которые исключили бы возможность использования их против Баратынского: «*Может быть, иные черты Сальери и взяты Пушкиным, бессознательно, конечно, с Баратынского; но для него это ни в коем случае не упрёк и не обвинение*».²⁵ По этой же причине многие мысли, вызванные статьями Щеглова, он не счел возможным предавать гласности.

Лишь сохранившиеся неопубликованные наброски и заметки помогают узнать истинное мнение исследователя. Так, на вопрос, «имел ли Пушкин в виду Баратынского, когда создавал образ Сальери», Брюсов отвечает: «Бог весть».²⁶ В другой статье еще категоричнее: «... Думать, что Пушкин сознательно изображал в Сальери — Баратынского, прямо невозможно».²⁷

А среди черновых заметок, не предназначенных для печати, мы находим иное утверждение: «У Пушкина» в Моцарте» и Сальери, конечно, Моцарт сам Пушкин, а Сальери — Баратынский. Но Баратынский не убил Пушкина», поэтому он был» гений и не был убийцею создатель Ватикана».²⁸

Работы Брюсова о Баратынском, как опубликованные, так и неопубликованные, представляли большой научный интерес. Без них неизбежно оказались бы неполными не только характеристика Брюсова как историка литературы, но и наши представления о литературной борьбе конца XIX — начала XX века. В недалеком будущем будет издано новое собрание сочинений Брюсова. Надо надеяться, что статьи о Баратынском займут в нем достойное место.

²⁰ Иван Щеглов. Новое о Пушкине, стр. 167.

²¹ Там же, стр. 217.

²² «Русский архив», 1899, № 11, стр. 437.

²³ Там же, 1901, № 1, стр. 163—164.

²⁴ Иван Щеглов. Новое о Пушкине, стр. 217—218.

²⁵ «Русский архив», 1901, № 12, стр. 577. (Курсив мой, — Л. Ф.).

²⁶ Там же.

²⁷ Там же, № 1, стр. 163.

²⁸ РОБЛ, ф. 386, карт. 41, ед. хр. 18/2.

П. КУПРИЯНОВСКИЙ

ЗАБЫТАЯ ПОВЕСТЬ Д. А. ФУРМАНОВА

(О «ЗАПИСКАХ ОБЫВАТЕЛЯ»)

Начало литературной работы Дмитрия Фурманова исследователи его творчества обычно относят к моменту возвращения с фронта в Москву. Однако еще в конце 1920—начале 1921 года, находясь на Кубани, Фурманов много писал. Он создал в это время драму «За коммунизм», которую в посвящении жене назвал своим «первым литературным трудом»,¹ и повесть «Записки обывателя». При жизни автора не опубликованные, оба эти произведения обычно выпадали из поля зрения исследователей. Между тем и пьеса, и повесть, и написанный в это же время очерк «Андреев» представляют интерес для выяснения идейно-художественных взглядов Фурманова, в котором зрело стремление «уйти к писательству».²

Если в драме «За коммунизм» и очерке «Андреев» писатель на первый план выдвигал положительное в советской действительности, показывал героизм и мужество людей «духовной чистоты», то в центре повести «Записки обывателя» — явление отрицательное, не совместимое с коммунистической моралью.

Судя по датам, имеющимся в рукописи, работа над повестью была закончена 13 февраля 1921 года.³ Предисловие к повести и первая ее глава — «Митинг» — датированы 2 января. В это время Фурманов был в Харькове, где задержался на два дня, возвращаясь в Краснодар из Москвы, с VIII съезда Советов. В конце повести стоит пометка: «Станица Крымская». Здесь Фурманов находился, inspектируя воинские части (в это время он работал начальником политотдела 9-й Кубанской армии). Творить ему нередко приходилось урывками, выкраивая свободные часы даже во время поездок. О своих занятиях литературным творчеством Фурманов писал в это время в дневнике: «Это — любимая, по сердцу работа» (IV, 250).

Рубеж 1920—1921 годов был очень трудным и сложным в жизни страны. В силу целого ряда причин резко усилилось влияние мелкобуржуазной стихии. Одним из опасных ее проявлений было мещанство с присущими ему безыдейностью и эгоистическим самоутверждением. Недаром сменовеховцы видели в живучести мещанства признак всесилья капитализма.⁴ Вот почему в стихотворении «О дряни», написанном тогда же, что и «Записки обывателя», с такой силой ненависти Маяковский восклицал:

Опугали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головой канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!

Обывательщина, мещанство в это время рассматривались поэтом как враг коммунизма № 1. Опасность этого врага он видел прежде всего в его удивительной приспособляемости. Резко сатирически, прибегая к приему гиперболы, разоблачал Маяковский «мурло мещанина», вылезшее «из-за спины РСФСР». Эта же тема иными средствами раскрывается и в «Записках обывателя». «В данный момент, — писал Фурманов в декабре 1920 года в екатеринодарской газете, — в связи с разгромом „последыша“ Врангеля особенно велика опасность наплыва в партию обывательского, шкурническо-карьеристского элемента».⁵

Герой «Записок» — не просто обыватель, а, как верно заметил В. Ермилов, автор первой статьи об этом произведении, партийный обыватель.⁶ Венпман Барский — фигура крупная: член Реввоенсовета армии. Основные приемы его изображения — психологический анализ и ирония, причем вначале скрытая. В отличие от Маяковского Фурманов нигде не дает прямой оценки изображаемого. Это создает известные трудности в анализе произведения и может привести к неверному за-

¹ О драме «За коммунизм» см. нашу вступительную статью к ее публикации («Литературное наследство», т. 74, 1965, стр. 237—248).

² Дм. Фурманов, Собрание сочинений в четырех томах, т. IV, Гослитиздат, М., 1961, стр. 247, дневниковая запись от 19 февраля 1921 года. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

³ Отдел рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР (далее ИМЛИ), II.62.2.

⁴ См. об этом: А. Метченко. Маяковский. Очерк творчества. Изд. «Художественная литература», М., 1964, стр. 183.

⁵ «Красное знамя», 1920, № 191, 7 декабря.

⁶ В. Ермилов. Партийные обыватели. (О «Записках обывателя» Дм. Фурманова). «Молодая гвардия», 1926, кн. 10, стр. 162—171.

ключению о «ложном психологизме» «Записок» (с таким выводом приходится встречаться в некоторых работах о Фурманове).

Своеобразие композиции повести в том, что записки (дневник) партийного обывателя Барского вмонтированы в записки просто обывателя, который в отличие от Барского и не думает маскировать свое подлинное лицо. «Я несколько не стыжусь того, что я — обыватель. Всякому свое», — заявляет он в предисловии к «Запискам», развертывая далее свою жизненную и эстетическую программу.⁷ Как настоящий обыватель, он предпочитает держаться золотой середины, провозглашает беспартийность искусства, невмешательство его в классовую борьбу. Он «совершенно, даже окончательно», недоволен пролетарскими писателями, считая, что они «просто агитаторы, ни в коем случае не художники» (стр. 81). Автор «Записок» претендует на объективность своих свидетельств и в первой же главе (стр. 83—88) признает, что большевики совершенно изменили Россию, «раскачали до неузнаваемости» массу, ведут ее за собой и неизменно одерживают победу. Однако он недоволен тем, что они потревожили его покой, замучили очередями и мешают полностью отдаться «художеству». При всем старании сохранить нейтралитет, объективный тон, автор временами не может скрыть раздражения и недоумения, а иногда он не прочь и ядовито позлорадствовать, как например при изображении большевистского «Демосфена».

Вениамина Барского автор «Записок» считает своим лучшим другом, «светлой», «благородной» личностью, «крупнейшим историческим деятелем, мужественным, энергичным борцом», «одним из образованнейших, одним из убежденнейших марксистов» (стр. 90). Прошлое Барского, с его точки зрения, — это безукоризненное прошлое ссыльного революционера. Словом, портрет, нарисованный автором «Записок», — не портрет, а икона.

Но вот после внезапной смерти Барского в руки обывателя попадает дневник этого человека, и Барский предстает перед ним как загадка, ибо в дневниковой исповеди он выглядит совсем непохожим на идеального «исторического деятеля». Автор «Записок» решает опубликовать выдержки из дневника, чтобы «продемонстрировать некоторые психологические картинки современной действительности» (стр. 91).

Что же это за «психологические картинки»? Из дневниковых записей явствует, что в первом бою Барский, эта «светлейшая личность», «вел себя как трус, который хочет показаться героем» (стр. 91). Кроме того, он «заразился неизлечимой смертельной болезнью — честолюбием» (стр. 97). Он всюду во что бы то ни стало хочет быть первым. Его поступками руководят не идейные побуждения, а стремление к карьере. Ему не чуждо запискивание, угодничество перед теми, от кого зависит его судьба. В то же время он высокомерно, «с гонором и фасоном» держится с нижестоящими. Далее выясняется, что этот революционер женился на девушке из буржуазной семьи. Девушка полна буржуазных предрассудков, Барский же не изолировал ее от влияния этой среды, не приблизил по-настоящему к новой жизни. Наконец, оказывается, что за ним водится еще и такой грешок. Любит он в пасхальную ночь сходить в храм. Нет, нет, он марксист и атеист, он не верит в бога, его увлекают лишь торжественность и красочность обряда. «О, как было бы хорошо, — думает он, — если бы все вот эти молящиеся, так же, как я, относились к торжественной ночи и принимали только ее художественную, бытовую красоту, как принимаем и понимаем мы, например, красоту народных гуляний, хороводов, посиделок...» (стр. 109).

Портрет героя, каким он выступает из дневника, резко контрастирует с созданным первоначально автором «Записок». И что поразительно, — Барский на страницах дневника не только «исповедует» в своих грехах, а и занимается саморазоблачением, самобичеванием. Понимая, что все эти грехи не к лицу коммунисту, человеку в его положении, он признается: «Я не узнаю себя, я разлагаюсь». «Я поступал как коммерсант и наживался на простоте, чистоте или педальновидности других», «Мои поступки пронизывает ложь», «и меня перебороли темные инстинкты» (стр. 96—99). Но какие выводы делает из этого Барский? Решает исправиться, отказаться от карьеризма, лжи и пр.? Пичуть не бывало! Он считает, что подобных грешков у каждого много. Он у всех видит лишь ошибки, полагает, что все больны тою же болезнью, что и он, — смертельным честолюбием, погоней за славой, стремлением любыми средствами утвердиться в истории. Вся разница только в более или менее умелой маскировке: «... каждый на свой манер утверждает свое имя в истории. Хитер народ, ой хитер!» (стр. 100—101). Свое главное свойство — безмерный, гипертрофированный индивидуализм — Барский готов приписать едва ли не всем крупным людям, с которыми он сталкивается.

Для него чрезвычайно характерно, с одной стороны, обнажение того, что он называет «святой святых» своей души, — его пороков, с другой — их оправдание. «Не я один — все такие» — вот смысл многих его высказываний. В этом духе вы-

⁷ Дм. Фурманов, Собрание сочинений, т. IV, изд. 2-е, Госиздат, М.—Л., 1928, стр. 80. В дальнейшем ссылки на страницы этого тома приводятся в тексте.

держана и его последняя запись в дневнике, претендующая на некое обобщение: «Мы ведь дети старого, тлетворного века и дышим до сих пор его мерзкой, зараженной атмосферой. В день и в год ее не очистишь. А вот придет новая жизнь — будут и новые люди. У этих новых людей будут новые качества и новые достоинства. Над нашими детскими недостатками они весело и дружно посмеются, как смеемся теперь мы с вами над курьезами далекой старины» (стр. 113).

Здесь весьма показательно и представление Барского о том, что новая жизнь еще не пришла (как будто революция и отстаивание ее завоеваний — это не начало новой жизни!), и его стремление свалить вину за свои пороки на «старый век» и представить их как «детские недостатки». Но читатель, склонный еще как-то понять и простить трусость в первом бою (тем более, что Барский в дальнейшем не трусил), готовый принять его объяснения по поводу живучести эстетических впечатлений от «христовой ночи», — даже этот читатель не может почтись за «детские недостатки» главное в Барском: его чудовищный индивидуализм, карьеризм, стремление приписать свои пороки другим людям.

Впрочем, как бы спохватываясь, Барский в одном месте дневника оговаривается, что он не касается очень многого, что могло бы безусловно «подрисовать» его и с другой — положительной стороны. «Я остальное пока целиком отбрасываю в сторону, а ведь у меня тоже есть большое содержание в жизни — содержание общественное, семейное, личное» (стр. 100), — говорит он. Автор «Записок» также предупреждает, что он приоткрыл «только уголок, крошечный уголок» обширного духовного мира своего друга, взял «только одну струнку его многострунной арфы-души» (стр. 114). Но это уже не может изменить отношения читателя к Барскому.

Разоблачение этого героя Фурманов ведет тонко и последовательно. После всего, что известно о Барском из уст автора «Записок» как о человеке «светлом» и «благородном», первая фраза его дневника может восприниматься как случайная обмолвка: «Сегодняшний день является историческим днем моей жизни». Можно не обратить внимания и на второе предложение: «Сегодня я, Вениамин Барский, впервые участвовал в бою», — хотя и в нем заметна аффектация. Третья фраза может быть оценена как излишне восторженная и пышная: «Что за многообразие чувств, что за странные ощущения, что за удивительное состояние!» (стр. 91).

Настроенный благожелательно автором «Записок», читатель первоначально склонен не замечать всех этих «мелочей». Но чем дальше, тем яснее, что Барский то и дело самозабвенно любит себя собой.

В читателе постепенно укрепляется проницательное отношение к герою. Он не верит ему, не верит в искренность его чувств, покаяний и самобичеваний, ибо ко всему прочему Барский еще и лицемер. Вот как он рассказывает о своем переводе из бригады в штаб армии: «Даже не верилось, что вдруг такая перемена: я, Вениамин Барский, — и вдруг комиссаром штаба целой армии. Хлестко. Значит, цена на дорогие товары подымается. Я поскорбел о своей бригаде, даже поупрямился для виду, ходатайствовал, чтобы оставили меня там и нигде не переводили, но, разумеется, все мои несерьезные попытки оставлены совершенно без внимания. Я играл наверняка. Поддал фасону, нагнал на себя апостольское смирение, заявив, что на высокий пост не гожусь, что и теоретически слаб, да и практика небольшая, а сам себе ухмыляюсь да подумываю: „Черта два, того и гляди, что не годен... Да я не только это, а в три раза более высокую должность — и то буду занимать с успехом!“» (стр. 99).

Сатирического эффекта достигает Фурманов, показывая, как подхалим-спец сочиняет статью в газету о героизме Барского, как «сослуживцы, помощники и ученики» преподносят ему «от имени глубоко уважающего» гарнизона седло, как в газете появляется фотография субботника с подписью: «Наш заслуженный и славный работник тов. Барский, член РВС армии, на субботнике». Оказывается, на субботнике товарищ Барский был всего минут пятнадцать-двадцать, приехал туда в автомобиле, посидел половину времени на поленище, поговорил с отдыхающими и укатил. Штабные же знали заранее, что он будет на субботнике, и выслали фотографа.

Создавая себе славу, организуя своего рода культ собственной персоны, Барский разлагающе действует на окружающих, плодит вокруг льстецов и подхалимов. Он и не думает пресечь угодничество. «Известно, почему он это пишет, — говорит Барский о военсплесе, сочинившем версию о его героизме, — подхалим, спешит подольстить, выслужиться. А мне ведь что же — мне все это на руку, пускай врет, была бы польза» (стр. 111). По существу, Барский становится бюрократом («На фронт уже не показываюсь, сплужу и работаю больше в своем кабинете» — стр. 106), отрывается от массы, от народа, хотя самонадеянно и пытается говорить от имени «сознательного рабочего».

Следует обратить внимание и на фамилию героя — Барский; она тоже подчеркивает всю чуждость этого типа людей, их психологию и мораль новому миру.

Итак, Барский Фурмановым развенчан. Развенчан вопреки намерениям «простого обывателя», который, публикуя дневник «партийного обывателя», как бы хотел сказать: «Смотрите, я — обыватель, я не отрицаю этого, но вот вам заслуженнейший человек, революционер, а он — тоже обыватель. Обывательщина — веч-

ное в человеке, от нее никуда не уйдешь, она сидит и в коммунисте, в революционере». Мельком упомянутый в предисловии к «Запискам» военком, ознакомившись с ними, нашел «большой интерес объективного наблюдения» (стр. 80), считал их «современными, даже больше того — полезными для революции» (стр. 82).

С выводами военкома нельзя не согласиться. Своим произведением Фурманов заострял внимание на таких отрицательных явлениях, корни которых, может быть, не прояснены в повести до конца, но с которыми ни в коем случае нельзя мириться. И он, как писатель, настоящий коммунист, политический работник, действительно не мирился. По идейной направленности повесть «Записки обывателя» приемыкает к серии статей Фурманова конца 1920—начала 1921 года, опубликованных в кубанской прессе, в которых он решительно и непримиримо боролся за чистоту партийных рядов, за высокое звание коммуниста («Довольно!», «Партийный мусор», «Заступники усердные», «Ущемите партийных демагогов» и др.). На страницах своего дневника он неоднократно осуждал тех, кто пользовался привилегиями, гонялся за славой, выставлял себя на первый план, руководствовался интересами карьеры. «Хочется, чтобы побольше было чистоты и бескорыстия в советских организациях», — писал он.⁸

В «Записках обывателя», как и в пьесе «За коммунизм» и в очерке «Андреев», ставится тема борьбы за нового человека (не случайно о новых людях говорит в своем дневнике даже Барский), но ставится она на негативном примере. Процесс рождения нового человека писателем отнюдь не упрощается. Сгущая в Веннаmine Барском отрицательные черты, Фурманов показывал, каким не должен быть новый человек.

«Записки обывателя» — весьма своеобразное произведение. Несомненно, что в основу его легли многие личные мотивы и наблюдения над людьми, с которыми сталкивался писатель. Это легко установить, сопоставляя повесть с его дневником и другими материалами. В комбриге Степане Исаиче Крюкове нетрудно угадать некоторые черточки Чапаева. Вопрос о «гниении отдельных коммунистов» рассматривался в одной из ячеек 9-й армии в том же плане, как об этом рассказывается в «Записках обывателя» (на эту тему была помещена и заметка в газете «Красное знамя»). Некоторые эпизоды и моменты биографии Барского восходят к дневниковым записям Фурманова (ср.: «Сломихинский бой» (т. 4, стр. 175—176), «Пасхальная ночь» (ИМЛИ, П.62.1713, запись от 11 апреля 1920 года), «Жажда славы» (там же, запись от 11 декабря 1920 года) и др.). Но было бы опротивительным делать отсюда вывод об автобиографическом характере повести. «Записки обывателя» — художественное произведение, а образы в нем не имеют определенных прототипов. Лея фигура Барского, Фурманов весьма свободно распоряжался материалом. Это опять-таки нетрудно доказать, сопоставляя текст повести и дневниковые записи. И что самое важное — Барский не переживает никакого внутреннего конфликта, тогда как Фурманов (о чем свидетельствует его дневник) стремился преодолеть свои недостатки. «Создание кристально чистой и гармонической личности»⁹ было для него не только требованием революционной эпохи, но одновременно и личной потребностью. Подобная внутренняя борьба не была исключительным, характерным лишь для Фурманова явлением. «Новый человек, — писал А. В. Луначарский, — рождается в муках, путем самоочищения от всяких шлаков, путем огромной как общественной, так и личной самокритики».¹⁰

В указанной статье В. Ермилов сопоставил произведение Фурманова с другими произведениями советской литературы, где изображены шкурники и авантюристы, втершиеся в Коммунистическую партию («Комиссары» Ю. Либединского, «Встреча» Л. Сейфуллиной, «Рвач» И. Эренбурга и др.). Сопоставление это заканчивается таким выводом: «Фурманов к типам чуждых партии людей, изображавшихся в нашей художественной литературе, добавляет еще один тип — партийного обывателя. Но партийный обыватель — это не только новая категория в массе „чуждых элементов“, а и некоторое обобщение, потому что в этом типе, в зародыше, содержатся черты, характеризующие и шкурника, и авантюриста, и т. п.»¹¹ Не оспаривая этого вывода по существу, следует заметить, что Фурманов не добавил еще один тип, а открыл его, так как повесть написана значительно раньше названных произведений Либединского, Сейфуллиной и Эренбурга и лишь опубликована после смерти автора, в 1926 году. «Записки обывателя» следует рассматривать в более широком кругу произведений советской литературы первой половины 20-х годов, в том числе и тех, в которых акцентируется вопрос о преодолении мещанства, обывательщины, индивидуализма, не совместимых с новой эпохой и новым человеком («Про это» Маяковского, «Конец мелкого человека», «Записки Ковякина» Л. Леонова, «Цемент» Ф. Гладкова и др.).

⁸ ИМЛИ, П.62.1710.

⁹ Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 320, п. I, ед. хр. 10, дневниковая запись от 10 июня 1919 года.

¹⁰ А. В. Луначарский, Собрание сочинений в восьми томах, т. II, изд. «Художественная литература», М., 1964, стр. 451.

¹¹ «Молодая гвардия», 1926, кн. 10, стр. 168.

В заключение — несколько слов об особенностях психологического анализа в «Записках обывателя» и о жанре этого произведения.

Хотя в статье В. Ермилова чувствуются отзвуки теории «живого человека в литературе», в основном он верно говорит об искусстве психологического анализа автора «Записок»: «Ту же тему, — являющуюся, в сущности, глубоко трагической темой о старом человеке, сидящем пной раз в революционере, — другой писатель мог бы разработать с помощью совсем иных приемов, отличных от приемов, употребляемых Д. Фурмановым. Он мог бы привлечь сюда неограниченное количество всевозможнейших „изломов“, „надрывов“, он заставил бы своего героя прибегать к трагическим „исповедям“, „самообнажениям“, он заставил бы вспомнить о дневнике юноши Ипполита в „Идиоте“, об Иване Карамазове и Смердякове, он усложнил бы картину ломаными линиями, спутанными перспективами и т. п. Д. Фурманов дает очень простой рисунок. И от этого его психологический анализ только выигрывает в отношении художественной убедительности».¹²

Противопоставляя методы психологического анализа Фурманова и Достоевского, В. Ермилов в известном смысле прав, но не до конца. Безусловно, «рисунок» у Фурманова проще, без «надрывов» и «изломов», присущих автору «Братьев Карамазовых». Но на этом основании было бы неправильным отвергать определенную зависимость Фурманова от Достоевского.

Здесь не лишним будет напомнить, что в период учения в Московском университете Фурманов сильно увлекался творчеством гениального писателя.¹³ И это увлечение не прошло бесследно. Заполняя 13 октября 1925 года анкету, предложенную кабинетом революционной литературы Государственной академии художественных наук (ГАХН), Фурманов так отвечал на вопрос о литературных влияниях: «Особо сильно — Лев Толстой и Достоевский».¹⁴

Влияние Достоевского прежде всего и преимущественно сказалось в «Записках обывателя».¹⁵ Хотя в обрисовке изображаемого типа Фурманов отрывался от реальной действительности, фигура героя, имеющего как бы двойное лицо, и сам жанр «записок» подсказаны «в какой-то мере молодому писателю автором „Двойника“ и „Записок из подполья“».

Говоря о «двойнике» у Достоевского, Н. М. Чирков, автор глубокой и тонкой по наблюденьям книги «О стиле Достоевского», писал: «Неверно думать, будто двойничество его героев состоит в том, что они вечно мечутся между двумя возможностями, двумя выходами из своего положения. Нет, у Достоевского „двойник“ чаще всего — непредвиденное в поступках и личности человека, возникновение чего-то иного, не предусмотренного предшествующими данными».¹⁶ Именно так построен образ Вениамина Барского: в свете «предшествующих данных», идущих от обывателя — автора «Записок», проявления личности героя воспринимаются как «непредвиденное», «непредусмотренное», не вяжущееся с этими данными. Для него характерно противоречие, присущее многим героям Достоевского и заключающееся в несоответствии того, каков он есть на самом деле, и того, каким он кажется.

Дневник Барского — это не что иное, как исповедь, самоанализ, самообнажение. Формой исповеди, в том числе и в виде дневника, записок, Достоевский постоянно пользовался для характеристики внутреннего мира своих героев. Однако жанр «Записок обывателя» было бы неверно целиком связывать с традицией, идущей от Достоевского: Фурманов опирался и на личный многолетний опыт ведения дневника. Форма дневника — наиболее освоенный им вид литературного творчества до начала писательской деятельности. Жанр «записок» оказался удобным для воплощения замысла повести, раскрытия характера героя.

Возникает вопрос: почему в последующем творчестве Фурманова художественный опыт Достоевского не использовался или почти не использовался? Ответ, как нам представляется, надо искать в особенностях творчества того и другого писателя. В произведениях, написанных Фурмановым после «Записок обывателя», на первый план выдвигается проблема ведущего героя эпохи, человека героического, цельного, хотя и не лишённого противоречий. Людей целостной психологии Достоевский, как правило, не изображал, и его творческий метод, оказавшийся близким Фурманову во время создания повести «Записки обывателя», в дальнейшем перестал отвечать его творческим задачам, хотя это вовсе не исключало его инте-

¹² Там же, стр. 162.

¹³ См. об этом в нашей статье «Дм. Фурманов над страницами Достоевского» («Русская литература», 1964, № 3, стр. 212—219).

¹⁴ Советские писатели. Автобиографии в двух томах, т. II. Гослитиздат, М., 1959, стр. 588.

¹⁵ Несомненно, под влиянием Достоевского позднее была задумана также повесть в письмах «Переписка (à la Макар Деушкин)» (см. нашу публикацию «Из наследия Дм. Фурманова» («Дон», 1962, № 1, стр. 183)). Однако эта повесть не была написана.

¹⁶ Н. М. Чирков. О стиле Достоевского. Изд. «Наука», М., 1964, стр. 44.

реса к некоторым частным сторонам литературного опыта и мастерства великого писателя. В заметках Фурмапова «Вопросы композиции» (IV, 387—391) — в его рассуждениях о творческом процессе, построении характеров, психологическом анализе, композиции — есть известная опора и на опыт Достоевского, в частности на роман «Униженные и оскорбленные».

В. КУРГАНОВ

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОМАНА А. Н. СТЕПАНОВА «ПОРТ-АРТУР»

Среди исторических романов, посвященных героическому прошлому нашей родины, роман А. Степанова «Порт-Артур» занимает почетное место.

Творческий замысел «Порт-Артура» вынашивался автором на протяжении ряда лет. Первые четыре года писатель в основном собирал материалы и систематизировал их. Немаловажную роль сыграли здесь воспоминания самого Степанова о пребывании в осажденном Порт-Артуре, последующей службе в армии,¹ постоянном общении с солдатами и офицерами. По замыслу писателя история и война должны были явиться тем «фоном», на котором разворачивается действие романа. Автору необходимо было прежде всего охарактеризовать социальное положение своих героев, ту историческую эпоху и среду, в которой они будут действовать. Сначала писатель дал характеристики всем историческим персонажам: Дукельскому, Макарову, Белому, Кондратенко, Семенову, Вирену, Подгурскому, Вере Гаршиной, Стесселю, Григоровичу, Рейсу, Фоку, Смирнову и др. Многих из них он знал лично. Далее началось длительное обдумывание сюжета произведения, его частей, глав. Основываясь на воспоминаниях и прочитанном, А. Степанов вел конспективный план. Здесь были воспроизведены отдельные эпизоды, особенно запомнившиеся ему: жизнь подразделения артиллеристов, которым командовал его отец; первые потрясения от ночной бомбардировки Артура, когда горели нефтяные склады, бой за Высокую гору и последние дни крепости. Все это нашло свое отражение и в порт-артурском дневнике отца Степанова.

Но не все у писателя шло гладко. «У меня вдруг после первых глав работа приостановилась, — рассказывал Степанов, — я не мог продолжать, не было удовлетворяющей компановки в изложении. Проходил месяц, другой, а работа не двигалась». Автор обдумывал различные детали, разрабатывал отдельные эпизоды. Перечитывал романы Стендаля, Л. Толстого, Гюго. Вдруг возникла мысль: «Пужко сделать, чтобы у одной из молодых женщин на частной квартире сходилась демократическая молодежь и там имела встречи. Таким поворотным моментом в создании романа явился образ Ривы Блюм».²

Большую трудность для писателя представляла «морская часть» романа.

При воспроизведении картин морского боя Степанов опирался на опыт А. Новикова-Прибоя в «Цусиме». Позднее, в письме ему от 31 мая 1939 года, Степанов писал: «Читал Ваш „Героический корабль“. Чудесно, как и вся остальная „Цусима“! Он мне помог при работе над гибелью „Стережущего“».³ Когда вся «морская часть» в романе «Порт-Артур» была закончена, А. Степанов направил свою рукопись к А. Новикову-Прибою, и тот охотно ее выправил.⁴ Новиков-Прибой чутко отнесся к писателю, поддерживал его, помогал советами. Так, прочитав рукопись романа, он писал Степанову: «Ваша трактовка жены Стесселя, как главной вдохновительницы поступков, весьма интересна, но должна быть обоснована исторически». И в конце письма он еще раз напоминал: «Проверьте роль жены Стесселя в это время».⁵

Во время работы над второй книгой романа А. Степанов обращается вновь к А. Новикову-Прибою с просьбой: «Решаюсь Вас побеспокоить просьбой указать мне, где можно достать „Русско-японскую войну“ изд. Морского генерального

¹ См. об этом: Н. Веленгурин. Александр Степанов и его книга о Порт-Артуре. Изд. «Знание», М., 1965, стр. 7—8, 11—12.

² Запись беседы А. Н. Степанова с автором данной статьи 16 декабря 1958 года.

³ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее — ИРЛИ), ф. 500, оп. 2, ед. хр. 212, л. 3.

⁴ Эту подробность сообщил автору данной работы А. Н. Степанов в беседе 16 декабря 1958 года.

⁵ Письмо А. С. Новикова-Прибоя к А. Н. Степанову от 1 июля 1937 года (личный архив А. Степанова).

штаба и, если Вам известно, то номер книги, относящейся к Порт-Арттуру, в частности к бою 28 июля. Я хочу хорошенько проверить некоторые детали. У меня есть отчет японского генерального штаба о действиях под Порт-Арттуром, а нашего нет.⁶ В этом же письме, делясь своими планами на будущее, Степанов спрашивает совета, как поступить ему в дальнейшем; «Если Вас не затруднит, черкните мне пару строк — Ваше мнение об „Артуре“. Дело в том, что я сейчас оканчиваю уже второй том этой капитальной работы — всего около ста печатных листов. Писателем себя я не мню, к писательской карьере не стремлюсь, и Ваш отзыв обнародован не будет, а послужит мне лишь путеводной звездой в моих трудах. Я считал и считаю „Артур“ — хроникой, для меня — семейной хроникой, т. е. со всеми главными действующими лицами, выведенными, конечно, под псевдонимами, я связан родственными или дружескими чувствами. Решусь спросить у Вас совета, как заканчивать „Артур“? Сдача — финал обороны, конечно, войдет в роман. Но затем в 38 году под Хасаном были лица, выведенные под псевдонимом. Варя Белая — ныне профессор полевой хирургии, Блохин — политработник. Две дочери Вари — врач и летчик, сын Борейко — командир артиллерийского полка, сын Рывы — танкист. Не дать ли в качестве эпилога картину боев под Хасаном? Я в этом районе был лет 30 назад, бродил с ружьем...»⁷ Еще до получения письма состоялся их встреча. И Алексей Силыч поддержал все начинания Александра Николаевича. После прочтения первой книги романа «Порт-Артур» А. Новиков-Прибой писал автору: «...книга имеет большое познавательное значение и, я уверен, будет принята читателем с большим интересом. Вашу книгу „Порт-Артур“ я прочитал с большим удовольствием. Написана она правдиво, хорошо».⁸

Рукопись романа составляет около 3100 страниц.⁹ Черновики и первые наброски не сохранились; автор уничтожил их после того, как глава принимала законченное очертание, — Степанов, по его собственным словам, «писателем себя не мнил». Каждая глава имеет заголовок, дату начала и окончания работы над ней. Из всех упомянутых дат самая ранняя — 6 июля 1935 года.¹⁰ К ней и следует, по-видимому, приурочить начало написания романа.

⁶ Письмо А. Н. Степанова к А. С. Новикову-Прибою от 31 мая 1939 года (ИРЛИ, ф. 500, оп. 2, ед. хр. 212, л. 3).

⁷ Там же, лл. 5—6.

⁸ Письмо А. С. Новикова-Прибои к А. Н. Степанову от 2 февраля 1941 года (личный архив А. Степанова).

⁹ Рукопись романа обрывается на стр. 2539. Далее, по состоянию здоровья, А. Степанов не мог писать и стал продолжать роман, диктуя машинистке. Поэтому вторая половина III части романа имеет самостоятельную нумерацию (559 стр., машинописная рукопись). Далее ссылки на рукопись романа приводятся в тексте.

¹⁰ Исследователь Н. Веленгурин приводит запись своей беседы с писателем Степановым и комментирует ее. «„Помню, в начале тридцатых годов, — вспоминает А. Степанов, — была напечатана пьеса Льва Никулина «Порт-Артур». Прочитал ее. Пьеса не понравилась. Сейчас уже не помню, чем не понравилась, но хорошо знаю, что она у меня вызвала протест. Сказал об этом Павлу Петровичу Авророву.

— А ты возмись сам, напиши, — предложил Авроров. — Ты был в Порт-Артуре, видел бой.

Я задумался. Стал изучать все имеющиеся материалы...» Этот рассказ писателя позволяет нам узнать и уточнить повесть, доселе неизвестные вехи рождения и формирования творческого замысла (Николай Веленгурин. Литературные люди. Краснодар, 1963, стр. 52—53. Эту же подробность автор сохранил и в своей брошюре «Александр Степанов и его книга о Порт-Артуре» (изд. «Знание», М., 1965, стр. 4—5). Только здесь Н. Веленгурин исключил имя автора драмы — Никулина). Трудно поверить, что пьеса Л. Никулина послужила толчком к созданию «Порт-Арттура»: ведь она была написана весной 1937 года (напечатана в журнале «Красная новь», № 8; в том же году вышла в издательстве «Искусство»). Можно предположить, что А. Степанов прочитал пьесу «Порт-Артур» во второй половине 1937 года, но не «в начале тридцатых годов». К этому времени уже весь исторический материал по обороне крепости был собран, обработан автором, созданы первые главы, а в черновике уже была написана значительная часть первой книги романа. В связи с этим небезынтересно привести письмо А. Степанова от 18 апреля 1938 года к члену редколлегии журнала «Знамя», писателю А. С. Новикову-Прибою: «Я прочитал пьесу Никулина „Порт-Артур“ и решил дать ей оценку с точки зрения участника и живого свидетеля выводимых в пьесе событий. Оценка, конечно, могла быть резко отрицательной, ибо, по моему, Никулин недобросовестно отнесся к своей работе, погнавшись за выдуманными бульварными эффектами вместо исторической правдивости. Посылаю Вам свою рецензию. Быть может, Вы сочтете возможным ее поместить в „Знамени“» (ИРЛИ, ф. 500, оп. 2, ед. хр. 212, л. 4). Однако рецензия А. Степанова не была напечатана А. С. Новиковым-Прибоем.

Много труда и усилий нужно было приложить, чтобы напечатать первую книгу «Порт-Артура». Только после длительных переговоров местное издательство взялось за ее издание, но вторую книгу оно отказалось печатать. Здесь помог Степанову П. А. Павленко.¹¹ Первая книга романа «Порт-Артур»¹² вышла в конце 1940 года, а вторая появилась в том же краснодарском издательстве в последних числах января 1942 года.

Позднее писатель П. Иншаков, говоря о первом издании романа «Порт-Артур», отмечал: «При редактировании в рукописи были сделаны неоправданные сокращения не только отдельных страниц, но и целых глав. Один из выброшенных редактором эпизодов Александр Николаевич позже издал отдельной книжкой, как самостоятельную историческую повесть под названием „Трагедия в Чумульпо“. Редактор не пощадил даже такой интересной и ответственной главы, как гибель адмирала Макарова».¹³ Сравнивая рукопись романа с печатной его редакцией, можно обнаружить отсутствие в последней целого ряда эпизодов, исключенных автором, по большей части по настоянию издательства.

В первой книге романа опущен следующий эпизод, рисующий прошлое капитана Зайца: «Напрасно молил он военного начальника направить его в Ковно, Гродно или какую-нибудь другую польскую крепость. Напрасно кланялась полковнику в ноги Двойра. Не было у Зайца полсотни рублей, чтобы откупиться от Дальнего Востока, и его с маршевой ротой новобранцев повезли через всю огромную Россию» (стр. 39); опущены страницы, повествующие о беспечном бахвальстве одного безымянного офицера, который говорит, что японцев можно «закидать шапками»; о поручике Стахе Енджеевском, в окружении молодежи папевающим вполголоса:

Полно, друзья, не теряйте
Надежды в неравном бою!
Родину-мать вы спасайте,
Честь и свободу свою.

Но если погибнуть придется
В тюрьмах или шахтах сырых,
То дело свобод отзовется
В поколениях молодых...

(стр. 585)

Нет ряда деталей, характеризующих взаимоотношения Енджеевского с Борейко, Гивы Блюм с лейтенантом Дукельским; опущен экскурс в геологическое прошлое Ляодунского полуострова, эпизод с пойманым в сети мертвым японцем (стр. 731). Исчезли и некоторые черты из характеристики Борейко. Так, его негодование по отношению к высшему командному составу в рукописной редакции было выражено более откровенно. «Значит, завтра же вместе, — читаем в рукописи, — открутим головы Стесселю, Витгефту и всей их компании, — под общий смех закончил Борейко» (стр. 1076). Первая книга в рукописном тексте кончается тем, что генерал Ноги и адмирал Того отсылают японскому императору букет хризантем и донесение, в котором говорится, что русские войска отброшены к самой крепости Порт-Артур (стр. 1544). В конце первой книги стоит дата ее окончания — «9 часов вечера 29 октября 1939 года».

Над второй книгой писатель начал работу 13 ноября 1939 года.¹⁴ Первая глава называется «Начало тесной блокады» (стр. 1545). В рукописи также имеются эпизоды, не вошедшие ни в первое, ни в последующие печатные издания; например, в печатном тексте романа не нашел отражения момент, когда перед отправкой русских кораблей на прорыв блокады крепости толпа провожающих поет:

Царствуй на страх врагам
На славу, на славу наш
Царь православный...

(стр. 1587)

По настоянию редактора автор исключил подробности поведения экипажа крейсера «Диана» в бою 28 июля (10 августа) 1904 года (стр. 1692—1693); разговор лейтенанта Колчака со священником крейсера «Диана» накануне выхода русской эскадры из крепости на прорыв блокады крепости:

¹¹ См.: П. Иншаков. Летопись суровых лет. «Дон», 1962, № 6, стр. 162.

¹² Н. Веленгурин сообщает, что роман вышел в свет весной 1940 года (см.: Н. Веленгурин. Литературные этюды, стр. 48). Это не точно, так как роман был подписан к печати 24 июля.

¹³ П. Иншаков. Летопись суровых лет, стр. 162. В повести А. Степанова «Трагедия в Чумульпо» рассказано о бое крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой. Повесть эта дважды была издана в Краснодаре в 1946 и 1954 годах. Глава, посвященная гибели адмирала Макарова, в расширенном виде вошла в повесть А. Степанова «Адмирал Макаров в Порт-Артуре», которая была издана дважды в 1948 году — во Владивостоке и Краснодаре.

¹⁴ На рукописи второй и третьей части имеется ряд помет, сделанных А. Степановым. На 1752 странице стоит дата — 11 декабря 1939 года, на следую-

«— Слушай, Сашка, — обратился он (священник, — В. К.) к Колчаку, — поставь меня в бою командиром к шестидюймовой пушке. Ей-богу, не погажу, не хуже твоего Ершова орудовать буду.

— Тебе по чину полагается быть на перевязочном пункте, папутствовать на тот свет умирающих.

— Не бойся, и без меня найдут туда дорогу...» (стр. 1695). Исключен эпизод о том, как насмерть перепуганный судовой священник, отрицательно действовавший на команду корабля, по распоряжению капитана Ливена был заперт в лазарете (стр. 1699); отсутствует и разговор Колчака с капитаном Ливеном, который необходим для понимания взаимоотношений между ними (стр. 1701). Произведены сокращения в описании бегства крейсера «Новик» после прорыва блокады (стр. 1725). Выброшена сцена у гроба генерала Кондратенко: «К Стесселю подошел капитан Вельяминов и, о чем-то переговорив с ним, вынул из кармана сложенную бумагу и начал по ней громко читать. Ветер относил его слова в сторону, и Варя слышала только отрывок:

...Для всех бойцов, измученных борьбой,
 Был Кондратенко жизнью, сердцем и душой.
 Он дух бойцов примером ободрял,
 Он для врага преграды создавал.
 Везде, где шумный бой кипел гремящей лавой,
 Где дым снарядов вражеских дышал отравой,
 Среди бойцов всегда являлся он,
 Руководя бесстрашным, грозным смертным боем,
 Среди героических войск он был всегда героем»

(стр. 464—465. Машинописная рукопись)

Изменен в печатной редакции и конец книги. По первоначальному варианту Борейко погиб на Большом Орлином Гнезде накануне сдачи крепости Стесселем. Памяти Борейко посвящались такие строки:

«— Необходимо немедленно арестовать Стесселя, как изменника, — проговорил Смирнов.

— Кто возьмет на себя осуществление этого проекта? — спросил Белый.

— Жаль, всего на один день не дожпл Борейко. Этот бы глазом не моргнул, арестовал хотя бы самого черта, — подумал генерал» (стр. 534. Машинописная рукопись).

Позднее, вспоминая о завершении своего романа, автор писал: «Один из главных героев моей книги — Борейко, по начальному варианту, погибал при взрыве Большого Орлиного Гнезда. Это вызвало бурю негодования со стороны читателей по моему адресу. Считаясь с их мнением, я несколько изменил конец книги».¹⁵

Описание ноябрьских боев и последних дней крепости писатель окончил в сентябре 1941 года. На странице 559 (машинописной рукописи) читаем: «Артурская эпопея окончилась. Конец. 1931—1941, г. Краснодар».

На русском языке роман «Порт-Артур» выдержал четырнадцать изданий.¹⁶ Только в первом, десятом, тринадцатом, четырнадцатом издании произведение «Порт-Артур» носит название «роман», а в остальных — историческое повествование. Почему книга «Порт-Артур» называется то романом, то историческим повествованием? С таким вопросом в свое время автор данной работы обратился к писателю и получил ответ: «Я назвал книгу романом. И. В. Сталин предложил назвать историческим повествованием ввиду наличия в книге большого количества документов. Сейчас название романа восстановлено».¹⁷

Во втором издании (1944 год) писатель при переработке романа выбрасывает эпизод о сдаче русского солдата в плен, опускает те места, где говорилось о присутствии женщин на военных кораблях, делает более яркой характеристику взаимоотношений между рядовым составом и младшими офицерами. В третьем издании (1945 год) автор внес ряд мелких исправлений; в четвертом (1946 год) писатель

цей — 6 марта 1940 года. Страницы, посвященные повествованию «Порт-Артур в августе», написаны карандашом (стр. 1753—1989). На странице 2139 имеется пометка: «Конец II части, г. Краснодар. Очень скверное самочувствие. Просмотрел 17 ноября 1940 г. 11 ч. вечера». В начале третьей части рукописи стоит дата: «20 ноября 1940 г. 7 ч. вечера». Под описанием батареи литер Б — «Третий штурм» — дата: 15 марта 1941 года (стр. 2355).

¹⁵ А. Степанов. Как я писал «Порт-Артур». «Сталинский сокол», 1944, № 97 (291), 2 декабря, стр. 4. Писатель имеет в виду отзывы, полученные им после чтения рукописи романа.

¹⁶ Роман также переведен и издан на украинском, латышском, казахском, узбекском, эстонском, уйгурском, венгерском, словацком, болгарском, румынском, польском, сербском, чешском, английском, китайском, японском языках.

¹⁷ Письмо А. Степанова к автору данной статьи от 16 декабря 1955 года.

первую книгу делит на две части; начиная с этого издания роман имеет четыре части (в каждой книге по две части). Степанов не прекращал работу над текстом своего романа и позднее, внося уточнения в характеристики исторических деятелей. В девятое (1953 год) издание автор включает эпилог романа, где рассказывает о некоторых героях — Борейко, Енджеевском, Звонареве, Блохине, Стесселе, Никитине, и повествует о процессе над виновниками сдачи крепости (Стессель, Фок, Рейс, Смирнов), который проходил в Петербурге в 1907—1908 годах. Этот эпилог в будущем будет перенесен автором в первую книгу романа — «Семья Звонаревых». В последующих изданиях романа «Порт-Артур» этот эпилог отсутствует. В десятом издании (1955 год) писатель ввел в роман ряд новых эпизодов, относящихся к последнему этапу обороны крепости (битва при Курганной батарее и другие моменты). Ранее опубликованные повести «Трагедия в Чемульпо» и «Адмирал Макаров в Порт-Артуре» в переработанном виде писатель включает в первую книгу романа. В одиннадцатом (1958 год) и двенадцатом (1959 год) — произведена лишь стилистическая правка. В тринадцатом издании (1960 год) писатель переработал эпизод боя миноносца «Стерегущего» с японской эскадрой. Четырнадцатое (1965 год) полностью воспроизводило десятое издание.

* * *

В романе «Порт-Артур» есть художественный вымысел, дополняющий историческую, документально достоверную основу произведения. Это дало основание историку А. Сидорову в рецензии на книгу написать следующие строки: «У читателя невольно возникает вопрос: не является ли и предательство Стесселя следствием отступления автора от исторической истины?»¹⁸

В беллетристических произведениях участников обороны Порт-Артура — М. Костенко, Е. Ножина, Л. Ларенко — выражено возмущение распоряжениями и приказами начальника Квантунского укрепленного района генерала Стесселя. Так, например, военный корреспондент Е. Ножин, говоря о закулисной деятельности Стесселя, называет его предателем. О том, что без предательства не обошлось при сдаче крепости, что она была сдана японским военным властям, а не взята ими силой оружия, было хорошо известно. Следственная комиссия и Верховный военно-уголовный суд, перед которыми предстали виновники капитуляции Порт-Артура, признали, что военная крепость была сдана японцам тогда, когда еще не были использованы все средства для ее обороны,¹⁹ а генералы Стессель, Фок и полковник Рейс старались привести крепость в такое состояние, которое могло бы оправдать сдачу ее неприятелю. Прямых доказательств предательства в виде какого-нибудь удостоверяющего этот факт документа того времени не сохранилось. Автор настоящих строк по этому вопросу обращался к писателю и получил ответ, что фактов, подтверждающих предательство А. М. Стесселя, не мог назвать А. Степанову даже военный историк генерал А. Сорокин. «Тут все в области литературного домьсла. Имеется лишь один исторический факт, подтверждающий предательство А. М. Стесселя. В двадцатых годах в Париже сын Стесселя — Александр, о котором упоминается в романе „1920 г.“ Шульгина,²⁰ подал во французский суд иск к японскому правительству на сумму около миллиона иен по чеку, полученному его отцом за сдачу крепости Порт-Артур. Иск был удовлетворен французским судом, но когда он был переслан ответчикам, то японцы все же отказались его оплатить. Это единственный факт, проливающий свет на то, что имелась какая-то договоренность между командованием крепости и японцами».²¹

Таким образом, хотя в романе некоторые эпизоды не имеют строгой документальной основы, они не нарушают исторической достоверности. Писатель вправе, указывая Н. А. Добролюбову, внести в историю свой вымысел, но задача его в этом случае заключается в том, чтобы «вымысел этот основать на истории, вывести его из самого естественного хода событий, неразрывно связать его со всей нитью исторического рассказа».²² Следует отметить, что точка зрения Степанова подтверждается и показаниями на следствии и суде других офицеров и очевидцев — участников данной войны. Участник обороны крепости С. Р. Миротворцев (выведенный в романе «Порт-Артур» под своей фамилией), вспоминая оборону крепости, писал: «Порт-Артур не пал бы, если бы его не продало за спинами русских солдат командование во главе с генералами Стесселем, Фоком, Рейсом и другими». Порт-Артур «держался только геройством русских солдат и офицеров».²³

¹⁸ А. Сидоров. Степанов А. «Порт-Артур». «Исторический журнал», 1945, № 1—2, стр. 100.

¹⁹ См.: Центральный государственный военно-исторический архив СССР. ф. 543/Л, оп. 1, ед. хр. 8, л. 33.

²⁰ А. Степанов ошибочно называет книгу очерков В. Шульгина «1920 г.» романом.

²¹ Письмо А. Степанова к автору данной статьи от 30 марта 1956 года.

²² Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в девяти томах, т. I, Гослитиздат, М.—Л., 1961, стр. 92.

²³ С. Р. Миротворцев. Страницы жизни. Медгиз, Л., 1956, стр. 43, 46.

В. МАЛЫШЕВ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В СОБРАНИЕ ДРЕВНЕРУССКИХ РУКОПИСЕЙ ПУШКИНСКОГО ДОМА

В 1966 году собрание древнерусских рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР значительно пополнило свой состав. Увеличение произошло главным образом за счет рукописных материалов, собранных археографическими экспедициями сектора древнерусской литературы и экспедицией фундаментальной библиотеки Ленинградского государственного университета им. А. А. Ждапова. Продолжались также приобретения от коллекционеров и держателей рукописных книг.

Всего за прошедший год в собрание поступило 125 рукописей XIV—XIX веков, и в настоящее время оно насчитывает уже 3361 единицу хранения. Пополнились как наши территориальные собрания, так и некоторые именные коллекции. Как и в прежние годы, большинство поступивших рукописей являются памятниками народной и оппозиционной по отношению к господствующей церкви и правительству литературы.

Наибольшее пополнение получило Печорское собрание, включившее в себя 32 рукописи XVII—XIX веков, найденные автором в июне прошлого года в Усть-Цилемском районе Коми АССР. Это в основном рукописные материалы литературного и исторического содержания и сборники и сборные рукописи XVIII—XIX веков, предназначенные для домашнего чтения. Содержание их составляют различные слова, поучения, повести, жития, сказания, взятые из самых разнообразных источников отечественного и переводного происхождения. Здесь можно найти и повесть (Слово) о животе и смерти, и сказание о Федоре-купце, и повести о Зосиме и Савватии Соловецких, и различные поучения, направленные против отдельных человеческих пороков (лени, стяжательства, сквернословия и т. д.).

В небольших тетрадках XVIII—XIX веков сохранились запрещенные церковью легендарно-поэтические произведения («Сон Богородицы». «Лист Иисуса Христа», «Сказание о 12 пятницах», «Хождение Богородицы по мукам» и др.) и образцы старинного стихотворства и устного творчества (стих Василия Великого о пьяницах, «Стих покаянен о пьянстве» — стихотворная параллель к «Повести о горе и злочастии» и др.).

Найденные письма печорских крестьян XIX века интересны не только сведениями о культуре и быте местного населения, о его торговых связях и религиозных спорах, но и в не меньшей мере своим своеобразным стилем и языком, манерой подражать старинным образцам эпистолярного жанра.

Большую ценность имеет для историка местного края сборник, составленный и переписанный известным в прошлом усть-цилемским книгописцем А. М. Бажуковым. С большой подробностью автор перечисляет в своем труде родословные местных крестьян, родоначальники которых были основателями многих пинежских и цилемских выселок и деревень. Здесь же он дает полный список самосожженцев, сторевших в Великопоженском ските в 1744 году, и приводит несколько исторических стихов (о Борисе и Глебе, Тимофее Андрееве и др.) и поучение, направленное против нежелающих трудиться.

Как всегда, немало на печорских рукописях различных записей, помет и приписок, сделанных местными крестьянами и характеризующих их отношение к книгам и многому другому. В этих записях содержатся также сведения о местных переписчиках книг, владельцах книжных собраний, о стоимости книг в XVIII—XIX веках. Такие сведения представляют определенный интерес при изучении местной рукописно-книжной традиции.

На 25 рукописных книг XVI—XIX веков увеличилось Мезенское собрание. Пополнившие собрание рукописи были найдены сотрудниками Ленинградского университета А. X. Горфункелем и В. П. Бударагиным летом прошлого года в Мезенском районе Архангельской области.

Мезенские рукописи весьма разнообразны по составу, но не выходят из рамок репертуара севернорусской письменности. Это произведения древнерусской литературы самых различных жанров (повести, жития, алокрифы, сказания и т. д.), образцы старинного книжно-песенного искусства, суеверий (заговоры, приговоры, гадания и т. д.) и писания старообрядцев (полемиические, исторические и догматические).

Повести об активных местных монастырских деятелях прошлого — Иване Семенове (Юромском) и Иове (Ущельском) — имеют большую ценность для изучающих историю Мезени и особенно для тех, кто исследует пути и способы севернорусской монастырской колонизации и происхождение и характер местной житийной традиции. Следует также отметить, что обе названные повести сохранились всего в двух-трех списках, а повесть об Иване Семенове едва ли когда-нибудь издавалась и, по-видимому, еще неизвестна как следует ученым. Между тем эта повесть важна не только как интересное произведение местного творчества, но и как

памятник, в котором в яркой форме изображена борьба крестьян с захватнической политикой монастырей, с их попыткой всюду, где только можно, ущемить земельные интересы крестьянства. Красочно описываются в ней споры мезенцев с Иваном Семеновым, разрушение поставленной Семеновым на их земле церкви, отправка крестьянских ходяков в Москву с протестом против действий непростого гостя и т. д. Повесть написана народным языком с сохранением особенностей мезенского говора.

Из других мезенских рукописей назовем здесь сборник сочинений видного писателя-полемиста XVII века Спиридона Потемкина, оказавшийся в списке конца XVII века, что представляет большую редкость для его литературного наследия, и сборник стихотворений, написанный в 30-х годах XIX века сумским мещанином Г. П. Осиповым, по прозвищу Воронов, на Новой Земле, в становище Кармакулин. Последний сборник уже интересен тем, что его составитель, находясь почти на крайней северной точке русской земли, в тяжелых условиях северной зимы, нашел время и возможности для переписки рукописей. Сборник привлекает внимание и своим составом (наряду со стандартными духовными стихами здесь имеются светские стихотворения вроде любопытной по содержанию «псалмы о плавающих кораблях в бури и на море»), и заметным интересом к творчеству знаменитого земляка М. В. Ломоносова. Как поясняет составитель сборника, в нем есть «сочинения — псалмы господина философа Ломоносова, природженца колмогорския».

Пинежское собрание пополнилось 9 рукописными книгами XVI—XIX веков, найденными Р. П. Дмитриевой и М. А. Салминой в июле 1966 года в Пинежском районе Архангельской области. Здесь, кроме двух рукописей XVI века, интересных в палеографическом отношении (Минея и Устав), отмечу сборник XVIII века литературного содержания (отрывок из «Книги бесед» протопона Аввакума, «Причта об убогих и богатых», «Слово о крестившемся сарацыне» и др.).

10 наших коллекций IV разряда (Древнерусские рукописи) называются по имени их собирателей. Это наши именные фонды. В прошедшем году на 9 рукописей увеличилось собрание В. Н. Перетца (получены от его вдовы члена-корреспондента В. П. Адриановой-Перетц) и на 4 рукописи — собрание Ф. А. Каликина. Из рукописей В. Н. Перетца назовем «Сказание о Мамаевом побоище» — в распространенной редакции, с интересной концовкой (XVIII век), «Повесть о 12 снах Шаханши» — в хронографической редакции (XIX век), «Сказание о 12 трысавицах» (XIX век), заговоры против лешего, лихорадки и др. (XIX век), «Похвальное слово Екатерине II» (1790 год), межевой план поместья А. В. Кретовой (1782 год), вирши на патриарха Никона (XIX век) и др. От Ф. А. Каликина приобретены следующие рукописи: Трефолой (XVII век), сборник апокрифов и слов эсхатологического содержания (XVIII век), Епитимейник поморский (XIX век) и сборник, содержащий повести о патриархе Никоне, «Видение» московского благовещенского протопона Терентия, «Слово о соловецком старце Ипатии», направленное против пьянства, объединения п табака (XIX век).

В 1966 году мы образовали новое именованное собрание рукописей, созданное на основе материалов, приобретенных у родственников Павла Степановича Богословского, бывшего профессора Пермского университета, умершего 28 февраля 1966 года в Москве. Пока в нем всего 9 рукописей XVII—XIX веков, но мы надеемся, что в текущем году оно пополнился еще 80 рукописными книгами XVI—XIX веков исторического и литературного содержания. В собрании П. С. Богословского сейчас имеется: Хронограф (XVII век), Стоглав (XVII век), «Повесть о Саввати Соловецком» (XVIII век), Псалтырь тожковая, с миниатюрой (рисунком) царя Давида (XVII век), апокрифическое житие Василия Нового с 178 миниатюрами в красках (XIX век), Правила риторические 1816 года и др.

Пополнился также 37 рукописями обширный раздел «Отдельные поступления». Его пополнения обычно отражают степень активности нашей связи с владельцами и держателями рукописей центральных городов и периферии. В прошедшем году эта связь была довольно интенсивной и не замедлила сказаться на результатах. От коллекционеров и владельцев рукописных материалов Москвы, Ленинграда, Казани, Архангельска, Симферополя, Коврова и других городов мы получили в дар или приобрели ряд весьма ценных для исследователей русской культуры памятников.¹

На первое место среди них следует, конечно, поставить пергаменное Евангелие XIV века, представляющее большую ценность для палеографа, лингвиста и искусствоведа своим почерком, языком и украшениями. Евангелие написано в Южной Руси и сохранило на листах две интересные для историка «Данных» (земельные грамоты) от XIV и XV веков.² В настоящее время эта уникальная рукопись

¹ В 1966 году Институту подарили древнерусские рукописи: В. П. Адрианова-Перетц (Ленинград), Ю. А. Арбат (Москва), М. М. Веснина (Нарьян-Мар), К. П. Гемп (Архангельск), А. И. Германович (Симферополь), И. Б. Грушецкий (Архангельск), В. А. Мануйлов (Ленинград) и В. В. Рейх-Папаян (Ленинград), В. А. Колобанов (Владимир).

² Подробнее об Евангелии см.: «Литературная газета», 1966, № 139, 24 ноября (заметка «Пергамент XIV века»).

изучается Л. П. Жуковской, работа которой будет напечатана в «Трудах Отдела древнерусской литературы». Отметим также исправный и полный список сборника старинных правоучительных повестей «Велпкое зеркало» (XVIII век), «Казанскую историю» (XVIII век), сборник кратких сентенций и афоризмов «Пчела» (XVIII век), сборник апокрифов с многочисленными иллюстрациями в красках, сохраняющими любопытные бытовые детали (XVIII век), Лечебник и травник (XVIII век), сборник поучений и слов на морально-бытовые темы (XVIII век), Месяцеслов поморской орнаментировки (1818 год), коллекцию столбцов (12 единиц) преимущественно хозяйственного значения (1555—1690 годов), собранную академиком А. А. Куником, челобитную царю стольника Д. В. Полонского о попытке П. П. Жемчужникова и Р. П. Лаврова убить его и «расспросные речи» по этому поводу И. М. Сухотина (1703 год), межевую книгу владений А. Н. Щепотьева (1799 год), акафисты Дмитрию Ростовскому и Симеону Верхотурскому, письма к петербуржцу Ф. В. Фомину (1899—1908 годов), интересные описанием быта местных старообрядцев, и др.

1966 год был благоприятным для собрания древнерусских рукописей и с другой стороны. Оно получило отдельное благоустроенное хранилище. В оборудованном помещении уже открыта на материале собрания постоянная выставка древнерусской рукописной и печатной книги. Кроме того, теперь имеется возможность оперативно, наглядно и широко информировать научную общественность города о пополнениях собрания. Задача сейчас состоит в том, чтобы фонд древнерусских рукописей непрерывно пополнялся ценными материалами. Сектор древнерусской литературы намерен продолжать розыски рукописей путем археографических экспедиций, а также поддерживать связь с коллекционерами. Вместе с тем он надеется также на помощь в этом деле со стороны ленинградских научных учреждений, в первую очередь таких, как Ленинградский университет и Русский музей, с которыми у него давно установлен на этой основе деловой контакт. Мы думаем, что и другие ленинградские научные учреждения, связанные с нами по профилю своей работы и отправляющие ежегодно диалектологические и иные экспедиции в отдельные районы страны, окажут нам тоже содействие в пополнении собрания древнерусских рукописей, которое уже давно переросло рамки внутриинститутской коллекции и стало заметным фактором культурной жизни нашего города.



ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ЭПИГРАММАТИЧЕСКИХ ДУЭЛЕЙ ПУШКИНА

Пушкина весьма удручали и уровень современной ему критики и полемические нравы тогдашней журналистики. Особенно часто возвращался поэт к наболевшей теме во второй половине 1820-х—начале 1830-х годов. Это видно по его письмам к друзьям и по многим заметкам, частью попавшим в печать, частью оставшимся в виде рукописных набросков.

13 сентября 1825 года Пушкин писал Вяземскому: «*Сам съешь!* — Заметил ли ты, что все наши журнальные анти-критики основаны на *сам съешь?* Булгарин говорит Федорову: ты лжешь, Фед.<оров> говорит Булг.<арину>: сам ты лжешь. Пинский говорит Полевому: ты невежда, Пол.<евои> возражает Пинскому: ты сам невежда, один кричит: ты крадешь! другой: сам ты крадешь! — и все правы».¹

Потом Пушкину на собственном опыте — и неоднократно — приходилось убеждаться в справедливости слов писанных Вяземскому. Поэт даже заинтересовался генезисом термина «сам съешь». «Происхождение сего слова: остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: съешь, а догадливый противник отвечает: сам съешь» (XI, 151).

В апреле 1830 года Пушкин напечатал в альманахе «Подснежник» «Собрание насекомых» — своего рода эпиграмматическое «обозрепше». Здесь выставлялись на показ «пронзенные насковзь» экземпляры «литературных насекомых»:

Вот <Глинка> — божия коровка,
Вот <Каченовский> — злой паук,
Вот и <Свиньин> — российский жук,
Вот <Олин> — тощая пивка,
Вот <Раич> — мелкая козявка...

(III, 800)

Как известно, все эти имена в печатном тексте не были обозначены. Их заменили звездочки. Поэт как бы взывал к воображению читателей, знакомых с литературной полемикой тех лет.

Пушкинское «эпиграмматическое ревью» не осталось без внимания. Николай Полевой, у которого к тому времени отношения с поэтом и его ближайшим окружением вконец разладились, поместил в «Московском телеграфе» «пародию» на пушкинское стихотворение.² «Пародия» не зря была подписана «самокритическим» псевдонимом Обезьянин: она была скроена весьма примитивным способом — простой заменой одних имен другими.

«Пародия» «Московского телеграфа» — вялая, аморфная, многословная — не привлекла читательского внимания, осталась, в сущности, незамеченной. Этого нельзя сказать о другой «антиэпиграмме», появившейся в «Вестнике Европы», хотя и она строилась по тому же примитивному рецепту «сам съешь». «Антиэпиграмма» была «вмонтирована» в рецензию на тот самый альманах «Подснежник», где увидела свет пушкинская эпиграмма. Рецензент иронизировал: «Энтомологи велют загадочные стихи читать следующим образом:

Полтава — божия коровка,
Кавказский пленник — злой паук,
Вот *Годунов* — российский жук,
Онегин — тощая пивка,
Граф Пулиц — мелкая казявка.

В самом деле, чуть не правда ли! Какой остроумный набор пероглифов! Да к чему же все это служит? Так, решительно ни к чему. Не даром говорят, что у всякого Барона своя фантазия».³

¹ Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, Изд. АН СССР, 1937, стр. 225. Далее ссылки в тексте.

² «Московский телеграф», 1830, № 8, стр. 135.

³ «Вестник Европы», 1830, № 8, стр. 302

Выпад «Вестника Европы» (в отличие от «Московского телеграфа») был замечен и друзьями и недругами Пушкина. Близко к сердцу приняла его, например, Е. Н. Ушакова, которой это послужило поводом для особого разговора с поэтом, не на шутку, видимо, рассердившимся на «пародиста» враждебного ему «Вестника Европы». В одном из недавно опубликованных писем Е. Н. Ушаковой, относящемся к июню 1830 года, читаем: «Каков Каченовский — отделал самодержавного поэта, который вздумал завести патуральный кабинет, — да и завел на свою голову; его, моего батюшку, без звездочек поместили с чадами. Он очень сердит; говорит, что очень глупо, что не понимают никаких критик — но, бывши у нас (то есть спровадя свою невесту в деревню), сказал, что *сам съел*».⁴

В письме Е. Н. Ушаковой, судя по всему, весьма точно переданы характер и тональность ее разговора с Пушкиным. Это видно из последующих событий. Едва вернувшись в Петербург (19 июля 1830 года), Пушкин решил наперекор всем вновь привлечь внимание к своему «Собранию насекомых». Он еще раз — исключительный случай — перепечатывает в «Литературной газете» (с двумя незначительными поправками) однажды уже опубликованное в альманахе стихотворение.

Поэт сопроводил публикацию извещением: «Спе стихотворение, напечатанное в Альманахе: *Подснежник*, нынешнего года, обратило на себя общее внимание, все журналы отозвались о нем, и большею частью неблагоприятно. Оно удостоилось двух народий, помещенных в *Вестнике Европы* и в *Московском Телеграфе*. Пародия *Вестника* отличается легким остроумисом; пародия *Телеграфа* — полнотою смысла и строгою грамматической и логической точностью. — Здесь мы помещаем сие важное стихотворение, исправленное сочинителем. В неперодолжительном времени оно выйдет особою книгой, с предисловием, примечаниями и биографическими объяснениями, с присовокуплением всех критик, коим оно подало повод, и с опровержением оных. Издание спе украшено будет искусно литографированным изображением насекомых. Цена с пересылкою 25 руб.» (XI, 131). В этом извещении и заключалась вся соль. Исследователи не всегда учитывают, что, написанное с нарочито невозмутимостью, с педантически подчеркнутой обстоятельностью, оно насыщено пронзней в адрес критиков, не считающих зазорным пробавляться доморощенным рецептом «Сам съешь».

Полемическая перепалка, вызванная «Собранием насекомых», на этом не закончилась. Вскоре, осенью того же 1830 года, очутившись в «болдинском плену», Пушкин решил еще раз уязвить критиков, пацких на примитивные, неприязнительные перелицовки поэтических произведений, на грубую журнальную перебранку. В неоконченной статье «Опровержения на критики» поэт не без грустной иронии констатировал: «*Сам съешь*. Сим выражением в энергическом наречии нашего народа заменяется более учтивое, но столь же затейливое выражение: *обратите это на себя*. То и другое употребляется нецеремонными людьми, которые пользуются удачно шутками и колкостями своих же противников. *Сам съешь* есть еще главная причина нашей журнальной полемики. . . Поэту вздумалось описать любопытное собрание *букашек*. — Сам ты *букашка*, закричали бойкие журналы, и стихи-то твои *букашки* и друзья-то твои *букашки*. *Сам съешь*» (XI, 151).

Пушкин, как известно, не напечатал статью «Опровержения на критики». Возможно, она его не удовлетворила своей многотемностью, фрагментарностью. Поэт начал работать над другой — более целеустремленной, целенаправленной статьей «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений». Любопытно, что полностью он перенес сюда лишь тираду «сам съешь» (XI, 169). Ему явно хотелось довести ее до печати.

Как уже упоминалось, наиболее «результативным» в полемической перепалке по поводу «Собрания насекомых» оказался выпад «Вестника Европы». Автор рецензии на альманах «Подснежник», укрывшийся на страницах журнала под псевдонимом «Л. С.», комментаторам пушкинских сочинений остается неизвестен. Инициалы эти до сих пор печатаются без расшифровки (см., например: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, «Наука», М., 1964, стр. 680).

Судя по цитированному письму Е. Н. Ушаковой, приятельница поэта (а возможно, и он сам) полагала, что под инициалами «Л. С.» скрывался сам редактор «Вестника Европы» М. Т. Каченовский. Так же волен думать и читатель «Литературного наследства», встречаясь с нерасшифрованными инициалами «Л. С.» и не находя в комментариях к письму никаких на сей счет разъяснений.

Действительно, среди «литературных насекомых» больше всего досталось Каченовскому, что, кстати, тут же было отмечено в «Северном Меркурии» (вероятно, самим редактором М. А. Бестужевым-Рюминым): «В этом собрании примечательнее всего ****, *злой паук*, который так искусно раскинул сети свои, что из них никак не могут выпутаться и целые поэмы, не только эпиграммы: едва только появятся какая-нибудь новорожденная *букашечка*, как он ее беднячку цап-царап. . .»⁵

Однако гипотеза об авторстве самого редактора «Вестника Европы» сразу же вызывает основательные сомнения. Игриво-развязные интонации «Л. С.» совсем

⁴ «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 97.

⁵ «Северный Меркурий», 1830, № 40, 2 апреля, стр. 160.

не похожи на тяжеловесные, ветхозаветные (по крайней мере по стилю) писания Каченовского. Да и вообще юмор никогда не был любимым родом оружия редактора «Вестника Европы». Скорее, это была его ахиллесова пята. (Однажды в ответ на полемический выпад Полевого Каченовский не нашел ничего лучше, как прибегнуть к угрозе «предпринять другие меры к охранению своей личности от игривого произвола» оппонента. Иными словами, редактор недвусмысленно обещал подвести своего литературного противника под официальные административные репрессии).

Обращает на себя внимание, что перечисленные в «аптисоциграмме» «Л. С.» пушкинские произведения — «Кавказский пленник», «Евгений Онегин», «Полтава», «Граф Нулин», «Борис Годунов» — в той или иной мере подвергались нападкам на страницах «Вестника Европы» в статьях Н. И. Надеждина — Никодима Надоумки, незадолго перед тем начавшего свое критическое поприще в журнале Каченовского с решительного, безоговорочного отрицания романтизма на современном этапе литературного развития.

Принадлежность Надеждину рецензии на альманах «Подснежник», а стало быть, и эпиграммы-пародии на «Собрание насекомых» может подтвердить фраза «У всякого барона своя фантазия». Это любимая поговорка-прибавка Надеждина, которой он потом очень часто пользовался в полемике с Сенковским — Бароном Брамбеусом.

Есть и еще более веские, убедительные доказательства принадлежности Надеждину псевдонима «Л. С.». Для «Вестника Европы» последних двух лет его существования это вовсе не случайная, не единичная подпись. Ее можно встретить довольно часто. Впервые же псевдоним этот появился в «Вестнике Европы» вскоре после прихода туда Надеждина.

Но и это еще не все. Есть одно доказательство, которое рассеивает всякие сомнения в принадлежности Надеждину инициалов «Л. С.». В некоторых статьях, подписанных этими инициалами («Вестник Европы», 1829, № 13, стр. 70—71; № 22, стр. 108), фигурирует литературный персонаж Пахом Силич Правдивин, изобретенный, как известно, Надеждиным в качестве собеседника Никодима Надоумки.

Что обозначают инициалы «Л. С.»? Ни одна из статей, подписанных этими инициалами, не дает достаточных оснований для точной расшифровки. Но если исходить из тенденции, из пафоса этих статей, инициалы «Л. С.» можно предположительно расшифровать как «Любитель старины». Такого рода псевдоним согласуется и с общеэстетической позицией Надеждина в это время.

Между прочим, эпиграмматическая дуэль между Пушкиным и Надеждиным не ограничивается эпизодом с «Собранием насекомых». У Пушкина, как известно, есть еще ряд эпиграмм на Надеждина. У Надеждина (это менее известно) есть эпиграммы, направленные против Пушкина. Они явились в свет под псевдонимами Львино-Зубов и Орлино-Когтев. П. А. Вяземский отметил это событие такой иронической репликой: «Любителей русской поэзии можно поздравить с двумя дебютантами-близнецами на сцене „Вестника Европы“. Вот имена их: Орлино-Когтев и Львино-Зубов. Впрочем, они только именем страшны, а стихи их так же незлобны, как и все эпиграммы „Вестника Европы“».⁶

Разумеется, если бы результаты литературных дуэлей фиксировались, Надеждину пришлось бы по всем правилам засчитать полное поражение...

Остается добавить, что в 1830-е годы, когда полемика вокруг романтизма утратила остроту, когда сам Пушкин стал печататься в надеждинском «Телескопе», прекратилась и эпиграмматическая дуэль между поэтом и критиком. Публикуя в 1836 году (через семь лет после написания) одну из лучших своих эпиграмм — притчу «Сапожник», Пушкин опустил эпиграф, из которого явствовало, что сатирической мишенью поэта был Надеждин.

С. ОСОВЦОВ

ДВЕ РЕПЛИКИ АВТОРУ СТАТЬИ «О РЕАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ СЮЖЕТА „МЕРТВЫХ ДУШ“»

В своей заметке «О реально-исторической основе сюжета „Мертвых душ“» С. Боровой пишет, что Гоголь «допустил некоторый анахронизм. Безвозмездный отвод дворянам земли в Новороссии (но с обязательством в определенный срок их заселить) был официально прекращен в 1817 году, а фактически несколько раньше. Значит, Чичикову необходимо было приобрести какое-то земельное владение (скорее всего в той же Херсонской или Таврической губернии, где ненаселенная земля стоила тогда очень дешево), „перевести“ туда свои „мертвые души“...»:

⁶ П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. II, СПб., 1879, стр. 129.

¹ С. Боровой. О реально-исторической основе сюжета «Мертвых душ». «Вопросы литературы», 1966, № 4, стр. 252.

Но во всем ли прав С. Боровой, утверждающий, будто «безвозмездный отвод дворянам земли в Новороссии... был официально прекращен в 1817 году»? Посмотрим, как было на самом деле. Один из известных историков русского дворянства в 1870 году писал: «... в 1803 г. император предписал: раздавать в Новороссийском крае ненаселенные земли штаб- и обер-офицерам — первым по 1000, а вторым по 500 десятин (ПС № 20.609). После этого раздача ненаселенных земель производилась в течение 19 ст. в обширных размерах и продолжается доселе, „подвигаясь далее и далее к окраинам России“». ² Повторяем, все это говорилось (о раздаче, а не о продаже земель) уже после отмены крепостного права, в 1870 году. Во времена же Чичикова, когда, по замечанию Белинского (в «Письме к Гоголю»), не было «даже и полицейского порядка», а тем более буквального соблюдения законов (которые толковались и вкось и вкривь), повторяем — во времена Чичикова бывало всякое, и утверждение С. Боровой кажется нам очень опрометчивым.

Что ж, действительно, такой закон существовал. Но разве не было принято множества законов, которые никогда не исполнялись, особенно если они не во всем соответствовали интересам господствующего класса? Но это, собственно, не основное. Главное состоит в другом: нужно выяснить, действительно ли у Гоголя идет речь о безвозмездном отводе дворянам земли? Заглянем в текст. Вот отрывок из XI главы, в котором сообщается, как в голове Чичикова зародился «смешной проект» покупки «мертвых душ»: «Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положи, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капитала! А теперь же время удобное: недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, не мало. Помещики поприигрывались в карты, закупили и промотались как следует; все полезло в Петербург служить: имения брошены... Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну, да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное, то хорошо, что предмет-то покажется совсем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не прочь; почему же нет? Я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка, или по имени, данному при крещении: сельцо Павловское».³

Да, Гоголь употребляет здесь слово «даром», но кому не известно, что в русском языке оно употребляется и в значении «дешево», «за бесценок». Собственно, в первоначальной редакции XI главы так и было: «Теперь продаются земли от казны в Херсонской и Таврической губернии, говорят, по рублю десятину, туда их всех и переселю. А переселение можно сделать законным порядком, как следует по судам, это уж мое дело, я это сделаю» (стр. 572).

Впрочем, это не единственное место поэмы, в котором, по мнению С. Боровой, писатель исторически недостоверен: «В описании операций Чичикова Гоголь допустил еще одну неточность, и, надо думать, это он сделал сознательно, чтобы не осложнять изложения формально-юридическими деталями. В те годы без земли можно было покупать только дворовых. Поэтому продаваемых крестьян надо было предварительно формально перевести в дворян».⁴

Непонятно, в чем здесь обвиняется Гоголь? Разве он не знал, что без земли нельзя продавать крепостных? Знал! Знал это и Чичиков, который, приступая к делу, находил в себе энтузиазм преодолеть преграды — «ведь дан же человеку на что-нибудь ум». Чичиков сознательно шел на нарушение законов, поступая так же, как это делали в аналогичных случаях другие покупщики крестьян без земли. А в том, что такие случаи были, сомневаться не приходится. Например, «в 1816 г. право совершать купчие на крестьян опять подверглось сомнению. Баронесса ф. Дельвиг крестьян своих, доставшихся ей по рядной от ее отца, кн. Андрея Волконского, Пензенской губернии Инсарского уезда в с. Ключареве, 58 душ, продала на взвод подпоручику Аммосу Фролову, дав своему брату право совершить купчую на имя покупателя. Пензенская гражданская палата, затрудняясь совершением купчей, представила дело на заключение губернского прокурора. Утвердительное мнение последнего было одобрено сенатом (№ 26335). Закон 1822 г. запретил печат-

² А. Романович-Славатинский. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. СПб., 1870, стр. 169.

³ Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. АН СССР, 1951, стр. 239—240 (далее ссылки на страницы этого тома приводятся в тексте).

⁴ С. Боровой. О реально-исторической основе сюжета «Мертвых душ», стр. 252.

тать публикации в сенатских объявлениях о продаже людей без земли (№ 29192)».⁵ И еще: «... в 1841 г. состоялось высочайше утвержденное мнение государственного совета», которое «делает самое широкое толкование закона 1833 г., в смысле ограничения продажи крепостных и раздробления крестьянских семейств при разделе наследства. На основании его: 1) покупать крестьян может только лицо, владеющее уже населенным имением, к которому покупаемые и должны быть приписаны; поэтому при совершении крепостных актов присутственные места должны потребовать от покупателя крестьян без земли, к какому недвижимому населенному своему имени намерен он приписать тех людей».⁶

Итак, продавали же все-таки крепостных без земли, не переводя их в дворяне! И продавала не только, скажем, Коробочка, уступившая протопопу двух девок, но, поступаям, делала это и реально существовавшие прототипы Коробочки. При этом поступали они в соответствии со всяческими правительственными распоряжениями.

Но если подобные сделки могла совершать дубиноголовая Коробочка, которая по скудости своего ума только заседателя могла подмаслить, то никак нельзя отрицать поистине неисчерпаемых возможностей в этом отношении Чичикова — человека, по выражению Белинского, «гениального в смысле плута-приобретателя». Тем более, что Чичиков, как это сказано в поэме, совершал оформление купчей крепости в «семейной» обстановке, предварительно расположив губернских чиновников к себе, поскольку в этом деле он предпочитал действовать «более дружбою» (стр. 241). Конечно же, он строго соблюдал все требуемые законом установления. «Сильные мира сего», «первые сановники» губернского города от «покупщика крестьян без земли» Чичикова, без сомнения, получили необходимые «справки и выправки»: недаром же он с самого начала представился «вершителям судеб» не только как коллежский советник, но и как помещик, приехавший в их город по своим надобностям, а Ноздреву даже наговорил, что он не какой-нибудь помещик, а именно херсонский. На балу у губернатора Ноздрев, увидев Чичикова, поэтому и горланил: «А, херсонский помещик, херсонский помещик!» (стр. 171).

Но из всего этого следует, что Гоголь не допускал неточностей, да еще сознательно. С. Боровой вместо того, чтобы помочь читателям разобраться в реально-исторической основе сюжета «Мертвых душ», лишает гениальное творение Гоголя правдоподобия, с чем, конечно, никак нельзя согласиться.

И последнее. Свою заметку С. Боровой начал с возражения Г. Богачу, который «несколько лет тому назад» спутал торговлю паспортами в Кишиневе с покупкой ревизских душ.⁷ Здесь он безусловно прав. Но вот в чем дело: данный круг вопросов хорошо освещен еще в 1964 году Е. С. Смирновой-Чикиной в литературном комментарии к гоголевской поэме,⁸ на который С. Боровой почему-то не ссылается.

Автор заметки не только взялся за решение уже решенных вопросов, но и «решил» их вовсе не наилучшим образом.

Б. САПКИНСКИЙ

К ИСТОРИИ ПУБЛИКАЦИИ «ПИРА НА ВЕСЬ МИР»

Глава из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир» — была впервые напечатана уже после смерти поэта — сначала в «Отечественных записках» (1881, № 2), а затем в однотомном издании стихотворений Некрасова, которое было выпущено А. А. Буткевич в том же 1881 году.

Как известно, вопрос о порядке частей «Кому на Руси жить хорошо» неоднократно поднимался в некрасоведческой литературе. Но до конца он не разрешен и сегодня. Некрасов в рукописях и гранках сделал пометку, из которой следует, что «Пир на весь мир» относится ко второй части поэмы и должен следовать за главой «Последыш». Тем не менее по целому ряду соображений в настоящее время «Пир на весь мир» печатается в конце поэмы и занимает фактически место последней части. Одним из аргументов такой композиции является то, что в издании 1881 года «Пир на весь мир» был опубликован именно так, причем при публикации этой главы была сделана пометка: «Из четвертой части». Понятен интерес исследователей к этому изданию. А. И. Груздев в статье «О композиции поэмы „Кому на Руси жить хорошо“». (Порядок частей) писал, что если сама Буткевич (знавшая

⁵ А. Романович-Славатинский. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права, стр. 303.

⁶ Там же, стр. 304.

⁷ С. Боровой не называет статьи Г. Ф. Богача, и трудно установить, о каком его выступлении идет речь.

⁸ Е. С. Смирнова-Чикина. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». Литературный комментарий. Изд. «Просвещение», М., 1964, стр. 171—173.

лучше всех историю создания «Пира на весь мир», благоговейно относившаяся к памяти поэта, стремившаяся «всемерно выполнить волю поэта по отношению к каждому произведению») «напечатала „Пир на весь мир“ не в середине произведения, а в конце его и если, наконец, вместо обозначения „Из второй части“ она написала „Из четвертой части“ — значит, к этому у нее были серьезные основания. Таким основанием могло быть устное указание Некрасова печатать „Пир на весь мир“ в конце произведения. Иначе А. А. Буткевич не совершила бы отступления от столь ясных и категорических авторских обозначений на рукописи „Пира на весь мир“».¹

К сожалению, исследователь ошибся. Как выяснилось из найденного нами письма М. М. Стасюлевича (в типографии которого печаталось издание стихотворений Некрасова 1881 года) к Буткевич, дело обстояло совсем иначе. Вопрос о возможности опубликования «Пира на весь мир» выяснился лишь тогда, когда почти вся книга была уже отпечатана. Буткевич вовсе не собиралась отступать от «ясных и категорических авторских обозначений на рукописи». Узнав о том, что глава благополучно «прошла» в февральском номере «Отечественных записок» за 1881 год, она немедленно явилась в типографию, велела приостановить печатание книги и включить «Пир на весь мир» в середину поэмы — т. е., очевидно, согласно пометкам Некрасова, между «Последышем» и «Крестьянкой». Однако ее требование выполнить не удалось: работа над книгой подходила уже к концу и поэтому «Пир на весь мир» по производственным причинам можно было поместить только в конце поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Узнав об этом, Буткевич отправила к Стасюлевичу недолгое письмо (не дошедшее до нас). М. М. Стасюлевич отвечал ей:

«Относительно же помещения „Пира“ скажу в свое оправдание то, что когда Вы остановили печатание, то то место, куда следовало его вставить, было уже отпечатано и потому волей-неволей пришлось следовать порядку посмертного издания»² (т. е. поместить «Пир на весь мир» после «Крестьянки»).

Что же касается пометки «Из четвертой части», то ее, очевидно, сделал Стасюлевич, стремившийся как-то найти выход из сложившейся ситуации.

Таким образом, в полемике о порядке частей «Кому на Руси жить хорошо» ссылка на издание 1881 года должна быть исключена.

М. ТЕПЛИНСКИЙ

У ИСТОКОВ ВОЕННОЙ ТЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ И. БАБЕЛЯ

(И. БАБЕЛЬ И ГАСТОН ВИДАЛЬ)

Цикл рассказов Бабеля «На поле чести», опубликованный в июне 1920 года в первом номере одесского журнала «Лавра» (стр. 10—12), непосредственно предшествовал конармейским рассказам и очеркам и в известной степени подготовил переход писателя на новые творческие позиции.

Цикл состоит из четырех рассказов, посвященных событиям первой мировой войны. Автор предвещает, что источником этих «заметок о войне» послужили «книжки, написанные французскими солдатами и офицерами, участниками боев на германском фронте, в частности книга Гастона Видалья «Figures et anecdotes de la grande guerre».

Книга Видалья вышла в Париже в 1918 году. В ней 35 рассказов-очерков. Бабелем использованы 11-й («Deux actes devant une conscience») и 15-й («Histoire shakespearienne»). Первый лег в основу бабелевских рассказов «На поле чести» и «Дезертир». Второй дал сюжет «Семейству папашин Мареско».

Справедлива авторская ремарка о характере использования книги Видалья: «В некоторых отрывках изменена фабула и форма изложения, в других я старался ближе держаться к оригиналу».

Что же объединяет и что различает произведение Бабеля и вдохновивший его литературный источник?

Бабель сохранил со всей полнотой деталей описанные Видалем эпизоды фронтовой жизни. Остались неизменными и сюжетные линии. Многие реплики совпадают текстуально. Особенно близок к первоисточнику рассказ «Семейство папашин Мареско», воспринимающийся в большей своей части как перевод. Но изменилась форма изложения. У Видалья в 11-м рассказе некий капитан В., с которым рассказчик познакомился в Париже, вспоминает в доверительной беседе два эпизода из своей фронтовой жизни: о дезертире Бриду и о безымянном солдате, жертве гнусного издевательства господ офицеров. У Бабеля рассказчик отсутствует. Повествование ведется от третьего лица. Дезертир назван Божиком. Второй солдат получил

¹ Истоки великой поэмы. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Ярославское книжное изд., 1962, стр. 137.

² Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 293, оп. 1, ед. 75, л. 114.

пия Селестина Биду. Капитан В. заменен в одном случае капитаном Ratin'ом, в другом — капитаном Жемье. Последнее имя не выдуманно: рассказ Видаля посвящен некоему Фирмену Жемье. Сняты авторские отступления, характеризующие гражданские и личные достоинства капитана В. Рассказам даны иные названия. Биду сделан деревенским дурачком. Значительно сокращен и 15-й рассказ за счет рассуждений повествователя, функцию которого, впрочем, Бабель сохранил.

В чем смысл всех этих изменений?

В рассказах Бабеля дана иная интерпретация фактов, заимствованных у Видаля.

Книга «Figures et anecdotes de la grande guerre», посвященная «товарищам по оружию», бойцам «героической третьей голубой бригады», написана с казенно-патриотическим позитивом.¹ Бабель лишает описываемые события героического ореола, обнажает ужасающий лик войны. Сочувствие автора целиком на стороне жертв, «маленьких людей», погибающих неизвестно за что. Пусть Биду только деревенский дурачок, но он человек; оттого в словах, заключающих его историю и отсутствующих у Видаля, слышатся боль, жалость, сострадание: «Так умер Селестин Биду, нормандский крестьянин, родом из Орн, 21 года — на обгаренных кровью полях Франции».

В целях той же дегероизации Бабель заменяет заглавие «Histoire shakespearienne», как слишком возвышающее содержание рассказа, нейтрально констатирующим — «Семейство папаши Мареско» и тем самым акцентирует мысль о повседневной жестокости и бессмысленности войны.

Патетический тон рассказов Видаля уступил место манере бесстрастной и иронично-пронической. Иронично новое название цикла — «На поле чести». Эти слова повторяются в самых неподходящих обстоятельствах. Ироническую окраску приобрела и рекомендация собственноручно расстрелявшего юношу-дезертира капитана Жемье как «патриота, книжника, парижанина и любителя красивых вещей», как «превосходнейшего человека и к тому же философа».

Четвертый рассказ — «Квакер» — не имеет отношения к сочинению Видаля. Содержание рассказа усиливает гуманистический пафос цикла. Квакер Сток, трогательно ухаживавший за прилюдной отоцавшей лошастью, был убит, когда раздобывал для своей любимицы овес. «Вокруг него с поспешностью умирали люди разных стран», и смерть квакера из-за любви к животному не кажется более нелепой, чем миллионы смертей во имя чужих интересов.

Таким образом, в цикле «На поле чести» Бабель страстно осуждает империалистическую войну, выступает в защиту «маленького человека», не желающего быть «пушечным мясом».

Цикл этот явился шагом вперед в творческом развитии писателя. Впервые он подошел к актуальной современной теме, задумался как художник над вопросами политически злободневными. Давая мировой войне резко отрицательную оценку, он в дневниковых записях, сделанных в том же июне 1920 года, противопоставил ей совершенно иное восприятие войны гражданской.

Сопоставление анализируемых произведений наводит также на мысль: не послужила ли книга Видаля композиционным прообразом будущей «Конармии»? Наличие рассказчика — участника событий, сведение в единый цикл нескольких десятков миниатюр (в конечном итоге у Бабеля их оказалось тоже 35), разнородность жанровых форм (исповедь, запись в дорожном блокноте и т. п.), своеобразное сочетание патетики и иронии, возвышенного и пошлого, трагического и комического — все это впоследствии отозвалось в «Конармии», но уже на принципиально иной реально-бытовой и идейно-эстетической основе.

И. С М И Р И Н

ОРУЖИЕМ ЛИТЕРАТУРЫ

Передо мной — листовки, изданные дальневосточной военной газетой «Боевой курс» в начале августа 1945 года, в период боевых действий советских войск против империалистической Японии.

Материал листовок — отрывки из романа А. Степанова «Порт-Артур».

«Начинаем печатать отрывки из исторического повествования А. Степанова „Порт-Артур“, — говорилось в первой листовке. — В них рассказывается о знаменитой обороне крепости Порт-Артур, о беззаветном героизме простых русских сол-

¹ Такую аттестацию дает этой книге, прославляющей воинские доблести защитников «прекрасной Франции», и автор предисловия к ней Виктор Маргерит: «Les pages roulent, confondues, de la pensée, de la misère humaine, gai courage galois, et enfin cette vertu essentiellement française: Amour sacré de la Patrie, telles sont les caractéristiques de l'œuvre» (p. XII).

дат и молодых офицеров армии и флота, вписавших в славную историю русского оружия немало замечательных страниц».

Вслед за первой листовкой, рассказывавшей о разбойничьем нападении, без объявления войны, японских кораблей на русскую эскадру, были выпущены листовки под названиями: «Любовь к военному делу», «Храбрость и смекалка — родные сестры», «Боевое содружество» (матросов, стрелков и артиллеристов), «Преданность своему командиру», «Верность своему долгу». Как видим, отрывки из литературного произведения весьма хорошо ложились в рамки партийно-политической работы среди воинов Советской армии. Я вспоминаю, с какой оперативностью выпускались эти листовки, как редакция газеты стремилась быстрее всего — на самолетах — донести странички романа до тех, кто непосредственно громил агрессора на Дальнем Востоке.

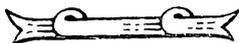
Советский писатель сумел подчеркнуть немеркнущее в русской воинской славе. Повествуя о прошлом — о нападении агрессора (роман создавался в конце 30-х — начале 40-х годов), он думал о будущем — о возмездии агрессору. И поэтому-то его роман получил столь сильный воспитательный эффект. Литературное произведение помогало лучше понять опасного и сильного противника, мотивы и образ его действий, давало живые примеры борьбы с ним в прошлом. Оно рисовало облик, характер, душу русских людей — патриотов родины.

Оборона Порт-Артура стала символом русской воинской чести и доблести. «332 дня длилась осада крепости Порт-Артур, — говорилось в предисловии редакции к одному из отрывков. — Слабо вооруженная, неподготовленная, возглавляемая комендантом-пзменщиком, крепость выдерживала в течение долгого времени бешеный натиск превосходящих сил японцев. Ничто не могло сломить упорства, стойкости ее защитников, ничто не могло поколебать их доблести, ничто не могло заставить их покинуть свои позиции. Сознание долга побеждало страх. Люди погибали, но имя русского солдата не позорили, честь свою держали высоко».

Героическая оборона Порт-Артура перекликалась с высокими примерами героизма советских воинов в Великой Отечественной войне. И все это в целом делало книгу А. Степанова чрезвычайно действенной.

Автор «Порт-Артура» достойно продолжил живую традицию советской литературы — традицию активного воздействия на читателя в предполагаемых обстоятельствах завтрашнего дня, воспитания в нем лучших моральных качеств, традицию «Чапаева», «Поднятой целины», «Как закалялась сталь». Пожелтевшие листовки с текстами из «Порт-Артура» наглядно свидетельствуют об этом.

В. КОВАЛЕВ



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Л. ПОЛЯК

О НЕИЗВЕСТНОМ И ЗАБЫТОМ НАСЛЕДИИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ *

Очень трудно дать читателю исчерпывающее представление о недавно вышедшем томе «Литературного наследства», посвященном творческому наследию советских писателей. Трудно потому, что этот том необычайно богат и разнообразен по материалу, вошедшему в него. Здесь представлены писатели далеко не сходных литературных течений, школ, стилевых систем, писатели хотя и одной эпохи, но разной судьбы, разных поколений.

В том вошли многочисленные документы, отражающие различные стадии творческого труда писателей, их художественных исканий, — письма, дневники, записные книжки, планы, черновые редакции, фрагменты будущих произведений, незавершенные замыслы, неопубликованные статьи, пьесы, повести, поэмы. Наконец, том включает даже рисунки Эдуарда Багрицкого — своего рода автокомментарий к его художественному наследию.

При всей, казалось бы, пестроте книги, широте тематического и жанрового диапазона в ней есть определенное единство. Читая ее, как бы проникаешь в лабораторию писателя, прикасаешься к таинству творчества, всегда сложного, мучительно трудного, несущего и горечь неудовлетворенности, и радость новых находок, новых открытий.

Не конечный результат творческих усилий художника, а воссоздание самого процесса творчества — вот что лежит в основе замысла книги в целом. С творческой историей отдельных произведений, в частности бессмертной комедии «Горе от ума», результатом своих многолетних исследований, знакомил нас еще в 20-е годы первооткрыватель этой научной проблемы Николай Кирьякович Пиксанов.

Кроме неопубликованных статей А. В. Луначарского о советской литературе, открывающих том, в нем сосредоточены материалы для изучения творческой истории произведений Горького, Бабеля, Алексея Толстого, Фадеева, Ильфа и Петрова, Вересаева, Фурманова, Луговского, Артема Веселого, Багрицкого и Грина. Вступительная статья В. И. Борщуква обобщает все эти материалы, убедительно и умело показывает значение их для изучения истории советской литературы.

Пожалуй, одно из самых значительных мест занимают горьковские материалы. Несмотря на обширную «горьковяну», которой мы владеем, — разнообразную публикацию архивных текстов, детально разработанную «Летопись жизни и творчества Горького», обилие монографий, статей, диссертаций, кандидатских и докторских, литературных портретов, многотомных и давно зарекомендовавших себя «Горьковских чтений», этот раздел рецензируемого тома во многом обогащает наши знания об основоположнике искусства социалистического реализма.

Весьма интересны опубликованные отрывки из ранних редакций «Жизни Клим Самгина». Еще и еще раз убеждаешься в том, какими сложными путями шел Горький к созданию своей грандиозной эпопеи, так скромно названной им повестью. Знакомясь с этими отброшенными впоследствии черновыми редакциями, понимаешь всю точность и силу написанных им когда-то слов: «...„Самгин“ ест меня. Никогда еще я не чувствовал так глубоко ответственности своей пред действительностью, которую пытаюсь изобразить. Ее огромность и хаотичность таковы, что иногда кажется: схожу с ума» (стр. 119). Этой беспощадной требовательностью к себе настоящего художника можно объяснить отказ Горького от художественно завершенных, значительных сцен и эпизодов, которые он не включает в окончательный текст, если они, по его мнению, случайны, замедляют действие, не встраиваются органически в задуманный сюжет.

Эти ранние редакции подсказывают исследователю выводы о том, в каком направлении двигалась творческая мысль Горького, когда он работал над образом

* «Литературное наследство», т. 74, 1965. Из творческого наследия советских писателей. (Редакторы тома — В. И. Борщук, Л. И. Тимофеев, Н. А. Трифонов. В редактировании тома активное участие принимала Л. М. Розенблюм. Подбор иллюстраций — Т. Г. Динесман при участии Н. Д. Эфрос).

главного героя. Нисколько не сглаживая обличительно-осуждающих, безжалостных интонаций в адрес Самгина, Горький отказывается от прямолинейных, открытых характеристик, от авторских комментариев, поясняющих «самгинщину» (см., например, отрывки «Самгин и революционные идеи» (стр. 123—124), «Отношение Самгина к России» (стр. 129—130), «Самгин о „множестве правд“» (стр. 134) и др.).

В последней редакции он предоставляет, в основном, самому герою срывать с себя маску, саморазоблачаться, обнажать свою подленькую сущность. Глаза автора чаще всего заменяются «глазами Самгина», этого равнодушного свидетеля жизни, которого Горький освобождает от всяких следов карикатурности, противоречащей основному принципу изображения героя, персонажа отнюдь не сатирического, как утверждают некоторые исследователи, лишённого черт гиперболизации, гротеска.

Представляет несомненный интерес и публикация первой редакции пьесы Горького «Фальшивая монета», пьесы, крайне усложненной и во многом загадочной. Нельзя не согласиться с Б. А. Бяликом, автором предисловия, в том, что первая редакция носит явные следы мелодрамы, тем более что она и относится именно к тому периоду, когда Горький был увлечен идеей создания «мелодрамы нового типа», «проникнутой романтическим настроением» (стр. 56, 54).

Кропотливую работу проделала В. С. Нечаева, разобравшись в архивных материалах, относящихся к «Фальшивой монете», систематизировав их. Сохранились сотни страниц автографов Горького, десятки машинописных текстов с авторской правкой и множество небольших разрозненных отрывков. На основании этого сложного, запутанного материала текстологу удалось воссоздать творческую историю горьковской пьесы и наметить основные этапы работы над ней.

О пьесе «Васса Железнова» (о двух ее редакциях) существует большая литература. Автор статьи «Работа Горького над второй редакцией пьесы „Васса Железнова“» В. В. Починов не занимается сравнением этих редакций, а останавливается на не изученном до сих пор вопросе — процессе работы над последним вариантом, положив в основу своего исследования сохранившийся черновой автограф первого акта и два наброска, относящихся к началу работы над редакцией 1935 года. Ослабление углового мотива, преобладающего в редакции 1910 года, и значительное углубление социального смысла драматических ситуаций и коллизий в семье Железновых, самой развязки, когда и смерть героини приобретает социальное звучание, — таково движение замысла Горького. Эти выводы, может быть, и не столь новы. Но они конкретизированы, обоснованы и подкреплены неизученным материалом.

Один из интереснейших разделов тома посвящен И. Бабелю, творчество которого в последнее время очень мало освещалось в печати. Тем ценнее статья И. А. Смирнова, не только комментирующая публикуемые материалы, но и знакомящая читателя с литературными исканиями автора «Конармии», с особенностями его художественной манеры, его стиля.

В статью вкраплены отрывки из дневника Бабеля, относящиеся к 1920 году и связанные с пребыванием его в армии Буденного. Можно только пожалеть, что дневник дан в цитатах, разрозненно, а не в том виде (тоже далеко не полном). В каком сохранился в архиве вдовы писателя А. Н. Пирожковой. Но и из этих отрывочных дневниковых записей, приведенных в статье и примечаниях, из опубликованных в томе планов и набросков к «Конармии» вырисовывается контур будущей книги. И мы убеждаемся, что не на основании буйного воображения, безудержной фантазии, а из жизненного опыта чаще всего вырастали острые конфликты, неожиданные противоречивые ситуации, живописные герои бабелевских новелл. Прямое отношение к некоторым рассказам — «Начальник коззапаса», «Прищепка», «Берестечко», «Рабби» и др. — имеют его походные записи. Правда, характерен самый отбор фактов, увиденных под определенным углом зрения, характерны те контрасты быта, психологии человека, которые привлекли его внимание и в преобразованном виде, в гротескной форме вошли в художественный текст. Но несомненно, однако, стремление писателя опираться в своем творчестве на фактическую основу, хотя и подвергнувшую большую творческой переработке. Субъективное и объективно реальное причудливо переплеталось в творчестве писателя-романиста. К такому выводу приходишь, ознакомившись с материалом новых публикаций о Бабеле.

Приведенный в томе забытый очерк «Ее день», напечатанный в свое время в газете «Красный кавалерист» (1920, № 235, 19 сентября), посвящен медицинским сестрам.

«Вот они, наши героические сестры! Шапку долой перед сестрами! Бойцы и командиры, уважайте сестер! Надо, наконец, сделать различие между обобщенными феями, позорящими нашу армию, и мученицами-сестрами, украшающими ее», — этими словами заканчивается очерк (стр. 488). Бабель видел этих героических, гордых сестер и любовался ими, но в своей книге не изображал их.

Его как художника привлекали другие герои, герои противоречивые, совершающие и «будничные злодеяния», и героические поступки, но неспособные предать революцию, без размышлений отдающие жизнь за нее. Именно контрастные харак-

теры, в которых стихийное начало сочеталось с разумно-революционным, жестокая непримиримость, беспощадность и грубость — с трогательной человечностью, справедливостью, чувством исторической правды, изображал Бабель в «Конармии».

По словам Фурманова, Бабель жаловался ему на неполноту в изображении буденновской армии: «Вижу, что не дал я там вовсе политработника, не дал вообще многого о Красной армии — дам, если сумею, дальше. Но уж не так оно у меня выходит солоно, как то, что дал. Каждому, видно, свое».¹

Новые материалы о Бабеле дополняют наше представление об этом глубоко самобытном художнике, ставившем своей основной задачей в «Конармии» — передать драматизм, напряженность и контрасты переходной эпохи.

О личных и творческих связях Бабеля и Фурманова, их взаимной доброжелательности, чуткости в отношении друг к другу, несмотря на разность писательских индивидуальностей, эстетических взглядов, художественных позиций, широко информирует сообщение Л. К. Кувановой, насыщенное интересным документальным материалом.

Любопытны страницы, посвященные Фурманову. Опубликованная в томе пьеса «За коммунизм» (1921), художественно незрелая, интересна как первый опыт изображения писателем гражданской войны, как своего рода заявка на «Чапаева». Уже здесь проявляется черта, характерная для всего творчества Фурманова, — умение рассматривать личную судьбу, этапы своего жизненного пути как материал для художественного обобщения. «Мало можно найти таких примеров, — вспоминает о Фурманове его жена, — когда сам человек подходит к себе как к социальному явлению».²

Основной героиней пьесы, военный комиссар полка Дубровиц, этот предшественник Клычкова, — образ во многом автобиографический, обобщающий опыт самого автора. Фурманов стремился показать революционного борца, человека большевистской закалки, в те годы еще не так часто появлявшегося на страницах советских книг. Сама попытка создать образ коммуниста, лишенный черт аскетизма и жертвенности, обязательных в те годы для каждого героя-большевика (от «Недели» Либединского и романов Эренбурга до «Разгрома» Фадеева), была новаторской. Однако художественное решение этой проблемы выглядит в достаточной степени наивным и беспомощным. Наиболее слабо раскрыта в пьесе тема личного счастья (взаимотношения Дубровина с его женой Верой Михайловной).

Фурманов силен и неповторим там, где исходит из реальных событий и лиц, из живой истории. Введение в художественно-документальное повествование «беллетристического» элемента, выдуманных коллизий приводит его чаще всего к неудачам. Мы знаем, что Фурманов в процессе работы над «Мятеском» отказался от традиционного, столь, казалось бы, соблазнительного приема построения сюжета: «ввести такой элемент: Мамелюк, влюбленный в Наю, желающий овладеть ею и, следовательно, избавиться предварительно от меня, — тайно пробирается в крепость, измещает нам и подговаривает всех нас арестовать, расстрелять, а для виду арестовать его».³ и т. д. Фурманов не реализовал своего замысла. Он почувствовал всю искусственность введения этого «занимательного» эпизода, не укладывавшегося в его превосходную документальную книгу «Мятеж». Пьеса «За коммунизм» пагладно демонстрирует, в чем сила и в чем слабость автора «Чапаева». И в этом, как нам кажется, значение публикации данной рукописи.

Стихотворения в прозе Артема Веселого из незавершенного цикла «Золотой чекан» расширяют наше представление об авторе «Дикого сердца», «Рек огненных», «России, кровью умытой». Органически связанные с лирическими отступлениями его повестей и романов, они не воспринимаются как нечто неожиданное для творчества Артема Веселого — прозаика. Одна из особенностей его стиля, раскрывающаяся в данном цикле, — пристальное внимание к слову, прояснение его смысла, обогащение его сердцевины. Артем Веселый часто прибегает к неологизмам (ср., например, замену слова «муж» словом «женух»), ему свойственна игра словом, близкая языковым экспериментам Велимира Хлебникова.

«Я подбираю цветные слова без усталости, грашно и шлифую их и перестраиваю и так и эдак, и вот строка сияет радугой, и каждое слово, усиливая силу граничащих с ним слов, не теряет и собственного блеска...

Слово — это масло в светильнике, питающее пламя мысли... Слово — зеркало звука.

В слове — улыбка цветка и жалобы струны» (стр. 530).

«Мудрое и глупое слово идут по тропе одной строки» (стр. 528) — таковы наиболее характерные высказывания писателя о слове, входящие в этот же стихотворный цикл. Однако иной раз Веселый впадает в мадерность и претенциозность,

¹ Дм. Фурманов, Собрание сочинений в четырех томах, т. IV, Гослитиздат, М., 1961, стр. 341.

² А. Фурманова. Дмитрий Фурманов. Боец, писатель, большевик. Госполитиздат, М., 1938, стр. 20.

³ Отдел рукописей Института мировой литературы им. М. Горького АН СССР, архив Фурманова, ф. 30, оп. 1, Наброски плана, пункт 20-й.

граничащие с безвкусицей. Но все это — по большей части лишь подготовительные материалы, не прошедшие еще окончательной цензуры художника.

В томе собраны записные книжки и дневниковые записи Алексея Толстого, Владимира Луговского, Ильфа. Это память мысли и сердца писателей, драгоценные кладовые слова, торопливые наброски, зародыши еще не выношенных произведений, не развернувшихся сюжетов. Писателю они заменяют блокнот художника, фиксирующего ускользающую жизнь, проносющийся мимо поток времени, закрепляющего приметы живого и вечного мира.

Американский дневник Ильфа (стр. 542—572) — это канва будущей книги. Это запись-намек, перечисления, реестры:

«Электрический дом.

Электрическая швейная машина.

Вытяжка.

Яйца, хлеб, кофе, печь, станок, утюг, мусор, мойка, плита, рефрижератор» (стр. 552).

Иногда в одном ряду — заметки различного плана, смысла, веса, записанные торопливо, без комментариев:

«Ограничение автоскорости регуляторами.

Господин в цилиндре внезапно прыгнул в Темзу. А все шло хорошо.

Механическая скрипка.

Пылесос. Он высасывает часть ковра. Старый обратно. То же и с пианно.

В Кливленде номер дома 18151» (стр. 552).

Из накопленных фактов и наблюдений, афоризмов, парадоксов («Если дорого иметь собаку, заводят себе детей»; «Есть вещи, которые нельзя изменить. Сапоги можно сшить, но нельзя научить человека смеяться по-русски, если он не видел русских, не жил с ними — это безнадежно» (стр. 564, 556)) вырастают обобщения, вырастает книга «Одноэтажная Америка».

Необычайно разнообразны записные книжки Алексея Толстого. Их содержание чаще всего связано с замыслом большого произведения. Из опубликованных в данном томе наибольший интерес представляют записи к «Хождению по мукам». Планы отдельных глав и частей, наброски сюжета, характеристики героев — исторических и вымышленных (Махно и Телегин, Деникин и Мамонтов, Даша и Катя), приметы времени («Петроград — пустой, трава на улицах, козы, лошади, пустыри. Тишина. Зеркальные воды. Пустые дворцы»), документы истории (телеграмма Мамонтова, приказы белых), пейзажные зарисовки («Цыплячий пушок на берегах. Всюду поля, опрятная земля»), мысли о России, о русском характере, отрывок из «Случайного письма», подслушанные диалоги, удачно найденное слово («Противник стреляет скучными снарядами»), языковые каламбуры («Говорят женские слезы вода, нет женские слезы — невода, ими мужиков ловят, а короче говоря — бредни») — такова в полном смысле слова мозаика записей Толстого (стр. 286, 290, 301, 346).

Но при всей пестроте этих заметок сразу бросается в глаза настороженное внимание писателя к историческим деталям, точно датированным фактам, событиям, к документам эпохи. «Моя работа, — писал А. Н. Толстой в период создания «Восемнадцатого года», — требует большой книжной подготовки, фактической точности. Мой роман точен, как историческое исследование, и в этом главная сила».⁴ Записные книжки Толстого — неопровержимое доказательство этих слов.

О записных книжках Луговского хорошо и точно сказала в маленьком предисловии, поэтическом этюде-воспоминании Елена Быкова: «К книжкам он относился, как к живым существам. И был он прав, потому что сейчас, когда его уже нет, записная книжка его воспринимается как существо одушевленное, несущее его эманацию — вечно живую человеческую мысль» (стр. 692). И мы чувствуем эту движущуюся живую мысль поэта, из которой рождаются будущие строки и строфы стихов и поэм, когда читаем: «Шуба — дед — гостипая — голоса за дверью — запах ломберных столов — ворсинки меха — запах деда, зверей — духота — рыжая дорожка — все дальше и дальше — сосны — рыжая, опавшая хвоя — рыжики — рыжие листья — белки — тропки — маленькие рыжие мужики — пилят сосновые иглы» (стр. 710).

Рисунки Багрицкого, широко представленные в томе, — тоже своеобразные записные книжки поэта, тоже черновики, варианты, наброски, эскизы задуманных произведений, их предшественники и спутники. Иронически-острые, гротескные, стремительные и меткие, эти рисунки-шаржи сливаются с образами его стихов. Это не иллюстрация к произведениям поэта, это его поэтическая мысль, поэтическая идея, закрепленная не в слове, а в рисунке. Динамическая экспрессия его стихов, его поэтических интонаций («Сквозь волны — навывлет! Сквозь дождь — наугад!») родственна динамике его рисунка. Перо поэта и перо художника неотделимы. Предметность и вещьность, осязаемость и зримость словесных образов — стиливые черты поэзии Багрицкого, которые обычно объясняют влиянием акмеизма, — не рождены ли видением поэта-художника, поэта-рисовальщика? Графика Багрицкого —

⁴ Там же, архив А. Н. Толстого, № 6230/15.

¹ 4. 14. Русская литература, № 1, 1967 г.

богатейший материал для исследователя его стиля, его художественной манеры. Далеко не новая идея о связи искусства слова и изобразительного искусства наглядно подтверждается. Рисунки поэта обнажают смысл, образность его стихов, а его стихи дополняют наше представление о Багрицком-художнике. Мы должны быть признательны исследовательнице графического наследия Багрицкого покойной М. Э. Голосовкер, которая нашла, описала и систематизировала более 400 рисунков, в некоторых случаях установив их авторство.

Публикация писем Багрицкого к родным и друзьям, хитровато-насмешливых и одновременно нежно-заботливых, сочный языковой колорит которых заставляет вспомнить «Одесские рассказы» Бабеля, восполняет неповторимый облик автора «Думы про Опанаса».

В томе публикуются также неизданные и забытые материалы из творческого наследия Грина («Маятник души» и «Наброски второй главы романа „Недотрога“»). Лучшей характеристикой этого писателя являются слова Багрицкого, приведенные в разделе писем поэта: «А. Грин — один из любимейших авторов моей молодости. Он научил меня мужеству и радости жизни. Мало кто из русских писателей так прекрасно овладел словом во всей его полноценности, и никто, я уверен в этом, не умел так сюжетно строить. Мы не имеем права забыть этого мастера — это бесхозяйственно» (стр. 462).

Публикуемое наследие советских писателей включает и критические работы — статьи А. В. Луначарского и его предисловие к сборнику стихов С. Городецкого. Эти работы, как верно замечает автор предисловия Н. А. Трифонова, — «прежде всего документы, важные для уяснения взглядов и позиций выдающегося критика, дополнительная страница в истории советской литературы и литературной критики» (стр. 28). Они освещают положение на литературном фронте 20-х — начала 30-х годов, передают накаленную атмосферу тех лет, с ее страстными спорами вокруг напумевших тогда произведений пролетарских поэтов, а также «Цемента» Гладкова, «Чертухинского балакиря» Клычкова, «Дней Турбиных» Михаила Булгакова. Многие из оценок Луначарского, естественно, устарели, многое пересмотрено временем, однако поражает широту взглядов, проницательности, историзму мышления крупнейшего литературоведа и критика, на работах которого меньше всего отразился распространенный в те годы вульгарный социологизм. Противник администрирования в искусстве, Луначарский всегда выступал против ограничения прав художника. «Конечно, — писал он, — цензура не должна пропускать явной контрреволюции. Но за вычетом этого все талантливое должно находить возможно более свободный доступ на книжный рынок» (стр. 31).

Публикуемая статья «О социалистическом реализме», хотя и была написана в 1933 году (она предназначалась для немецкого издания «Литературной газеты»), не потеряла своего интереса и сейчас, когда проблема метода советского искусства так широко и разносторонне обсуждается на страницах нашей печати.

Несколько слов об исследовательских статьях, опубликованных в рецензируемом томе. Читатель, давно и хорошо знакомый с «Литературным наследством», привык к печатающимся в этом издании оригинальным работам, посвященным — в зависимости от тематики тома — отдельным произведениям, писателям или целым литературным течениям, стилям, направлениям. Но авторы данного тома ограничились в большинстве своем довольно сухими комментариями к неизданным или забытым текстам. Исключение составляют, пожалуй, работы И. А. Смирнова о Бабеле, Вл. Россельса о Грине или текстологическая статья В. С. Нечаевой «Работа Горького над пьесой „Фальшивая монета“». Между тем нам кажется, что исследователи творческого наследия советских писателей не могут ограничиваться только описанием и комментированием текстов. Их задача — на основе изучения публикуемых текстов, вариантов, планов, набросков, записных книжек уяснить место данного произведения в творческой биографии художника, уловить специфику художественной манеры, стиля писателя, характер его идейных и литературных исканий, эстетических взглядов. Вот каким должно быть, по нашему мнению, общее направление статей, публикуемых в издании подобного типа.

Меньше всего отвечает этим требованиям статья В. Г. Боборыкина «Из творческой истории „Молодой гвардии“». Страницы черновых вариантов первой редакции даны в публикации без всякой системы; читателя не оставляет впечатление случайности и необоснованности в отборе материала. Комментарий к ним не проясняет ни метода работы писателя, ни «драматической» творческой истории «Молодой гвардии». В конце статьи-комментария автор пишет: «Черновики первой редакции романа составляют около четырех тысяч рукописных и машинописных страниц. Это не менее чем в пять раз превышает объем печатного текста. Можно заключить из этого, какой напряженной работы потребовало от Фадеева создание „Молодой гвардии“...» (стр. 357). Но чтобы сделать подобный вывод, не надо изучать черновых редакций и восстанавливать творческую историю произведения. Это более или менее общее место, слова, которые можно априори отнести к любому настоящему писателю.

Интересные тексты, которых немало в этом томе (не все они даже названы в рецензии), требуют и содержательных статей о них.

В заключение хочется порадоваться вместе со всеми читателями тома, что «Литературное наследство», не ограничиваясь изучением наследия русской и зарубежной классики прошлого, обратилось к живой современности — к советской литературе. С нетерпением мы будем ждать новых томов, которые дадут возможность проникнуть в художественную мастерскую ряда других советских писателей, шире и глубже понять их творчество и весь сложный процесс развития социалистического искусства.

Е. РОВДА

КНИГА О СУДЬБАХ ФОРМАЛИЗМА И ФОРМАЛИСТОВ *

В последнее время в буржуазном литературоведении усилилась пропаганда формализма и структурализма. Некоторые американские литературоведы воскрешают давно умерший русский формализм¹ и видят в нем предшественника современного американского «неокритицизма»,² который выступает против марксизма в литературной науке, стремясь расширить плацдарм борьбы до международных масштабов. В ряде социалистических стран оживились попытки реабилитировать формализм и структурализм как якобы плодотворные литературоведческие методы. Поэтому нельзя не признать своевременным и полезным труд чешского литературоведа академика Ладислава Штоллы «К вопросу о форме и структуре в словесном искусстве», рассматривающий методологические корни формализма и пражского структурализма, на что прямо указывается в подзаголовке книги. Автор отступил, по его словам, от первоначального замысла — написать обширный труд, в котором была бы полностью исчерпана тема, и ввиду актуальности предмета решил не откладывать публикации одной из самостоятельных частей задуманной работы. На наш взгляд, он поступил правильно, активно вмешавшись в острую идеологическую борьбу вокруг литературоведческих проблем.

Книга делится на три части: 1) Кризис эстетики и русская формальная школа; 2) Исходные позиции пражской школы; 3) Через обезличение к дегуманизации эстетики.

Замысел книги состоит в том, чтобы показать, как в результате кризиса буржуазной эстетики утверждается литературоведческий метод, который, желая быть точным и опирающимся на объективные критерии при изучении самой сущности словесного искусства, вступает на путь имманентного понимания историко-литературного процесса и формального анализа литературного произведения; как, возникнув на Западе (в трудах Ф. Брюнетьера (1849—1906)), он становится исходной точкой для появления русской формальной школы.

Опираясь на философию позитивизма, эта школа выступила против зарождавшегося в первые годы пролетарской революции в России марксистского литературоведения, претендуя на общеметодологическое значение в исследовании литературных явлений, и потому объективно оказалась на реакционных позициях. Пражская же школа структурализма выросла под непосредственным влиянием русского формализма — как отклик на него в то время, когда русский формализм под напором молодой марксистской критики начал сдавать одну позицию за другой, а его представители сложными индивидуальными путями все более удалялись от формализма и приближались к марксизму.

Развиваясь в неординарных социально-исторических условиях, эти школы во многом шли в различных направлениях. Если русские формалисты переходили от

* Ladislav Štoll. O tvar a strukturu v slovesném umění. K metodologii a světónázorovým východiskům ruské formální školy a pražského literárního strukturalismu. Praha, 1966, 190 str.

¹ Viktor Erlich. Russian Formalism. The Hague, 1955.

² В предисловии к сборнику статей русских формалистов, изданному в США, Л. Т. Лемон и М. П. Раис пишут, что, знакомясь с ранними работами русских формалистов, говорящий по-английски читатель, несмотря на различия в терминологии и деталях аргументации, ощутил себя на знакомой почве. При должном внимании он обнаружит здесь «некоторые мысли „неокритиков“, их стратегию и даже их врагов», а работы таких лингвистов и критиков, как Арчибалд Хилл, Сеймур Чэтмен, Дуайт Болинджер, Д.-Т. Трэггер, Х.-Л. Смит и Г. Уайтхолл, «развивают традиции русских формалистов и пражских лингвистов» (Russian Formalist Criticism. Four Essays. Translated and with Introduction by Lee T. Lemon and Marion J. Reis. University of Nebraska Press. Lincoln, 1965, pp. IX, XVI). Об американском «неокритицизме» см.: Г. М. Фридендер. К критике методологических концепций современного буржуазного литературоведения. В кн.: Вопросы методологии литературоведения. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, стр. 61—76.

позитивистских взглядов к марксистским, то их чешские последователи шли от позитивизма к неопозитивизму и далее — к еще более последовательному субъективистско-идеалистическому пониманию искусства.

Вторая мировая война приостановила дальнейшее развитие пражского структурализма. После войны, в условиях победы социализма в Чехословакии, он вступает в период быстро прогрессирующего распада, а его сторонники во главе с талантливым Яном Мукаржовским повторяют путь русских формалистов: последовательно преодолевают идеалистические заблуждения и переходят на позиции марксизма-ленинизма. Решающую роль в этом переходе, как устанавливает автор, сыграла социально-историческая обстановка, сложившаяся после второй мировой войны, и рост марксистской литературной критики в социалистической Чехословакии. Такова схема взаимоотношений русского формализма и пражского структурализма, развернутая в исследовании.

Чешский литературовед указывает также, что развитую практикой общественно-литературного развития методологию берет на вооружение буржуазная литературная наука в США и, развивая или, вернее, видоизменяя, модифицируя ее, использует как оружие в борьбе против марксистской эстетики, пытаясь воздействовать и на литературоведов социалистических стран.

Книга Ладислава Штоллы — первая научная, объективная история русской формальной школы. Автор дифференцированно рассматривает русский формализм, пражский структурализм и американский неокритицизм и видит не только их общность, но и различия, порожденные временем и национальными особенностями. Для него совершенно ясен антигуманистический пафос американского неокритицизма, вырастающий на почве реакционной идеологии американского империализма. «Поэтому, — замечает Штолль, — это американское неокритическое течение лишь с большой натяжкой можно ставить в родственную связь с русской формальной школой, где выражение творческой индивидуальности с точки зрения литературного исследования было, в сущности, понято с самого начала» (стр. 18), хотя к нему подходили скорее как к рабочей гипотезе. По-разному относились русские формалисты и американские неокритики и к творческой индивидуальности художника.

Для советского читателя особенно интересной является первая глава книги, где дан исторический очерк русского формализма. Связывая его происхождение с кризисом общеевропейской буржуазной культуры и эстетической мысли, Ладислав Штолль показывает и русские истоки формальной школы. Русские формалисты опирались на труды Александра Веселовского — на те стороны его теории, которые вели этого ученого к пониманию литературы как самостоятельного специфического ряда.

Отвергнув в учении Александра Веселовского элементы, характеризующие его взгляды на литературу как на историю общественной мысли, отражающейся «в философском, религиозном и поэтическом движении», формалисты обратили внимание лишь на ту сторону деятельности великого русского ученого, которая влекла к формалистическому пониманию литературного творчества. А. Веселовский, подчеркивает чешский ученый, еще видел связь элементарных этических и лирико-эпических схем, сюжетов, мотивов с культурными и психологическими условиями эпохи, тогда как формалисты оторвали одно от другого и тем устранили и самый намек на материалистическое происхождение этих словесных форм, лишая их живого исторического содержания и смысла; они приписывали им характер абстрактных комбинационных схем, тем самым подходя к мнимой ликвидации различия между формой и содержанием. При такой логике все в художественном произведении становилось «приемом», формой.

Элементы художественной конструкции были поняты формалистами как строительные элементы, лишенные смысла и связи с жизнью, как явления, аналогичные явлениям языка и безразличные к социально-классовым отношениям. Перенеся лингвистические методы анализа не только в поэтику, но и в теорию литературы в более широком смысле, формалисты, по словам чешского исследователя, «исключили из нее идеологический момент», и в этом заключается «объективно реакционная сторона их философской позиции» (стр. 25). И если к наследию А. Веселовского они относились критически-позитивно, то их отношение к идеям А. Потебни было критически-оппозиционным. В обоих случаях, однако, замечает Л. Штолль, они критиковали справа: «Веселовского за этнографизм и историчность, а Потебню за признание им познавательного значения искусства, следовательно, в обоих случаях боролись против прогрессивных сторон их наследия» (стр. 27). Чешский литературовед убедительно показывает, что философская позиция формалистов является идеалистической.

Серьезное внимание автор уделяет борьбе возникавшей молодой литературной науки с теоретиками формализма в 20-е годы, в особенности дискуссии 1924 года, сущность которой, по его мнению, состояла в том, что тут «сразился материалистический монистический принцип с идеалистическим плюрализмом» (стр. 27), и тогда вчерашние формалисты начали отступать, сосредоточиваясь уже на второстепенных вопросах, чтобы замаскировать свое отступление.

Выступление А. В. Луначарского³ автор справедливо считает наиболее значительным в этой дискуссии, отмечая в его критике историзм и отсутствие вульгаризации марксизма, тогда как многие сторонники марксистской литературной теории в борьбе против так называемого формального метода «в полном смысле вульгаризировали свою аргументацию тем, что сужали свою позицию до так называемого *социологического метода* (имеется в виду вульгарный социологизм, — К. Р.) и абсолютизировали социологический аспект» (стр. 32). Многие из критиков, субъективно считавшие себя марксистами, «зачеркивали и упрощали действительное марксистско-ленинское понимание вещей» и в своем методологическом подходе «вульгаризировали материалистически-монистический принцип, чем, разумеется, только усиливали так называемые „спецификаторские“ формалистские позиции» (стр. 35).

Ладислав Штолл отдает должное упорной и настойчивой деятельности формалистов, принесших в качестве их специального вклада в литературную науку «новые объективные истины», в которых «марксисты глубоко заинтересованы» (стр. 37). Однако формалисты и в том случае, когда называли себя спецификаторами, не выступали лишь как узкие специалисты, а считали себя «глапатаями нового общеметодологического учения, следовательно, и определенных философских и идеологических основ» (стр. 38). Для нас, марксистов, справедливо утверждает Л. Штолл, это совершенно неприемлемо. Формалисты преувеличивали значение одной из сторон художественного творчества, выдвигая ее в качестве главной. Они отрицали принципы материалистической эстетики, идейности и классовости литературы — пезыблемые принципы марксистского литературоведения. И если они воинственно и порою удачно нападали на вульгарных социологов, то никогда не нападали на них «за *вульгаризацию научной марксистской методологии*, а за попытки, может быть, и неудачные, овладеть ею» (стр. 38), — продолжает исследователь, цитируя статью А. С. Бушмина «Социалистический реализм. (К вопросу о его толковании)».⁴

Вывод, к которому приходит чешский ученый, заключается в следующем. Формализм с самого начала выступал очень агрессивно и опирался на идеологические основы, явно чуждые марксизму. Поэтому понятно, что с ростом молодой марксистской литературной науки борьба между формализмом и марксизмом неизбежно обострялась. «Представители формализма в социалистической стране, — пишет ученый, — под воздействием научной аргументации постепенно пересматривали свои философские и идеологические позиции и переходили на единственно возможную идейную-научную платформу, платформу марксизма-ленинизма, и только при этом условии могли успешно реализовать свои научные возможности. На личном жизненном пути каждого из них можно проследить закономерную тенденцию приятия познанной истины, постепенного сближения с интересами революционных сил, создающих новый общественный строй, органического перехода на почву новой научной идеологии» (стр. 41—42).

Ладислав Штолл резко критикует буржуазных литературоведов Романа Якобсона и его ученика Виктора Эрлиха, представляющих дело так, будто формализм в советской стране был ликвидирован административным путем. Русский формализм, говорит он, был научно преодолен марксистским литературоведением. Он был преодолен также и самими формалистами, которые, усвоив марксизм-ленинизм, много сделали для советской науки.

Большое внимание автор обращает на судьбу покойного Б. М. Эйхенбаума. Опираясь на статью Ю. Андреева,⁵ Л. Штолл опровергает мнение Якобсона⁶ о Б. М. Эйхенбауме как об ученом, на творческой судьбе которого якобы пагубно сказался вынужденный отход от формализма. «Русский формализм, — пишет Л. Штолл, — был не ликвидирован, а преодолен и сейчас преодолевается делом жизни отдельных лучших его представителей. Не только опоязовцы, какими были Эйхенбаум, Тынянов, Томашевский, Якубинский, но и такие выдающиеся представители советской литературной науки и языкознания, как Жирмунский и Виноградов, которые никогда не отождествляли себя с опоязовской ортодоксией, прошли замечательный путь развития» (стр. 48). Ладислав Штолл даже полагает, что внутри русской формальной школы были отдельные представители, философские и методологические принципы которых вели их к постепенному преодолению формализма. Именно потому Якобсон и Эрлих вынуждены говорить о В. М. Жирмунском и В. В. Виноградове не как о формалистах, а как о «квазиформалистах» и

³ А. В. Луначарский. Формализм в науке об искусстве. «Печать и революция», 1924, № 5, стр. 19—32.

⁴ «Русская литература», 1963, № 4.

⁵ См.: Ю. Андреев. По поводу одного некролога. «Литературная газета», 1964, № 7, 16 января.

⁶ См.: «International journal of slavic linguistics poetics», 1963, № 6, pp. 160—167. Роль Романа Якобсона в распространении формалистических теорий в буржуазной Чехословакии широко освещена в книге Л. Штоллы на основании архивных и забытых печатных источников (стр. 63—84, 87—89, 167—171, 173—180).

при этом не могут не признать, что своей теоретической деятельностью эти ученые внесли выдающийся вклад в исследование формальной стороны художественного творчества (стр. 49).

Охарактеризовав примечательные признания Виктора Шкловского, также проделавшего сложный путь преодоления формализма, автор останавливается на вопросе об отношении формалистов к Вл. Маяковскому и показывает, почему они не имели и не имеют права при обосновании своих теоретических положений опираться на творчество великого советского поэта. Владимир Маяковский прошел особый путь, оценка которого требует иных критериев.

В главе «Исходные позиции пражской школы» автор обстоятельно анализирует доктрину и деятельность пражских структуралистов. Если взгляды русских формалистов складывались до Октябрьской революции и они не знали ни Маркса, ни Ленина, то пражские структуралисты, как указывает Штолл, действовали в иных исторических условиях. Но они как будто не замечали марксизма, получившего уже широкое распространение и в Чехословакии, и развивались в направлении, прямо ему противоположном. Представители этого течения, как видно из книги Ладислава Штоллы, думали, что делают шаг вперед по сравнению с русским формализмом, выдвигая понятие структуры литературного произведения как сочетания знаков. На самом деле они отошли еще дальше от принципа «содержательности искусства», хотя и говорили о диалектическом единстве формы и содержания, ибо под последним понимали не отраженную в форме художественного произведения действительность, а лишь сюжет, оставляя в стороне его идейное содержание. Структуралисты не видели единства исторического развития, отрицали роль личности в создании художественного произведения, не признавали закономерности литературного процесса, а допускали только его изменчивость.

Некоторые критики-марксисты в Чехословакии 30-х годов думали о возможности сближения структурализма с марксизмом. Но такое сближение, по словам чешского ученого, невозможно, потому что структурализм никогда не отходил от антимарксистских позиций русского формализма. Так называемое преодоление им русского формализма заключалось в дальнейшем и более последовательном перенесении лингвистических понятий на литературную теорию, в перенесении семиологических понятий на художественное творчество. И если чешские критики-марксисты 30-х годов могли еще ошибочно думать о возможности сближения формализма с марксизмом, то молодые критики наших дней не должны, по справедливому замечанию Л. Штоллы, заблуждаться на этот счет после того, как история дала много материалов для суждения по этим проблемам.

Нельзя не согласиться с утверждением Ладислава Штоллы, что пражский структурализм как идеалистическая в основе литературная теория не мог по своей внутренней логике прийти к марксизму. Наоборот, логика «пражской школы» вела ее к «позиции устойчивого и последовательного отпора марксизму. Это окончательно мы видим, — пишет автор, — на судьбах этой школы в США» (стр. 116). По словам чешского ученого, можно говорить лишь об отдельных лицах, которые благодаря своей способности не отказываться от познания истины отошли от старых, ошибочных воззрений и перешли к марксизму. Это и произошло, как указывалось выше, с самым крупным чешским структуралистом Яном Мукаржовским и его последователями и учениками.

Автор сожалеет, что очень важное в принципиальном отношении выступление Яна Мукаржовского в 1951 году, когда он подверг критике структурализм, осталось единичным актом и не стало отправной точкой для критического пересмотра и переработки наследия структуралистов. А им, как и русским формалистам, нельзя отказать в заслугах, так как «они поставили ряд важных теоретических вопросов», и если не могли их решить, то «своей односторонностью специалистов и своей инициативой во многом содействовали углублению литературоведческой и эстетической проблематики» (стр. 120), хотя и шли по неправильному пути. Это тем более жаль, замечает Л. Штолл, что после XX съезда КПСС появились попытки найти аргументы для оправдания пражского структурализма в целом. Вместо того чтобы всесторонне, с марксистских позиций проанализировать и полностью понять это наследие, возникли попытки целиком реабилитировать структурализм и формализм, обращаясь к их частным результатам в области стилистики, теории стиха и литературного языка.

И все-таки не так просто, добавляет ученый, взять у структуралистов результаты их конкретных исследований и механически отбросить или замолчать систему их взглядов на литературный процесс, их методологию и идеологию. Перед подобной критической переоценкой и переосмыслением старого наследия стоит, на наш взгляд, и наше литературоведение по отношению к русскому формализму.

На примере структурализма и формализма можно убедиться, как мнимая политическая независимость абстрактных духовных ценностей на деле оборачивается прямой зависимостью от общественных условий. «Нельзя не видеть, — пишет Л. Штолл, — что самые судьбы формализма и структурализма убедительнейшим образом опровергают концепцию имманентности» (стр. 121). Это осо-

бенно видно при обращении к личным судьбам носителей этих концепций и конкретно-историческим условиям, в которых они развивали свои теории.

Структурализм отвергает понятие творческой индивидуальности и потому не рассматривает вопроса о том, что содержание и форма художественного произведения в их совокупности являются «единственно возможным выражением личности творца» (стр. 125). Творческой индивидуальности они противопоставляют понятие безличной эстетической структуры, в которой роль личности, в сущности, сводится на нет. Структуралисты буквально испытывают страх перед индивидом, перед действительным человеком, и потому для них, по словам чешского исследователя, закрыт путь к решению проблемы индивидуальности в искусстве: вопрос об авторской личности занимает их еще меньше, чем функция индивидуальности в художественном произведении вообще (стр. 127). Отсюда у них — сознательное игнорирование идеологической, психологической стороны художественного творчества. Для структуралиста художественное произведение является лишь знаком. И тут он прямой предшественник американского нескритицизма. Этим можно было бы не заниматься, пишет Л. Штолл, если бы пренебрежение к изучению личности творца, проявляющейся в художественном произведении, и исследованию социально-психологических условий его возникновения не было свойственно ряду молодых чешских литературоведов (стр. 130). И потому проблеме единства содержания и формы как выражению творческой индивидуальности автор уделяет особое внимание в главе «Через обезличение к дегуманизации эстетики», где с принципиальных марксистских позиций намечает исходные точки для решения этой проблемы.

Глубоко интересным в этой главе является сопоставление творческого процесса художника и ученого. Для теоретика искусства исключительно важное значение имеет личность творца. Америка была бы равно или поздно открыта и без Колумба, как и периодическая система элементов без Менделеева или закон всемирного тяготения без Ньютона. Их открыли бы другие. Американский материк остался бы тем же, как и законы, открытые учеными. Но не будь Пушкина, Толстого и Бальзака, «не было бы „Евгения Онегина“, „Войны и мира“ и „Человеческой комедии“» (стр. 134). Именно поэтому, подчеркивает автор, проблема творческой биографии писателя имеет существенное значение для раскрытия идейно-художественного смысла произведения. Формалистические теории меняются, но в одном они остаются неизменны: они исключают из литературоведческого исследования «жизненную и идейную позицию творца художественного произведения» (стр. 142).

Указывая на односторонность формализма, чешский ученый одновременно подчеркивает подобную же односторонность вульгарно-социологического подхода к анализу литературных произведений и видит в них то общее, что, при всей противоположности, оба они — каждый по-своему — отделяют человека от его предметной сущности как от чего-то внешнего, вещественного, не считая *содержание человека его истинной сущностью* и «не видят, что неповторимая художественная индивидуальность складывается из бесконечного множества отношений, обусловленных общественной жизнью и врожденными задатками. Поэтому марксистский анализ факторов, формирующих индивидуальность, при изучении характерных для нее средств и приемов не может допустить *дуалистического деления на историческую и эстетическую стороны*, т. е. довольствоваться, как правило, или только схематическим обозначением социальной формации (общественной, классово-идеологической характеристикой, общим социологическим фоном), или — формальной-эстетической схемой» (стр. 145).

Это не значит, продолжает исследователь, что мы не можем, изучая литературное явление, выделять то одну, то другую его сторону или абстрагировать его отдельные грани. Но все специфические подходы в этом анализе, в частности формально-стилистические, требуют, чтобы мы не забывали законов диалектики, определяющих зависимость литературного произведения от конкретно-исторической обстановки, отражающейся в его содержании. В противном случае «дуалистически понятий анализ неизбежно приведет нас к какому-то друсхематизму» (стр. 145).

Книга Ладислава Штолла, как он сам об этом заявляет в предисловии, никому ничего не навязывает, не предписывает, а является попыткой разобраться в существенных вопросах современной литературной теории и носит полемический характер.⁷ Она полемична в лучшем смысле слова. Написанная в спокойном и

⁷ Полемика началась в чешской периодической печати вскоре после появления книги. Приводим названия известных нам статей: Štěpán Vlašín. Proti ztrátě osobnosti v uměnovědě. «Rudé právo», č. 218, 9 VIII 1966; Milan Š ú t o v e c. Apriorizmus ako metóda? «Kulturní život», č. 39, 2 IX 1966; Prof. Jaroslav K l a d i v a. Istorie formalismu-strukturalismu. «Nová mysl», č. 16, 9 IX 1966, str. 12—13; Miroslav K l i v a r. K vývoji strukturalismu. «Kulturní tvorba», č. 38, 22 IX 1966, str. 12; Felix V o d i č k a. Ne jen jubilejné. «Literární Noviny», č. 41, 8 X 1966; Ladislav Š t o l l. Političnost skutečná s domnělá. «Literární Noviny», č. 45, 5 XI 1966; Miroslav D r o z d a. Pilát v krédu? «Literární Noviny», č. 47, 19 XI 1966; Felix V o d i č k a. Kritéria historického hodno-

уравновешенном тоне, она проникнута твердыми убеждениями, в основе которых лежит марксистско-ленинское мировоззрение, большая любовь к исследуемому предмету и умение разбираться в сложных литературных проблемах. С выводами автора можно соглашаться или не соглашаться, но в них нельзя не видеть добро-совестного отношения к исследуемым фактам, страстного искания истины.

Книгу отличает конкретно-исторический подход к теоретическим проблемам художественного творчества, рассматриваемым строго объективно, без каких бы то ни было натяжек и предвзятостей. Вместе с тем она носит партийный, боевой, наступательный характер по отношению к реакционной буржуазной науке о литературе, которая, прокламируя мнимую объективность к исследуемым явлениям, всякий раз обнаруживает свою реакционную антигуманистическую сущность, когда дело касается острых вопросов классовой политики, которых нельзя избежать.

Содержательная книга Ладислава Штоллы вызывает на раздумья, на споры. Помимо своего прямого назначения, она дает много материала для размышлений над проблемами взаимодействия и взаимосвязей в области литературных идей и т. п. На примере американского неокритицизма можно видеть, какие функции стремятся придать буржуазные литературоведы ошибочным предпосылкам русских формалистов и пражских структуралистов в условиях господства реакционной идеологии.

В последнее время в советской науке пачата разработка вопросов структурального анализа в гуманитарных науках и, в частности, структуральной поэтики. Здесь много интересного и много туманного, спорного. Ясно одно, что марксистская наука не может проходить мимо новейших открытий в этой области, но вместе с тем она никак не может вернуться к той методологии формализма и структурализма, которая выступала за отрыв теории от жизни, за имманентный анализ художественной литературы, делая ее каким-то безличным, оторванным от человека-творца явлением. Правильность позиции Ладислава Штоллы, на наш взгляд, не вызывает сомнения.

В книге можно найти неясности и неточности в формулировках, некоторую спорность в оценках отдельных лиц и сочинений, как например, работ П. Н. Медведова, которые, как нам кажется, автор переоценивает, но в главном — это добросовестный, нужный и хороший труд, вызывающий чувство уважения и благодарности.

В. КОМАРОВА

ПОСЛЕ ШЕКСПИРОВСКОГО ЮБИЛЕЯ

Четырехсотлетний юбилей Шекспира был отмечен в Советском Союзе очень широко. Даже краткий обзор наиболее значительных изданий 1964—1965 годов может дать представление о богатстве юбилейной литературы. По-разному воспринимая произведения Шекспира, споря об авторской тенденции и многих других проблемах, советские исследователи единодушны в главном — в понимании реалистического и гуманистического содержания его творчества.

Характерной особенностью юбилейной литературы является не переиздание ранее написанного, а опубликование новых трудов, показывающих, что советское шекспироведение сделало за последние годы значительный шаг вперед. У нас нет возможности останавливаться на сотнях появившихся журнальных статей. Отметим только, что нет, пожалуй, ни одного художественного, литературного или философского журнала, который не откликнулся бы на юбилей Шекспира. В своем обзоре мы остановимся только на самых значительных, с нашей точки зрения, монографиях и сборниках.

Из работ общего характера прежде всего заслуживают упоминания монографии А. А. Аникста: «Творчество Шекспира», «Шекспир» и «Театр эпохи Шекспира».¹ В первой из них автор рассматривает творческий путь великого драматурга, во второй, используя новые зарубежные источники, излагает его биографию. В третьей монографии описаны деятельность театров елизаветинской Англии, их устройство, состав актеров, репертуар, режиссура, отношения театров с цензорами того времени. Потребность в таких книгах существовала давно, и естественно, что написанные в популярной форме, снабженные интересными иллюстрациями, книги разошлись среди читателей, как и большинство юбилейных изданий.

cení. «Literární Noviny», č. 48, 26 XI 1966; Květoslav Chvatík. Mukařovského estetika. «Literární Noviny», č. 46, 12 XII 1966; Milan Lajčák. O tvar a hodnotu. «Pravda» (Bratislava), č. 316A, 16 XI 1966; Miroslav Červenka. Objektivní kritéria. «Literární Noviny», č. 1, 7 I 1967; F. J. Kolár. O ideologii v umění a v umělecké kritice. «Nová mysl», č. 1, 10 I 1967, str. 29—32; Ladislav Štoll. Proti subjektivismu v literární kritice. «Rudé právo», č. 18, 18 I 1967.

¹ А. Аникст. 1) Творчество Шекспира. Изд. «Художественная литература», М., 1963; 2) Шекспир. Изд. «Молодая гвардия», М., 1964; 3) Театр эпохи Шекспира. Изд. «Искусство», М., 1965.

Интересна также книга М. В. Урнова и Д. М. Урнова «Шекспир. Его герой и его время»,² которая содержит большой материал о связях творчества драматурга с гуманистической культурой эпохи Возрождения. Ряд произведений Шекспира и отдельные аспекты его творчества рассмотрены в статьях юбилейного выпуска «Научных докладов высшей школы».³ Монография Ю. Ф. Шведова⁴ — результат многолетних исследований автора — посвящена сравнительно мало изученным в советском шекспироведении историческим хроникам Шекспира.

Какие проблемы интересовали советских исследователей? Можно выделить наиболее существенные из них. Проблема современного состояния шекспироведения рассматривается в большинстве статей юбилейного сборника «Вильям Шекспир», выпущенного Институтом мировой литературы.⁵ Читатель найдет здесь богатый материал об изучении творчества Шекспира в Советском Союзе, Англии и США, Чехословакии и Болгарии. Кроме советских исследователей, в сборнике приняли участие зарубежные шекспирологи Р. Вайман, А. Кеттл, К. Мюир, М. Минков, З. Стржибрны, В. Филиппов. Чешский ученый, автор превосходной монографии о хрониках Шекспира, Здзек Стржибрны анализирует в своей статье историю изучения Шекспира в Чехословакии; Роберт Вайман главное внимание уделяет методологическим проблемам изучения Шекспира в Англии и США. В статье Н. Модестовой приведены интересные высказывания о Шекспире Ивана Франко, С. И. Родзевича, А. Лейна. Так, например, для рассмотрения вопроса о творческом методе Шекспира особенно существенны приведенные здесь положения С. И. Родзевича из его статьи «Гамлет Шекспира и философия Бэкона», опубликованной в украинском журнале «Театр» (1937, № 5—6).

Одним из важных является проблема воздействия Шекспира на мировую литературу в разные эпохи. Ей посвящена книга «Шекспир в мировой литературе» — сборник статей, подготовленный филологическим факультетом Ленинградского университета. В кратком предисловии определены общие принципы, которым следовали авторы: «Восприятие Шекспира всегда предполагало творческое отношение к нему воспринимающей среды. Писатели и литературные школы обращались к великому драматургу за помощью и поучением для решения литературных, нравственных, общественных задач, стоявших на очереди дня. Этими задачами и определялось бесконечное разнообразие форм „шекспиризма“, идущего сквозь все литературы мира».⁶

Широко внимание несомненно привлекают такие статьи сборника, как «Шекспир и эстетика французского романтизма» Б. Г. Рейзова, «Шекспир и итальянское Рисорджименто в английской поэзии XIX века» Е. И. Клыменко, «Шекспир в английской романтической критике» И. Я. Дьяконовой, «Шекспир в интерпретации французского классицизма» П. Р. Заборова, «Роман Роллан и Шекспир» Г. В. Рубинова, а также статьи о воздействии Шекспира на Лопе де Вега, Джона Гей, Альфьери, Мелвила, Томаса Манна.

Б. Г. Рейзов в своей статье анализирует исследование Ф. Гизо «Жизнь Шекспира», написанное еще в 1821 году, но сохранившее важное научное и эстетическое значение до настоящего времени. Правда и правдоподобие в драмах Шекспира, принципы изображения событий и характеров, законы шекспировской поэтики — обо всем этом Гизо писал с позиций романтической эстетики. По его мнению, трагедии Шекспира принадлежат к великим творениям искусства, потому что раскрывают глубокий нравственный смысл жизни и истории. «Подлинная сущность истории, как и конечный смысл ее, — нравственность, потому что провидение, или, точнее, исторический закон, является непрерывным осуществлением справедливости» (стр. 174—175). Эстетическая теория Гизо выростала из основных понятий немецкой идеалистической философии и в условиях французской действительности начала XIX века «требовала такого глубокого проникновения в смысл совершающегося, какое было недоступно рационалистическому искусству классицизма» (стр. 175). Одна из важнейших особенностей методологии Гизо — чувство историзма, свойственное всем его рассуждениям. Статья Гизо «была не только выражением философско-исторических взглядов автора, но и манифестом литературным и политическим», — пишет Б. Г. Рейзов (стр. 190).

В статье Е. И. Клыменко исследуется проблема воздействия «итальянской темы» у Шекспира на английских поэтов в связи с их интересом к итальянскому Рисорджименто. Байрон, Шелли, Лэнгдор, Ли Хант, Элизабет и Роберт Браунинг интересовались освободительной борьбой итальянского народа, и творчество Шек-

² М. В. Урнов, Д. М. Урнов. Шекспир. Его герой и его время. Изд. «Наука», М., 1964.

³ «Научные доклады высшей школы, Филологические науки», 1964, № 1.

⁴ Ю. Шведов. Исторические хроники Шекспира. Изд. МГУ, М., 1964.

⁵ Вильям Шекспир. К четырехсотлетию со дня рождения. 1564—1964. Исследования и материалы. Изд. «Наука», М., 1964.

⁶ Шекспир в мировой литературе. Сборник статей. Общ. ред. Б. Рейзова. Изд. «Художественная литература», М.—Л., 1964, стр. 4 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

спира помогало им лучше узнать Италию. Воздействие шекспировских героев, а также конфликтов и ситуаций шекспировских драм ощущается у многих английских поэтов-романтиков, которые обращались к «итальянской теме».

Влияние Шекспира обнаруживается в произведениях, которые носили бунтарский, свободолобивый характер, — в политическом драме Байрона «Марино Фальеро», в книжной драме Лэндора «Джованна Неапольская», в трагедии Шелли «Ченчи», в пьесе Роберта Браунинга «Лурия». Роберт Браунинг использовал образ итальянского кардинала Пандольфа из «Короля Иоанна» в борьбе с католицизмом. Итальянский вопрос стал вопросом не только политическим, но «приобрел и более широкий гуманистический смысл» и поэтому побуждал искать в творчестве Шекспира «общие человеколюбивые идеи» — к такому выводу приходит Е. И. Клименко (стр. 229). Шекспир учил человеколюбие целые нации. «Трогательная Джульетта могла восприниматься как символ гибнущей Италии и зывала о помощи к родине ее создателя, Лурия-Отелло воплощал самозабвенную любовь к Италии вопреки своему происхождению. Пандольф олицетворял зло, в борьбе с которым Англии следовало поддерживать итальянских патриотов» (стр. 230).

Связь восприятия шекспировского творчества с общественными проблемами той или иной эпохи исследована и в других статьях сборника. Дополнением к нему является статья Б. Г. Рейзова «Шекспир в зарубежных литературах». ⁷ В ней даются анализ отзвонков о Шекспире немецких и французских романтиков и современных французских критиков, рассматривается восприятие образа Гамлета в XVIII и XIX веках, постановки шекспировских драм в Германии после первой мировой войны, проблема соотношения между интересом к Шекспиру и общественной атмосферой.

До последнего времени у нас не было сколько-нибудь полных научных трудов, посвященных близкой русскому читателю теме — «Шекспир в России». К 400-летию Шекспира появились два таких труда — результат многолетних библиографических разысканий и научных исследований. И. М. Левидова закончила ценное библиографическое издание, включающее русские переводы произведений Шекспира и критическую литературу о нем с 1748 по 1962 год. ⁸ Наиболее полно отражена литература, опубликованная в периодической печати. Огромное научное значение этого труда уже отмечено в рецензиях П. Р. Заборова, В. Баскакова и Н. А. Никифоровской. ⁹ В настоящее время без этой библиографии не может обойтись ни один исследователь Шекспира.

Важной теме «Шекспир в России» посвящен также фундаментальный научный труд «Шекспир и русская культура», подготовленный Институтом русской литературы АН СССР. ¹⁰ В отличие от большинства юбилейных изданий это не сборник статей, а коллективная монография, в которой все главы объединены общим замыслом и методологией. Ее авторы — М. П. Алексеев, П. Р. Заборов, Э. П. Зиннер, Ю. Д. Левин и К. И. Ровда — впервые в мировом шекспироведении подвергли изучению многостороннее влияние Шекспира на культуру другой страны. В этом труде, охватывающем период от конца XVII века до 1917 года, все факты и обобщения строго документированы.

Привлеченный исследователями материал необычайно разнообразен: критическая и научная литература, переводы, переделки и постановки драм и комедий Шекспира, их влияние на художественную литературу, упоминания о драматурге в письмах и дневниках, шекспировские реминисценции у самых разных авторов. Использование ранее неизвестного или неизученного материала позволило по-новому осветить целые периоды знакомства с Шекспиром в России и, в частности, самый ранний. Так, на основании новых документов М. П. Алексеев высказал предположение, что московские послы могли видеть шекспировские спектакли еще при жизни драматурга. Во втором разделе главы «Пушкинская пора» М. П. Алексеев обобщает результаты труда многочисленных исследователей сложной проблемы воздействия Шекспира на Пушкина. При этом он выясняет ряд спорных вопросов, недостаточно освещенных в предшествующих работах, и приводит забытые или неизвестные ранее факты, свидетельствующие об интересе Пушкина к Шекспиру.

Много новых материалов и в других главах книги. П. Р. Заборов изучил переводы, переделки и адаптации произведений великого английского драматурга

⁷ Б. Г. Рейзов. Шекспир в зарубежных литературах. «Звезда», 1964, № 10, стр. 208—217.

⁸ Шекспир. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1748—1962. Сост. И. М. Левидова. Отв. ред. академик М. П. Алексеев. Изд. «Книга», М., 1964.

⁹ См. рецензию П. Р. Заборова в «Известиях АН СССР, Серия литературы и языка» (1965, т. 24, вып. 3, стр. 262—264); В. Баскаков. Русская шекспириана. «Русская литература», 1965, № 1; Н. А. Никифоровская. Русская шекспириана. «Советская библиография», 1965, № 4, стр. 79—83. В рецензиях указаны не включенные в библиографию книги и сборники советского периода.

¹⁰ Шекспир и русская культура. Под ред. акад. М. П. Алексеева. Изд. «Наука», М.—Л., 1965 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

в России конца XIX—начала XX веков. Ю. Д. Левин посвятил три главы наиболее плодотворному периоду освоения Шекспира — 1840—1860-м годам; К. И. Ровда исследовал наименее изученный период — последние десятилетия XIX века, познакомив читателя со многими ранее неизвестными статьями о Шекспире; наконец, Э. П. Зиннер проанализировал восприятие Шекспира в России «на рубеже веков» и «между двумя революциями», также сравнительно мало изученное.

К. И. Ровда приводит очень актуальные и в наше время материалы о воздействии подлинного и полного текста Шекспира на рабоче-крестьянскую аудиторию. Хотелось бы пожелать автору продолжить разработку этой темы и опубликовать свое исследование отдельной книгой, которая будет особенно полезна режиссерам, безжалостно урезающим текст Шекспира.

Библиографический аппарат книги поистине неисчерпаем — он может служить источником при дальнейшем изучении проблем, затронутых даже попутно. Основополагающим для исследователей является, по нашему мнению, положение М. П. Алексеева о восприятии Шекспира в первой половине XIX века. «Таким образом, — пишет ученый, — Шекспир переставал быть источником только литературных или театральных воздействий; он становился теперь также мощным импульсом идейных влияний, проблемой мировоззрения, содействовал выработке представлений о ходе истории, о государственной жизни и человеческих судьбах» (стр. 171).

В приложении к книге — «Шекспир и русское государство XVI—XVII вв.» — М. П. Алексеев подробно рассматривает упоминания о России и русских в драмах «Бесплодные усилия любви», «Мера за меру», «Генрих V», «Макбет» и других, имеющие значение для истории англо-русских литературных отношений.

Монография «Шекспир и русская культура» полезна не только шекспирологам, но также историкам русской литературы, переводчикам, актерам, режиссерам — постановщикам шекспировских пьес.¹¹

Тема, которой посвящено приложение, рассматривается более широко в статье М. П. Алексеева «Россия и русские в творчестве Шекспира».¹² Приведенные здесь сведения извлечены из старинных документов, хроник, отчетов послов, записок мореплавателей, из произведений современников Шекспира. Кроме того, М. П. Алексеев уточняет датировку и название известной комедии «Двенадцатая ночь», исследует вопрос об источниках пьес «Буря», «Зимняя сказка», «Перикл», комментирует ряд спорных мест в тексте шекспировских драм.

С темой «Шекспир в России» связана также статья М. П. Алексеева «К истории написания имени „Шекспира“ в России».¹³ В ней приводятся формы написания имени великого драматурга на английском, французском и немецком языках в различные эпохи. В русской печати форма «Шекспир» стала наиболее распространенной только в середине XIX века. До этого, а также и позже писали: Шекеспир, Шекспр, Шакеспир, Сакеспеар, Шекспер, Чекспер, Шахспир. Для рассмотрения этой весьма специальной темы привлечены многочисленные источники, представляющие самостоятельный интерес.

Отметим еще две статьи, связанные с восприятием Шекспира в России. Ю. Д. Левину удалось обнаружить самое раннее упоминание пьес Шекспира в русской печати.¹⁴ В 1731 году в журнале «Исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях» (т. LXXVIII) был помещен перевод очерка из английского журнала «Зритель» (№ 77), в котором попутно говорилось о «показании преизрядных Гамлетовых и Отелоновых комедий».

К. И. Ровда привлекает внимание к острой полемике вокруг Шекспира в 60-х годах XIX века между сторонниками «чистого искусства» и революционными демократами. Как показывает исследователь, русская демократическая мысль не только не была повинна в недооценке Шекспира, но именно ей принадлежит наиболее глубокое в марксистской критике истолкование творчества великого английского драматурга.¹⁵

Особый аспект воздействия Шекспира освещен в сборнике «Шекспир и музыка»,¹⁶ которым откликнулся на юбилей Ленинградский институт театра, музыки

¹¹ Подробнее об этом труде см. нашу рецензию в «Известиях АН СССР, Серия литературы и языка» (1966, т. 25, вып. 3, стр. 265—269), а также рецензии А. Корнева «Шекспир и Россия» («Смена», 1965, № 282, 1 декабря) и Антони Семчука и Тадеуша Шишко в «Slavia orientalis» (1967, № 1).

¹² М. П. Алексеев. Россия и русские в творчестве Шекспира. «Вопросы истории», 1965, № 7, стр. 76—92.

¹³ М. П. Алексеев. К истории написания имени «Шекспира» в России. В кн.: Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию акад. В. В. Виноградова. Изд. «Наука», М., 1965, стр. 304—313.

¹⁴ Ю. Д. Левин. О первом упоминании пьес Шекспира в русской печати. «Русская литература», 1965, № 1, стр. 198.

¹⁵ К. И. Ровда. К истории одной полемики. «Русская литература», 1964, № 4, стр. 185.

¹⁶ Шекспир и музыка. Изд. «Музыка», Л., 1964.

и кинематографии. Авторы анализируют воздействие шекспировских тем и образов на творчество Бетховена, Россини, Мендельсона, Берлиоза, Листа, Верди, Мусоргского, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна.

Важные проблемы истории изучения Шекспира и его воздействия на поэтов и писателей других эпох привлекли внимание составителей общеукраинского сборника «Вільям Шекспір», изданного Львовским университетом (отв. ред. проф. А. В. Чичерин).¹⁷ Здесь помещены статьи о марксистском шекспироведении в Англии, об исторических хрониках Шекспира, о шекспировских постановках в современном французском театре, о воздействии Шекспира на творчество Шевченко, Мильтона, Петефи, Шоу, английских романтиков и немецких писателей XVIII века.

В советском шекспироведении пока еще мало изучена проблема языка и стиля Шекспира. Поэтому особый интерес вызывает второй раздел сборника, содержащий статью Ю. С. Новикова «Склад речи шута в трагедии „Король Лир“», и статьи на украинском языке: Д. М. Вавринюка — «Труднощі передачі шекспірової гри слів слов'янськими мовами» и «Засоби гумору в комедіях Шекспіра», С. П. Чернявської — «Про гумор Шекспіра» и Б. М. Князевського — «Лексичні засоби вираження філософського поняття „man“ в драмі „Гамлет“». Особенно увлекательной показалась нам работа Б. М. Князевського, имеющая важнейшее значение для освещения проблемы творческого метода Шекспира.

Современные зарубежные шекспиологи — Роберт Вайман, Зденек Стржибрны, Вольфганг Клемен, К. Спержен и некоторые другие авторы — все чаще обращаются к изучению реалистической природы драматических конфликтов и художественных образов у Шекспира. В советском шекспироведении выдвинуты отдельные, очень важные положения о реализме Шекспира, но пока еще нет серьезных монографических трудов, рассматривающих этот вопрос во всей его сложности.

Этой проблеме, кстати — мало затронутой и в большинстве юбилейных изданий, посвящена книга Р. М. Самарина «Реализм Шекспира».¹⁸

Автор привлекает в ней внимание к многообразным источникам шекспировского реализма. Творчество Шекспира вобрало в себя мир античных образов и идей, оно явилось также завершением многовековой реалистической традиции в английской литературе и народном творчестве. В то же время оно было связано с английской действительностью эпохи Возрождения и являлось поворотным по сравнению с драматургией предшественников. Его важная особенность — «стихийная социальность, широкий охват общественных явлений, рождающееся понимание связи личного с общественным» (стр. 50).

Для освещения проблемы художественного метода английского драматурга важно также изучение шекспировского изображения человека. «Люди в пьесах Шекспира изменяются и действуют соответственно своим индивидуальным особенностям. Но развитие человека у Шекспира, изменения, происходящие в нем, определяются факторами общественной жизни, тесно связаны с участием героя в ее событиях», — пишет Р. М. Самарин (стр. 97).

Наиболее ценным и новым в этой книге является, на наш взгляд, анализ роли «философско-этического комплекса» в становлении реалистического метода Шекспира. Шекспиологи уже не раз сопоставляли философские взгляды автора «Гамлета» с воззрениями Монтеня, Бэкона, Джордано Бруно. Из последних работ этого направления стоит отметить статью А. Л. Субботина «Шекспир и Бэкон», в которой особенно примечательна мысль автора о различии мировоззрений Бэкона и Шекспира: «Во многом из того, что Бэкон принимает как очевидное, как норму. Шекспир видит проблему, драму, трагедию».¹⁹

В интересной статье В. М. Кожевникова «Шекспир и коммунистическая мечта его времени» автор сравнивает мысли героев Шекспира с идеями Монтеня и Джордано Бруно.²⁰ М. П. Алексеев в свое время выдвинул важнейшее, на наш взгляд, положение о некоторой общности гуманистических идей Шекспира и Томаса Мора.²¹ Однако вывод о том, что именно в философии эпохи Возрождения нужно искать основу реализма Шекспира, во всех указанных работах не был сделан с достаточной определенностью. Поэтому нам кажется существенным высказанное Р. М. Самариним положение, что «в своей основе мировоззрение Шекспира, как и

¹⁷ Вільям Шекспір. Наукові дослідження. Від. ред. проф. О. В. Чичерин. («Іноземна філологія», вип. 1). Вид. Львівського унів., Львів, 1964.

¹⁸ Р. М. Самарин. Реализм Шекспира. Изд. «Наука», М., 1964 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

¹⁹ А. Л. Субботин. Шекспир и Бэкон. «Вопросы философии», 1964, № 2, стр. 103.

²⁰ В. М. Кожевников. Шекспир и коммунистическая мечта его времени. «Научные доклады высшей школы, Филологические науки», 1964, № 1.

²¹ М. П. Алексеев. Общая характеристика английского Возрождения. Гуманисты. В кн.: История зарубежной литературы. Раннее средневековье и Возрождение. Изд. 2-е, М., 1959, стр. 475.

оно открывается нам в его художественных творениях, было сродни материалистическим теориям эпохи Возрождения» (стр. 64). В другом месте он добавляет, что взгляды Монтеня, Бэкона, Джордано Бруно были близки Шекспиру типологически, как мировоззрение гуманистов позднего этапа Возрождения. Разумеется, эта важная проблема не могла быть всесторонне освещена в небольшой монографии, и выяснение конкретных связей творчества Шекспира с философией Возрождения еще ждет своих исследователей.

По нашему убеждению, реализм Шекспира состоит в стихийно-материалистическом и диалектическом отражении действительности в высокохудожественной форме. Поэтому нам близки приведенные выше мысли Р. М. Самарина. Однако при сравнении идей Шекспира со взглядами философов эпохи Возрождения нельзя забывать важное высказывание Н. А. Добролюбова: «Истины, которые философы только предугадывали в теории, гениальные писатели умели схватывать в жизни и изображать в действии...»²² Например, при изучении проблемы воздействия Монтеня на творчество английского драматурга исследователь обнаружит, что Шекспир впитал диалектику Монтеня, которого превосходно знал в английском переводе Джона Флорио (возможно, еще до опубликования этого перевода). Но в то же время он часто полемизирует с французским философом, проявляя при этом более глубокое понимание жизни.

Шекспир во многом опередил современных ему мыслителей, он через три столетия оказался близок диалектику Гегелю и вызвал восхищение Маркса художественным изображением закономерностей общественных процессов. К сожалению, вопрос о диалектичности метода Шекспира остается еще не исследованным.

В кратком обзоре невозможно остановиться на всех проблемах, рассматриваемых в юбилейных трудах. В заключение нужно признать, что советское шекспироведение пришло к юбилею Шекспира с серьезными достижениями. Обилие и разнообразие материалов, разработка сложных проблем, научная методология — таковы отличительные черты большинства юбилейных научных трудов о Шекспире.

Л. БУЛАКОВА

КНИГА, ЗОВУЩАЯ К СПОРАМ*

Книга Б. И. Бурсова «Национальное своеобразие русской литературы» уже привлекла к, вероятно, еще не раз привлечет внимание критики. Всегда живая, всегда острая, бесконечно многогранная и дискуссионная сама по себе проблема национального своеобразия русской литературы поставлена Б. И. Бурсовым очень широко. В центре книги — вершинные достижения XIX века, но автор стремится постичь многовековой историко-литературный процесс в целом, соотношение русской литературы с литературами других стран. В поле его зрения древнерусская литература и (в меньшей степени) литература XVIII века, он раскрывает национальное своеобразие творчества М. Горького, говорит о связи реализма критического и социалистического, о творческих исканиях М. Шолохова, А. Фадеева, Л. Леонова, выразительно характеризуя то главное, что делает их и наследниками великих русских традиций, и непохожими друг на друга советскими писателями.

Книга не может не вызвать споров прежде всего потому, что она сама полемична от первой до последней строки, причем полемичность ее выходит за пределы возражений исследователям, имена которых названы Б. И. Бурсовым.

Полемика начинается, в сущности, с трактовки термина «национальное своеобразие», о котором, как справедливо говорит Ю. Суровцев, написано столько, что «расхожая метафора „горы книг“ применительно к этой теме... потеряла индикаторность».¹ Автор полемизирует с одними, рассматривая процесс развития русской культуры как культуры «цельной и целостной», расходится во взглядах с другими в понимании соотношения различных периодов русской культуры, в раскрытии темы «Запад и Восток», в определении типического и т. д.

Думается, что характеристика Б. И. Бурсовым национальных особенностей древнерусской литературы, отрицательное отношение к попыткам модернизировать ее, «подтянуть» до уровня высокоразвитых западноевропейских литератур верны, как верно и определение ее места в мировой литературе. Возражения

²² Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в трех томах, т. 3, изд. «Художественная литература», М., 1952, стр. 171.

* Б. Бурсов. Национальное своеобразие русской литературы. «Советский писатель», М.—Л., 1964, 394 стр.

¹ «Вопросы литературы», 1965, № 8, стр. 102.

Д. С. Лихачева,² доказывающего, что русская литература и в древности развивалась в тесной связи с европейскими — славянскими — литературами, не колеблют основных положений Б. И. Бурсова. Споря против применения термина «европеизация» по отношению к XVIII веку, Д. С. Лихачев указывает, что в этот период европейская ориентация русской литературы лишь переместилась с одних стран на другие. Но Б. И. Бурсов не отрицает связи древней Руси с Восточной и Южной Европой и возражает против попыток оторвать культуру Московской Руси от культуры киевской, новую русскую культуру от древней. Только высказывая простую мысль, что «новая литература не могла появиться раньше возникновения новой России», он говорит о европеизации, имея в виду культуру Запада. И он прав. Новый этап русской истории, культуры, литературы и искусства начался после утверждения новой государственности, после того как было «прорублено окно» в Западную Европу.

В конечном счете Д. С. Лихачев приходит к тому же выводу. Только напрасно он усматривает «перерыв в движении литературы, остановку» в первой трети столетия. «De arte poetica» Феофана Прокоповича, говорившая о значении художественного вымысла, о близости поэзии и живописи, о «ребяческих погрешках» барочной поэзии, обращена в будущее. «Владимир» Феофана, драматургия, лирика и проза петровского времени были тем, чем они могли быть — литературой переходной эпохи, еще связанной с прошлым и уже несущей черты нового.

Нити, связывающие древнерусскую литературу с литературой XIX века, в книге Б. И. Бурсова намечены четко. Кое-где автор опирается на труды своих предшественников, о многом говорит впервые. Особенно интересно сопоставление образов русских житий и героев западноевропейской литературы эпохи Возрождения, близких в их стремлении достигнуть совершенства личности и вместе с тем глубоко различных. Одни вдохновлены желанием «как можно лучше исполнить заранее и извне заданный идеал человеческого поведения», другие уже способны «самостоятельно определять для себя нормы жизненного пути», ибо они постигли ценность человеческой личности и ее свободной деятельности. «Принципу личной инициативы, как одному из основополагающих для европейской цивилизации, противостоит принцип фатализма, столь характерный для восточного мира» (стр. 45).

Четко намечена в книге связь с летописью «Войны и мира», развитии житийного жанра у Л. Толстого и Достоевского, максимализм требований, предъявляемых к людям. Интересны размышления о том, что одна из отличительных черт русской литературы XIX века — «исповедальность» — уходит своими корнями в давние времена (правда, при этом неплохо было бы сказать и о роли, которую сыграла в европейской литературе «Исповедь» Руссо).

Некоторые сопоставления вызывают серьезные сомнения. Едва ли можно утверждать, что «с развитием цивилизации на Западе религиозное подвижничество, точнее — фанатизм, полностью исчезло, и в XVIII, а тем более в XIX веке о нем и речи не могло быть» (стр. 54). Русского путешественника Д. П. Фонвизина удивляли суеверие и фанатизм в Польше, предреволюционной Франции, не говоря об Италии. Ватикан силен и сегодня. И дело не только в сознательном обмане масс. Как ни романтичен образ фанатика и подвижника падре Монтанелли, за ним стоит жизнь.

Не повезло в книге русской литературе XVIII века. Правильно подчеркивая, что в XVIII столетии назрела необходимость перенесения на русскую почву литературных способов изображения человека и действительности, уже давно утвердившихся на Западе, Б. И. Бурсов преувеличивает отрыв литературы этого периода от литературы предшествующих этапов ее развития. Несмотря на новаторство Ломоносова, непосредственное влияние древнерусской литературы явственно и в его одах и тем более в языке и стиле похвальных слов. Во многих главах «Путешествия из Петербурга в Москву» лексика предреволюционных французских деклараций сочетается с обличительным пафосом русских проповедей.

Недостаточной разработанностью многих разделов истории литературы XVIII века можно объяснить, что, говоря о житийной традиции в светской литературе, Б. И. Бурсов не назвал драму Сумарокова «Пустынник». Но как же можно было забыть «Житие Филарета Милостивого», в котором Радищев, прибегнув к хорошо известной читателям форме, рассказал о себе. Как не вспомнить было в ином плане «Житие Федора Васильевича Ушакова».

В начале «Чистосердечного признания в делах моих и помышлениях» Фонвизин вспомнил о Руссо, но само желание покаяться и ряд самобичующих строк (независимо от того, с какой целью они вводились) разве не говорят о том, что великий насмешник помнил знакомую с детства церковную литературу? Не подтверждает ли то же самое построенное на библейских и евангельских образах «Рассуждение о суетной жизни человеческой», написанное на копичку Потемкина?

² «Вопросы литературы», 1965, № 5, стр. 170—186.

А как забыть о переложениях псалмов вплоть до державинского «Властителям и судиям», которое с волнением читал Достоевский.

Я не противник термина «карамзинский период русской литературы», но не могу согласиться с тем, что только «с Карамзина, с его журналов, выражавших мнение *частных* людей относительно *общих* дел, и начинается русская общественная жизнь» (стр. 68). Значит, не только сатиры Кантемира и Сумарокова, но и дебаты в комиссии 1767 года, сатирическая журналистика 1769—1774 годов, вся неутомимая деятельность Новикова, московских масонов, сатиры и драматургия Фонвизина, поэзия Державина, драматургия Княжнина, «Путешествие» Радищева не были выражением общественного мнения? И что считать общественной жизнью? Не имеют ли к ней отношения непрерывно возникавшие политические процессы, а уж они-то возникали не в связи с деятельностью Карамзина, а скорее вопреки ей.

Неверно, что Карамзин «ввел русскую литературу в сферу новых идей, в частности порожденных французской буржуазной революцией» (стр. 61). Произведения французских просветителей — от Монтескье и Вольтера до Гельвеция переводились в России с 60-х годов. В сферу идей, порожденных приближением французской революции, вводила трагедия Княжнина «Вадим Новгородский», тем более «Путешествие из Петербурга в Москву», «Житие Федора Васильевича Ушакова» Радищева.

Говоря о русском подвижничестве, связанном с религиозными идеями, можно было бы вспомнить масонов. И уж совершенно несправедливо забыть о великом подвиге Радищева и начинать русское революционное подвижничество с XIX века.

Я напоминая общеизвестные истины. Б. И. Бурсов молчит, несомненно зная о них, а читая многие современные работы как посвященные отдельным писателям, так и вопросам теоретического характера (вплоть до трехтомника «Теория литературы»), мы видим, как искажается картина русского историко-литературного процесса от игнорирования необычайно сложной и своеобразной литературы XVIII века, как в новых концепциях возрождаются взгляды, казалось бы, навечно похороненные трудами советских ученых.

Невнимание к XVIII веку мстит за себя и Б. И. Бурсову, создавая пробел в его книге. Это тем обиднее, что и вопрос о путях развития национального искусства был поставлен именно в XVIII веке. Решался он по-разному, являясь объектом ожесточенной полемики, но то, что Ломоносов боролся за сохранение связей нового искусства с древнерусской традицией, отличает русский классицизм от европейского, который строился на запальчивом отрицании средневековья. И для общей концепции книги Бурсова совсем не безразлично, что в своеобразии русского искусства Ломоносов усматривал то новое, что может внести Россия в художественное сознание Европы.

Но автора надо судить по законам, им самим над собой установленным, а не упрекать за то, что он не осветил все без исключения вопросы. Б. И. Бурсова интересует литература XIX века, и здесь он выступает во всеоружии.

О Пушкине и Шекспире, Пушкине и Байроне, тем более просто о Пушкине, написано бесчисленное количество книг и статей. Но как уже отмечалось в печати, работа Б. И. Бурсова по самому типу своему характерна для литературоведения наших дней. В размышлениях и сопоставлениях исследователя нет никакого сходства с работами, авторы которых, доказывая европеизм Пушкина, превращают творчество основоположника русского реализма в плохо или хорошо сваренную мозаику инородных влияний. Нет в книге и изолирования Пушкина, как и других писателей, от мировой культуры, боязни принизить национальный «приоритет». Да и не это волнует исследователя.

«Пушкин писал по преимуществу, даже главным образом, о России и конечно же для России, но все его произведения проникнуты духом мировой истории.

Возможно, самая актуальная задача пушкиноведения — рассмотрение творчества Пушкина в этом аспекте», — пишет Б. И. Бурсов (стр. 66), посвящая вторую главу решению поставленной им задачи и раскрывая особенность пушкинского реализма как общечеловеческого и специфически русского. Из конкретной полемики наиболее важен спор с основным тезисом книги В. В. Виноградова «О языке художественной литературы». Не удовлетворенный всеми определениями реализма, акад. Виноградов полемизирует с десятками исследователей. Отвергая одни доводы с большими основаниями, другие — с меньшими, он приходит к очень шаткому выводу, что становление реализма прямо обусловлено степенью развития языка, в результате чего вопрос о русском реализме запутывается безнадежно. По одним выводам реализм еще как-то связывается с именем Пушкина, по другим — его окончательное оформление относится ко второй половине XIX века.

Отвергнув эти рассуждения, Б. И. Бурсов определяет программу Пушкина относительно языка как программу русского реалиста и говорит о Пушкине далее как о первом русском художнике, «который не только заимствует у других, но и сознает за собой право подвергать суду культурные достижения человечества с точки зрения своего времени и своего народа» (стр. 79).

Исполненный уважения к достижениям мировой культуры, Б. И. Бурсов все время помнит о них. Это позволяет ему углубить трактовку пушкинского шекспи-

ризма и уделить значительное место сравнению Пушкина и Гете, уловить близость и различие их эстетических позиций, суждений о национальных культурах и месте каждой из них в мировой культуре.

Б. И. Бурсов говорит о подражаниях, заимствованиях, перевоплощениях Пушкина, но решает эти многократно поставленные в науке вопросы по-своему. Он объясняет «исключительный, ни с чем не сравнимый интерес» поэта к опыту мировой литературы и к узловым сюжетам мировой истории тем, что Пушкин, впервые возводя «русское на степень общечеловеческого, естественно стремится и на общечеловеческое взглянуть с русской точки зрения. Он, таким образом, двумя путями сближает национальное с общечеловеческим» (стр. 93). Великий поэт сохраняет «чужой стиль», доказывая «способность русского духа к перевоплощению, его общность со всем истинно человеческим» (стр. 94). Наряду с этим, показывает исследователь далее, с одной стороны, Пушкин «явно претендует на то, чтобы внести в мировой культурный процесс элемент, обусловленный русским опытом и, в известном смысле, открывающий новый аспект и новую перспективу в мировой истории» (стр. 101), с другой — величайший из русских поэтов и мыслителей «обращался к иноземным сюжетам, которые позволяли расширить и углубить представление о законах развития человеческого духа» (стр. 130).

Имя Пушкина названо в заглавии второй главы. Третья открывается подытоживающим утверждением: «Пушкин придал русской литературе одновременно общенациональный и общечеловеческий характер. Он достиг этого, проникнув во *всемирный* смысл русской истории» (стр. 149).

Эта мысль пронизывает и последующие главы. Говорит ли исследователь о Лермонтове и Герцене, Л. Толстом и Достоевском, о своеобразии и мировом значении русского романа, он возвращается к Пушкину, не раз повторяя, что истинная роль нашего национального гения осталась не вполне раскрытой даже для нас и тем более для Запада.

Недооценка Пушкина на Западе объясняется, по мнению Б. И. Бурсова, тем, что связанные общностью реалистических принципов писатели различны по характеру идеалов. «Крупнейшие западноевропейские реалисты заняты в первую очередь анализом, а идеалы возникают в их произведениях большей частью вне органической связи с ним» (стр. 142). И потому Запад высоко оценил Достоевского за глубину раскрытия человеческого сознания и не понял глубочайшей народности Пушкина. «О Достоевском на Западе пишут как о русском гении, раскрывшем хаос русской души, а на деле выделяют в нем черты, столь сильно сближающие писателя с Западом» (стр. 142), — мимоходом бросает автор мысль, достойную стать предметом самостоятельного исследования.

«Русская литература и русская революция» — тема, неоднократно поставленная.

Мы так привыкли вспоминать в связи с нею имена Радищева, декабристов, Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, видеть перед глазами щедрое цитирование их действительно мудрых произведений, что Б. И. Бурсов может ожидать упреков в пренебрежении к революционно-демократической критике. Упрекать, конечно, можно, особенно если забыть, что автору книги принадлежат такие работы, как «Вопросы реализма в эстетике революционных демократов», «Мастерство Чернышевского-критика», и что повторять собственные утверждения любят не все исследователи. . .

Можно пойти дальше и увидеть недооценку революционных демократов в тезисе: «Писатели революционно-демократического лагеря были уверены в том благе, которое принесет человеку революция. Здесь правда целиком на их стороне. Вместе с тем они по-просветительски не замечали некоторых сложностей, связанных с предстоящим революционным переворотом» (стр. 259).

Дело, однако, не в недооценке, а в решении поставленной автором задачи: показать, что русская литература являлась спутницей русской революции не только тогда, когда связь эта выражена непосредственно, а и в более сложных случаях.

Характеристика творчества каждого писателя занимает в книге 4—5 страниц. Сказать в этих пределах о Лермонтове, Гоголе, Тургеневе, Герцене, Гончарове, Некрасове, Тютчеве, Чернышевском не только все, но даже самое значительное трудно. Найти уязвимые места, рождающиеся в результате недоговоренности, легче легкого. Исследователи, потихоньку отлучающие Лермонтова от романтизма, и те, кто видит в великом поэте прежде всего романтика, наверняка не удовлетворены лапидарными формулировками: «Может быть, мировая литература не знает другого подобного примера такого органического сочетания в одном художнике реалиста и романтика» (стр. 160) или «лермонтовский романтический психологизм чрезвычайно близок реалистическому» (стр. 161), «Лермонтов возвел Печорина на романтический пьедестал, но заставил его мучиться своей романтичностью» (стр. 112). Почти парадоксален спор исследователя с самим Печориным: «... он потерял только способность делать добро людям, но не перестал быть добрым человеком. В этом-то и состоит его трагедия» (стр. 163).

Лакоичность и категоричность формулировок иногда вызывают внутреннее сопротивление читателя, но тем не менее на пяти страницах сказано главное о поэзии, драматургии и «Герое нашего времени», вскрыта историческая закономерность образа Печорина, нравственное состояние которого, погруженность в самого себя, замкнутость анализа в пределах чисто психологических категорий обусловлены состоянием гуманистической мысли в период разгрома декабризма. Наряду с этим созданный Лермонтовым образ рассматривается как одно из самых больших исторических открытий в русской и мировой литературе.

Если после этих исполненных больших мыслей страниц обращаешься к близкой по замыслу книге В. И. Кулешова,³ в которой своеобразие историко-литературного процесса выясняется путем изучения взаимосвязей русской литературы с западноевропейскими, то узнаешь или освежишь в памяти немало полезного. Смутает, однако, суровость приговора великим писателям: «Не поднялся до...» (Вальтер Скотт, Рылеев, Гончаров и ряд других). Ставят в тупик характеристики очень многих произведений, в том числе и «Героя нашего времени». «„Герой нашего времени“ — в основном дневник, еще не оторвавшийся от субъективной исповеди мрачных 30-х годов; здесь снова акцент на актуальные в эпоху безвременья нравственные проблемы. Геройство Печорина — в трезвом уме, знании цены людям, в беспощадном самоанализе. Но после „Онегина“ детерминизм здесь сузился. Печорин появляется неясным и уходит загадочным».⁴

Во-первых, «Бэла» и «Максим Максимыч» не субъективная исповедь, а они, как известно, играют некоторую роль для раскрытия характера Печорина. Во-вторых, до сих пор трезвый ум, знание цены людям не считались геройством, да и к самоанализу это определение не подходит. В-третьих, если «детерминизм сузился» и «Печорин уходит загадочным», то является ли роман Лермонтова новой ступенью художественного сознания или это шаг назад? И наконец: неужели нравственные проблемы актуальны только в эпоху безвременья? Не знаю, как другим, но мне во много раз ближе позиция Б. И. Бурсова, всей своей книгой доказывающего, что постановка и решение нравственных проблем составляют силу великой русской литературы и во многом определяют ее общечеловеческое значение, что этические вопросы привлекали, привлекают и всегда будут привлекать внимание советских писателей, да и зарубежных мастеров слова.

При всей краткости главок, посвященных отдельным писателям, при возможности несогласия с трактовкой их, чрезвычайно плодотворен общий принцип подхода Б. И. Бурсова к личности писателя и его творчеству. Отрыв идейной сущности произведения от повиснувших в воздухе или механически прикреплённых «художественных особенностей» остается ахиллесовой пятой современного литературоведения. Причина — длительная привычка рассматривать отдельно мировоззрение писателя и его видение художника. Для Бурсова писатель — мыслитель — художник всегда личность, личность сложная, часто противоречивая, меняющаяся, ищущая, а не всегда единая, а не разрываемая на части. Отличный пример — страницы, посвященные Щедринау.

«В Щедрина соединился гениальный художник с великим революционным мыслителем», — начинает Б. И. Бурсов, показывая далее, как из этого слияния рождается ни с чем не сравнимая широта творчества Щедрина, своеобразие его реализма, размах творческой фантазии, позволяющий провести характер сквозь массу невообразимых ситуаций, вырастающий из «самой сердцевины реализма Щедрина» — прием фантастики, экспериментаторство, открытие новых путей освещения и современной и исторической темы, каких не знала мировая литература.

Конечно, писать о Щедринау в связи с темой «Русская литература и русская революция» проще, чем о Гончарове или даже Тургеневе. Но и тогда, когда, казалось бы, прямой связи между творчеством данного писателя и освободительным движением нет, нити протягиваются, в частности, благодаря мысли, высказанной на стр. 151—152: психологический анализ — душа русской литературы XIX века. приводящая ее к «исследованию человеческого духа в таких масштабах, какие не были известны мировой литературе», в основе своей порожден накапливающейся революционной энергией России, поисками путей коренных перемен. «Величайшее новаторство русской литературы — в сплетении ее судеб с судьбами русской революции» (стр. 152).

Развитое на конкретных примерах это положение приводит к свежему прочтению отдельных произведений, показу многообразия мучительных исканий русских писателей, которые, при всем различии их идейных позиций в конечном счете искания путей восстановления человека в его человеческих правах, оценивали героя по его способности найти достойное человека дело. Шаг за шагом исследователь подводит к мысли о всечеловеческой сущности русской литературы, которая, накопив громадный опыт в изображении и вопиющих социальных несправедливостей и гуманистических идеалов, уже прямо обратилась к проблеме революции и путей

³ В. И. Кулешов. Литературные связи России и Западной Европы в XIX веке. М., 1965.

⁴ Там же, стр. 198.

ее осуществления» (стр. 196), открывая тем новую страницу в мировом литературном развитии. При этом раскрывается роль не только тех, кто непосредственно отдавал свои силы воспитанию народа в революционном духе, но и Толстого и Достоевского, «которые, поставив в своем творчестве проблему русской революции, решали ее в тесной связи с выяснением сущности человеческой природы и законов, управляющих мировой историей» (стр. 197).

В главе «Русская литература и судьбы человечества» мысль о русской литературе как союзнице русской революции развивается. Не повторяется, как пишут в некоторых рецензиях, а именно развивается. Набросав очень широкими мазками этапы развития западноевропейской литературы, автор переходит к анализу специфических черт русского реализма, усматривая их в способах типизации и обобщения, особом соотношении типического, национального и общечеловеческого.

Не всюду концы сведены с концами (см., например, характеристику литературы Просвещения на стр. 242 и 244), но дело не в частности. Вызывает сомнение определение типичности и типического. Почему типичность даже в реалистическом произведении рассматривается лишь как нечто устоявшееся, сложившееся вне всякой возможности индивидуализации, которая оказывается «преодолением типичности»? Ведь типический характер, не имеющий индивидуального лица, все-таки не реалистический характер, и речь, видимо, может идти лишь об обобщениях, свойственных дореалистическому искусству. Почему типический характер, понимаемый как «связанная, обусловленная другими существованиями несвободная личность» — «явление прежде всего буржуазного мира»? Крепостничество тоже не очень-то способствовало свободе личности, во-первых, а во-вторых, индивидуализм получил, как известно, наиболее широкое развитие именно в буржуазном обществе, хоть личность и осталась несвободной.

При всем уважении к Тургеневу надо сказать, что его оценка творчества Бальзака несправедлива, и Б. И. Бурсов напрасно опирается на нее. Растигьяк и Люсьен де Рюампре вовсе не лишены ни индивидуального лица, ни жизненности, ни правдивости. О национальности и говорить нечего: они французы до мозга костей.

Толстой видит истину в движении. Это верно. Но если гению Толстого удалось постичь тончайшие движения души, то в первой половине столетия развитие характера мы видим не только в произведениях Пушкина, но и у Бальзака, а раньше и у Стендаля.

Еще больше возражений вызывает трактовка «типичности в русском варианте» (стр. 256).

Верно, что в России XIX века было резкое разделение нации на господ и рабов. В общих чертах верно, что одни уже потеряли свое человеческое достоинство, вторые еще не успели осознать его, и потому горькие слова Чернышевского о «нации рабов сверху донизу» имели реальное основание. А вот вывод Б. И. Бурсова нуждается в уточнении: «В таких условиях типическое — это или бесчеловечный произвол, или же безграничная забитость. Всякое пробуждение человечности при господстве произвола было в той или иной мере нетипическим».

Так, пожалуй, вся литература (и не только русская) выйдет за рамки типичности, ибо каждый настоящий писатель создал образы людей, в которых пробуждается человечность. Но я хочу сейчас спросить о другом. Типичны или нетипичны отстаивающие свое человеческое достоинство рекрут в «Путешествии из Петербурга в Москву» и Анета в «Сороке-воровке»? Типичны или нетипичны Пугачев и его соратники и в «Капитанской дочке» и в жизни? Типичны ли Яким Нагой и Савелий, богатырь святорусский? Видимо, односложно ответить нельзя, но и безграничная забитость как единственная мерка типического тоже не годна.

Понятно, что серьезному исследователю не хочется повторять общеизвестные истины. Но так как Б. И. Бурсов исходит из положения, что национальное своеобразие и мировое значение русской литературы — союзники русской революции предопределено прежде всего особенностями русского исторического процесса, то каждый отрыв от истории очень заметен. Хочется, чтобы при переиздании автор помнил: его читатели — люди разных поколений, а за рубежом и разных убеждений. Потому и общеизвестное стоит повторять.

Среди разнообразных возражений Б. И. Бурсову есть убедительные. С некоторыми хочется спорить. Так, Р. Бикмухаметов упрекает Бурсова за то, что он «правомерно выдвигая русскую литературу на мировую арену, к сожалению, забывает „привязать“ ее к литературам — непосредственным соседям».⁵ Но детально сопоставить всю русскую литературу с литературами всех народов СССР едва ли кто-нибудь возьмется, а «привязать» — значит совершить насилие. Зачем же оно в серьезной книге?

А книга Б. И. Бурсова — серьезная, и является она не «предварительной работой», как снисходительно именует ее В. И. Кулешов, а глубоким исследованием, которое, подобно всякому умному труду, ведет к раздумьям и спорам.

⁵ «Вопросы литературы», 1966, № 8, стр. 33.

От редакции

Статьей Л. Кулаковой мы завершаем обсуждение на страницах нашего журнала книги Б. И. Бурсова «Национальное своеобразие русской литературы». Вышедшая в 1964 году книга тогда же привлекла к себе широкое и заслуженное внимание советской печати в качестве фундаментального исследования одной из актуальнейших историко-литературных проблем, ставящего эту проблему в широкой исторической перспективе. Отдавая должное в этом отношении книге Б. И. Бурсова, редакция журнала «Русская литература» сочла целесообразным вернуться к ее обсуждению, полагая, что оно будет способствовать дальнейшей разработке поставленных Б. И. Бурсовым важных, но во многом еще спорных вопросов, активизирует интерес к ним научной общественности.

Дальнейшее изучение этих вопросов ввиду их многообразия, сложности и недостаточной теоретической проясненности требует координированных усилий большого коллектива ученых, не только литературоведов, но также историков, филологов, искусствоведов.

Институт русской литературы АН СССР считает своим долгом внести свой посильный вклад в изучение национального своеобразия русской литературы и приступает в текущем году к созданию специальной коллективной монографии, посвященной этой проблеме. Отдавая себе отчет в сложности и ответственности поставленной задачи, институт считает крайне желательным обсуждение ее различных методологических, методических и историко-литературных аспектов на страницах журнала «Русская литература». Институт рассчитывает, что таким путем ему удастся создать коллектив, способный прийти к общему мнению по основным вопросам задуманной монографии и выполнить ее на должном научном уровне.

Ни в какой мере не ограничивая проблематику возможных выступлений, редакция предварительно намечает следующие вопросы как теоретического, так и историко-литературного характера, заслуживающие всестороннего рассмотрения:

1. Методология и методика изучения идейно-художественного своеобразия национальных литератур вообще, русской литературы в частности.
2. Соотношение национальных и социальных факторов собственно исторического и историко-литературного процессов.
3. Процесс формирования и эволюции русского национального самосознания, его различные социальные, идеологические и литературно-художественные выражения в разные исторические эпохи.
4. Этническое, национальное и социальное содержание понятия народности.
5. Своеобразие культурно-исторического развития России в ряду других стран и народов Западной и Восточной Европы. Соотношение общеевропейского, народного и национального начала русской литературы в различные периоды ее развития.
6. Идейно-эстетические ценности и традиции русского народного творчества и древнерусской письменности в процессе национального самоопределения русской литературы, ассимиляции и проверки русскими писателями нового времени культурно-исторического опыта Европы.
7. Национальное своеобразие русских вариантов общеевропейских литературных направлений (литературы русского средневековья, русского классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма и т. д.).
8. Национальные идейно-художественные традиции в искусстве социалистического реализма.

Редакция журнала «Русская литература» надеется, что ее обращение найдет отклик у ученых различных специальностей и что это послужит на пользу общему делу.



ХРОНИКА

ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ ПОВОЛЖЬЯ В ВОЛГОГРАДЕ

В мае 1966 года Волгоград встретил участников седьмой научной конференции литературоведов Поволжья, представлявших 4 университета и 15 педвузов. В течение четырех дней на пленарном заседании и на шести секциях было заслушано 87 докладов.

Выступление члена-корр. АН СССР А. С. Бушмина (Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР) на пленарном заседании с докладом «Преимственность в развитии литературы как проблема исследования» было с удовлетворением воспринято участниками конференции как сигнал к дальнейшей разработке методологических принципов литературоведческого исследования. Считая марксистско-ленинское мировоззрение теоретическим фундаментом, основой и сутью методологии советского литературоведения, докладчик обратил внимание на необходимость совершенствования логики научного исследования, надлежащего решения вопроса о соотношении теоретических и исторических исследований в самом литературоведении, определения места «беллетризованных сочинений на литературоведческие темы» в ряду научных трудов по литературе, учета при изучении литературы взаимодействия наук (связь литературоведения с философией, социологией, исторической наукой, психологией, контакты общественных наук с естественными), правильного претворения принципа научного историзма. Обращение докладчика к участникам конференции с призывом уделять больше внимания собственно методологическим проблемам было поддержано при обсуждении докладов, прочитанных на заседаниях отдельных секций.

Работа секции русской литературы XIX века открылась интересным и содержательным докладом доктора филолог. наук, проф. В. А. Бочкарева (Куйбышев) «Драматургическая деятельность В. К. Кюхельбекера периода подготовки восстания декабристов». Насыщенное интересными фактами и тонкими наблюдениями исследование В. А. Бочкарева вносит серьезный вклад в историю отечественной драматургии, самым непосредственным образом подводя к уяснению общественно-литературных предпосылок появления трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

Оживленную полемику с точки зрения методологической вызвал доклад кандидата филолог. наук М. Л. Нольмана (Кострома) «„Евгений Онегин“ Пушкина как роман в стихах». Сложную литературоведческую проблему исследовала Т. А. Грамзпина (Волгоград) в докладе «Принципы и приемы создания фантастического образа в ранних повестях Н. В. Гоголя». Стилю физиологического очерка В. И. Даля посвятила свое выступление В. А. Парсиева, психологическому реализму ранних повестей И. С. Тургенева — кандидат филолог. наук Н. А. Лисенкова (Пенза), романтическому историзму Ф. И. Тютчева — кандидат филолог. наук В. Н. Касаткина (Саратов).

На Поволжских литературоведческих конференциях вошло в традицию обсуждение докладов, посвященных изучению наследия Н. Г. Чернышевского. Свообразие психологического анализа в социально-политических романах Чернышевского исследовал кандидат филолог. наук В. Г. Прокшин (Уфа); оценка Чернышевским дворянского героя в свете общественно-политической борьбы 60-х годов XIX века явилась темой выступления кандидата филолог. наук М. И. Рунт (Куйбышев), о юморе и иронии в повести Чернышевского «Алферьев» говорила кандидат филолог. наук Н. А. Вердеревская (Елабуга).

За последние годы в советской науке усилился интерес к революционному народничеству. Отражением этого интереса явились доклады кандидата филолог. наук М. Т. Пинаева (Волгоград) о влиянии наследия Чернышевского на литературу периода революционной ситуации 1879—1881 годов, кандидата филолог. наук Е. Г. Бушканца (Казань) — «Н. Г. Чернышевский и общественное движение в Казани 1880-х годов», кандидата филолог. наук В. Б. Смирнова (Курган) — «Чернышевский и литературное народничество», К. С. Тунаковой (Казань) — «Творчество Г. А. Мачтета в оценке Н. Г. Чернышевского». По своей направленности близко примыкает к этим исследованиям доклад кандидата филолог. наук А. В. Карякиной (Уфа) «Незавершенный роман Д. Гирса „Старая и юная Россия“».

«Обратной кампании» войны 1812 года и образу Кутузова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» посвятил свое выступление кандидат филолог. наук И. А. Потапов (Волгоград). В докладе кандидата филолог. наук А. К. Бочаровой (Пенза) был убедительно раскрыт полемический характер сюжета поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». С докладами на тему «Интерпретация характера Молчалина в „Господах Молчаливых“ М. Е. Салтыкова-Щедрина» и «Достоевский и Л. Андреев» выступили кандидаты филолог. наук Н. А. Орфанова и М. Я. Ермакова (Горький). Кандидат филолог. наук Е. И. Куликова (Саратов) в своем исследовании «Юмор Чехова» обратила внимание на связь юмора Чехова с морально-этическими идеалами писателя, с представлениями Чехова о человеке-гражданине. Активное участие в работе секции русской литературы XIX века приняли доктор филолог. наук, проф. Е. И. Покусаев (Саратов) и кандидат филолог. наук П. С. Бейсов (Ульяновск).

На секции советской литературы с интересными сообщениями выступили доктор филолог. наук, проф. И. М. Машбиц-Веров (Куйбышев) — «Творчество Вячеслава Иванова», кандидат филолог. наук Б. В. Видищев (Балашов) — «Конфликты и построение центральных характеров в пьесах Горького „Дети солнца“ и „Варвары“», кандидат филолог. наук П. А. Бугаенко (Саратов) — «Проблемы творческого метода в литературной полемике второй половины 20-х годов», Ю. Б. Неводов (Саратов) — «М. Горький и „Оптимистическая трагедия“ Вс. Вишневского», кандидат филолог. наук Л. М. Фарбер (Горький) — «Историко-философские пьесы Луначарского первых лет революции (1917—1920)», кандидат филолог. наук Э. Н. Аламдарова (Астрахань) — «Книга Ларисы Рейснер „Фронт“», кандидат филолог. наук В. М. Черников (Саратов) — «Герой и масса в ранней советской прозе и творчестве Д. Фурманова», кандидат филолог. наук М. Ф. Пьяных (Кострома) — «Поэзия Анны Ахматовой военных лет», кандидат филолог. наук Н. Н. Лаисов (Елабуга) — «Жанровые особенности „Моабитских тетрадей“ Мусы Джалиля».

Волгоградский педагогический институт, в здании которого проходила конференция, носит имя пролетарского писателя А. С. Серафимовича. Поэтому особенно тепло были восприняты доклады, посвященные творчеству писателя-земляка. Проблеме изображения народа в романе «Город в степи» посвятила свое выступление кандидат филолог. наук Н. Н. Тверитина (Волгоград); кандидат филолог. наук А. Л. Киселев (Стерлитамак) характеризовал отношение Серафимовича к классическому художественному на-

следствию; кандидат филолог. наук В. А. Лазарев (Москва) заинтересовал слушателей интересными сведениями о популярности произведений Серафимовича в Чехословакии еще в 20—30-х годах.

При обсуждении докладов секции советской литературы было отмечено, что некоторые из них были недостаточно серьезными или методологически слабыми.

Содержательно и плодотворно протекала работа секции зарубежных литератур. При тематическом разнообразии и широте охвата исследуемых историко-литературных явлений в работе секции отчетливо определились три направления: сопоставительное изучение русской и зарубежных литератур (кандидат филолог. наук Н. С. Травушкин (Астрахань) — «Зарубежная литература в русском революционном обиходе в конце XIX—начале XX века»; кандидат филолог. наук А. Л. Яценко (Горький) — «Русская тема в поэзии Шамиссо»; Н. И. Слободская (Волгоград) — «Сонеты Флеминга о России»), изучение развития художественного метода в творчестве зарубежных писателей (доклады кандидата филолог. наук Е. А. Слободской (Волгоград) о соотношении реального и фантастического у Гофмана, кандидата филолог. наук И. В. Мешковой (Саратов) о поэзии В. Гюго, кандидата филолог. наук С. Ф. Юльметовой (Уфа) о творчестве Роже Мартен дю Гара и Романа Роллана, кандидата филолог. наук Т. С. Николаевой (Саратов) о романе Л. Фейхтвангера «Изгнание»), вопросы современной зарубежной литературы (кандидат филолог. наук Н. П. Еланский (Саратов) — «„Пьесы абсурда“ в Чехословакии»; кандидат филолог. наук И. В. Ключник (Стерлитамак) — «К вопросу о конфликте в романе А. Зегерс „Решение“»). Ряд докладов явились итогом работы за год над отдельными главами монографий или диссертаций (сообщения кандидата филолог. наук Е. И. Волгиной (Куйбышев) о Гете, доцента З. Е. Либинзона (Горький) о Ф. Шиллере, кандидата филолог. наук Е. М. Мандела (Саратов) о драматургии Гауптмана).

На секции теории литературы преобладали исследования, посвященные проблемам взаимосвязи характера и обстоятельств (кандидат филолог. наук В. С. Синенко (Уфа)), специфике жанра в области поэзии и прозы (кандидаты филолог. наук И. Т. Изотов (Оренбург), Н. И. Фокин (Уральск)), принципам композиции (кандидат филолог. наук В. В. Основин (Арзамас)), структуре художественного времени (кандидат филолог. наук Д. Н. Медриш (Волгоград)). Были заслушаны доклады о формировании сентиментализма и предромантизма в русской литературе 70—80-х годов XVIII века (кандидат филолог. наук К. А. Назаретская (Казань)), о М. Прпш-

вине и теоретических воззрениях «Перевала» (В. В. Столярова (Горький)).

Работа секции журналистики, публицистики и критики началась докладом доктора филолог. наук, проф. И. Г. Пехтелева (Казань), посвященным классификации форм и жанров публицистики. Малоизвестные материалы о публицистической деятельности Д. И. Ростиславова, сообщенные кандидатом филолог. наук В. Н. Азбукиным (Астрахань), во многом дополняют историю антицерковной публицистики 60—70-х годов XIX века. Работы кандидатов филолог. наук Д. Ф. Лучинской (Казань) и А. Г. Белоцерковского (Арзамас), представленные на конференции, способствуют дальнейшему изучению отдела критики и публицистики журнала «Отечественные записки». Кандидат филолог. наук Т. Д. Фролова (Казань) в своем выступлении рассмотрела отношение Плеханова к поэзии Некрасова. Вопросы истории советской журналистики осветили в своих докладах кандидат филолог. наук А. К. Жуйкова (Саратов) и И. А. Петров (Казань).

Редактор литературно-художественного и общественно-политического журнала «Волга» Н. Е. Шундик рассказал на пленарном заседании конференции о перспективах этого вновь созданного периодического издания.

В центре внимания участников секции методики преподавания литературы, заседания которой вызвали особенно большой интерес у волгоградских учителей и студентов, стояли три проблемы: целостный анализ художественного произведения, методика подготовки и проведения творческих работ в школе, новые пути исследования методических вопросов. Высокую оценку выступающие дали докладам профессора Куйбышевского пединститута Я. А. Ротковича «Методическая теория А. Д. Алферова и современные вопросы школьного преподавания литературы», кандидата филолог. наук А. А. Тиховодова (Горький) «Вопросы философии истории Л. Толстого в школьном изучении „Войны и мира“», кандидата филолог. наук Е. П. Николаевой (Волгоград) «Вопросы детской психологии и их художественное решение в русской литературе конца XIX века», Л. М. Сигала (Куйбышев) «Семинарские занятия по литературе в оценке старших школьников и учителей-словесников». Сложные проблемы изучения в школе художественного метода писателя осветили Д. А. Сладкова (Казань) и кандидат филолог. наук Е. Н. Можгинская (Балашов). Два доклада — И. Д. Хмарского (Мелекес) об изучении лирики Пушкина в IX классе

и кандидата филолог. наук Д. Т. Чирова (Астрахань) о нравственном и эстетическом воспитании учащихся при изучении романа М. Шолохова «Поднятая целина» — были записаны на пленку в Волгоградском институте усовершенствования учителей.

Большой интерес у собравшихся вызвали выступления, посвященные проблеме организации письменных работ в школе (доклады кандидата филолог. наук Волгоградского пединститута Н. Н. Семеновой, волгоградских учителей М. А. Куличевой, А. М. Гривинной-Земской и В. С. Горбачевой (Оренбург)). Ценные и интересные сообщения о внеклассной работе по литературе представили учительница Волгоградской школы № 9 Ж. Э. Кушнарева и ассистент Куйбышевского пединститута Н. А. Бодрова.

На заключительном пленарном заседании были заслушаны отчеты председателя экспертной комиссии по литературоведению Поволжского координационного совета П. А. Бугаенко и руководителя бюро зонального объединения литературоведческих кафедр педвузов Поволжья Я. А. Ротковича. За последние семь лет укрепились организационные и творческие связи поволжских литературоведов, зональные конференции содействовали повышению научной квалификации преподавателей вузов. Труды участников зонального объединения литературоведческих кафедр педвузов Поволжья дважды — в 1962 и 1966 годах — изданы в Куйбышеве. Сданы в издательства материалы IV и V зональных конференций, состоявшихся в Саратове и Ульяновске. Тезисы докладов, заслушанных на VI конференции, готовятся к печати в Астрахани. Уже издан сборник материалов прошедшей в Волгограде конференции. Библиографию печатных работ литературоведов Поволжья (1954—1964) подготовил к изданию Саратовский университет. Очередную VIII конференцию поволжских литературоведов, посвященную 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, намечено провести в Казани.

Участники VII конференции поддержали предложение проф. И. М. Машбиц-Верова о выдвижении труда проф. Е. И. Покусаева (Саратовский университет) «Революционная сатира Салтыкова-Щедрина» на соискание Государственной премии РСФСР в области литературы, искусства и исполнительского мастерства при Совете Министров РСФСР.

Конференция закончилась экскурсией по историческим местам города-героя.

М. ПИНАЕВ

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТВОРЧЕСТВУ ПИСАТЕЛЕЙ-ОРЛОВЦЕВ

12—14 сентября 1966 года в Орле состоялась научная конференция, посвященная творчеству писателей-орловцев. Конференция была организована Государственным музеем И. С. Тургенева совместно с кафедрой литературы Орловского педагогического института в связи с 400-летием города Орла. В ее работе приняли участие литературоведы Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Харькова, Кипшинава, Архангельска, Саратова, Томска, Одессы, Новозыбкова и других городов нашей страны, а также чешская исследовательница Н. В. Слабиш-оудова, известная своими переводами Н. С. Лескова на чешский язык.

В своем вступительном слове директор музея И. С. Тургенева Л. Н. Афонин подчеркнул своеобразие и самобытность писателей Орловского края, их непреходящее значение в истории развития русской классической литературы.

На двух секциях конференции (тургеневской и писателей-орловцев) были заслушаны 32 доклада и 26 сообщений, в большей и значительной своей части посвященных проблемам тургеневедения. В многочисленных и разнообразных по темам выступлениях участников тургеневской секции наметилось два аспекта изучения жизни и творчества Тургенева: Тургенев и русское революционное движение и особенности художественного метода писателя, его психологизм.

С принципиально важным докладом на тему «В. И. Ленин о творчестве И. С. Тургенева» выступил кандидат филолог. наук Н. П. Лощинин (Москва). Докладчик систематизировал многие ленинские высказывания и воспоминания современников — В. Д. Бонч-Бруевича, Н. И. Веретенникова, В. Крупского и др., свидетельствующие о том, как высоко вождь революции ценил творчество Тургенева, используя его художественные образы в борьбе со своими идейными противниками. Из воспоминаний В. Д. Бонч-Бруевича известно, что Ленин хотел написать статью о Тургеневе; к сожалению, этот замысел остался неосуществленным. «Дальнейшее глубокое и конкретно-историческое изучение ленинских высказываний о Тургеневе в их связи, — сказал в заключение докладчик, — послужит основой осмысления сложных и сильных сторон мировоззрения и творчества писателя».

Кандидат филолог. наук Е. М. Ефимова (Орел) в докладе «И. С. Тургенев и русская революционно-демократическая общественность» высказала мысль, что постоянный интерес Тургенева к революционно-демократическому движению, к революционно-демократической теме обусловлен многими сторонами его мировоззрения, сложившегося в 40-е годы: антикрепостнической тенденцией и верой в просвещение, прежде всего.

С сообщениями, близкими по теме

докладу Е. М. Ефимовой, выступили Л. С. Прочухан — «Образ Рудина в восприятии трех поколений русских революционеров» (Уфа), доцент А. Г. Беднов — «Типы народников в романах И. С. Тургенева „Новь“ и Л. Н. Толстого „Воскресение“» (Архангельск), кандидат филолог. наук В. Г. Яшина «Тургенев и С. М. Степняк-Кравчинский» (Карачавск).

Доклад доктора филолог. наук Г. Б. Курляндской «И. С. Тургенев и русская литература» (Орел) был посвящен выяснению специфики художественного метода Тургенева в сопоставлении с методом Л. Толстого и Достоевского. По мысли докладчицы, Тургенев, Л. Толстой и Достоевский объединяет принадлежность к литературе психологического реализма, однако метод психологического реализма осуществляется ими по-разному. Реализм Тургенева обогащен лучшими традициями классического романтизма.

Некоторые наблюдения над особенностями художественного метода Тургенева содержались в докладе доцента С. Е. Шаталова (Арзамас) «Эволюция психологического метода И. С. Тургенева». Докладчик выделил ряд произведений Тургенева, отмеченных, по его мнению, приемами психологического анализа: повести «Бреттер» и «Три портрета» положили начало психологического метода, характерного для романов писателя. С. Е. Шаталов высказал предположение, что Тургенев, возможно, явился родоначальником того психологизма, который распространился в русской лирической прозе накануне XX века.

Выяснению особенностей художественного метода Тургенева были посвящены также доклады А. А. Герасименко (Томск) «Концепция личности в эстетике Тургенева в связи с идеалистической философией 40-х годов», В. Н. Тихомирова (Орел) «Концепция характера в романах И. С. Тургенева и И. А. Гончарова», кандидата филолог. наук П. И. Гражиса (Шауляй) «Романтические произведения зрелого Тургенева», сообщения доцента Е. В. Владмировой (Одесса) «О некоторых чертах творческого метода И. С. Тургенева в повестях 50-х годов», доцента Н. П. Полякова (Комсомольск-на-Амуре) «Об элементах сатиры в романе И. С. Тургенева „Дворянское гнездо“», кандидата филолог. наук М. С. Горенштейна (Майкоп) «Евгений Базаров и Марк Волохов».

Интересными по фактам и наблюдениям были доклады, раскрывающие творческие связи Тургенева с русскими писателями.

Кандидат филолог. наук Л. Н. Назарова (Ленинград) в докладе «Писатели-орловцы о „Записках охотника“ И. С. Тургенева» остановилась на двух

писателей Орловского края — И. А. Новикова и Б. К. Зайцеве (автор книги «Жизнь Тургенева»), чей интерес и любовь к «Запискам охотника» выразилась не только в отдельных высказываниях о книге Тургенева, но в статьях и монографиях о ней. Докладчица проанализировала статью И. А. Новикова «О любимой книге. Заметки писателя. К столетию со дня опубликования „Записок охотника“ И. С. Тургенева», напечатанную в «Новом мире» (1952, № 9), и его монографию «Тургенев — художник слова (о «Записках охотника»)», в которых раскрывались как общественно-политическая роль книги Тургенева, так и ее высокая художественность. Л. Н. Назарова сообщила также собранный ею интересный архивный материал, неизвестный советским тургеноведам, свидетельствующий о высокой оценке Б. К. Зайцевым «Записок охотника», о его понимании роли и значения этой книги.

Кандидат филолог. наук И. А. Битюгова (Ленинград) выступила с докладом «Последние замыслы И. С. Тургенева (по материалам Парижского архива писателя)». Докладчица сообщила о результатах исследования ею начала повести «Старые голубки», задуманной Тургеньевым в 70-х годах в Спасском. Эта неоконченная повесть, текст которой впервые прозвучал на Орловской конференции, могла бы занять место в ряду таких повестей Тургенева, как «Затишье», «Яков Пасынков». Вместе с тем, по мнению И. А. Битюговой, «Старые голубки» примыкают к произведениям Тургенева, связанным с литературной традицией XVIII века («Бригадир»).

Кандидат филолог. наук О. Я. Самочатова (Новозыбков) в своем докладе «„Стихотворения в прозе“ И. С. Тургенева и развитие их традиций в творчестве В. Г. Короленко» сопоставила проникнутые лиризмом рассказы Короленко «Огоньки», «Старый звонарь», «В ночь под светлый праздник» с «Стихотворениями в прозе» Тургенева. Это позволило ей проследить своеобразие мастерства Короленко и его близость к Тургеньеву.

Некоторым уточнениям замысла романа «Дым» и выяснению его своеобразия был посвящен доклад И. А. Винниковой (Саратов) «Роман И. С. Тургенева „Дым“ и становление жанра общественного романа в 60-е годы XIX века». Привлекая высказывания Тургенева о современной ему литературе, И. А. Винникова пришла к следующему выводу: «Дым» — этап в развитии жанра общественного романа, теорию которого, разработавшую позднее Салтыковым-Щедриним, Тургенев художественно предвосхитил.

Теме личных и творческих взаимоотношений Тургенева и писателей-современников были посвящены доклады

доцента И. Т. Трофимова (Москва) «И. С. Тургенев и М. Е. Салтыков-Щедрин», кандидата филолог. наук М. Г. Ладарии (Сухуми) «Тургенев и Проспер Мери́ме», доцента С. В. Протопопова (Армавир) «Лев Толстой в оценке И. С. Тургенева», сообщения Н. Н. Mostовской (Ленинград) «И. С. Тургенев и А. М. Жемчужников», доцента В. С. Белькинда «И. С. Тургенев и В. М. Гаршин» (Великие Луки) и некоторые другие. Выступления И. Т. Трофимова, Н. Н. Mostовской, В. С. Белькинда были построены на малоизученном и неизвестном тургеноведом материале.

Проф. А. В. Позднеев (Москва) в своем докладе «Поэзия И. С. Тургенева в 1830-х годах» отметил слабую изученность этой темы.

Интересный фактический материал содержался в сообщениях С. Г. Пынзара (Кишинев) «Творчество И. С. Тургенева в оценке молдавской критики конца XIX—начала XX столетия», В. С. Баевского (Смоленск) «Рудин и Баспсов (типы и прототипы)» и др.

С докладом «А. И. Белецкий — исследователь И. С. Тургенева» выступила кандидат филолог. наук М. О. Габель (Харьков). Докладчица остановилась на основных задачах, поставленных А. И. Белецким перед советскими тургеноведами: издание научного собрания сочинений Тургенева, научной биографии писателя, летописи. М. О. Габель охарактеризовала напечатанные статьи А. И. Белецкого о Тургеньеве: «Из материалов для изучения И. С. Тургенева» (1923), «И. С. Тургенев и русские писательницы 30—60-х годов» (1923), и проблемы, над которыми работал исследователь: вопрос о романтизме раннего Тургенева, о прототипе Лизы в «Дворянском гнезде», об особенностях трактовки этого романа.

На заседаниях секции, посвященной творчеству писателей-орловцев, было заслушано свыше 20 докладов и сообщений о творчестве художников, чья жизненная и творческая биография была так или иначе связана с городом Орлом. Особенно часто звучали имена Н. С. Лескова, И. А. Бунина и Л. Н. Андреева; поднимались вопросы, связанные либо с идейно-художественной позицией этих авторов — с привлечением зачастую малоизвестных материалов, либо с проблемами их художественного мастерства.

Открывая первое заседание секции докладом «Город Орел в художественной литературе», кандидат филолог. наук В. А. Громов (Орел) подчеркнул, что Орел привлекал внимание столь далеких по времени писателей, как А. И. Клушин, соратник И. А. Крылова, и И. С. Тургенева; В. А. Жуковский и советские писатели — А. М. Горький, Н. Н. Асеев, К. А. Федин и др. Докладчик подробно остановился на характеристике литературно-общественной дея-

тельности поэта-декабриста Ф. Н. Глинки, отбывавшего в Орле ссылку, статьи, стихотворения и речи которого этих лет свидетельствуют о его верности прежним декабристским убеждениям.

С большим интересом был прослушан доклад члена Союза писателей ЧССР Н. В. Слабигуодовой (Чехословакия) «Н. С. Лесков в Чехословакии». Докладчица сообщила целый ряд фактов, характеризующих творческие связи Лескова с Чехословакией. Столь же насыщенный неизвестными материалами был доклад асс. Л. И. Левандовского (Киев) «Н. С. Лесков и Украина», который подчеркнул, что Лесков выступил защитником украинской культуры в годы, когда царизм угнетал Украину, что в своих произведениях, отражающих украинские впечатления, Лесков шел по пути Гоголя и Шевченко.

О сложности общедемократических взглядов Н. С. Лескова шла речь в докладе доцента И. В. Столяровой (Омск) «Русские Дон-Кихоты в творчестве Н. С. Лескова» и в сообщении доцента А. В. Лужановского (Иваново) «Общественная позиция Н. С. Лескова-публициста в начале 60-х годов (статьи 1860—1862 годов)».

Старший преподаватель В. А. Лебедев (Якутск) в докладе «Хроникальный жанр в творчестве Н. С. Лескова» поставил своей задачей объяснить обращение художника к жанру хроники специфическими особенностями русской жизни, желанием достигнуть наибольшей объективности и беспристрастности в изображении действительности.

Доцент В. Н. Азбукин (Астрахань), выступивший с сообщением «Первый сатирический опыт Н. С. Лескова», предложил считать условной датой начала сатирического творчества писателя 1863 год — год создания рассказа «Краткая история одного частного умопомешательства» (в дальнейшем — «Кувырков»), уже отмеченного характерными чертами сатиры Лескова.

Творчеству И. А. Бунина были посвящены доклады В. Скобелева (Воронеж) «Образ крестьянина в дореволюционной прозе И. А. Бунина», где прослеживались изменения в теме деревни; кандидата филолог. наук В. Н. Афанасьева (Москва) «И. А. Бунин о послеоктябрьской русской литературе (из зарубежных высказываний писателя)»; аспиранта Л. А. Котляр (Кисловодск) «Проблемы биографии И. А. Бунина в послеоктябрьский период». Доклад В. Н. Афанасьева был построен на обширных материалах из воспоминаний К. М. Симонова о Бунине, из книги К. Седых «Далекое и близкое», из зарубежной прессы (интервью Бунина газете «Литературные новости» в 1923 году, где Бунин полемизировал с теми, кто говорил об упадке советской литературы; полемика с Г. Адамовичем на

страницах «Последних новостей» в 1928 году о бытовизме советских писателей и значении реалистических традиций, защитником которых Бунин выступает, и др.). Докладчик говорил о том, что наряду с непониманием советской литературы и действительности, Бунин обнаруживает интерес и желание познакомиться с ними. В. Н. Афанасьев затронул также вопрос о характере позднейших переделок Буниным ранних его произведений, вступив в полемику с исследователями Л. В. Крутиковой и П. В. Забелиным, указывавшими, по его мнению, либо только на политические, либо только на чисто художественные мотивы этих переделок.

В докладе доцента Н. М. Кучеровского (Калуга) «Братья Бунины. (Начало литературной деятельности И. А. Бунина)» был поднят весьма спорный вопрос об авторстве И. А. Бунина в отношении статьи 1888 года «Недостатки современной поэзии» и об общественной позиции писателя. Докладчик, ссылаясь на последний роман Бунина «Жизнь Арсеньева», пытался доказать, что эта статья, написанная с прогрессивных позиций, не могла принадлежать Ивану Бунину, что ее автор — Юлий Бунин — радикал по убеждениям, подписавшийся именем брата в конспиративных целях.

О художественном мастерстве Бунина шла речь в докладе доцента Н. И. Вольнской (Муром) «Наблюдения над портретной характеристикой рассказов И. А. Бунина 1890-х годов» и в сообщении доцента А. Ф. Барковской (Минск) «Стиль рассказа И. А. Бунина „Последнее свидание“».

Широко обсуждались на конференции проблемы творчества Леонида Андреева. Л. А. Иезуитова (Ленинград) выступила с докладом «Место повести „Жизнь Василия Фивейского“ в творческих исканиях Леонида Андреева». Докладчица говорила о том, что эта повесть содержит центральные для Андреева темы; в ней налицо внутренняя полемика писателя с материалами житей и библии, который использован им для постановки остро современных проблем.

Доцент Ю. В. Бабичева (Оренбург) в своем докладе «Исторические водевиль Леонида Андреева («Прекрасные сабляники», «Конь в сенате»)» настаивала на необходимости пересмотра сложившегося мнения о водевильх писателя как о произведениях незначительных. Называя в числе его предшественников А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, А. Н. Радищева, использовавших тот же исторический анекдот о Калигуле, что и Андреев, докладчица указала на отличающую водевиль Андреева «Конь в сенате» многосторонность решения исторической темы. Сопоставляя текст пьесы с выдержками из газетных корреспонденций 1910-х годов о ходе работы Го-

сударственной Думы, Ю. В. Бабичева наглядно продемонстрировала исключительную современность проблематики водевилья.

Темой сообщения директора музея И. С. Тургенева Л. Н. Афонина (Орел) явилась оценка творчества Леонида Андреева марксистской критикой начала 900-х годов. Л. Н. Афонин обратился к забытым статьям А. Яровицкого, которые интересны и тем, что свидетельствуют о внимании марксистской критики к творчеству Л. А. Андреева, и тем, что они отмечены влиянием Горького, к которому Яровицкий был близок.

Н. В. Гужиева (Ленинград) в сообщении «Леонид Андреев о своей юности» поставила вопрос о зависимости обращения к автобиографической теме в пьесе «Младость» от общих задач Андреева-драматурга этих лет.

Не было недостатка в сообщениях и докладах, касающихся творчества других писателей-орловцев. Об отношении Л. Н. Толстого к поэзии А. А. Фета сообщил заслуженный работник культуры РСФСР Н. П. Пузин (Ясная Поляна) в докладе «Л. Н. Толстой — читатель А. А. Фета (по неопубликованным материалам)». Докладчик зачитал ряд интересных неопубликованных материалов из их переписки, привел дарственные надписи Фета на книгах, подаренных им Л. Н. Толстому, хранящихся в Яснополянской библиотеке.

Доцент Я. Р. Симкин (Ростов-на-Дону) в сообщении «Дмитрий Писарев и Марко Вовчок» остановился на статье критика «Мысли по поводу прочтения сочинений Марко Вовчок», отвергнутой редактором журнала «Рассвет»; статья

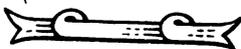
эта отражает важный момент в становлении демократического мировоззрения Писарева. О Писареве шла также речь в сообщении И. В. Попова (Барнаул) «Памфлет в сатирической публицистике Д. И. Писарева». Заведующая музеем писателей-орловцев О. Н. Овсяникова (Орел) в сообщении «Марко Вовчок в Орле» рассказала о тех орловских впечатлениях, которые легли в основу ее романа «Живая душа», о переписке с Д. Марковичем, под влиянием которого писательница начинает интересоваться народным творчеством.

С интересными сообщениями выступили кандидат филолог. наук Б. Д. Удинцев (Москва) — «Речь М. М. Пришвина о Д. Н. Мамине-Сибиряке 11 февраля 1940 года», аспирант В. В. Пономарев (Орел) — «Максим Горький об Иване Вольнове», кандидат филолог. наук В. И. Гусев (Воронеж) — «Тютчев и Блок».

В прениях по докладам приняли участие Л. А. Иезуитова (Ленинград), В. Н. Афанасьев (Москва), Л. А. Котляр (Кисловодск).

На пленарном заседании выступили руководители секций Г. Б. Курляндская (Орел) и В. А. Громов (Орел), которые подвели итоги работы конференции. В прениях приняли участие О. Я. Самочатова (Новозыбков), Б. Д. Удинцев, А. В. Позднеев (Москва), выдвинувшие предложение организовать при музее И. С. Тургенева библиографический центр, который бы регистрировал всю литературу о Тургеневе.

**Н. Г. ГУЖИЕВА,
Н. МОСТОВСКАЯ**



НОВЫЕ КНИГИ

- Альтман М. Читая Толстого. Приокское книжное изд., Тула, 1966, 168 с.
- Бабаев Э. Г. Толстой об искусстве. Приокское книжное изд., Тула, 1966, 48 с.
- Бадалич И. Русские писатели в Югославии. Из истории русско-югославских литературных связей [Сборник статей]. Пер. с хорват. [Авт. вступ. статьи и] ред. В. Д. Кузьмина. Изд. «Прогресс», М., 1966, 319 с.
- Базанова В. «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Изд. «Художественная лит-ра», М.—Л., 1966, 103 с. (Массовая ист.-лит. б-ка).
- Богатырев П. Г., Гусев В. Г., Колесницкая И. М. Русское народное творчество. [Учебное пособие для гос. унив. и пед. ин-тов]. Изд. «Высшая школа», М., 1966, 359 с.
- Взаимодействие литературы и изобразительного искусства в древней Руси. [Сборник статей. Отв. ред. Д. С. Лихачев]. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, 476 с. (Инст. русск. лит-ры).
- Вильчинский В. Русские писатели-маринисты. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, 235 с. (Инст. русск. лит-ры).
- Водовозов Н. В. История древней русской литературы. Изд. «Просвещение», М., 1966, 383 с.
- Войтоловская Э. Л. и Румянцева Э. М. Практические занятия по русской литературе XIX века. Пособие для преподавателей педагогических институтов. Изд. «Просвещение», М.—Л., 1966, 236 с.
- Вопросы истории и теории литературы. [Сборник статей, вып. 1. Ред. коллегия: А. И. Лазарев (отв. ред.) и др.]. Челябинск, 1966, 235 с. (Челябинский пед. инст.).
- Вопросы русской и зарубежной литературы, т. 2 [Сборник статей. Ред. В. А. Бочкарев и др.]. Куйбышев, 1966, 500 с. (Куйбышевский пед. инст.).
- Вопросы русской литературы. [Сборник статей. Ред. коллегия: А. И. Ревякин (отв. ред.) и др.]. Изд. «Просвещение», М., 1966, 430 с. («Уч. зап. Моск. пед. ин-та», т. 248).
- Глаголев Н. А. Проблемы истории русской демократической критики. Изд. Московского унив., М., 1966, 142 с.
- Давлетов К. С. Фольклор как вид искусства. Изд. «Наука», М., 1966, 365 с. (Инст. мировой лит-ры им. А. М. Горького).
- Еремин И. П. Литература древней Руси. (Этюды и характеристики). [Вступ. статья Д. С. Лихачева]. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, 263 с. (Отд. лит-ры и яз. АН СССР).
- Изволина С. У истоков марксистской критики в России. Критики-марксисты в борьбе против модернизма за новое социалистическое искусство. Изд. «Знание», М., 1966, 48 с.
- Купреянова Е. Н. Эстетика Л. Н. Толстого. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, 324 с. (Инст. русск. лит-ры).
- Лебедева В. А. Толстой и дети. Приокское книжное изд., Тула, 1966, 48 с.
- Ломунов К. Лицом к лицу с Толстым. (Л. Н. Толстой и наша современность). Приокское книжное изд., Тула, 1966, 41 с.
- Лосев П. Песни поэта. Иван Захарович Суриков. Литературно-биографический очерк. [Пред. Н. Рыленкова]. Верхне-Волжское книжное изд., Ярославль, 1966, 88 с.
- Лощинин Н. П. Вопросы экспозиции в литературных музеях. (Методическое пособие). Под ред. И. Г. Клабуновского. М., 1966, 175 с. (НИИ музееведения).
- Мануйлов В. А. Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Комментарий. Изд. «Просвещение», М.—Л., 1966, 276 с.
- А. Н. Островский в воспоминаниях современников. [Сборник. Подгот. текста, вступ. статья и примеч. А. И. Ревякина]. Изд. «Художественная лит-ра», М., 1966, 631 с. (Серия лит. мемуаров).
- Принципы текстологического изучения фольклора. [Сборник статей. Отв. ред. В. Н. Путилов]. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, 303 с. (Инст. русск. лит-ры).
- Проблемы реализма [в литературе. Сборник статей]. Под ред. В. В. Гуры. Северо-Зап. книжное изд., [Вологда], 1966, 439 с. (Вологодский пед. инст.).
- Семанова М. Л. Чехов и советская литература. 1917—1935. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1966, 311 с.
- Семеновский О. Марксистская критика и партийность литературы. Из истории литературно-эстетической борьбы предоктябрьской эпохи. Изд. «Карта молдовеняскэ», Кишинев, 1966, 356 с.
- «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». [Сборник статей]. Ред. Д. С. Лихачев и Л. А. Дмитриев. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, 619 с. (Инст. русск. лит-ры).

- Баранов В. Быть на земле человеком. О литературе наших дней. Башкнигоиздат, Уфа, 1966, 146 с.
- Богуславский А. О., Диев В. А. и Карпов А. С. Краткая история русской советской драматургии. От «Мистерии-Буфф» до «Третьей патетической». Изд. «Просвещение», [М.], 1966, 347 с.
- Бялик Б. Наедине с прошлым. [Воспоминания]. Изд. «Советский писатель», М., 1966, 351 с.
- Вальбе Б. «Жизнь Климса Самгина» в свете истории русской общественной мысли. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1966, 287 с.
- Веленгури Н. Литературные портреты. [Б. Л. Горбатов и В. А. Кочетов]. Книжное изд., Краснодар, 1966, 342 с.
- Вишневская И. К. Симонов. Очерк творчества. Изд. «Советский писатель», М., 1966, 184 с.
- Гончаров Н. Поющие пласты. Очерки, беседы, раздумья на литературные темы. [Изд. «Донбасс», Донецк, 1966], 248 с.
- Дрягин Е. П. Шолохов и советский роман. Под общ. ред. П. В. Лебедеико. Изд. Ростовского унив., Ростов н/Д, 278 с.
- Жизнь без оглядки. Воспоминания о С. Кожевникове. Зап.-Спб. книжное изд., Новосибирск, 1966, 139 с.
- Колосов Г. Очерк и жизнь. Изд. «Казахстан», Алма-Ата, 1966, 120 с.
- Литературоведение. [Сборник статей. Ред. коллегия: М. А. Макина (отв. ред.) и др.]. Новгород, 1966, 240 с. («Уч. зап. Новгородского пед. ин-та», т. 8).
- Луговцов Н. М. Слонимский. Критико-биографический очерк. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1966, 191 с.
- Петровский М. Книга о Корнее Чуковском. Изд. «Советский писатель», М., 1966, 415 с.
- Пименов Вл. Жизнь, драматургия, театр. Статьи. Изд. «Советский писатель», М., 1966, 375 с.
- Соловьев Б. Поэзия и критика. Литературно-критические статьи, очерки, заметки. Изд. «Советская Россия», М., 1966, 359 с.
- Социалистический реализм [в литературе] и художественное развитие человечества. [Сборник статей. Ред. коллегия: Н. К. Гей и др.]. Изд. «Наука», М., 1966, 563 с. (Инст. мировой лит-ры им. А. М. Горького).
- Степанов Н. Поэты и прозаики. [Сборник статей]. Изд. «Художественная лит-ра», М., 1966, 360 с.
- Стогнут А. Ф. И. Панферов. Изд. Киевского унив., Киев, 1966, 146 с.
- Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспоминания. Размышления. Встречи. Изд. «Молодая гвардия», М., 1966, 221 с. (Жизнь замечательных людей).
- Федоров Влад. Со всех концов России. (Вступ. статья Н. Веленгурина). Изд. «Московский рабочий», М., 1966, 243 с.
- Харлап М. О стихе. Изд. «Художественная литература», М., 1966, 150 с. (Масовая ист.-лит. б-ка).
- Шкловский В. Старое и новое. Книга статей о детской литературе. Изд. «Детская лит-ра», М., 1966, 159 с. (Дом детской книги).
- Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1918—1965. Сост. В. Н. Баскаков. Изд. «Наука», М.—Л., 1966, 292 с. (Инст. русск. лит-ры).
- Горди А. М. Иван Андреевич Крылов в портретах, иллюстрациях, документах. [Под ред. А. В. Десницкого]. Изд. «Просвещение», М.—Л., 1966, 348 с.
- Иванов Г. Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года). Справочник, вып. 1 [Вступ. статья Т. Н. Ливановой]. Изд. «Музыка», М., 1966, 437 с.
- Старцев И. И. Детская литература. Библиография. 1961—1963. Изд. «Детская лит-ра», М., 1966, 629 с. (Дом детской книги).

Технический редактор М. Н. Кондратьева

Корректоры Е. В. Вичар, К. И. Видре, Г. И. Шер и Ф. Я. Петрова

Сдано в набор 30/XII 1966 г. Подписано к печати 13/III 1967 г. М-24638. Бумага 70×108¹/₁₆. Бум. л. 7³/₈. Печ. л. 14³/₄ = 20,65 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 27,33. Тираж 10575. Зак. № 12.

1-я тип. издательства «Наука». Ленинград, В-34, 9 лин., д. 12.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

КНИГИ ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) АН СССР

Вышла в свет

Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы и фольклора. Очерки.

Книга рассчитана не только на специалистов по древнерусской литературе, но на всех, кто интересуется теоретическими проблемами литературоведения. Автор особенно подробно останавливается на исследовании становления реализма, на проблемах связи мировоззрения и художественного метода, на вопросе об истории жанров, истории поэтических тропов и т. д. Особый небольшой раздел в книге посвящен некоторым проблемам поэтики фольклора, тем, в которых между последним и древнерусской литературой имеются некоторые сходства или различия, помогающие уяснить специфику средневековой литературы вообще.

Готовятся к печати

Советское литературоведение за 50 лет.

Коллективный труд двух литературоведческих институтов Отделения литературы и языка АН СССР. Целью работы является исследование путей развития и итогов советского литературоведения от периода становления марксистско-ленинской науки о литературе до рассмотрения наиболее актуальных проблем современного литературоведения.

Есенин и русская поэзия

Книга представляет собой тематический сборник статей, подводящий итоги исследования творчества Есенина советскими и зарубежными литературоведами. В статьях участников сборника освещены наиболее значительные проблемы поэтического наследия Есенина: народность, особенности художественного метода, специфические черты стиля, взаимосвязи творчества Есенина с национальным фольклором, интернациональное звучание его поэзии.

Книга рассчитана на специалистов-литературоведов и широкие круги читателей, интересующихся творчеством Есенина.

**ЗАКАЗЫ НА ВЫШЕДШИЕ И ГОТОВЯЩИЕСЯ К ПЕЧАТИ ИЗДАНИЯ
НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:**

Москва, К-12, Б. Черкасский пер., 2/10

Контора «Академкнига», отдел «Книга—почтой»;

Ленинград, Д-120, Литейный пр., 57

Ленотделение «Академкнига», отдел «Книга—почтой»

или в ближайший магазин «Академкнига»